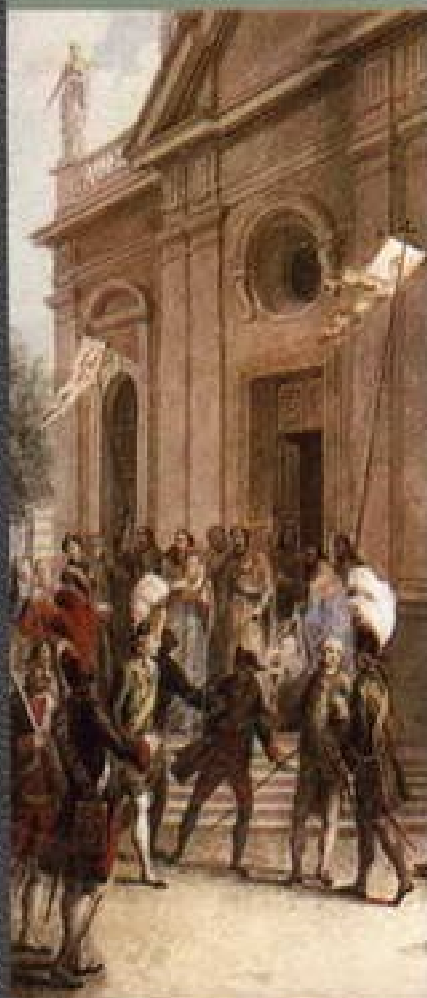


О. Елисеєва
ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА



ЖЗЛ

ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА



Ольга
Елисеєва



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

Annotation



Героиня этой книги называла свою жизнь романом, правда, очень грустным. Исследователи часто обращали внимание на вторую часть утверждения, забывая о первой. Между тем биография Дашковой вмещает интриги, перевороты, скандалы, попытки политических убийств и огромную любовь. Любовь одной женщины к другой. По законам времени такое чувство не могло быть счастливым, но оно оказало влияние на различные сферы государственной жизни. Читайте новую книгу известного историка Ольги Елисеевой о судьбе одной из самых удивительных женщин XVIII века.

- [Ольга Елисеева](#)
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [Глава первая.](#)
 -
 - [«Источник жгучих огорчений»](#)
 - [«Ничем не обязана»](#)
 - [«Превосходное образование»](#)
 - [«Порвать цепь»](#)
 - [«Завишу душой и телом»](#)
 - [«Мы много потеряли»](#)
 - [«Новый мир»](#)
 - [Глава вторая.](#)
 -
 - [Sans Ennui](#)
 - [«Сок из лимона»](#)
 - [Куртуазная любовь](#)
 - [Опасность](#)

- [На английский манер](#)
- [«Горячность в защиту истины»](#)
- [Ночное randevu](#)
- [«Бес, а не женщина»](#)
- [«Как настоящий капрал»](#)
- [«Революция недалеко»](#)
- [Глава третья.](#)
 -
 - [«Не надеюсь расплатиться с Вами»](#)
 - [Кредит](#)
 - [«Объявляю себя лицом посторонним»](#)
 - [«Озеро нимф»](#)
 - [Свой круг](#)
 - [Пострадавшие](#)
 - [«Разумный план»](#)
 - [«Талант говорить дурное»](#)
 - [«Рыдая, как женщина»](#)
- [Глава четвертая.](#)
 -
 - [Летний сочельник](#)
 - [«Канальи»](#)
 - [Мундир](#)
 - [Амазонки](#)
 - [Соперник](#)
 - [В столице](#)
 - [Сломанная звезда](#)
 - [Во дворце](#)
 - [«О сестре Вашей уведомить имею...»](#)
- [Глава пятая.](#)
 -
 - [«Отвратительная клевета»](#)
 - [«Обижались моим энтузиазмом»](#)
 - [«Epris de Catherine»](#)
 - [«Уклониться от наград»](#)
 - [«Фальшивое выражение»](#)
 - [«Тщеславие ее безмерно»](#)
- [Глава шестая.](#)
 -
 - [Дорога](#)

- [Коронация](#)
- [На досуге](#)
- [Страх](#)
- [«Вот что значит женщины!»](#)
- [«Нарушители покоя»](#)
- [«Я ничего не слышала»](#)
- [«Говорил безо всякого умысла»](#)
- [Глава седьмая.](#)
 -
 - [«Наказанье за робость чужую»](#)
 - [«Могущественное вспоможение»](#)
 - [«Маленький фельдмаршал»](#)
 - [«Уже время настает к бунту»](#)
 - [«Ложная тень»](#)
 - [«Дойти до фундамента»](#)
 - [«Случай помочь мне»](#)
 - [Прощание](#)
- [Глава восьмая.](#)
 -
 - [«В своем роду не последняя»](#)
 - [«Отрекла ее от своего дому»](#)
 - [«Воспитание совершенное»](#)
 - [«Льстить народу»](#)
 - [«План мой удался»](#)
 - [«Внутреннее о себе восчувствование»](#)
 - [«У меня нет ни короля, ни принцесс»](#)
 - [«Англия мне более других государств понравилась»](#)
- [Глава девятая.](#)
 -
 - [«Золотой дождь»](#)
 - [«В плачевном состоянии»](#)
 - [«Я могу все говорить»](#)
 - [«Политическая вольность нации»](#)
 - [«Сей новый актер»](#)
 - [Сватовство «госпожи Ворчалкиной»](#)
 - [«Афины Севера»](#)
 - [«Самый спокойный и счастливый период»](#)
- [Глава десятая.](#)
 -

- [Господин магистр](#)
- [Опасный «антузиан»](#)
- [«Сносный Помпей»](#)
- [«Мне дали понять...»](#)
- [Римские каникулы](#)
- [Саардамский плотник](#)
- [«Жертва деликатности»](#)
- [Сердце матери](#)
- [«Лишила милости»](#)
- [Глава одиннадцатая.](#)
 -
 - [Мадам директор](#)
 - [«Полный невежда»](#)
 - [«Есть много что сказать»](#)
 - [Без вины виноватые](#)
 - [«Долг дочери — уступить»](#)
 - [«Словарь»](#)
 - [Лингвистическое соперничество](#)
 - [Именины госпожи Решимовой](#)
 - [«Я знаю, что Вы уже женаты»](#)
- [Глава двенадцатая.](#)
 -
 - [«Такающая» Фелица](#)
 - [Величие в колике](#)
 - [Вопросы к Фелице](#)
 - [Семейная близость](#)
 - [«Мысли, опасные нашему времени»](#)
 - [«Если суверен — это зло»](#)
 - [«Привкус недовольства»](#)
 - [«Помогите мне и на этот раз»](#)
 - [Счастливого пути](#)
- [Глава тринадцатая.](#)
 -
 - [«Уеду... и опубликую...»](#)
 - [Арестантка](#)
 - [«Самолюбивейший из смертных»](#)
 - [Гостя из Корка](#)
 - [«Я никогда не была ваятелем»](#)
 - [Скандал в благородном семействе](#)

- [«Демон мщения»](#)
 - [Долгие проводы](#)
- [ЭПИЛОГ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ РОМАНОВНЫ ДАШКОВОЙ](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)

- [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
- [comments](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)

- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)

- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)

- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)

- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)

- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)

- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)

- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)

- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)

- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)
- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)

- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)
- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)

- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)
- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)

- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)
- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)

- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)
- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)

- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)
- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)

- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)
- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)

- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)
- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)

- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)
- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)

- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)
- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)

- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)
- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)
- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)
- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)

- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)
- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)
- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)

- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)
- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)
- [848](#)
- [849](#)
- [850](#)
- [851](#)

- [852](#)
- [853](#)
- [854](#)
- [855](#)
- [856](#)
- [857](#)
- [858](#)
- [859](#)
- [860](#)
- [861](#)
- [862](#)
- [863](#)
- [864](#)
- [865](#)
- [866](#)
- [867](#)
- [868](#)
- [869](#)
- [870](#)
- [871](#)
- [872](#)
- [873](#)
- [874](#)
- [875](#)
- [876](#)
- [877](#)
- [878](#)
- [879](#)
- [880](#)
- [881](#)
- [882](#)
- [883](#)
- [884](#)
- [885](#)
- [886](#)
- [887](#)
- [888](#)
- [889](#)
- [890](#)

- [891](#)
- [892](#)
- [893](#)
- [894](#)
- [895](#)
- [896](#)
- [897](#)
- [898](#)
- [899](#)
- [900](#)
- [901](#)
- [902](#)
- [903](#)
- [904](#)
- [905](#)
- [906](#)
- [907](#)
- [908](#)
- [909](#)
- [910](#)
- [911](#)
- [912](#)
- [913](#)
- [914](#)
- [915](#)
- [916](#)
- [917](#)
- [918](#)
- [919](#)
- [920](#)
- [921](#)
- [922](#)
- [923](#)
- [924](#)
- [925](#)
- [926](#)
- [927](#)
- [928](#)
- [929](#)

- [930](#)
 - [931](#)
 - [932](#)
 - [933](#)
 - [934](#)
 - [935](#)
 - [936](#)
 - [937](#)
 - [938](#)
 - [939](#)
 - [940](#)
 - [941](#)
 - [942](#)
 - [943](#)
 - [944](#)
 - [945](#)
 - [946](#)
 - [947](#)
 - [948](#)
 - [949](#)
 - [950](#)
 - [951](#)
 - [952](#)
 - [953](#)
 - [954](#)
 - [955](#)
 - [956](#)
 - [957](#)
 - [958](#)
 - [959](#)
 - [960](#)
-

Ольга Елисеева
ЕКАТЕРИНА ДАШКОВА

ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
64

ПРОЛОГ

*Лжец добровольно лишается доверенности и почтения
людского и права никогда на оные не имеет.*

Е.Р. Дашкова. Отрывок из записной книжки. 1790 г.

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.*

А.С. Пушкин. Герой. 1830 г.

Комплиментов не будет. Личность Дашковой слишком масштабна, чтобы простое славословие в ее адрес помогло разобраться в сложившейся ситуации. Говоря о Екатерине Романовне, современники и последующие биографы сходятся, пожалуй, только в одном — это была женщина, достойная удивления. Всё остальное: характер, ум, душевные качества, вклад в историю и культуру России — вызывает споры.

Недаром гостившая у княгини в начале XIX века молодая ирландка Кэтрин Уилмот (Вильмот) замечала: «Она настолько оригинальна и сложна, что результатом [характеристики] явится описание клубка противоречий человеческой натуры... Рассмотрение отдельных черт не даст никакого представления об их совокупности... Княгиня переменчива, как погода, в душе ее собраны воедино волнующиеся океаны и разрушительные огнедышащие вулканы, дикие пустыни и скалы... Ты можешь считать Европу раем, живя в Италии и полагая остальные страны подобными ей»^{1}.

Кэтрин имела в виду, что к ним с сестрой Мартой хозяйка поворачивается самой ласковой, самой приятной стороной и гостям живет в московском дворце Дашковой припеваючи. Они словно в Италии. Но где-то есть и Сибирь...

Хрестоматиен отзыв А.Н. Герцена, публикатора «Записок» Екатерины Романовны: «Какая женщина! Какое сильное, богатое существование!»^{2} Но были и другие характеристики, среди которых «бой-баба с замашками принцессы», «скупяга»^{3} (так угощала бывшую подругу императрица) — еще не самые худшие. А.С. Пушкин, например, считал, что Дашкова стала президентом Академии наук «через постель» государыни^{4}.

Но больше всех порезвились дипломаты. Для них княгиня была и героиней, и интриганкой, и любовницей графа Панина, и его дочерью, и участницей многочисленных заговоров против Екатерины II, и рукой, готовой вонзить кинжал в сердце Петра III. В противовес этой легенде возникла другая — жертва опалы и неверной дружбы сильных мира сего, женщина выше своего времени, верная супруга, нежная, просвещенная мать, мужественная заговорщица, бескорыстная патриотка, рачительная хозяйка, победившая долги и нищету.

Из столкновения этих двух взглядов родилась вся историография, посвященная княгине. Но читатель вправе спросить: где же сама Екатерина Романовна? В отзывах недоброжелательных критиков? Или в мемуарах, написанных как самооправдание? Не закрывают ли обе маски живое лицо? Ведь давно замечено, что истина находится отнюдь не посередине между версиями...

Глава первая.

ОДИНОЧЕСТВО

Девочка не знала, что ее хотят осчастливить, увозя в дом столичной родни, и горько плакала, расставаясь с бабушкой. Еще горше плакала «добрая старуха», из заботливых рук которой вырывали внучку — последнюю радость, кровиночку от умершей дочери. Для нее самой с этой минуты жизнь должна была кончиться.

Возок тронулся. Сгорбленная фигурка осталась за поворотом дороги. Четырехлетняя малютка осиротела во второй раз.

Больше Екатерина Романовна никогда не видела свою бабуку с материнской стороны. Ее ждали богатство, знатность, близость ко двору. Из темного захолустья дитя везли к свету — в самый европейский город России — Петербург.

Там было всё. Здесь ничего. И тем не менее...

Пройдет много лет, и пожилая княгиня Дашкова будет со слезой в голосе вспоминать тот давний февральский день. Не смерть матери, которой она не помнила. А разлуку с единственным человеком, которому маленькая Катя была дороже жизни, который ее действительно любил.

В «Записках» наша героиня скупа: «Я имела несчастье потерять свою мать на втором году... Во время этого события я находилась у своей бабушки в одной из ее богатых деревень. С трудом она расставалась со мной, когда я была по четвертому году, чтоб отдать меня на воспитание в менее ласковые руки. Впрочем, мой дядя-канцлер вырвал меня из теплых объятий этой доброй старухи и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью»^[5].

Что стоит за строкой? Здесь и запоздалое признание в любви — ведь в четыре года не скажешь бабушке искренних, правильных слов, — и скрытый упрек высокопоставленной родне, которая, конечно, позаботится о сироте, окружит ее роскошью, но не сердечным теплом. Сановный дядя слишком занят, тетя — легкомысленна. И оба увлечены собой. А потому на первых порах жизни простая, безграмотная старуха с нежным сердцем может дать ребенку больше всех сокровищ мира.

Мы обратили внимание на этот эпизод потому, что он кажется нехарактерным для «Записок» Дашковой — выламывается из них. Сколько раз читатель будет неприятно поражен высокомерными пассажами, в

которых мемуаристка подчеркнет свою знатность, аристократическое происхождение, древность рода, семейную близость с августейшей фамилией.

«Императрица Елизавета... держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей чести я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатом на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже — великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны, когда она была очень стеснена в средствах».

При этом мемуаристка «забыла» упомянуть имя матери, поскольку имелись сомнения: не из купцов ли та? Зато на первый план вышел род отца. «Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода»^[6].

Беда в том, что особой знатностью до середины XVIII века Воронцовы не отличались. Аристократией с выслуженным, а не родовым титулом они стали только со времен Елизаветы Петровны. В XVI столетии это была старинная дворянская семья с крепкими корнями, числившаяся, как тогда говорили, «по московскому списку»^[7]. При Иване Грозном ее представители получали высокие чины: окольничего и боярина. Во время Ливонской войны упоминался воевода Семен Воронцов. Однако уже в первой четверти XVII века отпрыски Воронцовых служили то стряпчими, то стрелецкими полковниками, и к началу XVIII века род, как тогда говорили, захудал. Илларион Гаврилович — отец будущего канцлера — занимал чин стольника и, имея шестерых наследников, владел только двумя сотнями душ^[8]. Своего сына он пристроил пажом к царевне Елизавете, но двор «веселой Елисавет» при строгой Анне Иоанновне был беден, а саму будущую императрицу считали незаконнорожденной. Так что служить ей большой выгоды не было. Всё изменилось после переворота 1741 года. В ту роковую ночь камер-юнкер Михаил Воронцов стоял на запятках саней своей повелительницы. После коронации он стал камергером, генерал-поручиком, получил звезду Святого Александра Невского, а в 1744 году графское достоинство. Началось стремительное восхождение семьи по золотым ступеням. Вспоминается знаменитое пушкинское замечание о «древних родах», которые восходят «от Петра и Елизаветы», при этом

демонстрируя «спесь герцога Монморанси, первого христианского барона»^{9}. Именно это качество порой проявляла Екатерина Романовна.

Принадлежность к семейству Воронцовых — один из главных жизненных козырей княгини. Не случайно в «Записках» столичные аристократы заслоняют остальную родню. Ведь в прошлом главной героини всё должно быть безупречно. С первых строк Екатерина Романовна упрямо лепила идеальный образ. И здесь высокое происхождение вместе с блестящим образованием станут залогом будущего права княгини вершить судьбу Отечества. Малейшая червоточина — и древо нельзя будет признать добрым. Его плоды начнут горчить.

А потому помощь матери юной цесаревне Елизавете — достойный предмет для рассказа. А вот имя может быть опущено.

То же произойдет и с титулом. Дядя Дашковой стал графом в 1744 году. Отец же — только в 1760-м. Поэтому дочери Романа Илларионовича в первые годы жизни при дворе не имели права называться «графинями», но в угоду сильной родне их так именовали. Наша героиня раньше выйдет замуж и сделается княгиней, чем ее батюшка — графом. Тем не менее в письме сыну Павлу по поводу его тайной женитьбы она скажет: «Когда Ваш отец собирался жениться на графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву испросить разрешение на то своей матери»^{10}. Таким образом, Екатерина Романовна задним числом припишет себе графский титул, считая его как бы неотъемлемым свойством рода.

Она будет гордиться чисто семейной близостью с августейшей фамилией. Эта черта ярко проявилась в ее ссоре с фаворитом Екатерины II — А.Д. Ланским. Молодой человек упрекнул княгиню за то, что в редактируемых Академией наук «Санкт-Петербургских ведомостях» после имени императрицы упомянуто только имя Екатерины Романовны. И получил гневную отповедь: «Милостивый государь, как ни велика честь обедать с государыней, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета... бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, то обедала рядом с ней. Следовательно, я вряд ли стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения»^{11}.

Камер-фурьерский журнал — официальный источник, фиксировавший внешнюю жизнь императрицы день за днем, час за часом, — показал, что о «каждой неделе» речь не шла. За 12 лет, с 1747 по 1759 год, когда

Екатерина Воронцова воспитывалась в доме дяди, Елизавета Петровна посещала своего вельможу 16 раз: чуть больше раза в год. Имя девушки за столом не названо^{12}.

Позднее, в «Записках», княгиня специально оговорит, что после возвращения из-за границы в 1782 году и до отставки в 1794-м она дважды в неделю обедала у Екатерины II. И вновь камер-фурьерский журнал покажет иную картину: Дашкова бывала во дворце только по воскресеньям^{13}.

Однако упорство, с которым княгиня настаивала на том, что «мой куверт всегда будет накрыт за этим столом», уже само по себе показательно. Она не забудет записать, что в итальянской опере закрытая ложа императрицы «находилась рядом с нашей». Подобные сведения, старательно собранные и переданные читателю, представлялись нашей героине необычайно важными — приподнимавшими ее над обыденной жизнью, вырывавшими из толпы у подножия трона, ставившими рядом с монархом, превращавшими в наперсницу. Ими пожертвовать она не могла. Приведенные примеры свидетельствуют, что Екатерина Романовна обладала не только развитым честолюбием, но и заметным тщеславием.

«Источник жгучих огорчений»

Девочка родилась 17 марта 1743 года. Позднее она станет убавлять себе год. Этому не стоит удивляться. Многие ее современники путались с точной датой рождения, твердо зная только число и день недели, у Дашковой — четверг.

Сказалась и французская мода называть примерный возраст. Барон А.С. Строганов писал в 1758 году о своей невесте Анне Михайловне Воронцовой, двоюродной сестре нашей героини: «Что же касается до той, которую я люблю, то ей 14 или 15 лет, и ко всем качествам ея ума и красоты нужно присоединить еще и прекрасное воспитание»^[14]. Точно так же и Екатерина Романовна готова была утверждать, что в момент знакомства с будущим мужем ей исполнилось 14 или 15 лет. Тут не было злого умысла. Она просто не знала точно.

Туманом недоговоренностей был покрыт и другой вопрос. Официальным отцом ребенка считался Роман Илларионович (Ларионович, как писали в то время) Воронцов, которому его супруга Марфа Ивановна, урожденная Сурмина, уже подарила троих детей: Александра, Марию, Елизавету — а через год подарит младшего сына Семена. Дочь Екатерина была четвертой. Супруг Марфы Ивановны «отличался разгульностью»^[15], а за ней самой ухаживал молодой дипломат Никита Иванович Панин. Его-то злые языки и называли настоящим отцом ребенка.

Таким образом, тень, лежавшая на младенце, с колыбели определяла его судьбу. Когда Марфа Ивановна скончалась, Роман Илларионович не затребовал сироту домой и не отправил к брату, как других дочерей, в которых был уверен. Малышку оставили у бабушки Федосьи Артемьевны — как бы подчеркивая, что других родных за ней пока не признают. Лишь через два года Екатерину все-таки забрали в Петербург, и то по настоянию дяди, а не по желанию отца^[16].

Растратив значительную долю драгоценностей покойной супруги на любовниц, Роман Илларионович наконец успокоился с английской содержанкой Элизабет Брокет, которую теперь величали Елизаветой Денисьевой^[1].

Более основательный Михаил Илларионович заботился о детях двоюродного брата, как мог. Свою единственную дочь Анну Михайловну и двух племянниц Марию и Елизавету он определил ко двору фрейлинами. Но младшая, Екатерина, не удостоилась этой чести. Возможно, ее обошли

фрейлинским шифром^[2] по той же причине, по которой прежде оставили у бабушки. Не здесь ли корни болезненного честолюбия, в котором часто упрекали княгиню? Того обостренного внимания, которое Екатерина Романовна уделяла своему положению рядом с августейшими особами? Того искреннего гнева, который княгиня испытывала при малейшей, даже мнимой попытке отодвинуть ее в сторону, обойти в наградах, не оценить заслуг, не заплатить за преданность?

«Невинные» впечатления детства порой куда сильнее царапают душу, чем дальнейшие горести, пришедшие к уже закаленному и очерстевшему человеку. Девушку посчитали неудобным определить ко двору. В камер-фурьерских журналах времен Елизаветы Петровны нет упоминаний о Дашковой, хотя страницы пестрят именами ее сестер, кузины, тетки Анны Карловны и, конечно, дяди вице-канцлера. Несколько раз встретится отец — 3 марта 1748 года он будет награжден орденом Святой Анны, а 25 декабря 1755 года станет генерал-поручиком^[17].

Старший брат княгини Александр Романович вспоминал, как часто его возили на представления придворного театра. Вместе с другими отпрысками служивших при дворе особ императрица приглашала Александра на особые детские балы в ее апартаментах. Там танцевало от шестидесяти до восьмидесяти мальчиков и девочек, пока родители ужинали в обществе Елизаветы Петровны^[18]. Дашкова не бывала ни на спектаклях, ни на маленьких праздниках.

Особенно красноречива ситуация со свадьбами — важным придворным действием. 15 февраля 1758 года состоялось венчание камер-юнкера Петра Бутурлина и старшей сестры нашей героини — фрейлины Марии Романовны Воронцовой. А через три дня — камер-юнкера барона Александра Строганова и фрейлины Анны Михайловны Воронцовой. «Ближней девицей» невест в обоих случаях стала Елизавета Романовна, к тому времени уже фаворитка наследника Петра Федоровича. Ее младшая сестра Екатерина ни на одном из торжеств не присутствовала^[19].

Где же она была? Дома за печкой? Такое положение, если и соответствовало действительности, то никак не годилось для мемуаров. И Екатерина Романовна заставляет императрицу часто навещать дом Михаила Илларионовича, милостиво, по-семейному, разговаривать с его младшей племянницей. То есть присваивает внимание августейшей особы.

Имелась еще одна трещина в скорлупе золотого яичка, каким для каждого ребенка должна быть семья. Брак родителей со строго христианской точки зрения не был вполне законным. Молодая ирландская

компаньонка княгини Марта Уилмот (Вильмот) в 1808 году записала историю, которую сама престарелая Екатерина Романовна не захотела включать в мемуары: «Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова. Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна [Иоанновна] приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать Сурминой... бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев^[3] выдала ее замуж за графа Романа Воронцова»^[20].

Почему такой колоритный случай не попал на страницы «Записок»? Ведь он отчасти обелял мадемуазель Сурмину, создавая между ней и аристократическим семейством Воронцовых своего рода трамплин — Роман женился не на купеческой дочке^[4], а на княгине Долгоруковой. Но времена изменились. Если при Анне Иоанновне одного слова государыни было достаточно для расторжения брака, то к началу XIX века уже решительно осуждали женитьбу на разведенной. Тем большему ostracismu подвергся бы союз без формального церковного расторжения предыдущего брака. Вот Екатерина Романовна и промолчала.

Вторичный брак в религиозных семьях вообще считался грехом, тяжесть которого ложилась на детей. Например, Наталья Борисовна Долгорукая (Долгорукова), урожденная Шереметева, дочь фельдмаршала, составляя «своеручные записки»^[21], озвучила именно такой, чисто средневековый взгляд на свою судьбу. Ее отец Борис Петрович после смерти первой жены собирался в монастырь, а вышел от царя Петра I, держа за руку новую нареченную. За нечестье родителей должен был отстрадать их единственный ребенок, и Бог послал Наталье очень короткое счастье с любимым князем Иваном Долгоруким и долгие мытарства, бедность, вдовью долю и, наконец, успокоил в келье Флоровского монастыря в Киеве инокиней Нектарией^[5].

За поколение до нашей героини даже очень образованные представители русской аристократии смотрели на себя и свое место в мире, исходя из строгих православных представлений. Осознание грехов, в том числе и грехов родителей, примиряло людей с собственными страданиями.

Но Екатерина Романовна была уже человеком Нового времени. Личностью, готовой предъявить Богу свой счет обид. Ее смирение — чувство особого рода, она не жила с ним, а долго шла к нему. Впадая то в гордыню, то в отчаяние. Дошла ли?

В «Записках» нет. Но, к счастью, после окончания рукописи Мартой

Уилмот в 1807 году у Екатерины Романовны оставалась еще горсточка лет. Еще несколько последних шагов в полном одиночестве. Как бы ни загораживала героиня мемуаров реальную Дашкову, как бы ни слипалась с ней, порой становясь исследователям дорожке настоящей, есть надежда, что живой человек в нравственном отношении больше персонажа воспоминаний. Всё, что мы можем найти на страницах, — легкие отпечатки его души.

«Ничем не обязана»

Мысль о своей зависимости от близких, видимо, причиняла княгине боль, уязвляла самолюбие. Уже после переворота 1762 года дядя Михаил Илларионович в письмах племянникам сетовал на неблагодарность воспитанницы. Сама Екатерина Романовна с раздражением написала брату, что «ничем не обязана» родне. И получила гневную отповедь молодого дипломата: «Вы благоразумно поступаете, желая уменьшить достоинство благодарности... Всем известны заботы дяди и тетки о Вашем воспитании и об устройстве Вашей судьбы»^[22].

В те времена было принято, чтобы родня, земляки, старые сослуживцы отправляли кого-то из своих многочисленных детей воспитываться в семьи столичных благодетелей. В Москву и Петербург. Там проще было найти педагогов, имелись высшие учебные заведения, молодые люди обзаводились нужными знакомствами, приискивали место будущей службы, а девушки могли кому-нибудь приглануться.

Уже в следующем столетии А.С. Пушкин попробовал воссоздать особый психологический тип — девушки-воспитанницы. Осенью 1829 года в отрывке «Роман в письмах» он вывел героиню Лизу: «Зависимость моего положения была всегда мне тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна воспитывала меня на равне с своею племянницею. Но в ее доме я все же была воспитанница, а ты не можешь вообразить, как много мелких горестей неразлучны с этим званием. Многие должна была я сносить, во многом уступать, многого не видеть, между тем как мое самолюбие прилежно замечало малейший оттенок небрежения. Самое равенство мое с княжною было мне в тягость. Когда являлись мы на бале, одетые одинаково, я досадовала, не видя на ее шее жемчугов. Я чувствовала, что она не носила их для того только, чтоб не отличаться от меня, и эта внимательность уж оскорбляла меня... Сердце мое, от природы нежное, час от часу более ожесточалось. Заметила ли ты, что все девушки, состоящие на правах воспитанниц... обыкновенно бывают или низкие служанки, или несносные причудницы? Последних я уважаю и извиняю от всего сердца».

Даже богатые девушки, попав на воспитание к родным, могли чувствовать себя уязвленными. Маленькой Екатерине казалось, что близкие на самом деле равнодушны к ней, несмотря на внешние проявления заботы, что искренней привязанности в них нет. «С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей, — писала она, — и хотела заинтересовать

собой моих близких, но когда в возрасте тринадцати лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества... При первых признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга... Глубокая меланхолия, размышление над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум... Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно».

Суетность родных, которые услали больного ребенка в деревню, лишь бы не лишиться права посещать двор, очевидна. Елизавета Петровна была очень мнительна: боялась покойников и при малейшем подозрении на нездоровье приказывала отсылать приближенных из резиденции. Поэтому вице-канцлер с супругой действовали в отношении племянницы строго в соответствии с «придворной грамматикой». Но, конечно, не в соответствии с христианскими добродетелями.

Упомянутая в «Записках» корь — первый рубежный момент в развитии личности мемуаристки. Недаром она настаивала, что эта «случайность» «сделала из меня ту женщину, которую я стала впоследствии». То есть читающую и размышляющую над прочитанным. Но не только. Девочка впервые по-настоящему осознала: она одна и никому, в сущности, нет до нее дела.

Беспрерывное ночное чтение подрывало здоровье. Екатерину Романовну осаждали вопросами, не происходит ли ее болезненный вид от сердечной тайны: «Я не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего»^[23].

В «Записках» болезнь и вынужденная «ссылка» в имение под Петербургом относятся к 1756 году, поскольку княгиня сама назвала свой возраст — 13 лет. Но есть основания сдвинуть дату на более позднее время. Дашкова писала: «Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружающим меня равнодушием».

Александр Романович, которого сестра выделяла из всей семьи — «я лишь его одного знала с детства; мы с ним часто виделись, между нами с раннего возраста возникла привязанность», — начал службу в Измайловском полку, а в 1758 году был отправлен дядей в рейтарскую школу Шево-Лежер в Версале. Вице-канцлер выступил одним из деятельнейших сторонников русско-французского союза, и определение его племянника на учебу во Францию стало знаком благодарности Людовика

XV.

Таким образом, описанные Екатериной Романовной события относились не к 1756-му, а к 1758 году. И чувство одиночества, равнодушия родных возникло у девушки не случайно. Оно оказалось спровоцировано февральскими свадьбами сестры и кузины^[6], на которых наша героиня не присутствовала, вероятно, из-за кори.

Возникает вопрос: неужели нельзя было подождать с венчаниями до выздоровления младшей мадемуазель Воронцовой? Но нет, родня посчитала это ненужным. Жених — как раз тот волк, который может убежать в лес. А если Катя не поправится? (По тем временам корь — болезнь опасная, с горячкой.) Тогда придется пережить еще и траур. Между тем императрица Елизавета именно сейчас выделяет деньги на свадьбы — четыре тысячи рублей^[24]. Кто знает, согласится ли она на подобную милость через пару месяцев? Будут ли у нее средства? Ведь идет война с Пруссией.

Эти доводы следует признать весьма «резонабельными», как тогда говорили. Но и ощущение брошенности возникло у нашей героини не на пустом месте. Девушке пора было замуж, а судьба пока не складывалась. Что казалось особенно больно на фоне счастливых сестер — Марии и Анны. Последняя была младше нашей героини на месяц, однако носила фрейлинский шифр, и сама императрица приискала ей партию. Приглядимся к списку предметов, пожалованных Елизаветой Петровной в приданое фрейлинам Воронцовым. Здесь и парчовые юбки с робами, шитые золотой и серебряной нитью, и епанчи на собольем меху, и дорогие ткани: штоф, люстрин, тафта, канель — кровати под балдахинами с позументом, голубые французские обои и занавески в спальню, красное сукно на пол. А сверх того деньги на обзаведение. По отцу и дочери честь. Анна Михайловна получила даров на сумму 25 тысяч 45 рублей 93 копейки. А Мария Романовна вдвое меньше — 11 тысяч 541 рубль 86 копеек^[25].

Когда сама Екатерина Романовна выйдет замуж, высочайших пожалований не будет, ведь она не состояла при дворе. К тому же заболит тетка Анна Карловна, свадьбу придется откладывать и, в конце концов, справить «без малейшего блеска». Эти слова мемуаристки звучат как упрек, но, не зная предыстории со свадьбами сестры и кузины, читатель не догадывается, в чем княгиня обвиняет родных. Однако у девушки были причины негодовать: из-за ее кори никто не стал беспокоиться, а она должна ждать, терпеть и полагаться только на щедрость отца и дяди. Как

оказалось, весьма сомнительную. К ней приданое не придет из августейших рук.

Поэтому-то в «Записках» милостивое отношение Елизаветы Петровны будет подчеркнуто иными средствами. Болезненный вид девушки обеспокоит именно императрицу, и она пришлет к ней Германа Бургава — не простого лейб-медика, а главу целого конклава врачей, служивших при дворе. Последний сделает в целом правильное заключение: физически племянница вице-канцлера здорова, но ее подавленность вызвана «сердечной заботой», то есть психологическим состоянием. Родные кинулись искать предмет тайной страсти. Им и в голову не пришло, что Екатерина Романовна чахнет как раз от отсутствия любви, что чтением она побеждает пустоту, занимает ум, пока сердце свободно.

«Превосходное образование»

К пятнадцати годам в душе Екатерины уже пробуждалось убеждение, что умственно и нравственно она далеко превосходит очаровательных трещоток из окружения императрицы, дам своего круга, да и вообще свой пол. Угрозило же ее родиться женщиной! Ведь она интересовалась совсем неподходящей литературой. «Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало».

Брат нашей героини Александр свидетельствовал, что отец выписал для детей «из Голландии очень хорошо составленную библиотеку», в которую входили сочинения Вольтера, Расина, Корнеля, Буало. «Я обнаружил решительную склонность к чтению, — вспоминал граф, — так что в 12 лет я был знаком с... французскими писателями»^[26]. После отъезда Александра эти сокровища оказались в полном распоряжении его сестры. Частью из них она составит и собственную библиотеку, которую существенно пополнит закупками в лавках Петербурга и Москвы.

У дяди тоже имелась библиотека, которую он целиком приобрел в 1753 году во время заграничного путешествия^[27]. Через три года, когда втайне готовилось подписание русско-французского договора, в дом вице-канцлера прибыл в качестве библиотекаря резидент Шарль д'Эон де Бомон, позднее ставший секретарем французского посольства^[28]. Въезжая в Россию, шевалье назвался «писателем и философом», направляющимся в Петербург, чтобы служить у графа Воронцова. Однако, попав на место, д'Эон понял, что его «легенда» терпит крах. Он в панике писал парижскому начальству, что книг в доме Воронцова очень мало и что, отправляясь в Россию библиотекарем, ему, по крайней мере, стоило бы прихватить с собой из Парижа свою библиотеку^[29].

А вот Екатерине Романовне собрание дяди вовсе не казалось бедным. Кто же прав? Истина в том, что «много книг» в понимании петербургской барышни и парижского адвоката, доктора права Сорбоннского университета — разные вещи. Шевалье оставил дома «забитую книгами комнату и еще шесть сундуков». Несколько полок, обнаружившихся у русского вельможи, его не впечатлили.

Однако накопление родовых книжных богатств в императорской России еще только начиналось. Если старшие Воронцовы — Михаил и Роман — покупали за границей уже готовые коллекции, то младшие — Александр, Екатерина и Семен — будут собирать именно библиотеки,

рыться в лавках, просматривать каталоги, искать редкости. Даже оспаривать издания друг у друга. «Что касается книг, то мне оные очень нужны, — писал Семен Воронцов отцу из Вены в 1764 году, — а те, которые в России у меня остались, совсем разорены по милости княгини Дашковой... из шести сот и пятьдесят цельных не найдется»^{30}.

Когда в 1759 году Екатерина Романовна отправится в Москву, она увезет с собой 900 томов, чтобы не скучать. А уже к концу века ее московская библиотека составит четыре с половиной тысячи книг на шести языках, опись которых будет простираться на 50 страниц^{31}.

Вкус к интеллектуальному пиршеству был привит детям в доме, где сами хозяева еще не слишком понимали, чем книги отличаются от обоев, но покорялись иностранной моде. Вице-канцлер дал племянникам лучшее из того, что можно было получить в Петербурге. «Мой дядя не жалел денег на учителей, — писала Дашкова, — и мы — по своему времени — получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали; умели рисовать... У нас были изысканные и любезные манеры, и потому немудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего». Только болезнь и одиночество заставили девушку задуматься о вещах более глубоких, чем танцы. «Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно... Ум мой зрел и укреплялся»^{32}.

По инерции многие исследователи продолжают именовать домашнее образование княгини «блестящим». Хотя сама Екатерина Романовна была от него не в восторге. В 1776 году, когда Дашкова находилась в Англии, заместитель министра юстиции Александр Уэддерберн писал своему другу Уильяму Робертсону, ректору Эдинбургского университета, где предстояло воспитываться сыну княгини: «Хотя она не очень хорошо говорит по-английски, она понимает этот язык прекрасно и беседует на нем без особого смущения... Она имеет очень сильный ум, который начала развивать немного поздно и самостоятельно, следовательно, вы должны ожидать встретить в нем некоторую неотделанность»^{33}.

Итак, на ученых мужей в Англии образованность Дашковой производила не то впечатление, на которое, быть может, рассчитывала сама княгиня. Домашнее обучение у дяди — достаточное, если не сказать избыточное для сестер — стало для Екатерины Романовны только первой ступенью, без которой дальнейшее получение знаний невозможно. Особенно если учесть, что любителя просвещения окружало море

иностранных книг, среди которых ручеек русских был почти незаметен. А потому знание европейских языков — ключ от мира.

Знакомство же с родным — интеллектуальная прихоть. Старший брат Екатерины Романовны Александр писал о своем воспитании: «Главное его достоинство в том, что в то время не пренебрегали изучением русского языка». И сетовал далее: «Россия — единственная страна, где пренебрегают изучением родного языка... Те жители Петербурга и Москвы, которые считают себя просвещенными, заботятся и о том, чтоб их дети знали и французский язык, окружают их иностранцами, дают им хорошо стоящих учителей танцев и музыки, но не учат их родному языку, так что это прекрасное и дорогостоящее воспитание ведет к совершенному незнанию Родины и к равнодушию и даже презрению к стране, с которой неразрывно связано наше существование»^[34].

Как видим, незнание родного языка к середине XVIII века уже тяготило молодое поколение образованных русских. После Петра Великого легкомысленные «елизаветинцы» даже не задумывались о том, что их детям может не хватить «жмыха» от европейских знаний. Ведь они сами поглощали эту пищу едва ли не со священным трепетом. Но подступало иное время, и на пороге нового великого царствования многие представители образованного сословия захотели чувствовать себя не только европейцами, но и русскими. То есть знать язык.

Это было жизненно важно для их самоидентификации. «Самостояния», как скажет А.С. Пушкин. Молодые Воронцовы по собственному желанию попытались изучать русский. Екатерина с кузиной Анной до 1756 года брала уроки у надворного советника Федора Дмитриевича Бехтеева. Этих знаний оказалось недостаточно. Выйдя замуж и отправившись в Москву, молодая княгиня попала не просто в «новый мир», а в иную языковую среду. «Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка... Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи»^[35].

Позднее главным трудом Екатерины Романовны стало составление «Словаря Академии Российской». Едва ли она смогла бы руководить этой грандиозной работой, если бы в юности не испытала мук немоты и глухоты иностранца в чужой стране.

«Порвать цепь»

Неудивительно, что молодые Воронцовы рано попробовали свои силы в переводах. Из библиотечных сокровищ, найденных у дяди, Екатерину особенно увлекла книга Клода Адриана Гельвеция «Об уме», вышедшая в 1758 году и уже вскоре сожженная в Париже по приговору парламента. Рассуждения автора о равенстве умственных способностей людей, независимо от происхождения, показались властям слишком смелыми. Сам собой напрашивался вывод, что управлять народом может любой достаточно умный человек. Пожилая княгиня отозвалась о книге с осторожностью: «Я пришла к заключению, что... она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующую все столь разнородные, составляющие государственность»^{36} начала. Но в юности наша героиня была от Гельвеция в восторге и даже взялась переводить его труд. Однако из-за плохого знания русского языка работу пришлось остановить.

Предположение, будто Екатерину Романовну подвело слабое знакомство с философской терминологией, не совсем верно. Подобная лексика еще только развивалась. Переводы стали тем полем, на котором опробовались и укреплялись новые понятия. Русский язык учился выражать мысли, которые на нем прежде не обсуждались. В 1762 году новый император Петр III направит в Сенат кодекс Фридриха II, приказав руководствоваться им при решении дел. Однако переводчики не смогут как следует передать мысли прусского короля из-за бедности русской юридической терминологии^{37}. Понадобятся три с лишним десятилетия развития отечественной законодательной культуры при Екатерине II, чтобы соответствующий словарь вошел в употребление. То же самое происходило и в других областях знания. Много позже, занимаясь «Словарем Академии Российской», Дашкова взвалит на свои плечи работу по поиску в родном языке подходящих понятий. А пока ей просто не хватало слов.

Похожее чувство испытал и второй брат нашей героини — Семен. В 1760 году он обнаружил в библиотеке К.Г. Разумовского одну из популярнейших книг эпохи «О духе законов» Шарля Луи Монтескье. С восторгом Семен писал отцу: «Тут все натуральные права изъяснены. Эта книга всякого человека сделает просвещенным и обо всем генерально даст понятие. Как она ни велика, однако бы я ее перевел в Петербурге, ежели б был сильнее в русском»^{38}. Младшие Воронцовы упирались в одну и ту же проблему — недостаточное знание родного языка.

В доме дяди Екатерина пополняла образование беседами с чужеземцами: «Иностранные артисты, литераторы и министры... должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления; я сравнивала их страны с моей собственной, и во мне пробудилось горячее желание путешествовать»^[39]. Благодаря рассказам гостей вице-канцлера на необычную девушку обратил внимание фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов. «Любовник Елизаветы, желавший прослыть за мецената... узнав, что я страстно люблю читать книги, предложил мне пользоваться всеми литературными новостями, которые постоянно высылались ему из Франции»^[40].

Описывая внимание иностранцев и фаворита, Дашкова как бы компенсировала равнодушие родни. Современные исследователи пришли к любопытному заключению: до событий 1762 года отношение Екатерины к отцу и дяде носило «почтительно-благожелательный», но «односторонний» характер. То есть девушка писала письма, называла себя «покорной и послушной дочерью», а ей почти не отвечали. Она задавалась вопросом: «Не подала ли я невинно Вам причину на меня гневаться?» — и просила «незнаему мою вину отпустить»^[41]. А вот после переворота имя Екатерины Романовны замелькало в письмах родных: с досадой и нескрываемым упреком княгине пеняли, что она мало помогает семье. Неужели для того, чтобы нашу героиню заметили близкие, ей надо было ввязаться в государственный заговор?

«Политика с самых ранних лет особенно интересовала меня»^[42], — признавалась она. У вице-канцлера хранились старинные дипломатические документы, которые тот разрешил племяннице просматривать. Пожилая Дашкова рассказывала Марте Уилмот, что в детстве любила рыться в этих бумагах^[43]. Среди них имелись любопытные материалы, касавшиеся Китая и Персии, было немало сведений о польских делах, о взаимоотношениях с Крымом и Турцией. Документы относились ко временам Петра I и Анны Иоанновны, то есть при внимательном анализе и сопоставлении с современным положением дел могли показать русскую внешнюю политику в развитии. Привыкая обдумывать прочитанное, Екатерина Романовна неизбежно подставляла себя на место того, кому предстоит решать важные вопросы. И в конечном счете — судьбу страны.

Осторожностью мадемуазель Воронцова не отличалась и очень рано обнаружила перед посторонними плоды своих размышлений. Рюльер писал про дом вице-канцлера: «Она видела тут всех иностранных министров, но с

15-ти лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповедания»^{44}. Страсть Дашковой к парламентаризму уже после переворота подтверждал английский посол граф Джон Бекингемшир, приводя ее слова: «Почему моя дурная судьба поместила меня в эту огромную тюрьму?..Почему я не рождена англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этой нации»^{45}.

«Завишу душой и телом»

Слово недалеко отстояло у нашей героини отдела. Недаром позднее в одной из пьес она выведет себя под именем госпожи Решимовой. Действительно, Екатерина Романовна быстро принимала решения и бралась за их исполнение с энтузиазмом, который у более холодных натур вызывал усмешку. Однако сама княгиня, как замечала Кэтрин Уилмот, была лишена чувства юмора и предавала забавным мелочам серьезное значение. Если нельзя сейчас преобразить Россию из «большой тюрьмы» в республику или хотя бы переродиться англичанкой, то можно отказаться от некоторых неприятных обычаев старины и перенять «свободу» британцев от белил и румян.

«В стране, где... женщина не подойдет без румян под окно просить милостыню... 15-летняя девица Воронцова отказалась навсегда повиноваться сему обычаю», — с восхищением писал Рюльер. Это было ново и обращало на Екатерину Романовну недоуменное внимание кавалеров. А среди них мог найтись и суженый. «Однажды, когда князь Дашков... забавлял ее разговором в лестных на своем языке выражениях, она подозвала великого канцлера со словами: “Дядюшка! Князь Дашков мне делает честь своим предложением и просит моей руки”. Собственно говоря, это была правда, и молодой человек, не смея открыть первому в государстве человеку, что сделанное им его племяннице предложение не совсем было такое, на ней женился»^[46].

Конечно, приведенный Рюльером рассказ — сплетня, которую дипломат подобрал на придворном паркете. Сама Екатерина Романовна описала знакомство с мужем иначе: «Мой дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и Царском Селе; легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе». Однажды Екатерина Романовна отправилась навестить заболевшую приятельницу, а домой возвращалась пешком в обществе ее сестры. «Не успели мы пройти нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном». Это и был молодой князь Дашков. «Будучи знаком с Самариной, он вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне».

Дело относилось к июлю 1758 года. Рассказывая о тех давних событиях Марте Уилмот, Дашкова не могла признать, что не поехала в

загородную резиденцию, поскольку не служила при дворе. Отсюда ссылка на «легкое нездоровье». Правда же состояла в том, что девушка осталась в столице практически одна. Вот тут-то и завязался роман.

И не с кем-нибудь, а с Михаилом Ивановичем Дашковым, которого в семье Воронцовых «не принимали, и имя его никогда не произносилось». Причина такого отношения крылась в волокитстве князя. «До женитьбы он был чрезвычайно близок с двумя старшими сестрами своей жены»^{47}, — доносил позднее Бекингемшир. Имелись в виду родная сестра Мария Романовна (в замужестве Бутурлина) и кузина Анна Михайловна (в замужестве Строганова). Сама Дашкова говорит только об одной родственнице.

Уже к двадцатым числам жених попросил руки. Дашкова считала свой брак «Божьим промыслом», которого «нельзя избежать». «Если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди, куда он не имел доступа, — писала она о будущем муже, — мне пришлось бы непременно услышать и неблагоприятные для него отзывы, и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы всякие помыслы о браке с ним... Но не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца»^{48}.

Первый, с кем наша героиня поделилась тревогами, был брат Александр. 20 июля она писала ему: «Через три недели, самое позднее через месяц, я дам тебе знать, получила ли я разрешение (а может быть — отказ) на мой предстоящий брак от моих родных (их нет в городе, поэтому они еще ничего не знают), а я от них завишу душой и телом»^{49}.

Дочь вице-канцлера Анна к этому времени уже отправилась с супругом в дипломатический вояж в Вену. Ничто не мешало родным позаботиться о младшей из девиц. «Наша семья не поставила никаких препятствий нашему браку», — с облегчением заключала Екатерина Романовна. Жених был на семь лет старше невесты, обладал легким, веселым нравом, служил штабс-капитаном в Преображенском полку, к нему тянулись товарищи. Однако, являясь наследником крупного состояния, Михаил Иванович истощил кошелек столичной жизнью. А потому вопрос о приданом не мог считаться второстепенным. «Меня выдали замуж в пятнадцать лет за высоконравственного человека и примерного сына, — настаивала наша героиня, — чья врожденная щедрость, а не обычно свойственная юности расточительность, привела к расстройству его наследства. Чтобы не огорчать мать, он скрывал это от нее, почему я была вынуждена отказывать себе во всех удовольствиях, в том числе в покупке новых книг»^{50}. Значит, сразу после свадьбы молодые

стали жить на деньги жены.

Сравнительно с сестрой и кузиной Екатерина Романовна получила меньше богатств, что отчасти объяснялось финансовой ямой, в которой очутился вице-канцлер. 150 тысяч, посланные из Версаля в качестве благодарности за помощь при заключении Русско-французского союза 1756 года, давно истаяли^{51}. Однако дядя нашей героини добился монополии на вывоз за границу льняного семени. Вместе с братом Романом получил богатые медеплавильные заводы в Приуралье^{52}. В 1756 году вытребовал у Сената исключительное право вывезти в Европу в течение пяти лет 300 тысяч четвертей хлеба^{53}. Ввиду надвигавшейся войны, когда все армии нуждались в продовольствии, а комиссионерами выступили «нейтральные» шведские купцы, выгодность такой монополии трудно переоценить.

Брат вице-канцлера Роман Илларионович тоже не бедствовал. В 1753 году он получил от Сената монополию на торговлю с Персией сроком на 30 лет. Через два года в своем шлиссельбургском селе Мурино открыл водочный завод, дававший из-за близости к столице особенно высокую прибыль. У Екатерины Романовны были все основания считать, что родня купается в золоте. Поэтому ее отзыв, будто отец не дал ей «и рубля»^{54}, эмоционально понятен.

Однако это обыкновенное для Екатерины Романовны преувеличение. 12 февраля 1759 года Роман Илларионович подписал «сговорную», согласно которой вручал дочери приданое на 12 917 рублей и еще 10 тысяч рублей на покупку деревень^{55}. Последнюю цифру отчего-то принято забывать, указывая только первую^{56}.

При сравнении с приданным Марии Романовны, которое оценивалось в 30 тысяч, приданое младшей сестры действительно выглядело небогато. Однако если вспомнить, что фрейлина Мария получила 11,5 тысячи рублей от государыни, окажется, что Роман Илларионович дал обеим дочерям примерно равную сумму — более 20 тысяч каждой. Старшую сестру выделило придворное положение, а не щедрость отца. И вот тут возникает новая любопытная ситуация.

Наша героиня Екатерина Романовна поместила в «Записки» трогательную сцену, в которой императрица, решив отужинать после итальянской оперы у канцлера, обнаружила в его доме молодых и благословила их. Она, «как настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила, что знает нашу тайну... пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет всегда принимать участие в нашей судьбе».

Эту сцену можно правильно понять, только зная перипетии с

приданым. Вместо денежного пожалования, как сестра, Екатерина Романовна получила «материнское благословение» государыни. Поскольку о первом в мемуарах не сказано, то второе выглядит очень весомо. На самом же деле приходилось сожалеть, что к добрым словам Елизавета не прибавила «и рубля».

«Мы много потеряли»

Видимо, Роман Илларионович все-таки считал младшую дочь обойденной, поскольку уже после ее возвращения из Москвы, в 1762 году, предложил молодым, вместо себя, получить земли под Петербургом, которые раздавал приближенным Петр III — «сплошные болота и густые леса». «В то время в Петербурге проживало около сотни крепостных моего мужа, — писала наша героиня, — которые каждый год приходили на заработки; из преданности и благодарности за свое благосостояние они предложили мне, что поработают четыре дня, чтобы выкопать канавы, и затем будут в праздничные дни поочередно продолжать работы... Вскоре более высокая часть земли обсушилась и была готова под постройку дома».

Оценим хозяйственную хватку молодой княгини. Крестьяне находились в столице, зарабатывая деньги на оброк барину, после которого кое-что оставалось и им самим. Дашкова нигде не говорит, что за осушение болотистых земель мужикам скостили выплаты. Напротив, они копали канавы «из благодарности», то есть даром. Далее Екатерина Романовна упомянула, что ездила в имение «через день», стало быть, четырьмя днями и праздниками дело для крепостных не обошлось. Так, летом 1762 года холопы ее мужа оказались одновременно и на барщине, и на оброке, да еще и «предложили» хозяйке такой график сами... Нужно было уметь договориться с ними, и сделал это явно не безалаберный Михаил Иванович.

Тем временем Екатерина Романовна отнюдь не роскошествовала: «Кроме расходов на скромный стол для меня, моей дочери и для прислуги, я ничего не тратила, так как носила еще платья моего приданого»^{57}. Такой подход будет характерен для Дашковой в течение всей жизни. «Умеренность и бережливость заслуживают похвалу, а не пересмешку, — отмечала она в записной книжке в 1791 году. — Честнее и добродетельнее жить малым и проживать только свое, нежели жить роскошно и проживать чужое»^{58}. Через четыре года она выскажется резче: «Всякое излишество есть грех»^{59}. Именно умение хозяйствовать (и не в последнюю очередь заставлять крепостных работать) поможет княгине со временем нажить состояние. «Я в продолжение двадцати лет управляла поместьями своих детей, — напишет она, — и могу с гордостью предъявить доказательства, что за этот период крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее»^{60}.

С подобными убеждениями Дашкова может показаться белой вороной

среди расточительного дворянства века Просвещения. Но чем легкомысленнее вели себя одни, тем старательнее другие противопоставляли новой, занесенной из Франции морали мотовства старинные дедовские добродетели. Бережливость, рачительность, отказ от роскоши были не последними среди нравственных идеалов, которые отстаивали князь М.М. Щербатов, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков. В ряду этих ярких публицистов княгиня со временем займет почетное место.

Сравним ее рассуждения со словами Щербатова, искавшего идеал в допетровской Руси: «Не токмо подданные, но и самые государи наши жизнь вели весьма простую... Почти всякий по состоянию своему без нужды мог своими доходами проживать и иметь все нужное». Однако после реформ Петра вкралась «роскошь», «начали люди наиболее привязываться к государю и к вельможам, яко ко источнику богатства и награждений... стали не роды почтенны, а чины, и заслуги, и выслуги»^[61].

Последнее обличение напрямую касалось таких семейств, как Воронцовы, и молодая княгиня приняла бы его с горячим негодованием. Дело в том, что противостояние между родовой и служилой знатью — скрытое, но от этого не менее упорное — не утихало в течение всего XVIII столетия. Объединив вотчину и поместье, Петр Великий убрал сословную перегородку внутри дворянства. Но живейшая память о ней оставалась. Рубец не зажил даже в следующем веке. А.С. Пушкин в уже упомянутом «Романе в письмах» скажет: «Аристокрация чин[овная] не заменит аристократии родовой».

Древние фамилии, владевшие некогда собственными княжествами, чувствовали себя униженными, когда их ставили в равное положение с теми, кто приобрел знатность и богатство, служа государю и получая от него землю на правах держания. Екатерина Романовна вышла замуж за отпрыска одного из таких исконных родов. Дашковы вели свое происхождение от Рюрика и князей Смоленских. Впоследствии Екатерина Романовна предавала большое значение древности семьи, в которую вошла, и высоте приобретенного титула. Уже знакомый нам Александр Уэддерберн писал Уильяму Робертсону: «У нее есть некоторая доля тщеславия», касающаяся «ее общественного положения. Внимание к ее положению уместно и необходимо»^[62].

Попад в Москву, Екатерина Романовна не просто чувствовала себя «чужестранкой», она представляла петербургскую знать, ту самую, которая «привязалась к государю... яко ко источнику богатства и награждений». Абсолютно недостаточно подчеркивать, что наша героиня происходила из

знатного рода и ее суженый *тоже* был знатен. Молодые оказались знатны *по-разному*, их союз знаменовал соединение старой и новой аристократии.

Екатерина Романовна стояла на пороге нового мира, за которым обличения, подобные щербатовским, перестанут ее задевать. Напротив, встретят в сердце горячий отклик. Еще недавно, читая Гельвеция, ставившего в упрек Петру I сохранение деспотизма, мадемуазель Воронцова напишет на полях: «Он сделал больше того, что позволяло ему время»^{63}. Однако в Москве ее рассуждения о царе-реформаторе примут иной характер: «Мы не только не выиграли, но много потеряли в изменении старинных нравов, кои основывались на правилах Закона (имелся в виду закон религиозный. — О. Е.), на любви к Отечеству и на собственном к себе почитании, как народ сильный, храбрый и отличающий себя от других нравственностью и многими добродетелями»^{64}.

Именно так воспринимали допетровскую Россию многие интеллектуалы второй половины XVIII века. В Первопрестольной умной «чужестранке» предстояло обрести Отечество, располагавшееся не только на карте, но и во времени. Золотой век, «земля Офирская» окажутся в прошлом.

«Новый мир»

В начале мая молодые отбыли в Москву^[7]. «Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала, тем более что она ничем не походила на все то, к чему я привыкла», — вспоминала Дашкова. Через два года, вернувшись в столицу, она испытает род облегчения: «Я была рада... очутиться в прежней обстановке, с детства мне знакомой и столь различной от склада московской жизни, когда я часто становилась в тупик перед некоторыми обычаями»^{65}.

Прежде всего отличался сам дом. В 1743 году мать князя Анастасия Михайловна Дашкова купила на Большой Никитской улице «каменные палаты о двух жильях... с дворовым местом и со всяким деревянным хоромным строением». Через десять лет Дашковы решили расширить владения и прикупили на имя Михаила Ивановича участок земли рядом с двором матери. «Улицы» в петербургском понимании наша героиня не увидела. Напротив дома свекрови на целый квартал тянулась глухая стена Никитского женского монастыря, а само жилище напоминало усадьбу, привольно раскинувшуюся в Белом городе.

Здесь было по-своему богато, но крайне непривычно — ни кабинета, ни библиотеки. Вставали рано, ложились засветло, свято блюли посты и церковные праздники. Вся жизнь проходила на виду, ни малейшей возможности уединиться — вероятно, обитатели Большой Никитской еще не испытывали в этом потребности. А вот молодым, «развращенным» европейскими нравами столицы, пришлось тяжело. «Более двух лет я провела в доме свекрови, — писала Дашкова в 1782 году Екатерине II, — суеверной и властной женщины, которая заставляла нас целые дни проводить в ее комнатах, слушая молитвы. Я даже не могла удалиться к себе, чтобы насладиться чтением, без того, чтобы она не обвинила меня в том, что увожу своего мужа и тем лишаю ее общества сына»^{66}.

О двух годах речь, конечно, не шла. Мая хватило. Уже в июне молодые уехали осматривать имения, а, вернувшись на зиму в Москву, поселились в собственном доме. Однако ощущения от житья со свекровью переданы ярко, внутреннее раздражение не ушло и через 20 лет.

Отъезд за 100 верст от Москвы в имение Троицкое в Серпуховском уезде сильно скрасил Екатерине Романовне жизнь. Наконец она осталась наедине с мужем. В пьесе «Тоисиоков» госпожа Решимова рассказывает о себе: «Как мы чрезмерно друг друга любили, вздумали, что городское

пребывание суетно и препятствует к наслаждению взаимной нашей горячности, поехали в деревню: там, дескать, мы одни будем и беспрепятственно станем друг другом утешаться. Первые пять-шесть дней хорошо шло, друг другу вселенную заменяли; но скоро после заметила, что он, свет, зеваает... Не поехать ли в город? — сказала я. Он тотчас согласился»^[67]. Это почти автобиографическая зарисовка.

В конце октября супруги вернулись в Москву, где для них поднялся двухэтажный особняк на углу Большой Никитской — дом в новом, европейском стиле, с кабинетом, библиотекой, гостиной, мебелью под заказ и клавесином для хозяйки. Хоть под боком у свекрови, но свое гнездо. Именно для того, чтобы свить его, нашей героине пришлось «отказывать себе во всех удовольствиях, в том числе и в покупке новых книг». Без приданого жены Михаил Иванович вряд ли справился бы со строительством. На время пришлось затянуть пояса, зато супруги почти с самого начала зажили *рядом*, а не *вместе* с матерью мужа.

21 февраля 1760 года Екатерина Романовна родила дочь Анастасию, окрещенную в честь старой княгини. Отпуск Михаила Ивановича истекал. В письме отцу чета Дашковых просила выхлопотать для Михаила еще пять месяцев отсрочки, но тут в дело вмешалась политика.

Императрица Елизавета много болела. Семья Воронцовых вместе с некоторыми другими вельможами сделала ставку на наследника Петра Федоровича. Отец нашей героини хотел, чтобы молодой князь Дашков тоже сблизился с царевичем. Случай казался удобным. Петр имел чин подполковника Преображенского полка, где Михаил Иванович служил штабс-капитаном. Формально испрашивать продления отпуска следовало у великого князя, и Роман Илларионович настоял, чтобы зять сам приехал в Петербург. Это была беспроигрышная комбинация. Одной рукой Воронцов придвигал к Петру очередного родича, а другой демонстрировал царевичу силу и обширность клана.

Надо отдать Петру Федоровичу должное, он прекрасно разобрался в ситуации и заявил, что разрешит отпуск только после двухнедельного пребывания князя в Петербурге. Это было необходимо для личного знакомства. Видимо, Михаил Иванович понравился, потому что его пригласили кататься в санях в Ораниенбауме. Старый учитель великого князя Якоб Штелин, теперь исполнявший у него должность библиотекаря, описал эту поездку: 10 января 1761 года «...катанье в 12 маленьких салазках... Частые падения в снег». На следующий день разыгралась вьюга со шквальным ветром, что не помешало параду. 15-го «Утро на охоте за лесными пулярами... Вечером... двор, великий князь и я отправились на

новую ферму... отпраздновать новоселье прекрасным ужином и большим фейерверком в саду»^[68].

Ennui) — дача Елизаветы Воронцовой. Как родственник Михаил Иванович должен был побывать и там. Что бы он ни думал о положении золовки, приходилось терпеть и угождать великому князю. «Частые падения в снег» и «шквальный ветер» не прошли даром. «Он простудился и схватил ангину», — вспоминала Дашкова.

Дорогой в Москву князь выходил из кареты, «только чтобы промочить горло чаем». Он знал, что у жены вот-вот начнутся роды, и не поехал прямо домой, а предпочел свернуть к тетке А.М. Новосильцевой — благо родня жила через улицу. 1 февраля, когда Екатерина Романовна уже почувствовала схватки, ее горничная решила ободрить госпожу радостной вестью. Барин в городе! Молодая женщина испустила крик ужаса, вообразив, будто муж ранен и поэтому не едет домой. «Надо себе представить семнадцатилетнюю безумно влюбленную женщину, с горячей головой, которая не понимала другого счастья, как любить и быть любимой».

Молодой княгине удалось отослать от себя свекровь и вместе с акушеркой пешком отправиться к мужу. Увидев бледного Михаила Ивановича, женщина упала в обморок. «Впоследствии муж приводил меня в ужас рассказом о моем появлении у его постели... Узнав, что роды уже начались, он пришел в ужас и хотел выскочить из постели; моя тетка бегала по комнате, ломая себе руки». Обоих едва удалось унять. Екатерину Романовну в санях отвезли домой. Через час она родила сына, названного в честь отца — Михаилом.

Есть сведения, что в Москве между молодыми не всё было гладко, именно поэтому князь предпочел остановиться у тетки, а не ехать прямо домой^[69]. В «Записках», где герои идеальны, такой информации не место. Но на страницах пьесы, главную героиню которой Дашкова наделила не только своим характером, но и своей биографией, след недовольства остался: «Ну-с, приехали мы в город; и чтобы не подвергнуться той же скуке, стали разъезжать он в сторону, а я в другую. Поутру в лавках, да на гулянье, потом спешу одеться, чтобы обедать в гостях, после в комедию, оттуда на бал; с утренней зарей домой возвратимся так измучены, так устанем... а веселья и удовольствия нимало не находили... Тут я спохватилась»^[70].

Описанная в мемуарах сцена у постели мужа могла быть взрывом, после которого последовало нежное примирение. Поправлялись молодые в

доме у свекрови, лежа в разных комнатах и обмениваясь ласковыми записочками. «Сорок грустных лет прошло после его потери... и ни за какие блага мира я не желала бы опустить воспоминание о самом мелочном обстоятельстве из лучших дней моей жизни».

Через несколько месяцев московский мирок разомкнет руки, и Дашкова вернется в город детства — город одиночества и потерь.

Глава вторая.

ПОДРУГА

«Я была рада повидаться с родными и очутиться в прежней обстановке», — вспоминала Дашкова. Миг приезда в столицу показался ей «сладостным и счастливым», а Петербург, по сравнению со старушкой Москвой, — «великолепным». Екатерина Романовна не могла оторваться от окна, насмотреться на стройные здания вдоль каналов, пыталась разглядеть на улице кого-нибудь из знакомых. «Я была как в лихорадке» и, едва обосновавшись на месте, побежала наносить визиты дяде и отцу. «Но ни того, ни другого не оказалось дома».

Знаменательный момент. Молодая женщина спешит к родным и... ее раскрытые объятия вновь оказываются пустыми. Спустя почти месяц, 15 июля, тетка Анна Карловна напишет дочери в Вену: «Княгиня Катерина Романовна с Москвы приехала и очень худа стала; и дочь с собой привезла»^[71]. А мужа? Создается впечатление, будто Дашкова вернулась одна. Упомянуть бывшего поклонника в письме Анне Михайловне Строгановой мать не стала. А вот то, что кузина-счастливица похудела (значит, по понятиям того времени, подурнела), сочла уместной и даже утешительной вестью.

Было еще одно лицо, свидание с которым обещало принести нашей героине радость. Карета князя и княгини Дашковых въехала в Петербург 28 июня, ровно за год до переворота, возведшего на престол Екатерину II. В тот момент еще ничто не предвещало грядущих событий. Императрица Елизавета была жива, цесаревич Петр Федорович уверенно чувствовал себя в роли наследника, заручившись поддержкой двух влиятельных придворных кланов — Шуваловых и Воронцовых. Его супруга Екатерина Алексеевна вела уединенный образ жизни. Она уже задумывалась о власти, но час пока не пробил.

Племянница вице-канцлера познакомилась с великой княгиней два года назад. В январе 1759-го. Тогда в жизни Екатерины Романовны завязывались два узелка на счастье — ее сердце раскрылось навстречу жениху, а ум — навстречу новой подруге.

«В ту же зиму великий князь... великая княгиня приехали к нам провести вечер и поужинать, — вспоминала Дашкова. — Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием; она была убеждена, что я все

свое время посвящаю чтению и занятиям... Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу... Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленяла меня своим разговором... Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной, промелькнул для меня как одна минута»^{72}.

Самой мемуаристке казалось, что такое внимание объясняется исключительно заинтересованностью гостя в диалоге с умной собеседницей. Однако была и другая сторона монеты. Только что прогремел заговор канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, желавшего отстранить от наследования престола Петра Федоровича и передать корону его сыну Павлу при регентстве матери. Сама Екатерина не пострадала только потому, что успела вовремя сжечь компрометирующие документы.

9 января прошел последний допрос, вскоре Бестужев был разжалован и сослан в деревню. Великая княгиня в один миг оказалась без союзников и покровителей. Приезд великокняжеской четы в дом нового канцлера Михаила Воронцова — сторонника Петра Федоровича — знаменовал собой внешнее примирение, произошедшее между супругами по требованию императрицы. Екатерине было позволено появляться в свете, но только у приятных Елизавете Петровне людей. Приехав к Воронцовым и оказавшись в окружении враждебного клана, великая княгиня чувствовала себя неуютно, с ней почти никто не говорил, и она — чтобы не потерять лицо — была вынуждена целый вечер поддерживать бесконечный диалог с младшей племянницей канцлера.

В час встречи Екатерины со своей будущей подругой царица находилась в точке абсолютного падения: всё надо было начинать сначала. Обаяние, ум, заинтересованность, любезность — вот оружие, которое Екатерина пустила в ход, чтобы завоевать себе сторонников. «Очарование, исходившее от нее, в особенности, когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться»^{73}, — писала Дашкова.

Исследователи часто задаются вопросом, зачем молоденькая и восторженная девица Воронцова понадобилась тридцатилетней, далекой от наивности цесаревне^{74}. Между тем расчет Екатерины был точен. Она обзавелась «своим человеком» во враждебном клане. Великая княгиня уже содержала на жалованье фаворитку мужа Елизавету Романовну Воронцову. Но это не могло считаться надежной гарантией от происков «метрессы» Петра Федоровича. Любовница питала надежду стать законной супругой великого князя. Об их планах следовало знать из первых рук. Сестра претендентки подходила как нельзя лучше. Из мемуаров Дашковой видно, что Петр благоволил к ней, хотя и считал «маленькой дурочкой». В ее присутствии говорилось много такого, над чем полезно было подумать и покинутой жене.

Недаром, рассказывая о своем щекотливом положении после ареста Бестужева, Екатерина обронила: «Что касается великого князя, то я... знала только, что он ждет с нетерпением моей отсылки и что он наверное рассчитывает жениться вторым браком на Елизавете Воронцовой... Ее дядя, вице-канцлер граф Воронцов... узнал планы своего брата, может быть, вернее своих племянников, которые были тогда еще детьми»^{75}. Из этих строк следует: во-первых, что действиями фаворитки руководил отец Роман Илларионович Воронцов; во-вторых, что его брат был об этом осведомлен; в-третьих, что «племянники» — братья и сестры «Романовны» — если и знали, то по молодости лет немного. Стало быть, великая княгиня пыталась разведать, что им известно. А сделать это она могла только через юную тезку.

После возвращения Дашковых из Первопрестольной двум просвещенным дамам предстояло вновь встретиться. Вскоре их дружеские отношения восстановились, что не слишком понравилось Петру Федоровичу. Видимо, он считал, что вся родня фаворитки принадлежит ему, тем более что Екатерина Романовна была его крестной дочерью. Во время первого же посещения Ораниенбаума наследник сказал ей: «Если вы хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней».

Слова великого князя любопытны. Разве мог он запретить молодым занять на время пустующую дачу Романа Воронцова? «Мой отец предложил нам поселиться в его доме, находившемся на полпути между

Петергофом и Ораниенбаумом», — рассказывала Дашкова. Однако усадьба Романа Илларионовича располагалась у Царскосельской дороги, на берегу Фонтанки^{76}. А «между Петергофом и Ораниенбаумом», вернее, в пяти верстах западнее резиденции великого князя, был выстроен очаровательный дворец *Sans Ennui* — Нескучное — преподнесенный Петром Федоровичем фаворитке Елизавете Воронцовой^{77}.

Уже после переворота, упрекая младшую сестру за невнимание к старшей, Александр Воронцов писал: «Она... предложила вам дом, ей тогда подаренный»^{78}. Таким образом, чета Дашковых поселилась в *Sans Ennui* — имении, фактически принадлежавшем наследнику. Требование Петра Федоровича становится понятно: хотите жить у сестры — приезжайте каждый день к моему двору.

Позднее Дашковой неприятно было вспоминать о помощи Елизаветы Романовны, ведь за признанием услуги следовал упрек в неблагодарности. Поэтому в «Записках» упомянут дом отца. Эта аккуратная поправка показывает, насколько внимательно княгиня относилась к фактам, попадавшим в ее мемуары. Она избегала малейшей шероховатости, способной зацепить внимание читателя и вызвать неудобные вопросы.

Столкнувшись с таким построением текста, трудно принять на веру дневниковую запись Марты Уилмот 25 августа 1804 года: «В настоящее время княгиня очень усердно пишет свои “Записки”, и я наблюдаю, с какой быстротой она продвигается вперед. Вот она ведет долгие расчеты со своим старостой, затем пишет полстраницы, потом начнет улаживать ссору между двумя крестьянами, и снова — за перо. Ни на минуту не остановится она, чтобы обдумать, что хочет сказать или лучше построить предложение. Каждое слово ложится на бумагу так же естественно, как ведется обычный разговор»^{79}.

О каком памятнике это сказано? Уж точно не о том, который сейчас знаком читателям. Он носит на себе следы глубокой редактуры, сделанной отнюдь не только ирландской подругой княгини. Марта плохо ориентировалась в русских реалиях полувековой давности, не чувствовала сопряженности мемуаров с целым полем отечественных источников и вряд ли могла понять многозначительные умолчания автора, немало говорящие современному исследователю.

Для внимательного источниковеда «Записки» выглядят так, как если бы из них были изъяты фрагменты, показавшиеся неудобными, а оставшийся текст заново переписан и сглажен, дабы не вызывать лишних вопросов. Предполагает ли это существование более раннего варианта,

ныне утраченного? Был ли он в действительности сожжен мисс Уилмот при отъезде из России, как она сообщала? Или погиб по желанию самой княгини в процессе работы над воспоминаниями? Ответов нет. В настоящий момент мы можем только предположить, где находятся зияющие пустоты, и на свой страх и риск заполнить их информацией из других источников.

«Сок из лимона»

Заметив дружбу двух начитанных женщин, Петр однажды отвел Дашкову в сторону и произнес знаменитую фразу: «Дочь моя, помните, что благоразумнее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон»^[8]. По мнению мемуаристки, эти слова «обнаруживали простоту его ума и доброе сердце».

Живя в Ораниенбауме, на приволье, наследник задавал свои любимые праздники в летних лагерях, где много курили, пили пиво, говорили по-немецки и играли в кампи. Такие развлечения казались Екатерине Романовне глупыми и скучными. «Как это времяпрепровождение отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум!»^[80] — восклицала она.

Раз в неделю Екатерине позволялось навещать царевича Павла, который оставался с бабушкой-императрицей в столице. «В те дни, когда она знала, что я нахожусь в Ораниенбауме, — отмечала Дашкова, — она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и увозила к себе; я с ней проводила остаток вечера. В тех случаях, когда она сама не ездила в Ораниенбаум, она меня извещала об этом письмом, и таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка»^[81].

Сохранились записки будущей императрицы 1761–1762 годов, адресованные подруге. Послания самой Дашковой были сожжены осторожной цесаревной. Публикуя «цидулки» Екатерины, Марта Уилмот заметила, что они чудом «избежали пламени». Однако, зная трепетное отношение Дашковой ко всему, что исходило из рук Екатерины II и указывало на их взаимную близость, легко понять: чудо ни при чем. Княгиня намеренно сохранила 26 записок и предъявила их потомкам.

В короткий период накануне переворота двух женщин связывали самые горячие сердечные чувства. «Для меня так дорого Ваше доброе расположение, что я решительно умираю со скуки, когда Вы оставили меня, — писала Екатерина. — Поистине трудно найти Вам равную». «И сердцем, и головою отдаю Вам полную справедливость». «Как беспредельно я должна любить Вас! Но этого мало; я глубоко уважаю Вас». «Ваша верность и любовь, неоцененная княгиня, глубоко трогают меня, и я почту себя счастливой, если хоть несколько сумею отблагодарить Вас».

«Нельзя не восхищаться Вашим характером». «Из моего сердца никогда не изгладятся эти впечатления»^[82].

Тон Екатерины восторжен, местами даже льстив. Становится ясно, что будущая императрица очень хотела удержать возле себя юную княгиню. Помимо опасной родни подруги, было и другое важное обстоятельство, заставлявшее цесаревну очень дорожить близостью с Дашковой. Вернее — с Дашковыми.

Михаил Иванович служил сначала штабс-капитаном Преображенского полка, затем вице-полковником лейб-гвардии Кирасирского. Шефом последнего являлся великий князь, затем император Петр III. В полк отобрали наиболее преданных офицеров, и тот факт, что среди них высокое место занял зять фаворитки, указывает на доверие, которое государь питал к Дашкову. 28 июня, во время переворота, кирасиры не поддерживали сторонников Екатерины II. «Дело дошло почти до драки между созданным императором лейб-Кирасирским полком, очень ему преданным, и конной гвардией»^[83], — писал датский дипломат Андреас Шумахер. Служивых удалось нейтрализовать, сказав, будто Петр III умер. «Явился кирасирский полк, — рассказывал придворный ювелир Иеремия Позье, — состоявший из трех тысяч самых лучших солдат, которые только имелись в войске... Если бы этот полк остался верен императору, то он мог бы перебить всех солдат, сколько бы их ни было в городе»^[84]. А если бы поддержал заговорщиков? Привлекая на свою сторону вице-полковника кирасир, Екатерина в первую очередь старалась распространить свое влияние на его подчиненных. Успеху помешал отъезд князя Дашкова весной 1762 года послом в Константинополь. Задержись он в столице, и поведение полка могло быть иным.

Записки цесаревны к подруге показывают, как Екатерина незаметно втягивала Дашкова в свой круг, используя самые незначительные поводы: «Передайте князю мой поклон за его приветствие, которое он отдал мне, проходя под моим окном. Ваше обоюдное расположение ко мне вдвойне радует меня». В небольшом автобиографическом отрывке императрица сообщала: «К князю Дашкову же езжали и в дружбе и согласии находились все те, кои потом имели участие в моем восшествии яко то: трое Орловы, пятеро капитаны полку Измайловского и прочие; женат же он был на сестре Елизаветы Воронцовой, любовницы Петра III. Княгиня же Дашкова от самого почти ребячества ко мне оказывала особливую привязанность, но тут находилась еще персона опасная, Семен Романович Воронцов, которого Елизавета Романовна, да по ней и Петр III, чрезвычайно любили»^[85].

В день переворота Семен Воронцов сохранил верность «падению Третьего Петра» и запоздало вспомнил разговоры у сестры: «Вся важность измены... стала мне более понятна... так как я знал кое-какие обстоятельства»^[86]. Подозревая брата подруги, императрица была права, а вот князь Михаил Иванович воспринимался ею как абсолютно преданный человек. Его дом мог стать штаб-квартирой заговорщиков.

Куртуазная любовь

Итак, наша героиня была важна для будущей самодержицы благодаря родне и мужу. А сама по себе? Тут нас ожидает очередное умолчание, которыми так богаты мемуары княгини. Из «Записок» Дашковой создается впечатление, будто она являлась единственной подругой цесаревны, во всяком случае, самой близкой. Этот взгляд начал утверждаться еще при жизни императрицы, и та посчитала нужным опровергнуть его в своих воспоминаниях, рассказав о многолетней дружбе с княжной Марией Яковлевной Долгорукой (в замужестве княгиней Грузинской).

«Никогда женщина не заслуживала большего счастья, чем она, — писала императрица, — это была одна из редких личностей по ее замечательной кротости, чистоте ее нравов и доброте сердца; труднее сказать, какого качества ей не доставало, чем перечислить все ее добродетели; никогда женщина не была так уважаема всеми без исключения... это уважение к ней со временем только возросло бы, если б она не умерла в цвете лет 25-го декабря 1761 года, в самый день кончины императрицы Елисаветы. Я ее искренно оплакивала, ибо не было такого знака дружбы и привязанности, которого бы эта достойная женщина не выказывала мне в течение всей своей жизни, и, если б она дожила до моего восшествия на престол, которого она ожидала с таким нетерпением, она, конечно, заняла бы выдающееся место при мне; это был друг верный, разумный, твердый, мудрый и осторожный. Я никогда не знала женщины, которая соединяла бы в себе такое количество различных достоинств, и если б она была мужчиной, о ней говорили бы восторженно»^[87].

Перед нами развернутое возражение тексту мемуаров Дашковой. Возможно, их ранние, не дошедшие до нас фрагменты попали в руки государыни. А, возможно, благодаря многолетнему общению Екатерина II хорошо знала, как старая подруга «подает себя».

Была ли княгиня знакома с Марией Яковлевной? Неизвестно. Во всяком случае, она не дала ей места на страницах «Записок». Прошлое — для двоих. Остальные — лишние. Не стоит сразу обвинять Дашкову во лжи. Не сама ли цесаревна внушила подруге мысль о ее исключительности? Рюльер писал: «Значительные особы убеждались по тайным с нею связям, что они были бы гораздо важнее во время ее правления... многим показалось, что при ее дворе они вошли бы в особенную к ней милость». Таков был стиль Екатерины. Она у каждого из

сторонников создавала иллюзию преимущественного влияния.

Однако, говоря о коротком периоде дружбы, у нас есть возможность примирить рассказы обеих женщин. Большинство записок относится к царствованию Петра III, когда Мария Яковлевна уже скончалась. Потеряв близкого человека, молодая императрица нуждалась в замене, и Дашкова заняла опустевшее место. Были и «тайные связи», о которых говорил Рюльер.

Внешняя, напускная куртуазность всей жизни в обществе накладывала и на дамскую дружбу особый отпечаток. Дуэт двух просвещенных женщин по незримым законам века должен был имитировать взаимоотношения двух различных полов. Ролевая игра «кавалер и дама» — строгая и сложная постановка, в которой талантливые актрисы могли достигнуть совершенства, а бездарные — погубить свою репутацию.

Если мы внимательно приглядимся к тому, как описана дружба двух Екатерин в мемуарах Дашковой, мы увидим значительные элементы этой игры. После первой же встречи, в январе 1759 года, великая княгиня подарила девице Воронцовой веер, который, упав из ее рук, был поднят собеседницей. «Эту ничтожную вещь княгиня ценила больше, чем все другие подарки, принятые впоследствии от императрицы, — писала Марта Уилмот, — она хотела положить ее с собой в могилу. Отдавая мне этот веер, она промолвила: “Теперь вы поймете, как я люблю вас: я даю вам такую вещь, с которой я не желала расстаться даже в гробу”»^[88].

В контексте светской культуры того времени веер являлся символом женственности, как шпага символизировала мужчину. Оброненный красавицей, он мог быть поднят только ее обожателем, для которого намеренно уронили безделушку. А подаренный веер на любовном языке дорогого стоил. Жест пожилой Дашковой — когда она отдала подарок Марте, в дружбе с которой на склоне лет возродились чувства молодости, — исполнен особого, не всем понятного смысла.

Итак, игра среди роскошных декораций, опасное скольжение на грани дозволенного. Дашкова даже писала «прекрасной даме» стихи:

Природа в свет Тебя стараясь произвести,
Дары свои на Тя едину истощила.
Чтобы наверх Тебя величества возвесть,
И, награждая всем, она нас наградила.

В ответ Екатерина Романовна получала самые лестные благодарности.

«Какие стихи и какая проза! — восхищалась великая княгиня. — ...Я прошу, нет, я умоляю вас не пренебрегать таким редким талантом. Может быть, я не совсем строгий Ваш судья, особенно в настоящем случае, моя милая княгиня, когда Вы... обратили меня в предмет Вашего прекрасного сочинения»^[89].

Современному читателю неясен культурный подтекст, на основании которого «дамой» становилась старшая из подруг, а «кавалером» — младшая. В барочном театре, унаследовавшем многие традиции рыцарского романа, куртуазная любовь переносила ритуал вассальной присяги на взаимоотношения полов и распределяла роли в пользу более высокого социального положения дамы, подчеркнутого еще и возрастом^[90]. Дамой становилась обычно супруга сеньора. Вспомним королеву Гвиневу, жену короля Артура, вассалом которого являлся Ланселот. Отпрысков благородных семейств часто отдавали на воспитание в дом более богатого и знатного родича, который впоследствии и посвящал мальчика в рыцари. Первые подвиги будущий воин совершал в честь жены сюзерена. Поэтому «прекрасная дама» часто была старше своего верного паладина^[91]. И роли в спектакле между Екатериной и Дашковой распределялись в полном соответствии с традицией.

Грань между игрой и жизнью оказывалась очень тонкой. «Я навсегда отдала ей (великой княгине. — О. Е.) свое сердце, — писала княгиня, — однако она имела в нем сильного соперника в лице князя Дашкова»^[92]. И далее: «Я была так привязана к ней, что, за исключением мужа, пожертвовала бы ей решительно всем»^[93].

Опасность

Вслед за обменом книгами и журналами подруги перешли к весьма неосторожному обмену мыслями, которые носили явный отпечаток государственных планов. «Вы ни слова не сказали в последнем письме о моей рукописи, — обижалась Екатерина. — ...Пожалуйста, не кажите ее никому и возвратите мне как можно скорее. То же самое обещаюсь сделать с Вашим сочинением и книгой»^[94].

Дашкова и сама направляла подруге заметки, касавшиеся «общественного блага», правда, не подписывая их, то ли из скромности, то ли из осторожности^[95]. Рюльер писал о младшей племяннице канцлера: «Молодая княгиня всякий день проводила у великой княгини. Обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму, который всегда был предметом их разговора»^[96].

Обмениваясь планами будущих преобразований, наши дамы пустились в весьма опасную игру. Первой свою оплошность заметила Екатерина. В случае ознакомления с ее рукописями третьего заинтересованного лица, например канцлера Воронцова, великой княгине грозили крупные неприятности. Поэтому, допустив неосторожный шаг, Екатерина испугалась.

«Несколько слов о моем писании, — обращалась она к Дашковой. — Послушайте, милая княгиня, я серьезно рассержусь на Вас, если Вы покажите кому-нибудь мою рукопись, исключительно Вам одной доверенную»^[97].

Любопытный Рюльер отметил стремление семьи канцлера сблизить младшую племянницу с наследником: «Сестра ее, любовница великого князя, жила, как солдатка, без всякой пользы для своих родственников... Они вспомнили, что княгиня Дашкова тонкостью и гибкостью своего ума удобно выполнит их надежды... Но так как она делала противное тому, то и была принуждена оставить двор»^[98]. Эти слова Рюльера задела Дашкову, и в комментариях на его книгу она пометила: «Я не ссорилась с сестрой и могла легко руководить ею, а через нее и государем, ежели бы захотела»^[99].

Если в словах Рюльера есть хоть тень правды, великая княгиня должна была очень испугаться перспективы появления у супруга вместо толстой и недалекой «Романовны» амбициозной, целеустремленной фаворитки. Она

постаралась обольстить тезку и возбудить в ее сердце горячую любовь. Ей удалось приковать чувства молодой княгини и превратить последнюю в свою любимицу.

Но дамы явно заигрались. «Я только что возвратилась из манежа и так устала от верховой езды, что трясется рука; едва в состоянии держать перо, — писала цесаревна. — Между пятью и шестью часами я намерена ехать в Катерингоф, где я переоденусь, потому что было бы неблагоприятно в мужском платье ехать по улицам. Я советую вам отправиться туда в своей карете, чтобы не ошибиться в торопливости своего кавалера и явиться в качестве моего любовника»^{[100](#)}.

На английский манер

И что, спрашивается, должны были подумать родные? В вопросах дамских куртуазных игр русский двор, конечно, не имел опыта Версаля или Лондона.

Но и он к середине XVIII века уже прошел кое-какие уроки. В самом начале 1740-х годов трепетная дружба Анны Леопольдовны и ее фрейлины Юлианы Менгден была воспринята окружением императрицы Анны Иоанновны как противоестественная связь. Менгден подвергли медицинскому освидетельствованию с целью обнаружить физические отклонения, но, не найдя их, ограничились разлучением подруг^[101].

Нашим героиням вовсе не хотелось возбуждать неприятные аналогии. Впоследствии, отдаляя пылкую и несдержанную Дашкову, Екатерина, кроме прочего, имела в виду и сохранение своей репутации. Патриархальное общество потерпело бы фаворитов-мужчин, но не фавориток-женщин.

Была у дамских игр и другая сторона. Англomania — любовь к Туманному Альбиону, преклонение перед его экономическими достижениями и фундаментальными законами — заметная часть русской культуры XVIII века. Мода на всё английское: вещи, наряды, книги, журналы, поведение в обществе — являлась выражением более глубокого общественного настроения — моды на британскую свободу. Перенимая английские приемы повязывать галстук или эпистолярные стили, русский дворянин XVIII века заявлял о своих политических пристрастиях. Процесс внешнего копирования затронул и взаимоотношения полов.

Между тем английское протестантское общество накладывало на своих членов весьма жесткие моральные ограничения. Особенно много препятствий возникало для общения между юношами и девушками «из приличных семей». Там же, где сфера контактов между различными полами сведена до минимума, происходит расширение свободы общения внутри одного пола.

Феномен «любви по-английски» был воспринят в России именно как проявление нравственной свободы. Ролевая игра «кавалер и дама» была не для слабонервных простушек, в ней просвещенные подруги, поклонницы либерализма и государственных реформ, преподносили обществу свой вызов. Искусство состояло как раз в том, чтобы не переступить черту и не подать повод к злословию.

Возвращение в Петербург положило конец частым встречам наедине. Однако и в городе Дашковой удалось обратить на себя внимание. «Она поселилась в Петербурге, — писал Рюльер, — ...обнаруживая в дружеских своих разговорах, что и страх эшафота не будет ей никогда преградою... Она гнушалась возвышением своей фамилии, которое основывалось на гибели ее друга»^{102}. Слова дипломата подтверждала и Екатерина II. «Так как она совсем не скрывала этой привязанности, — писала императрица о любви подруги, — ...то вследствие этого она говорила всюду о своих чувствах, что бесконечно вредило ей у ее сестры и даже у Петра III»^{103}.

«Горячность в защиту истины»

Помимо Дашковой у Екатерины были и другие сторонники. Один из них — Григорий Григорьевич Орлов — появился в окружении цесаревны в 1759 году. Позднее, в «Записках» и отзывах княгиня станет говорить о знаменитых братьях как о невежественных солдатах низкого происхождения.

Между тем дети новгородского губернатора генерал-майора Григория Ивановича Орлова обучались в Сухопутном шляхетском корпусе, по окончании которого Григорий был направлен поручиком в армейский пехотный полк. Трижды раненный при Цорндорфе, он не покинул поля боя и даже взял в плен флигель-адъютанта прусского короля графа Фридриха Вильгельма Шверина^{104}. Прибыв в 1759 году в Петербург, Григорий получил должность адъютанта при фельдмаршале П.И. Шувалове.

Орлов и Дашкова появились в окружении великой княгини почти одновременно и предназначались ею для общего дела, хотя и не знали друг о друге. Опять французский дипломат весьма точен: «Сии-то были две тайные связи, которые императрица (Екатерина. — О. Е.) про себя сохраняла, и как они друг другу были неизвестны, то она управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла, надеясь одною возмутить гвардию, а другою восстановить вельмож [против Петра]»^{105}.

То, что молодая княгиня не ведала о гвардейских сторонниках своего обожаемого друга, не значит, будто наследник ни о чем не догадывался. Одна из часто мелькающих на страницах исследований сцена из мемуаров Дашковой говорит об обратном. Во время званого обеда на 80 персон, где присутствовала и Екатерина, великий князь «под влиянием вина и прусской солдатчины» позволил себе угрозу, ясную очень немногим.

Петр «стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы... Он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, дабы другие офицеры не смели ухаживать за... родственницами государыни. Голштинские приспешники не замедлили кивками головы и словами выразить свое одобрение». У Петра под рукой имелись своя «родственница государыни» и свой «гвардейский офицер». Фактически цесаревич угрожал Орлову.

Не понимая этого, Дашкова подтолкнула разговор к крайне опасному вопросу. «Я никогда не слышала, — заявила она, — чтобы взаимная

любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание... Вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением почтенных генералов вашего высочества, все мы... родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась... [Вы] забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива».

Какой гордый тон! Неудивительно, что читатели до сих пор с замиранием сердца следят за спором юной заговорщицы и великого князя. Но где и когда произошла описанная сцена? Согласно мемуарам, после возвращения из Ораниенбаума в Петербург. Однако камер-фурьерский журнал не показывает присутствия Дашковой при большом дворе. Путь туда был закрыт и «голштинским приспешникам» — «почтенным генералам» великого князя, набранным «из прусских унтер-офицеров или немецких сапожников». Зато в загородной резиденции наследника они были желанными гостями. Там же появлялась и чета Дашковых.

Таким образом, описанный случай относился еще к лету и вряд ли мог получить широкий резонанс в городе. Но княгиня настаивала: «Так как среди приглашенных было много гвардейских офицеров... то этот разговор стал вскоре известен всему Петербургу»^{106}.

Последнее спорно. 24 января 1763 года в Москве состоялась свадьба фрейлины Варвары Симоновны Гендриковой (троюродной сестры Дашковой по линии тетушки) и подпоручика Алексея Богдановича Челищева. На церемонии княгиня не присутствовала, хотя были приглашены многие ее родные^{107}. Объяснить случившееся грядущей опалой нельзя — до майского дела Хитрово императрица старалась внешне сохранять видимость дружбы с Дашковой. Скорее всего, Гендрикова и Челищев не знали, что полтора года назад Екатерина Романовна заступалась за них.

Княгиня по обыкновению придала слишком громкий резонанс своей стычке с Петром Федоровичем. В ее глазах это был гражданский поступок. В глазах окружающих — забавное недоразумение, о чем и свидетельствует записка Екатерины, посвященная этому спору: «Я не могу не улыбаться, думая о Вашем доказательстве, очень честном с Вашей стороны, против такого слабого противника. Ваша горячность в защиту истины и справедливости не будет забыта»^{108}.

Ночное randevu

Сгорая от нетерпения, княгиня сама решила разузнать у Екатерины ее планы. «20 декабря, в полночь, я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина... Я нашла ее в постели... “Милая княгиня, — сказала она, — прежде чем Вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь...” Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. “При настоящем порядке вещей, — сказала я, — когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает Вас... Есть ли у Вас какой-нибудь план, какая-нибудь предосторожность для Вашего спасения?” ...Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу... “Я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь...” “В таком случае, — сказала я, — Ваши друзья должны действовать за Вас. Что же касается до меня, я имею довольно сил поставить их всех под Ваше знамя, и на какую жертву я не способна для Вас?.. Если б моя слепая любовь к Вам привела меня даже к эшафоту, Вы не будете его жертвой” ...Она горячо обняла меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг друга»^[109].

Обратим внимание, как пассивно выглядит Екатерина под пером подруги. Зачем нужен храбрый рыцарь, если его возлюбленная начнет сама себя спасать?

Для девятнадцатилетней заговорщицы извинительно видеть себя маленьким фельдмаршалом. Но эти строки принадлежат шестидесятилетней опытной женщине, многократно убеждавшейся, каким деятельным и предусмотрительным политиком была Екатерина II. Тем не менее Дашкова рисует императрицу так, словно 28 июня ее глаза не открылись и она не увидела подругу в окружении плотной толпы *других* заговорщиков. Возможно, мемуаристка захотела тут же зажмуриться и вернуться в уютное время, когда между нею и государыней никто не стоял.

Рассказ о ночном свидании вызывает много вопросов. Прежде всего настораживает точная дата — 20 декабря. Обычно Екатерина Романовна указывала время приблизительно, путалась, переставляла происшествия местами. У нее была слабая память на числа, поэтому при подготовке «Записок» она просила брата Александра Романовича прислать ей нечто вроде хронологической таблицы важнейших событий екатерининского

царствования^{110}.

Появление точной даты в «Записках» должно всегда обращать на себя внимание исследователя. Перед кончиной Елизаветы Петровны вокруг дворца были выставлены удвоенные караулы. Возможно, мемуаристка показывала, что успела проскользнуть к подруге еще до них.

Имелось еще одно событие, которое следовало опередить, иначе честь первого разговора с великой княгиней становилась не безусловной. «При самой кончине Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, — вспоминала Екатерина II, — прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков, тогдашний капитан гвардии, сказать: “Повели, и мы тебя возведем на престол”. Я приказала ему сказать: “Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть ранновременная и не созрелая вещь”»^{111}.

Любопытно: какая из встреч состоялась в реальности? Императрица ни слова не писала о беседе с подругой. Дашкова же молчала о муже. Ему отведена роль восторженного зрителя: «Он... рукоплескал моей энергии... попросив только не подвергать здоровья опасности». Но в одной из записок княгиня советовала Екатерине вступить в переговоры с Михаилом Ивановичем. Та отвечала: «Князь Дашков знает, что я не могу видеть его иначе, как в обществе, и говорить с ним открыто»^{112}.

Гвардейский офицер, ссылаясь на служебную надобность, мог появиться во дворце даже после усиления караулов. А вот приезд его жены был ничем не мотивирован. Кроме того, великая княгиня в тот момент находилась на седьмом месяце беременности, она ждала ребенка от Григория Орлова и, очутившись с подругой в одной постели, обнаружила бы тайну, которую хотела скрыть. Вместо нарисованной картины со слезами и объятиями, была довольно сдержанная записка: «Я сделаю с своей стороны все, что от меня зависит, в пользу Вашего плана; но я думаю, что много я сделать не могу»^{113}.

Итак, отказ? А могло немедленное выступление увенчаться успехом? Секретарь датского посольства Андреас Шумахер сообщал: «За 24 часа до смерти императрицы были поставлены под ружье все гвардейские полки. Закрылись кабаки. По всем улицам рассеялись сильные конные и пешие патрули. На площадях расставлены пикеты, стража при дворце удвоена. Под окнами нового императора разместили многочисленную артиллерию... и лишь по прошествии восьми дней ее убрали»^{114}.

Стало быть, сторонники Петра были готовы к сопротивлению. Екатерина благоразумно отложила решительные действия до того момента,

когда супруг почувствует себя в безопасности.

«Бес, а не женщина»

25 декабря 1761 года императрица Елизавета скончалась. Рождество для жителей Петербурга было печальным. Дашкова писала, что не выходила из комнат «под предлогом нездоровья». На третий день после восшествия на престол Петр III прислал к ней «посла», «желая видеть... вечером во дворце», на завтра приглашение повторилось. Наконец, спустя три дня, «сестра уведомила меня, что государь сердится на мои отказы». Пришлось ехать.

30 декабря, «как только я появилась на глаза императора, он стал говорить со мной о предмете, близком его сердцу, и в таких выражениях, что нельзя было больше сомневаться насчет будущего положения Екатерины... Он намерен был лишить ее трона и возвести на ее место *Романовну*, то есть мою сестру». В заключение Петр сказал княгине: «Придет время, когда вы раскаетесь за всякое невнимание, показанное вашей сестре... вы не иначе можете устроить вашу карьеру в свете, как изучая желанья и стараясь снискать расположение и покровительство ея»^[115].

Создается впечатление, будто молодой государь проявлял большую заинтересованность в сестре фаворитки: трижды посылал за ней, а потом взялся втолковывать, как опрометчиво она ведет себя, избегая его общества. Действительно, в первые месяцы нового царствования Петр поддерживал надежду клана Воронцовых стать альтернативной «семьей императора». Благодаря супруге канцлера — двоюродной сестре покойной государыни — он именовал их родственниками, подчеркивал близость к августейшей фамилии. Роман Илларионович возглавил комиссию по составлению нового Уложения^[116]. Александр Романович был назначен полномочным министром в Лондон. Анна Карловна получила богатые имения на Волге и была пожалована орденом Святой Екатерины 1-й степени (большого креста). Муж Дашковой фактически возглавил лейб-гвардии Кирасирский полк.

Петр явно рассчитывал на родню «Романовны» и старался вернуть заблудшую овечку в стадо. Но вот чтостораживает: камер-фурьерский журнал опять не зафиксировал присутствия Дашковой при дворе^[9]. Только однажды, 23 февраля, по случаю дня рождения императора, она вместе с мужем появится за столом новой государыни в ее внутренних покоях, среди двенадцати приглашенных^[117]. Но не за столом у самого Петра III.

Предложение строить «карьеру в свете», изучая желания «Романовны», должно было оскорбить княгиню. Она сообщала, что постаралась отвлечь государя от разговоров о сестре, подойдя к карточному столу. «Всегда выигрывал император, так как он не брал фишек, и когда проигрывал, то вынимал из кармана империял, чтобы покрыть им пульку». Сыграв одну партию, Дашкова наотрез отказалась участвовать во второй, сказав, что «недостаточно богата, чтобы позволить так обирать себя». «Обыкновенные участники карточных вечеров Петра III... все с удивлением взглянули на меня, — писала наша героиня, — и когда я вырвалась из их круга... произнесли: “Это бес, а не женщина”»^[118]. (В другой редакции: «Вот мужественная женщина!»)

И снова камер-фурьерский журнал разочарует нас, не указав княгиню в числе приглашенных к карточному столу. Неверно полагать, будто младшая сестра фаворитки, известная дружбой с опальной государыней, не считалась значительной персоной, чтобы называть ее среди участников игры. Камер-фурьерский журнал в соответствии со своим назначением фиксировал всех, прибывших ко двору. А карточная игра императора — слишком важное этикетное событие, чтобы пропускать его участников. Приглашение к ней — особая милость, о которой иностранные министры сообщали своим дворам. Оно подчеркивало статус вельможи, его близость к монарху.

Рассказывая о том, как Петр III безуспешно добивался ее участия в следующей пулке, даже предлагал играть «пополам» с ним, Дашкова мыслила в названном русле. Карточный стол был так же важен для нее, как и обеденный. Место за ним — знаковое. Согласно «Запискам», за Екатериной Романовной охотились оба претендента на престол. Одного она отвергала, к другому тянулась. В конечном счете выиграл именно тот, с кем осталась княгиня. Таков подтекст.

А на деле? Если в камер-фурьерском журнале наша героиня не отмечена за карточным столом, стало быть, ее там не было. Она могла услышать историю о жульничестве императора и, как многие мемуаристы, сделать себя участницей интересного эпизода.

Где же в действительности побывала молодая княгиня? «Все придворные и знатные городские дамы, соответственно чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк», — сообщала Екатерина Романовна. Вероятно, «посол» из дворца трижды приглашал Дашкову именно на траурное дежурство. И выговор императора был вызван промедлением княгини встать в печальный караул.

«Как настоящий капрал»

Что в действительности имело место, так это ссора Петра III с мужем Дашковой. «Однажды, в первой половине января, утром, — писала Екатерина Романовна, — в то время как гвардейские роты шли во дворец... императору представилось, что рота, которой командовал князь, не развернулась в должном порядке. Он подбежал к моему мужу, как настоящий капрал, и сделал ему замечание. Князь... ответил с такой горячностью и энергией, что император, который о дуэли имел понятие прусских офицеров, счел себя, по-видимому, в опасности и удалился так же поспешно, как и подбежал»^[119].

В другой редакции сказано: «Дашков... встревоженный выговором, где замешивалась его честь, ответил так энергично и жестко, что Петр немедленно дал ему отставку, по крайней мере, так же поспешно, как возвысил его».

О каком возвышении речь? Это еще одна лакуна в «Записках», поскольку прежде автор ничего не говорил о переходе мужа в лейб-гвардии Кирасирский полк. Иначе встал бы вопрос о неблагодарности за пожалование высокого чина. Нарисована сразу картина отставки вкупе с грубым выговором императора. Здесь уже благодарить не за что.

Вверяя зятю фаворитки Кирасирский полк, молодой император имел в виду укрепление собственной власти. Он не любил гвардейцев, называл их «янычарами», которые только «блокируют столицу». Поэтому, с его точки зрения, было логично вывести из состава старых полков «лучших» солдат, соединить их в особую часть и поручить команду доверенному лицу.

Мы видели, что на первых порах Петр обманулся — Дашков тяготел к другому лагерю. Но после издания Манифеста о вольности дворянства 18 февраля 1762 года князь заколебался в выборе покровителя. Екатерина II рассказывала в мемуарах, что через три недели по кончине Елизаветы Петровны она как обычно направлялась к телу слушать панихиду. В передней ей встретился Дашков, плакавший от радости. На расспросы он отвечал: «Государь достоин, дабы ему воздвигли штатую золотую; он всему дворянству дал вольность»^[120]. Одним указом Петр купил дворянские сердца.

Но император сам всё испортил. Можно сказать, что он *слишком* любил кирасир, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Еще в бытность наследником Петр шефствовал над гвардейскими так

называемыми желтыми кирасирами, которые выказывали ему преданность. В письме прусскому королю 15 мая 1762 года император рассказывал, как цесаревичем слышал от солдат: «Дай Бог, чтобы вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины»^{121}.

Получив корону, Петр предпочитал позировать художникам в форме генерала лейб-гвардии Кирасирского полка. Однако это не значило, что государь во всем был доволен любимым родом войск. Созданная им Воинская комиссия, пришла к выводу, что отечественная кавалерия уступает прусской. Петр III намеревался создать 25 новых полков тяжелой кавалерии. Их предстояло снабдить иным вооружением и переучить на прусский лад. Начинать следовало, конечно, с собственного гвардейского полка, поэтому выговор Дашкову за «неправильный марш» вполне объясним.

Желая подтянуть облевившихся гвардейцев, император налегал на муштру. Досталось и офицерам.

Датский посол Андреас Шумахер писал о государе: «Он обращался с пропускавшими занятия офицерами почти столь же сурово, как и с простыми солдатами. Этих же последних он часто лично наказывал собственной тростью из-за малейших упущений в строю»^{122}. Ему вторила и Екатерина: «Часто случалось, что этот государь ходил смотреть на караул и там бил солдат или зрителей»^{123}. Если рядовых император охаживал тростью, то и на офицеров мог замахнуться. Поэтому в тексте Дашковой не случайно возникает образ дуэли.

Когда, собственно, произошел инцидент? Если в «первой половине января», как указала княгиня, то трудно поверить, что недавно оскорбленный Дашков решил всё простить за Манифест о вольности дворянства и предлагал поставить Петру III «золотую штатую». Вероятно, стычка случилась позднее.

18 февраля Михаил Иванович выказывал преданность государю, а уже 23-го присутствовал на торжественном обеде по случаю его дня рождения, но не за столом императора, а за столом императрицы. При прежнем положении вице-полковника непременно позвали бы к Петру Федоровичу. Однако после открытой ссоры это было невозможно, и Екатерине потребовалась известная смелость, чтобы принять офицера, с которым у государя едва не произошла рукопашная. Поступая так, она бросала мужу вызов и закрепляла князя Дашкова за собой в качестве сторонника. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что ссора случилась между 18-м и 23-м.

Тем временем во дворце разразилась цепь скандалов на любовной

почве. Вероятно, Петру стали приискивать любовниц поговорчивее. 15 февраля французский посол Луи Огюст Бретейль доносил: «Порыв ревности девицы Воронцовой за ужином у великого канцлера послужил причиной для ссоры ее с государем в присутствии многочисленных особ и самой императрицы. Желчность упреков сей девицы вкупе с выпитым вином настолько рассердили императора, что он в два часа ночи велел препроводить ее в дом отца. Пока исполняли сей приказ, к нему опять возвратилась вся нежность его чувствований, и в пять часов все было уже снова спокойно. Однако четыре дня назад случилась еще более жаркая сцена при таких выражениях с обеих сторон, каковые и на наших рынках редко услышишь. Досада императора не проходит».

Причиной послужили весьма болезненные для самолюбия Петра упреки фаворитки. «Со дня своего воцарения император всего один раз видел сына, — продолжал в том же донесении Бретейль. — Многие не усомнятся в том, что, ежели родится у него дитя мужского пола от какой-нибудь любовницы, он непременно женится на ней, а ребенка сделает своим наследником. Однако те выражения, коими публично наградила его девица Воронцова во время их ссоры, весьма успокоительны в сем отношении»^{124}. Мужское достоинство государя было задето.

Обед у канцлера в его дворце между Фонтанкой и Садовой улицей состоялся 14 февраля. Как сообщали «Ведомости», в большом зале был накрыт «великолепный стол на 100 кувертов, да в двух еще покоях: два других, каждый по 40 персон»^{125}. В мемуарах Дашковой есть примечательный фрагмент: княгиня подошла к рассказу, начала его, а потом опустила всё, касавшееся сестры, и заменила инцидент между Петром и «Романовной» на стычку императора с собой лично.

«Государь пожелал ужинать у моего дяди, что было крайне неприятно старику, потому что он едва мог встать с постели; сестра моя, графиня Бутурлина, князь Дашков и я хотели присутствовать за столом. Император приехал около семи часов и просидел в комнате больного канцлера до самого ужина, от которого он был уволен». Сама Дашкова, ее сестра-фаворитка, Мария Бутурлина и Анна Строганова, «чтобы почтить ужин почетного гостя, стали за стулом, или лучше бегали по комнате, что было совершенно во вкусе Петра III, не большого любителя церемоний»^{126}.

Надо полагать, фаворитка не бегала с сестрами по комнате и не стояла за стулом, а как раз сидела возле Петра III, как описал Бретейль. Но Екатерине Романовне трудно было признать, что в определенный момент она оказалась за спиной царской любовницы, вынужденная прислуживать

ей как настоящей монархине.

Выпив, государь, согласно донесению французского посла, поссорился с «Романовной». Эту сцену Дашкова опустила, поставив на ее место другую:

«Я стояла за его (императора. — О. Е.) столом, в то время как он рассказывал австрийскому послу, графу Мерси, и прусскому министру, как в бытность его в Киле, в Голштинии, еще при жизни своего отца, ему поручено было изгнать богемцев из города; он взял эскадрон карабинеров и роту пехоты и в один миг очистил от них город... Я наклонилась над ним (Петром III. — О. Е.) и сказала ему тихо по-русски, что ему не следует рассказывать подобные вещи иностранным министрам и что если в Киле и были нищие цыгане, то их выгнала, вероятно, полиция, а не он, который к тому же был в то время совсем ребенком.

— Вы маленькая дурочка, — ответил он, — и всегда со мной спорите»^{127}.

Анекдот с цыганами-богемцами зафиксирован разными современниками и рассказывался Петром III при разных обстоятельствах^{128}. Возможно, Дашкова сделала себя участницей расхожей сплетни. Но положим, государь повздорил с обеими сестрами в один вечер. Тогда добряку князю Дашкову пришлось расплачиваться за двух несдержанных на язык дам.

«Революция недалеко»

Ссоры между «Романовной» и ее царственным возлюбленным, конечно, не укрепляли положения Воронцовых. В любую минуту фаворитка из-за своей необузданной ревности могла потерять место. На этом фоне и произошла стычка Петра III с князем Дашковым. Он дулся на Елизавету Романовну, а вкупе и на ее родню, увидел плохо маршировавший полк, привязался к зятю фаворитки, оба вспылили, и князь лишился должности.

Происшествием не замедлила бы воспользоваться вывезенная из Голштинии родня императора, чтобы навредить клану Воронцовых. Поэтому семья Дашковой приняла живейшее участие в судьбе Михаила Ивановича. «Мои родители и я, — писала княгиня, — ...решили, что безопаснее всего будет разъединить их [с императором] на некоторое время»^{129}. «Еще не все послы были назначены к иностранным дворам с известием о восшествии на престол Петра III, и я попросила великого канцлера похлопотать о назначении мужа»^{130}.

Здесь, как и во всей истории про ссору, княгиня ни словом не упомянула сестру. Однако в письме Александра Воронцова из Лондона добавлены недостающие сведения: «Вы обязаны своей сестре тем, что муж Ваш был послан в Константинополь»^{131}. Сколько бы ни хлопотал дядя-канцлер, но без согласия государя дело бы не стронулось. После бурной перепалки мир Петра III с «Романовной» восстановился, и добросердечная толстуха попросила за зятя.

«Дашков, получив приказание ехать в Константинополь, тотчас же оставил Петербург»^{132}, — продолжала наша героиня. Последнее утверждение не соответствует истине. Михаил Иванович покинул столицу только в середине весны. В одной из записок молодая императрица благодарила подругу и ее мужа за присланные конфеты, но замечала, что «во время поста сладкое не в ее вкусе». Следовательно, в марте Дашков еще не уехал. А вот к 21 апреля его уже не было в Петербурге: на день рождения императрицы в ее покоях накрыли «большой стол», за которым ни князь, ни княгиня не присутствовали — без супруга выезжать ко двору Екатерина Романовна не могла.

По традиции ей вообще следовало на время удалиться к матери мужа. Но Дашкова не хотела покидать город: «Одна мысль преследовала мое воображение и одушевляла какой-то вдохновенной верой, что революция

недалека». И тут «Романовна», не осведомленная об идеях сестры, повела себя очень простодушно. «Она по Вашему желанию удержала Ваше отправление в Москву», — продолжал Александр Воронцов список обвинений. Стало быть, фаворитка снова похлопотала. Легко представить, как в роковые дни переворота Елизавета упрекала себя за доверчивость.

Задумаемся, почему Дашкова сдвинула время ссоры на середину января? И почему утверждала, что муж уехал немедленно? Согласно одной редакции мемуаров, Екатерина Романовна выступала инициатором отправки князя в Турцию: «Я в особенности настаивала на этом... Я страстно желала, чтобы мой муж был в это время за границей, чтобы в случае, если на меня обрушится несчастье, он не разделял бы его со мной»^{133}. В другой редакции на отъезд Михаила Ивановича уговаривают приятели: «Или остаться в Петербурге и идти против царского гнева... или обречь себя добровольному изгнанию... Друзья советовали решиться на последнее; я со своей стороны, как ни велика была борьба с сердцем, не противоречила их мнению». «Я настаивала» и «я не противоречила» — разные вещи.

Кто же были эти друзья? Их имена отчасти перечислены Екатериной II, когда речь идет о собраниях на квартире Дашкова. Отчасти нашей героиней. Соединив оба списка, получим имена заговорщиков, во главе которых Дашкова позднее увидела себя. Орловы, Рославлевы, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Барятинский, Хитрово. До апреля они находились в контакте с Михаилом Ивановичем. И только после его отъезда наша героиня заменила мужа как хозяйка квартиры, на которой собирались недовольные.

В «Записках» Екатерины Романовны остался намек на реальное время разлуки с супругом. «Я виделась с ними довольно редко, — писала она о друзьях мужа, — и то случайно, до апреля месяца, когда я нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества»^{134}. А что же раньше? Раньше этим был занят Михаил Иванович. Когда он уехал, возникла естественная пауза в отношениях с «друзьями», ведь молодые офицеры не могли посещать княгиню, как прежде посещали своего товарища — это выглядело неприлично.

Сдвигая в мемуарах время ссоры с императором и отъезд мужа из столицы на середину января, наша героиня скрадывала сопричастность супруга к заговору и на очень раннем этапе заменяла его собой во главе «фракции». Перед нами сюжетный ход, отдающий лавры устроительницы мятежа в одни руки.

В любом случае Дашков ждал переворота со дня на день, с недели на неделю, поэтому не спешил покидать Россию: «Князь путешествовал мешкотно, остановился в Москве и проводил свою мать до Троицкого, лежавшего по дороге в Киев, где он находился еще в начале июля»^{[135](#)}.

Глава третья.

ЗАГОВОРЩИЦА

Судьба князя Дашкова трагична — он умер раньше, чем успел показать себя. А то немногое, что собирался сделать, привычно ассоциируется с именем его жены. Присвоение — метод, которым мемуаристы примиряются с прошлым.

А как же слова княгини о грустных годах, проведенных без мужа? Беречь в памяти для себя и рассказывать читателям — разные вещи. Брак Дашковой нельзя назвать в полной мере счастливым. В письме ирландской подруге миссис Кэтрин Гамильтон 1804 года наша героиня признавалась: «Я действительно была добровольной рабой воли своего мужа... Одно самолюбие одушевляло мое сердце — желание беспредельной любви моего мужа... Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты... неверность мужа и грязные пятна на светлой короне Екатерины II».

Вновь имена супруга и императрицы оказались рядом. По отношению к ним Дашкова испытывала близкие чувства: беспредельное обожание и мучительную ревность. «После мужа земным моим идеалом была Екатерина; я с наслаждением и пылкой любовью следила за блистательными успехами ее славы... я действительно, при одной мысли о бесчестии этого царствования, раздражалась, испытывала волнение и душевные бури — и никто не подозревал в этих чувствах... истинного побуждения»^{136}.

«Бесчестье этого царствования» — фаворитизм — любимцы, появлявшиеся у государыни помимо подруги. Именно они воспламеняли бурные инстинкты героини. Значит, речь о ревности.

Михаил Иванович и Екатерина Алексеевна сходным образом провинились перед княгиней. Поэтому их постигло сходное же наказание. Присвоение действий. На полях книги французского памфлетиста Ж. Кастера о перевороте княгиня с гневом пометила: «Не императрица, но я его сделала», «я была во главе заговора»^{137}. То же самое она сказала сестрам Уилмот, когда речь зашла о Петре III, которого мемуаристка, «по ее собственным словам, свергла с трона»^{138}. И продиктовала в воспоминаниях: «Мне принадлежала первая доля в этом перевороте — в низвержении неспособного монарха»^{139}.

«Не надеюсь расплатиться с Вами»

Доказывать, что роль Дашковой в заговоре была иной, чем рассказано на страницах мемуаров, — ломиться в открытую дверь. Гораздо интереснее ответить на вопрос: почему Екатерина II позволяла своему «неоцененному другу» оставаться в заблуждении и до определенного момента даже поддерживала иллюзию? По словам Рюльера, императрица незадолго до переворота посоветовала Орлову сблизиться с княгиней, и та, не подозревая о связи подруги с этим человеком, сама представила его государыне как одного из заговорщиков. «Орлов, сделавшись... настоящим исполнителем предприятия, имел особенную ловкость казаться только сподвижником княгини Дашковой»^{140}.

Следовательно, спектакль был выгоден. До роковой черты августейшая тезка *хотела*, чтобы Дашкова видела в себе главу комплота. А та пошла на поводу, ибо желание государыни совпадало с ее собственным. Когда карты открылись, элементарное самоуважение не позволило Екатерине Романовне гласно признать ошибку. Она испытала жгучее унижение, оттого что была обманута. Другая на ее месте промолчала бы, желая сохранить лицо. Или потребовала объяснений. Наша героиня начала настаивать на реальности иллюзии. И билась отчаянно, до последнего вздоха. «По восшествии на престол она (Екатерина II. — О. Е.) писала польскому королю (Станиславу Понятовскому. — О. Е.)... что я на самом деле не более как честолубивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве».

Императрица действительно оказалась знатоком человеческих душ, подловив подругу на склонности к самообольщению. В качестве номинального руководителя заговора Екатерина Романовна сделала больше, чем сделала бы, считая себя рядовым участником.

В мемуарах есть примечательный рассказ об ограблении: «Через два дня после отъезда князя со мной случилась неприятность. Я оставила при себе немногочисленную прислугу; какие-то матросы, работавшие в Адмиралтействе в Петербурге, взломали окно комнаты, где горничная хранила мое белье, платье и даже деньги... Они унесли все белье, все деньги и шубу, крытую серебряной парчой; благодаря этой шубе воры были впоследствии отысканы, но все-таки я осталась без денег и без белья... Мне тяжело было занимать деньги и этим увеличивать долги моего мужа»^{141}.

Что настораживает в приведенном рассказе? Деньги сами по себе. В феврале 1762 года Петр III заявил о желании ввести ассигнации, но первые бумажные купюры поступили в обращение накануне переворота, так что гвардейцам, принявшим участие в заговоре, жалованье выдали в том числе и новыми «билетами». Многие не знали их цены и, посмотрев, отдавали обратно. В момент грабежа деньги, остававшиеся на руках у княгини, были металлическими. Их нельзя было ни спрятать среди белья, ни хранить в гардеробной — они занимали слишком много места. Хрестоматиен пример М.В. Ломоносова, который получил за оду Елизавете Петровне в подарок 500 рублей, и ему привезли во двор телегу, груженную монетами разного достоинства. Деньги Дашковой должны были занимать сундук, выволочь который и унести через окно, не привлекая внимания домочадцев, соседей, целой улицы, не представляется возможным.

Если учесть, что эпизод с ограблением имеется только в одной редакции, то его следует отнести к вставным. Княгиня сама разрешила Марте Уилмот дополнить мемуары теми случаями, которые она просто рассказывала сестрам. Марта в начале XIX века не знала тонкости с металлическими и бумажными деньгами — у нее на родине давно ходили ассигнации, в современной ей России тоже — и легко предположила, что «билеты» могли лежать среди белья.

Вторая странность — поведение родственников Дашковой. Сестра Елизавета послала княгине полотно, затем рубашки, но не деньги, хотя именно финансовая помощь требовалась в первую очередь. Екатерине Романовне пришлось занимать на стороне, увеличивая долги мужа. Хотя дядя и отец могли просто дать оставшейся в одиночестве женщине некую сумму, чтобы она с дочерью протянула до возвращения князя. Наконец, следовало написать Михаилу Ивановичу — он направлялся к матери в Москву и мог прислать деньги из имений. Ничего этого не произошло.

Все вели себя так, словно у Дашковой украли шубу и белье. Что, вероятно, и отвечало истине. Остальное княгиня понемногу перетаскала подруге. Практически все крупные участники заговора раскошелились. Под предлогом недавнего ограбления княгине проще было занимать у знакомых, вопрос: на что? — отпадал.

Пунктирный след этих событий сохранился в письмах Екатерины, хотя осторожная императрица нигде не произнесла слова «деньги». «Не надеюсь расплатиться с Вами вполне за Вашу постоянную и истинную преданность»^{142}. Разговор в карете на дороге из Петергофа 29 июня, на следующий же день после переворота, затрагивал именно вопрос платы за преданность. «Просите у меня, чего хотите; я не буду покойна, если вы мне

тут же не укажете, что я могу сделать». Екатерина желала «облегчить себя от чувства признательности»^{143}.

Вскоре она отдала долг. 9 августа в «Санкт-Петербургских ведомостях» был опубликован список лиц, пожалованных за участие в перевороте. Дашковой причиталось 24 тысячи рублей^{144}, однако в черновике цифра была иной — 12 тысяч^{145}. К началу августа отношения подруг уже были напряжены: в порыве раздражения императрица, вероятно, обозначила ту сумму, которую взяла у княгини. Характерно поведение нашей героини: она оплатила этими деньгами долги мужа. Те самые, которые увеличила, занимая после кражи.

Кредит

Если бы для переворота было достаточно двенадцати тысяч, подругам удалось бы избежать первых недоразумений. Но требовалось гораздо больше. Очень рачительная, когда дело касалось обыденной жизни — домов, имений, векселей, — Дашкова впадала в словесную высокопарность, едва речь заходила о свершениях на благо отечества. Эту черту подметил Дени Дидро: «Если дело само по себе великое, она терпеть не может, чтоб унижали его какими-нибудь мелкими политическими расчетами»^{146}.

А для Екатерины II скрупулезный расчет лежал в основе любого предприятия. К моменту переворота большинство служащих Петра III уже полгода не получали жалованья^{147}, в этих условиях «материнские благословения» императрицы, передаваемые гвардейцам жожаками заговора, дорогого стоили.

У французских авторов, писавших по горячим следам о «петербургской революции», мелькают сообщения, будто государыня «раздала золото, деньги и драгоценности, которыми обладала»^{148}. Прусский посланник Гольц в конце августа 1762 года доносил Фридриху II, что «Панин давно уже снабжал императрицу суммами, которые были употреблены на подготовку великого события»^{149}, то есть переворота. Кроме того, Екатерине удалось устроить Орлова на должность цалмейстера (казначей) при генерал-фельдцейхмейстере (командующем артиллерией). Так что деньги в артиллерийской кассе тоже не задерживались.

Иностранные авторы не раз упоминали, что и Дашкова во время переворота раздавала гвардейцам деньги, взятые у государыни. Княгиня возражала: «Я не просила и не получала денег от императрицы; тем менее приняла бы я их от французского министра, как то утверждают некоторые писатели. Мне их предлагали и открывали огромный кредит; но я неизменно отвечала, что, с моего ведома и согласия, никакие иностранные деньги... не будут употреблены на поддержание переворота»^{150}.

Все акценты расставлены точно: «с моего ведома и согласия». Княгиня знала, что Екатерина II получила-таки нужную сумму от английских купцов, но подчеркивала, что не несет за это ответственности. Кто и при каких обстоятельствах открывал Екатерине Романовне кредит? И почему назван французский министр?

В Семилетней войне Россия сражалась с Пруссией на стороне Австрии и Франции. Петр III заключил с Фридрихом II мир и даже союз. Вена и Париж дорого бы дали за возвращение Петербурга на театр боевых действий, поэтому оба двора были кровно заинтересованы в свержении императора. Но их посланники не считали Екатерину серьезной претенденткой на престол, поэтому в разной форме ей отказали.

15 марта граф Мерси д'Аржанто доносил в Вену: «Императрица прислала мне секретным путем приятное и обязательное уверение, что если бы она имела хотя малейшую власть, то, конечно, употребила бы ее на сохранение прежней политической системы». То есть на продолжение войны с Фридрихом II. Однако ответа от австрийской стороны не последовало.

С французами получилось интереснее. Бретейль лично симпатизировал императрице. Тем не менее, когда Екатерина обратилась к нему за субсидией, он уклонился. Более того — поспешно уехал из Петербурга, испросив отпуск. 3 июня он вручил канцлеру письмо, сообщавшее об отлучке. И тут его посетил Джованни Микеле Одар, управляющий имениями Екатерины и ее доверенное лицо. Одар намекнул Бретейлю на грядущие перемены, которые могут быть очень выгодны Франции, и попросил финансовой помощи. Бретейль отделался туманными обещаниями.

Накануне отъезда Одар явился вновь. «Императрица, — заявил посланец, — поручила мне доверить вам, что побуждаемая самыми верными своими подданными... она решилась на все, чтобы положить этому конец... Она спрашивает вас, может ли король помочь ей шестьюдесятью тысячами рублей»^{151}.

Бретейль сказал, что ему необходимо получить разрешение монарха, а пока пусть Екатерина напишет расписку^{152}. 15 июня он покинул Петербург, а через несколько дней Одар принес секретарю посольства Беранже письмо императрицы: «Покупка, которую мы хотели сделать, будет, несомненно, сделана, но гораздо дешевле; нет более надобности в других деньгах»^{153}. Это был отказ от сотрудничества.

Перед нами любопытная ситуация: заинтересованные дипломаты уклоняются от помощи императрице. Но готовы открыть свои кошельки перед ее подругой. В приведенном случае можно оценить степень преувеличения, которую допускала Дашкова. Поскольку Одар был рекомендован Екатерине Алексеевне именно ею, она не без оснований считала его своим человеком. А переговоры с ним — переговорами с собой.

Одар приехал в Россию в конце царствования Елизаветы Петровны. По протекции канцлера Воронцова был определен в чине надворного советника в Коммерц-коллегию и в 1761 году подал на рассмотрение два мемуара: один с обзором российской коммерции в целом, другой — о правилах конфискации товаров в случае банкротства. Эти сочинения Одар представил племяннице канцлера Дашковой, о чем свидетельствует сопроводительное письмо^{154}.

Рюльер осмелился называть Одара наперсником Екатерины Романовны, склонившим молодую женщину отдаться Панину, чтобы вовлечь того в заговор. «Она подогревала его страсть, но была непоколебима, полагая среди прочих причин тесную связь, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника. Пьемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и даже пожертвовать [будущим] ребенком»^{155}.

Этот пассаж вызвал волну негодования Дашковой. «В числе иностранцев, прибывших в Россию, — писала она, — был один пьемонтец, по имени Одар, которому покровительствовал канцлер... Я познакомилась с ним; он был образованный, тонкий, хитрый и живой человек уже не первой молодости.

Вскоре он... попросил меня похлопотать, чтобы императрица взяла его в свой штат... Мне удалось уговорить императрицу взять его к себе на службу... Он не был близким мне человеком и не имел на меня никакого влияния; я его даже мало видела, а в последние три недели перед переворотом... не видела ни разу. Я... советов его не спрашивала, и он, конечно, имел бы еще меньше успеха у меня, если бы посмел уговаривать меня отдаться моему дяде, графу Панину»^{156}.

Неясно, почему в опасный момент подготовки заговора племянница канцлера взялась хлопотать перед Екатериной за едва знакомого человека. В записках государыни имя Одара вскользь упомянуто трижды, и всякий раз Екатерина ссылалась на какую-нибудь помеху, препятствовавшую ей заняться делом пьемонтца, пока, наконец, не сдалась: «С голоду он при мне не умрет». В мае 1762 года Одар стал управляющим одного из ее имений.

Характеристика нравственных качеств пьемонтца совпадает у Дашковой и Рюльера. Француз приписывал ему такие слова: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера я готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой»^{157}. Позднее Бретейль утверждал, что заслуги Одара «перед императрицей

были велики, но сам он жадный и наглый проходимец»^{158}.

С.М. Соловьев считал, что императрица использовала Одара для тайных сношений со своими сторонниками^{159}. Во всяком случае, для связи с Дашковой он подходил как нельзя лучше, посещая княгиню без малейших подозрений в качестве старого, всем обязанного ей протеже. Именно через пьемонтца Екатерина Романовна могла получить сведения о контактах с французским послом и о том, что тот фактически потребовал расписки. Тут разразился скандал.

«Объявляю себя лицом посторонним»

Среди записок Екатерины II к подруге есть одна, резко выделяющаяся на фоне других простотой тона и серьезностью автора. Кажется, что мы отогнули краешек занавеса и заглянули за кулисы. Актеры только что смыли грим.

«Не могу представить, кто Вам сообщил такое известие; конечно, было бы трудно найти письма, которые не существовали, еще труднее открыть источники сведений в настоящем случае, в котором я торжественно объявляю себя лицом посторонним. Император прочитал каждое письмо и знает все, что нужно знать: он, разумеется, видит, что все это бред невежества и глупости. Я ничего не понимаю относительно бумаг, найденных у английского консула: скажите мне, что Вы знаете об этом. Если заподозрили в его поступке заднюю мысль, то, разумеется, по внушению врага его, Кейта. Но это не мое дело. Я предаю огню все Ваши письма»^{160}.

Чему посвящен этот документ? Есть польская пословица: если вы не понимаете, о чем идет речь, значит, разговор об очень больших деньгах. Записка Екатерины — об *очень больших деньгах*. И о фактическом провале заговорщиков накануне переворота.

Из первых строк видно, что императрица отрекается от некоего ложного, по ее словам, известия и «несуществующих» писем, о которых неизвестный источник сообщил Дашковой. Источником княгини под рукой Екатерины был Одар. Мерси д'Аржанто и Беранже в донесениях называли его «секретарем» и «опорой заговора». После неудачи с французским послом пьемонтец обратился к представителям английской торговой колонии и, вместо шестидесяти тысяч Бретейля, занял сто тысяч у купца Фельтена^{161}.

Такой заем не мог быть осуществлен без ведома английского торгового консула в Петербурге. Вероятно, последний попросил у Одара нечто вроде письменного обязательства, как прежде сделал Бретейль. Об этом стало известно главе посольства сэру Роберту Кейту, который спровоцировал обыск у консула.

Сам посол считался близким другом семьи Дашковых. «Кейт был в милости у Петра III, — писала наша героиня. — Князь Дашков и я жили на очень короткой ноге с этим почтенным старым джентльменом; он так нежно любил меня, что я как будто в самом деле была его дочерью, — так

он, обыкновенно, называл меня». Екатерина держала в голове эту близость, когда просила подругу разузнать подробнее, что известно о бумагах консула.

Беседы сэра Роберта с Дашковой, судя по ее «Запискам», шли достаточно откровенно: «Однажды... Кейт, заговорив об императоре, заметил, что он начал свое царствование оскорблением народа и, вероятно, кончит его общим презрением... Однажды, навестив английского посланника, я услышала отзыв, что гвардейцы обнаруживают расположение к восстанию, в особенности за Датскую войну. Я спросила Кейта, не возбуждают ли их высшие офицеры. Он сказал, что не думает; генералам и старшим военным чинам нет выгоды возражать против похода, в котором ожидают их отличия»^{162}.

У этого разговора нет окончания. Екатерина Романовна оборвала диалог там, где он соскальзывал на неприятную тему. Иначе пришлось бы распространяться об «иностранных деньгах».

Уже после переворота, 6 июля, прусский министр Бернхард фон Гольц донес в Берлин Фридриху II: «Кейт в начале своего пребывания здесь давал государыне займы, в надежде, что это поможет ему быть главным лицом при перемене правления; впоследствии он увидел, что это ни к чему не привело. Со смерти покойной императрицы к Кейту прибегали еще раз, чтобы получить от него еще некоторое количество денег; но он отказал... Теперь он не может похвалиться, что государыня на него за это не сердится»^{163}.

Кейту действительно нечем было похвастаться. Накануне переворота он не только не дал будущей самодержице денег, но и поставил ее дело под удар, сообщив Петру III о тайных контактах жены с британскими купцами. Бумаги, найденные у английского консула, стали известны императору, но, по-видимому, не содержали ничего серьезного, иначе Екатерина не вывернулась бы. Тем не менее из осторожности она посчитала правильным сжечь письма Дашковой. Ведь та напрямую спрашивала о деле.

Реакция самой княгини показательна: «Когда граф Строганов был сослан в свои поместья, я посоветовала Одару поехать с ним». Значит, Екатерина Романовна, мало знавшая пьемонтца, устроила ему убежище у одного из своих родственников, сторонников императрицы, которого Петр III «загнал на дачу» буквально в канун переворота?

Примерно за месяц до роковой черты почти пресеклись и контакты подруг. «Четыре последние недели ей сообщали лишь минимально возможные сведения, — писала Екатерина II о Дашковой. — ...Только

олухи и могли ввести ее в курс»[{164}](#).

«Озеро нимф»

Сразу после отъезда Михаила Ивановича из столицы княгиня предалась горести. Екатерина Романовна была очень впечатлительной, и душевные страдания могли вызвать у нее лихорадку на нервной почве. Августейшая подруга утешала Дашкову как могла. «Сокрушаюсь, что отъезд нашего посланника опечалил Вас, — писала она. — Мне вдвойне больно за это обстоятельство, потому что Вы знаете, как близко я принимаю все, что до Вас касается». «Я охотно извиняю Вам чувствительность, но берегитесь, милая княгиня, слабости... Эта чувствительность есть доказательство нежного сердца, и я уверена, что Ваш ум поставит ее в приличные границы».

Видимо, в письмах Дашкова жаловалась на привязчивость своего сердца. Потому что в ответ Екатерина возражала: «Я... не согласна с Вами, если Вы думаете, что управлять Вашим сердцем легко. Выбросьте эту мысль из головы». Вряд ли императрице было неприятно преклонение, но она считала своим долгом остановить подругу: «Я ничего не скажу о лестных выражениях Вашего письма, ибо не хочу разочаровывать Вас относительно моих воображаемых совершенств... Вы заслуживаете этой хитрости с моей стороны, уверив себя в качествах, вовсе не свойственных мне». И в другом послании: «Если я сделаюсь избалованной и тщеславной, кого же мне обвинять в том, кроме Вас и Ваших друзей?»

Считая, что Екатерина управляет ее сердцем, княгиня и от подруги требовала полноты чувств. Но главное — пыталась подчинить своей недремлющей заботе, оградить от остального мира стеной ревливой привязанности. Ответные записки императрицы показывают, что Дашкова хотела контролировать ее контакты: «Не беспокойтесь, я не имею никакого сношения с О[тто] С[такельбергом]^[10] ...Я очень хорошо знаю его характер, и разговор наш никогда не заходит далее обыденных предметов»^{165}.

Иногда попытки Дашковой сделаться единственной посредницей вызвали справедливую отповедь: «Если вы найдете мое мнение неуместным и опасным, вспомните, что мои принципы основаны не на общих взглядах и побуждениях, а на довольно верном знании человеческого сердца и характера»^{166}.

Пассаж про «общие взгляды и побуждения» очень любопытен. Накануне переворота княгиня решила теоретически подготовиться к

грядущим событиям: «Я была поглощена выработкой своего плана и чтением всех книг, трактовавших о революциях в различных частях света»^[167]. В библиотеке Екатерины Романовны сохранились издания, с которыми она знакомилась в это время — «Revolutions Romaines», «Revolutions du Portugal», «History of Revolution in Sweden»^[168]. Запугивание себя кровавыми картинами грядущего переворота пагубно сказалось на состоянии княгини. «Румянец сбежал с моих щек, и я худела с каждым днем». Позднее мисс Элизабет Картер, встречавшая Дашкову в Англии в 1770 и 1776 годах, писала подруге: «Могли ли Вы предположить, что женщина, способная сыграть такую роль, имеет очень слабые нервы? Амбицию следует делать из более крепкого материала»^[169].

У императрицы нервы казались канатами. Дашкова объясняла спокойствие подруги тем, что она якобы не знала о надвигавшихся опасностях. «В это время государыня часто писала мне, и, по-видимому, с более спокойным духом, менее встревоженная грядущими обстоятельствами, чем ее друзья, которых ожидания относительно близкой перемены были гораздо серьезнее, чем ее собственные»^[170].

На самом деле «не подозревала» именно Дашкова. Реальный заговор зрел сам по себе, книжные химеры в голове Екатерины Романовны — сами по себе. «Вскоре я схватила простуду, которая чуть не прикончила меня», — писала она. Нервы были ни при чем. Дашкова провалилась в болото.

Вспомним земли, которые отец уговорил княгиню взять у императора и которые осушали мужики-отходники. Участок был обширен: он начинался в четырех верстах от Петербурга и тянулся до Анненгофа и Екатерингофа. «Я через день ездила в свое имение, или, скорее, на мое болото, чтобы в одиночестве записать некоторые мои мысли», — сообщала Екатерина Романовна. В поездках молодую женщину должен был сопровождать кто-то из родных. Эту роль взял на себя ее зять Строганов, женатый на кузине Анне Михайловне. Отношения супругов давно разладились, и не будь граф так некрасив, совместные путешествия с золовкой вызвали бы много подозрений. Но *Magot*^[11] оставался *Magotou*, которому природная неловкость помешала даже спасти спутницу. «Желая погулять по лугу, казавшемуся мне уже обсохшим, я погрузилась в болото по колено. Ноги у меня промокли, и, возвратившись домой, я заболела».

Кирияново, впоследствии великолепно обстроенное на пожалованные Екатериной II деньги, имело для княгини какое-то роковое значение. В 1783 году, еще до возведения загородного дворца, она привезла сюда гостившую подругу миссис Гамильтон. Вход в имение отмечали только деревянные

ворота из нескольких балок. Верхняя упала в ту минуту, когда Дашкова проходила под сводом, и ударила княгиню по голове^{171}. К счастью, без последствий. Ни крови, ни сотрясения мозга. Но, видно, крепко же молились за своих бар мужики, осушавшие местную трясину, если хозяйка дважды чуть не лишилась жизни.

В первый раз императрица страшно рассердилась на Строганова и обещала даже подраться с ним за то, что он водит княгиню по болотам. «Каким образом Вы зашли в озеро нимф? Конечно, я пожурю Вас, если бы не сочувствовала подобным приключениям»^{172}.

Любопытно послание государыни Строганову. Ни слова упрека, зато самые лестные отзывы в адрес его спутницы: «Я так глубоко чувствую ее дружбу, что едва ли можно чувствовать глубже. Я совершенно ей предана, и это единственная дань, которую могу заплатить ей. Понимаете ли Вы?»

А мы? Что именно должен был понять Строганов? Дашкова ездила за город записывать мысли о будущем перевороте. Разговоры молодых людей не могли не касаться положения при дворе. *Magot* не был в числе активных заговорщиков. Его следует назвать сочувствующим. Тем самым «олухом» из письма Понятовскому. Если бы Строганова взяли и допросили, молодой граф смог бы показать только на Дашкову. А ей, в свою очередь, были известны «лишь минимально возможные сведения»^{173}.

Свой круг

Но желание императрицы и реальность совпали далеко не полностью. Дашкова перезнакомилась со всеми «вожаками» заговора, ей представлялось, что она вербует сторонников: «Как только определилась и окрепла моя идея хорошо организованного заговора, я начала думать о результате, присоединяя к моему плану некоторых из тех лиц, которые своим влиянием и авторитетом могли дать вес нашему делу»^{174}.

Первым и самым жирным гусем должен был стать Никита Иванович Панин, воспитатель наследника, родной дядя мужа Екатерины Романовны. Прежде он служил послом в Швеции и считал ее политическое устройство образцом для подражания. По-родственному княгине казалось легко поговорить с вельможей. В одной из редакций сказано, что во время болезни: «...меня посещали мои родные, и между ними и дядя, граф Панин... Я несколько раз решилась заговорить с ним о вероятности низложения с престола Петра III». В другой — посредником между вельможей и заговорщицей на первых порах назван молодой князь Николай Васильевич Репнин, их общий родственник: «Князь Репнин, любимый его племянник... знал меня хорошо; он представил меня нашему общему дяде как женщину строго нравственного характера, восторженного ума, как пламенную патриотку, чуждую личных честолюбивых расчетов».

Впоследствии общение Екатерины Романовны и Никиты Ивановича было настолько плотным, что всякая видимая необходимость в посреднике отпала. «Ему было сорок восемь лет, — описывала Дашкова своего дядю, — он был слаб здоровьем, любил покой, всю свою жизнь провел при дворе, или в должности министра при иностранных дворах, носил роскошный парик с тремя распудренными и позади смотанными узлами, очень изысканно одевался», словом, напоминал «старого куртизана времен Людовика XIV», от души «ненавидел солдатчину и все, что отзывалось кордегардией»^{175}.

В этих словах заметно стремление княгини «состарить» дядю, показать его почтенным, немного смешным и вовсе не пригодным для роли воздыхателя. Дашкову легко понять, если вспомнить, что злые языки называли Панина ее любовником. «Мое знакомство с ним незадолго до революции отнюдь не было коротким, — признавала Екатерина Романовна, — но потом возникла между нами дружба, которая послужила предлогом клеветы для моих врагов»^{176}.

На самом деле в момент переворота Панину исполнилось 44 года. Он считался одним из самых удачливых придворных ловеласов, среди его сердечных побед была и красавица Анна Михайловна Строганова. За 15 лет до описываемых событий, в 1747 году, камер-юнкер Панин приглянулся Елизавете Петровне, но могущественный клан Шуваловых, из которого происходил последний фаворит Иван Иванович Шувалов, почувствовал опасность. Панину удалось фактически скрыться за границей в качестве дипломата.

По замечаниям иностранных послов, Никита Иванович был страстно влюблен в Екатерину Романовну, при этом его особенно пленяли ум, остроумие и обширные государственные планы племянницы. «Панин... имеет и знания, и острый ум, и даже прилежание, когда у него оказывается свободное для дел время после женщин и гастрономических утех, — сообщал в 1763 году английский министр Джон Бекингемшир. — Задушевной его любимицей является княгиня Дашкова. Он говорит о ней с нежностью, видится с ней почти каждую свободную минуту и передает ей важнейшие тайны, с таким беспредельным доверием, какое едва ли следовало бы министру»^{177}.

Перед переворотом, решившись на разговор с Паниным, племянница перечислила ему заговорщиков и сообщила, что среди них нет единого плана. «Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената... Я согласна с вами, что императрица не имеет прав на престол, и по закону следовало бы провозгласить императором ее сына, а государыню объявить регентшей до его совершеннолетия; но вы должны принять во внимание, что из ста человек девяносто девять понимают низложение государя только в смысле полного переворота»^{178}.

Это описание не противоречит собственному рассказу Панина в беседе с его старинным другом датским послом Ассебургом. «Неудовольствие особенно распространилось между солдатами, и гвардия громко роптала... За несколько недель до переворота Панин вынужден был вступить с ними в объяснения и обещать перемену, лишь бы воспрепятствовать немедленному взрыву раздражения»^{179}. Однако в записке дипломата имя Дашковой не упомянуто, главная роль отведена рассказчику — Никите Ивановичу. Знакомый ход.

С.М. Соловьев заметил: «Дашкова постоянно употребляет слово *заговор*, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор»^{180}. Это не совсем верно. *Заговору действий* предшествовал *заговор мнений*. При этом Екатерина Романовна сыграла важную роль

медиатора между гвардейскими заговорщиками и вельможами. Родство с Паниным позволяло ей не привлекать особого внимания. Результат был не совсем во вкусе императрицы. «Мой дядя воображал, что будет царствовать его воспитанник, следуя законам и формам шведской монархии», — писала княгиня.

Но Панин при всей видимой нерешительности был человеком опытным и искусственным в интригах. Во время первого же разговора ему удалось, что называется, «перевербовать» Екатерину Романовну: «Я взяла с моего дяди обещание, что он никому из заговорщиков не обмолвится ни словом о провозглашении императором великого князя... Я обещала ему в свою очередь самой переговорить с ними об этом; меня не могли заподозрить в корысти, вследствие того, что все знали мою искреннюю и непоколебимую привязанность к императрице. Я действительно предложила заговорщикам провозгласить великого князя императором, но Провидению не угодно было, чтобы удался наш самый благоразумный план»^{181}.

Подобная позиция сделала Дашкову ненадежной в глазах основной группы заговорщиков. Императрица очень осторожно упоминала о разногласиях в стане ее сторонников. «Панин хотел, чтобы переворот состоялся в пользу моего сына, — сообщала она Понятовскому, — но они (Орловы. — О. Е.) категорически на это не соглашались»^{182}.

Что касается Дашковой, то в переписке с Екатериной она проявляла такую же шаткость, как и в разговоре с дядей. Это видно из ответа императрицы: «Вы охотно освобождаете меня от обязательства в пользу моего сына; чувствую всю Вашу доброту»^{183}. Значит, каждой из сторон наша героиня говорила то, что от нее хотели услышать. Любопытное поведение для человека, которому «природа отказала в способности притворяться».

Другим важным лицом, участие которого в заговоре было бы желательно, являлся гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Молодые офицеры из группы Дашковой предприняли для сближения с ним немалые усилия. «Два брата Рославлевы, один майор, другой капитан Измайловского полка, и Ласунский, капитан того же полка, имели большое влияние на графа... Я посоветовала им каждый день... говорить ему о слухах, носившихся по Петербургу на счет готовящегося большого заговора и переворота... Когда же наш план созреет полностью, они откроются ему и дадут ему чувствовать, что он... рискует менее, если станет во главе своего полка и будет действовать заодно с ними»^{184}.

Рассказывая о вербовке Панина и Разумовского, княгиня не объясняла, почему были избраны именно эти, а не другие вельможи. Между тем каждый из них уже состоял в заговоре, когда Екатерина Романовна обратилась к ним. Панин вступил в переговоры с императрицей накануне смерти Елизаветы Петровны. А Разумовский участвовал еще в заговоре канцлера А.П. Бестужева-Рюмина 1758 года, то есть был самым старым из сподвижников Екатерины II. Накануне переворота он, без всяких понуканий со стороны других заговорщиков, напечатал в подчиненной ему типографии Академии наук манифест о вступлении Екатерины II на престол.

Таким образом, Дашкова повторно устраивала переговоры, суежилась и составляла планы в уже сложившемся кругу. Но она в любую минуту могла наткнуться на сторонника Петра III, как случилось с Кейтом. Хуже того — на предателя.

Пострадавшие

Принято много говорить об агитационной роли Дашковой. Отчасти из-за того, что никакая другая роль из ее мемуаров как будто не следует. Лучшее высказывание по этому поводу принадлежит историческому писателю XIX века Д.Л. Мордовцеву: «Там, где все иногда зависит от пламенного слова, сказанного в роковой момент, чтобы наэлектризовать массу, ободрить нерешительных, — там экзальтация хорошенькой женщины становится сильнее целого корпуса гренадер»^{185}.

Для подобного вывода есть основания. Екатерина II и Рюльер с редким единодушием признавали, что княгиня много и открыто говорила в пользу императрицы. Эти пламенные призывы вредили ей во мнении Петра III. Таким образом, Дашкова была заметна. Из всех заговорщиков — одна. Она как магнит притягивала недовольных и... внимание сторонников императора.

Княгиня сообщала, что накануне переворота слуги в доме следили за ней. Соглядатаи были приставлены и к Панину. 27 июня не смог отделаться от них Григорий Орлов. «Хвост» сопровождал бежавшую из Петергофа Екатерину II до самых ворот Верхнего парка.

Но раньше всего стали приглядывать именно за неосторожной на язык Дашковой. Ее агитация не прошла даром. Помимо друзей-гвардейцев в мемуарах назван круг лиц, как будто не причастных к заговору, а на деле — оказавшихся высланными из Петербурга незадолго до переворота. Начать следует с мужа...

Другим членом семьи подруги, к которому императрица попыталась найти подход и привлечь на свою сторону, был любимый брат княгини — Александр. В будущем один из крупнейших оппозиционеров, он мог стать в 1762 году участником заговора. Поведение Екатерины в отношении его очень похоже на тактику с Михаилом Ивановичем — лестные замечания, добрые слова, многообещающие намеки. «Я самого выгодного мнения о Вашем старшем брате, — писала она. — Он кажется мне молодым человеком необыкновенной будущности. При том, в его любезном расположении ко мне очень много сходства с его сестрой»^{186}.

Сам Александр Романович вспоминал позднее о Екатерине: «Она старалась быть чрезвычайно любезною в обращении со всеми, в противоположность мужу, который оскорблял всех и каждого. Быть может, она уже тогда питала надежду некогда управлять Россиею»^{187}. Ища

сторонников, императрица широко раскидывала сети. Пример Дашковой убеждал, что даже в семье фаворитки у нее найдутся сочувствующие. Но в середине апреля, как раз тогда, когда, по словам княгини, она «нашла нужным узнать настроение войск и петербургского общества», ее брата Александра назначили полномочным министром в Лондон.

По дороге молодой камергер должен был заехать в Пруссию, чтобы получить устные инструкции от Фридриха II^{188} — унижительная для русского посла деталь. К апрелю отношения Петра III с «Романовной» уже не вызывали у Воронцовых таких радужных надежд, как прежде, и симпатии молодого поколения семьи могли перейти к императрице. Поэтому удаление Александра из Петербурга оказалось очень уместным. Когда совершился переворот, Екатерина II не преминула заверить посла в своем добром расположении: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно Вас. Я с удовольствием читаю Ваши донесения и надеюсь, что Вы будете продолжать вести себя так же похвально»^{189}.

Еще один родственник Дашковой — Николай Васильевич Репнин, будущий известный полководец и крупный масон — находился буквально на пороге заговора. Это был едва ли не первый поверенный, которому Екатерина Романовна открыла свои взгляды. «Он меня понял совершенно», — отмечала княгиня. И познакомил с Паниным, а сам оставался в кругу сочувствующих, не встречаясь с императрицей.

9 июня Петр III устроил обед в честь заключения союза с Пруссией, а вечером еще и ужин в узком кругу. Напившись так, что «его в четыре часа утра вынесли на руках, посадили в карету и увезли домой во дворец», император перед отъездом наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины «и объявил князю Репнину, что назначает его министром-резидентом в Берлин, с тем чтобы он исполнял все приказания прусского короля». Николай Васильевич сообщил об этом княгине в пятом часу утра едва ли не как о крахе заговора: «Все потеряно; ваша сестра получила орден Святой Екатерины, а меня посылают министром и адъютантом прусского короля»^{190}.

Для императрицы генерал-майор Репнин мог стать ценным союзником, так как командовал пехотным полком. Но князь отличился в Семилетней войне, нравился Петру III, часто сопровождал его, и осторожная Екатерина не пошла на сближение сама. А Репнин, как видно, предпочитал, чтобы оба лагеря считали его своим человеком. Государь не обманул надежд, отправив храброго воина полномочным министром к Фридриху II^{191}.

Была ли миссия Репнина случайной? Или император назначал генерал-майора, памятуя о его ненадежном родстве? Князь оказался уже третьим человеком из близкого окружения Дашковой, кого Петр III услав с почетным поручением подальше от Петербурга.

Четвертым изгнанником стал Строганов, которого по наущению жены просто сослали на дачу. 9 июня во время праздничного обеда в честь заключенного с Фридрихом II союза государь, придравшись к жене, назвал ее «дурой». Причем прокричал оскорбление через стол, чтобы слышали все. «Императрица залилась слезами и... попросила дежурного камергера графа Строганова, стоявшего за ее стулом, развлечь ее своим веселым, остроумным разговором»^[192].

Граф, «придворный юморист», скрыв собственное возмущение выходкой государя, пустился шутить, бросая настороженные взгляды на «своих врагов, окружавших императора, в числе которых находилась его жена, конечно, не пропустившая случая представить поступок мужа в дурном свете»^[193]. Все-таки Екатерина Романовна терпеть не могла кухню Анну. Сразу же после обеда Строганову было приказано оставить двор и отправляться на дачу на Каменном острове впредь до нового распоряжения.

Итак, по кругу общения Дашковой наносились точечные удары. Даже последующий арест Пассека, входившего именно в ее фракцию, подтверждал внимание к княгине. Саму молодую даму не трогали, поскольку она напоминала яркий поплавок на глади озера — попавшуюся рыбу снимали с крючка, а Екатерине Романовне предоставляли возможность по-прежнему привлекать потенциальных врагов режима хлесткими рассказами об императоре.

Такую политику трудно назвать непродуманной. Но государыня оказалась умнее сторонников мужа. Она тоже посчитала роль подруги выгодной. К Дашковой устремлялись люди, не слишком важные в заговоре. Их устранили. А настоящий комплот зрел под рукой императрицы. В сущности, Екатерина подставляла теску под удар. Делала ее приманкой для «олухов», одновременно предупреждая серьезных людей держаться подальше. «Екатерина никогда не называла княгине Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами»^[194], — сказано в одной из заметок государыни.

«Разумный план»

Но княгиня не знала об этой хитрости, ее голова была занята составлением планов переворота. И тут нас ждет новая лакуна в мемуарах. Создается впечатление, точно никакого плана не было вовсе. «Наш круг с каждым днем увеличивался численно; но... окончательный и разумный план все еще не созрел... хотя мы и согласились единодушно совершить революцию, когда его величество и войска будут собираться в поход на Данию»^{195}.

По словам княгини, заговорщики никак не могли прийти к общему мнению: обменивались проектами, «которые были то составляемы, то отвергаемы». В беседах с Дидро наша героиня держалась той же линии. Переворот был «делом, сказала она, непонятного порыва, которым все мы бессознательно были увлечены... Все единодушно шли к одной и той же цели; в заговоре было так мало единства, что накануне самой развязки... казалось, не было и вопроса о том, чтобы провозгласить Екатерину императрицей. Ее возвел на престол крик четырех гвардейских офицеров»^{196}.

Мемуары поясняют эту мысль: «За несколько часов до переворота никто из нас не знал, когда и чем кончатся наши планы; в этот день был разрублен гордиев узел, завязанный невежеством, несогласием мнений на счет самых элементарных условий готовящегося великого события, и невидимая рука Провидения привела в исполнение нестройный план, составленный людьми, неподходящими друг другу, недостойными друг друга, непонимающими друг друга... Если бы все главари переворота имели мужество сознаться, какое громадное значение для его успеха имели случайные события, им пришлось бы сойти с очень высокого пьедестала»^{197}.

Интересна не скрытая полемика с Орловыми, а попытка убедить Дидро, будто речи не шло о короне для Екатерины II. Примерно тогда же, в замечаниях на книгу Рюльера княгиня признавалась: «Я не скрывала мыслей относительно того, что императрица должна стать правительницей до совершеннолетия сына». В мемуарах Дашкова не раз назвала подругу «правительницей», а не самодержицей, и поместила обоснование конституционного строя: «Каждый благоразумный человек, знающий, что власть, отданная в руки толпы, слишком порывиста или слишком неповоротлива... не может желать иного правления, кроме ограниченной

монархии с определенными ясными законами»^{198}. Идеи Панина она назвала «наш самый благоразумный план».

Но позиция княгини в момент заговора вовсе не была столь устойчивой, как во время создания мемуаров. «Четыре гвардейских офицера» — это майор и капитан Измайловского полка братья Н.И. и М.И. Рославлевы, измайловец же капитан М.Е. Ласунский и секунд-ротмистр Конногвардейского полка Ф.А. Хитрово, принявшие в 1763 году участие в новом заговоре. На допросе Хитрово заявил о будто бы проведенной Паниным «подписке», «чтобы быть государыне правительницею, и она на это согласилась; а когда пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку капитанам Рославлеву и Ласунскому, то они ей объявили, что на то не согласны, а поздравляют ее самодержавною императрицею и велели солдатам кричать ура»^{199}.

Все перечисленные лица входили во «фракцию» Дашковой. Их она назвала Панину как главных заговорщиков, с ними взялась обсудить предоставление короны цесаревичу. Впоследствии император Павел I очень не любил княгиню. Корни его ненависти не просто лежали в событиях переворота. Когда воспитанник спрашивал графа Никиту Ивановича, почему в роковой день корона досталась не ему — законному наследнику, — а узурпатору, Панин, не кривя душой, мог ответить: моя племянница Дашкова взяла на себя обязательство договориться с гвардейцами, но при провозглашении подчиненные ей офицеры выкрикнули вашу мать самодержицей. Фактически Павел винил княгиню в предательстве.

Можно более или менее уверенно говорить о стратегической цели заговора. Но вопросы тактики остаются открытыми. Иностранные дипломаты приписывали нашей героине самые решительные планы. Секретарь датского посольства Андреас Шумахер сообщал о фракции Дашковой: «Замысел состоял в том, чтобы 2 июня старого стиля, когда император должен был прибыть в Петербург, поджечь крыло нового дворца. В подобных случаях император развивал чрезвычайную деятельность, и пожар должен был заманить его туда. В поднявшейся суматохе главные заговорщики под предлогом спасения императора поспешили бы на место пожара, окружили Петра III, пронзили его ударом в спину и бросили тело в одну из объятых пламенем комнат. После этого следовало объявить тотчас о гибели императора при несчастном случае и провозгласить открыто императрицу правительницею»^{200}.

Рюльер наделял сторонников Дашковой не менее кровавыми планами: «Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено, и гвардии

капитан Пассек лежал бы у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора... Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно, увезти; будет сопротивляться, заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид»^{201}.

Неудивительно, что подобные планы не попали в мемуары княгини. Годом позднее английский посол Бекингемшир нарисовал образ нашей героини, никак не вяжущийся с «Записками»: «Ее идеи невыразимо жестоки и дерзки, первая привела бы с помощью самых ужасных средств к освобождению человечества, а следующая превратила бы всех в ее рабов. Если бы когда-либо обсуждалась участь покойного императора, ее голос неоспоримо осудил бы его, если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это»^{202}.

В мемуарах княгиня опять промолчала там, где начиналось самое любопытное: «Угадав — быть может, раньше всех — возможность низвержения с престола монарха, совершенно неспособного править, я много над этим думала». Иными словами, поняла, что Петра III свергнут, и заранее примкнула к победителю? Иногда Екатерина Романовна допускала очень красноречивые оговорки.

«Талант говорить дурное»

Рюльер помещал Екатерину Романовну в самую гущу гвардейской массы — в казармы. «Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат, — писал француз. — Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба... встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством»^[203].

Конечно, явление княгини в казармах выглядело бы неприлично. Втягиванием в заговор нижних чинов занимались офицеры. Во фракции Дашковой — П.Б. Пассек. Именно ему императрица через подругу вручила собственноручную записку, которая подтверждала товарищам, что капитан говорит от ее имени: «Да будет воля Господа Бога и поручика^[12] Пассека! Я согласна на все, что может быть полезно отечеству».

Похожее письмо имелось и у Орловых: «Смотрите на то, что вам скажет тот, который показывает вам эту записку, так, как будто я говорю вам это. Я согласна на все, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасете меня, а также и себя»^[204]. А вот Екатерине Романовне подобный документ был ни к чему. Она вела опасные разговоры в кругу друзей, знакомых и родни. Здесь ее рассказы о выходках Петра III имели успех.

Девять лет спустя, в феврале 1771 года, священник Британской церкви в Петербурге Джон Глен Кинг, знавший Дашкову по России и встретившийся с ней на дороге в Спа, жаловался английскому послу Джорджу Макартни, что княгиня, «приехав в Лондон», «очернила» его «как могла». «Вы знаете ее характер и талант говорить дурное»^[205], — добавлял пастор.

А мы не знаем. Ведь себя княгиня оценивала «с оттенком восхищения». Из ее текстов создается впечатление, будто она, как дитя, говорила первое, что приходило на ум, и с детской непосредственностью удивлялась обиженностью окружающих ее людей. Но это иллюзия. Касаясь Петра III, Дашкова обронила, что в разговорах с ним «всегда принимала тон балованного, упрямого ребенка». Ключевые слова: «принимала тон». Не та ли роль разыграна и в «Записках»?

Прямота и искренность — разные вещи. За внешним чистосердечием у княгини обнаруживалась определенная цель. Екатерина II подчеркивала, что подруга не сдерживала себя, публично заявляя о пристрастии к императрице: «Вследствие подобного поведения... несколько офицеров, не

имея возможности говорить с Екатериною, обращались к княгине Дашковой, чтобы уверить императрицу в их преданности... считая последнюю более близкой к ней»^[206]. В данном случае декларируемая преданность позволила юной заговорщице выглядеть «более близкой» к государыне и разговаривать с той от лица офицеров. А с ними — от лица царицы.

В начале XIX века Кэтрин Уилмот писала родителям: «Княгине никогда не приходит в голову скрывать от кого-либо свои чувства — можете представить, в каком привилегированном положении она находится. Независимо оттого, приятна правда или нет, княгиня говорит ее всем в глаза»^[207]. Таким поведением Дашкова подчеркивала, что «она первая по званию, положению, уму в любом обществе», и требовала «по дворцовой привычке» «почтительного отношения к себе». Ведь говорить «правду» всякому в лицо и не слышать возражений от нижестоящих — действительно привилегия.

При этом «правда» всегда оказывалась неприятной. «Свобода языка, доходящая до угроз», которая годом позже, во время заговора Хитрово, возмутит императрицу, была для Екатерины Романовны не целью, а средством. Благодаря названному качеству наша героиня решала поставленные задачи^[13]. О Петре III крестница говорила тоже не ложь, а неприятную правду. Хрестоматиен ее отзыв: «Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля — вот, что составляло счастье Петра III... Он как бы намеренно облегчал нам нашу задачу свергнуть его с престола»^[208].

Нет оснований утверждать, будто Дашкова рисовала на императора карикатуру. Дипломатические донесения полны куда более резких отзывов. Так, прусский министр Карл фон Финкенштейн, которому по статусу полагалось симпатизировать Петру Федоровичу, писал: «Не блещет он ни умом, ни характером; ребячлив без меры, говорит без умолку, и разговор его детский, великого Государя не достойный... привержен он решительно делу военному, но знает из одного одни лишь мелочи... Слушает он первого же, кто с доносом к нему является, и доносу верит... Нация его не любит, да при таком поведении любви и ожидать странно»^[209].

А вот слова известного русского ученого А.Т. Болотова — в тот момент полицейского чиновника в Петербурге, часто бывавшего во дворце: «Редко стали уже мы заставлять государя трезвым и в полном уме... а чаще

уже до обеда несколько бутылок аглицкого пива... опорожнившим... Он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда перед иностранными министрами»^{210}.

По страницам мемуаров Дашковой разбросано множество анекдотов про Петра III. Пересказывая их, княгиня осуществляла пропаганду. Однако нас интересуют не только произнесенные слова, но и те, что остались за рамками мемуаров. О чем княгиня умолчала? Прежде всего о реформах императора — пусть неудачных, скомканных, начатых кое-как, но все-таки являвшихся предметом живого обсуждения в обществе.

«Записки» хранят глубокое молчание по поводу Манифеста о вольности дворянства. Названным документом было начато «раскрепощение» русского благородного сословия: дворяне получили право не служить. Одним из вдохновителей манифеста был отец Дашковой — Роман Илларионович. Возможно, княгиня промолчала, чтобы не касаться его имени. Ведь она утверждала, будто ее батюшка при Петре III «был нулем»^{211}.

Однако в умолчании был и идейный подтекст. Манифест выбивал одно из звеньев вековой цепи, сковывавшей престол с дворянством, а дворянство с крепостными. Пока дворянин служил царю, крестьяне служили дворянину, а земля мыслилась как награда за ратный труд. Если барин становился свободен, то отпустить следовало и холопов. Сама Дашкова только с серьезными оговорками соглашалась на возможность освобождения крестьян. В беседе с Дидро в 1770 году она сказала: «Если бы самодержец, разбивая несколько звеньев, связывающих крестьян с помещиком, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой»^{212}.

К тому времени «звенья», соединявшие дворянина с царем, были уже восемь лет как разбиты. Ф.В. Ростопчин не зря писал об уже старой Дашковой: «Она... не хочет убедиться, что изменения и новизны приносятся самим временем»^{213}. Точное выражение. Княгиня не хотела убеждаться. И в мемуарах создала особый мир, свое личное пространство, куда не могло попасть даже упоминание о манифесте.

«Рыдая, как женщина»

Еще в начале июня Дашковой казалось, что переворот «отстоит... несколькими годами вперед». Но события развивались стремительно. Узел противоречий, затянувшийся вокруг августейшей семьи, невозможно было распутать. И нетерпеливый император решил разрубить его. Арестовать ненавистную жену, а официальной любовнице вручить орден Святой Екатерины — как залог ее будущих прав. Иными словами: обнаружить намерения жениться во второй раз.

Ссора с супругой на торжественном обеде 9 июня подтолкнула его к действиям. Вечером Петр, по обыкновению, напился и отдал роковой приказ об аресте, а на «Романовну» возложил красную ленту семейного ордена русских государей. Согласно «Запискам», к Дашковой с известием о награждении сестры прибежал Репнин. Кроме того, княгиня указала, что Петр захмелел на ужине в Летнем дворце. Создается впечатление, что Репнин с места вечеринки явился в дом кузины. Между тем всё происходило под гостеприимной кровлей канцлера, где в тот момент находилась и племянница. Как в классической пьесе, было соблюдено единство времени, места и действия.

Решение арестовать жену — пусть и желанное в течение многих лет — далось Петру III непросто.

Екатерина Алексеевна обладала огромной популярностью в народе, на нее смотрели как «на последнюю надежду». Каждое появление императрицы на улице встречали волной ликования. «Были минуты, когда восклицания толпы раздражались энтузиазмом, — писала она подруге. — ... Я часто провожала покойную императрицу в подобных случаях, но никогда не видела такого выражения народной любви»^{214}.

Сочинялись фольклорные плачи от имени императрицы, в которых покинутая жена жаловалась на мужа и соперницу:

Они думают крепку думушку,
Крепку думушку заединое.
Что хотят они меня срубить-сгубить^{215}.

Безымянным песельникам из толпы вторили и известные авторы, такие как Алексей Ржевский:

Друзья, сошедшись со друзьями,
Залившись горькими слезами,
Вещают: гибнем, что начать?
Пойдем, пойдем Ее спасать^{216}.

В таких условиях императрица, по ее собственному признанию, не слишком боялась ареста^{217}.

А вот Петр III — внешне сильный и всевластный — нуждался в поддержке, в помощи, в преданных людях. Поэтому он отправился в дом канцлера Михаила Воронцова, где чаял найти сторонников. За помощь клана император платил дорогую цену: брал «Романовну» в жены. Воронцовы становились новой августейшей семьей.

Однако были и недовольные — немецкая родня государя, привезенная им из Голштинии. «В тот самый вечер, когда возложена была на графиню Екатерининская лента, — вспоминала государыня, — [Петр III] приказал адъютанту своему, князю Барятинскому, арестовать императрицу в ее покоях». Испуганный Барятинский поспешил к принцу Георгу Голштинскому, дяде государя, рассказал ему, в чем дело, а тот, в свою очередь, «побежал к императору, бросился перед ним на колени и насилу уговорил отменить приказание»^{218}.

А вот как происшествие описано у Дашковой. В рассказе нет ни сестры, ни екатерининской ленты, зато показана ссора с принцем Георгом. «Император посетил еще раз моего дядю, государственного канцлера, в сопровождении обоих Голштинских принцев и обычной свиты... Каково было мое удивление, когда я узнала, что государь и его дядя принц Георгий, как настоящие прусские офицеры, из-за различия мнений в разговоре обнажили шпаги и уже собирались было драться, но старый барон Корф... бросился на колени перед ними и, рыдая, как женщина, объявил, что он не позволит им драться, пока они не проткнут шпагой его тело»^{219}.

Сцена, описанная Дашковой, очень любопытно расположена в мемуарах. Сразу после рассказа об отъезде мужа из Петербурга «в феврале месяце» княгиня поместила историю с оскорблением императрицы во время торжественного обеда, но не назвала даты^[14], а следом вставила эпизод с посещением Петром III дома канцлера, подчеркивая, что дядя был еще болен и лежал^{220}. Таким образом, все события сдвигаются к зиме.

Следует помнить, что внутри «Записок» существует свой хронотоп, не совпадающий с реальным. Пожилая Дашкова могла кое-что забыть, а

могла, напротив, рассказывать именно так, как события выстроились в ее голове. После истории со шпагами она, «не теряя времени, старалась утвердить в надлежащих принципах друзей мужа». А после случая с лентой Святой Екатерины «решила открыться графу Панину». При этом мемуаристка не пояснила, что имелся в виду один и тот же вечер в доме канцлера, состоявшийся после 9 июня.

Отнеся первые разговоры с будущими мятежниками к зиме, княгиня «вращала» себя в заговор на раннем этапе. В реальности ее активность относилась к последним девятнадцати дням до переворота. Что совпадает с обидным отзывом Екатерины II в письме Понятовскому.

Глава четвертая.

ТРИУМФ

Наступил «день трепета и счастья», как сама Екатерина Романовна назвала петербургскую «революцию». «Ей все кажется, что она живет в 1762 году»^{221}, — много позже заметил язвительный Ф.В. Ростопчин. Вернее было бы сказать: в 28 июня 1762 года. Переворот отбросил длинный солнечный луч на всю «темную и бедную жизнь»^{222} княгини. После страхов и волнений сердце Дашковой осыпало золотой пылью. А уже на следующий день — 29-го — в него ворвались чувства обиды и обмана. Наша героиня перестала ощущать себя *единственной*.

Летний сочельник

У каждого праздника есть свой канун. 28 июня, ставшее при Екатерине II официальным торжеством, родилось из страха и паники, едва прикрытой лихорадочным возбуждением. Заговорщики рассчитывали на другое число — 4 июля, — когда император намеревался покинуть столицу и отправиться в поход против Дании. Как вдруг во фракции Дашковой произошел провал.

Был арестован Петр Богданович Пассек. Императрица не зря опасалась молодости и неопытности подруги: связанные с той офицеры действовали наименее умело. Среди солдат распространился слух, будто «Матушка» уже арестована, и они начали донимать командиров: «Пойдем, пойдем ее спасать». 26 июня капитаны Пассек и Бредихин посетили Дашкову, чтобы узнать последние известия от государыни. Они пожаловались, что им трудно сдерживать служивых, чья горячность может разоблачить заговор.

«Я поняла, что эти господа слегка трусят, — писала княгиня, — и, желая доказать, что не боюсь разделить с ними опасность, попросила их передать солдатам от моего имени, что я только что получила известие от императрицы, которая спокойно живет себе в Петергофе, и что советую им держать себя смирно, так как минута действовать не будет упущена»^{223}. «Пассек и Бредихин немедленно отправились в казармы с моим поручением»^{224}.

Будучи на деле посредницей между императрицей и некоторыми офицерами, Екатерина Романовна чувствовала себя командиром. Отдавала приказы, распоряжалась нижними чинами и, судя по «Запискам», свято верила, что солдаты видят в ней главу заговора: «Их офицерам стоило большого труда их удержать, и им это, пожалуй, не удалось бы, если бы я не разрешила им сказать солдатам, что государыня жива-здорова».

Однако Дашкова сама нуждалась в посредниках, способных говорить с рядовыми. Получалось что-то вроде испорченного телефона. Неудивительно, что гвардейцы мало цены давали подобным заверениям. Для них княгиня была товаркой «Матушки» — не более. Поэтому увещевания Пассека, де успокойтесь, «та, за которую нам следует собою пожертвовать, находится вовсе не в такой беде, как вам наговорили, и мы сегодня имели о том известие», — не произвели впечатления. Один недоверчивый капрал направился со своими страхами к поручику П.И.

Измайлову, который, на беду, не состоял в заговоре. Тот донес майору П.П. Воейкову, последний — полковнику Ф.И. Ушакову. Сообщение направили императору в Ораниенбаум, а пока, от греха подальше, посадили избличенного Пассека под арест.

Вскоре после переворота княгиня писала старому знакомцу своего дяди-канцлера русскому послу в Варшаве графу Г. Кейзерлингу: «Император... почел это извещение безделицею и пренебрег нужною в таком деле скоростью. Пассека сторожили двенадцать солдат с обнаженными тесаками; но он радовался, слушая, как солдаты говорили, что окно открыто, уйти можно, что они готовы сделать все, что он им скажет, и пойдут за ним, куда ему угодно... Но он не внял их предложению и остался героем в своем заключении... Он основательно расчел, что, поспешив выйти на волю, он только умножит смущение и тревогу, прежде чем мы успеем распорядиться оказанием ему помощи»^[225].

Однако, судя по дальнейшим действиям заговорщиков, помощь арестованному товарищу — последнее, о чем они помышляли. Началась гонка с препятствиями, в которой главный приз выиграл бы тот, кто раньше сумел доставить императрицу в Петербург.

Пассека взяли под стражу около восьми вечера. Узнав об этом, Григорий Орлов отправился оповестить Панина и нашел его у Дашковой. Екатерина Романовна, правда, утверждала, что Орлов искал именно ее и застал в гостях Никиту Ивановича. В послании Кейзерлингу княгиня не смогла даже написать ненавистное имя фаворита, настолько Григорий Григорьевич вызывал ее ярость и презрение: «Было уже около 11-ти часов вечера, когда один офицер пришел сказать нам, что арестован Пассек... перед тем только что ушедший от меня. Судите, как мы были поражены очевидностью нашей общей опасности!» А вот в мемуарах, когда страсти отшумели и виновник несчастий давно умер, он назван прямо: «Григорий Орлов пришел сообщить мне об аресте».

По прошествии сорока с лишним лет главным врагом стал «цареубийца» Алексей Орлов. В письме Кейзерлингу княгиня еще не стеснялась знакомства с ним: «Как скоро от меня разошлись, я отправилась пешком к Синему Мосту и там оставалась в надежде, не повстречается ли мне кто-нибудь из моих. И действительно, я увидела Алексея Орлова, который, по его словам, шел ко мне, обсудить, что им делать».

После гибели Петра III даже факт знакомства с такой личностью, как Алексей, мог бросить тень на Екатерину Романовну. Поэтому в «Записках» встреча со вторым из братьев выглядит случайной: «Не прошла я и половины дороги, как увидела, что какой-то всадник галопом несется по

улице. Меня осенило вдохновение, подсказавшее мне, что это один из Орловых. Из них я видела и знала одного только Григория... Я крикнула: «Орлов!» ...Он остановился».

Благодаря метаморфозе с братьями — кого упоминать, а от кого отрекаться — следует сделать вывод, что письмо Кейзерлингу появилось сразу после переворота, еще до убийства Петра III.

Но это не единственная загадка текста. В письме сказано: «Около 11-ти часов вечера». В воспоминаниях: «После полудня». Специалисты по-разному объясняют это разночтение. Одни — ошибкой Марты Уилмот, которая при переписывании текста французское слово «minuit» — полночь — неверно перевела как английское полдень — «midi»^[226]. Другие — волей самой Дашковой-мемуаристки, которая, зная, что молва приписывает ей любовную связь с Паниным, не захотела давать сплетникам карты в руки. Ведь Никита Иванович находился у молодой женщины ночью. А муж тем временем оставался в отъезде^[227].

В письме Кейзерлингу княгиня ни слова не говорит о своем костюме, который играет такую важную роль в воспоминаниях: «Я, не теряя ни минуты, накинула на себя мужскую шинель и направилась пешком к улице, где жили Рославлевы». Знаковый шаг. Играя в мужские игры, следует выглядеть, как мужчина. Во время верховой езды или скрытых посещений императрицы Дашкова часто переодевалась кавалером. Заговор являлся как бы продолжением этого сценического пространства. И здесь шинель казалась уместной, хотя выглядела княгиня очень нелепо: в длинной и широкой мужниной форме. Ведь Михаил Иванович отличался высоким ростом.

Есть в поступке Дашковой и иная символика. Она надела шинель супруга, который на начальном этапе принадлежал к заговору. Его друзей княгиня «унаследовала» для того, чтобы использовать в перевороте. Таким образом, Екатерина Романовна словно подменила собой уехавшего, приняла на себя его функции. И — дурной знак — как бы заранее похоронила^[15].

О колебаниях позиции Дашковой много говорят ее действия в роковой момент. Панин решил, что торопиться некуда. Надо разузнать, не совершил ли капитан какого-нибудь служебного проступка. С этим он и отправил Орлова восвояси. К немалому огорчению племянницы, горевшей жадой деятельности. «Щадя меня, Панин старался скрыть, как велика беда, которой я заодно с ним подвергалась. Он показывал вид, будто вовсе не встревожен этим случаем, и говорил, что нечего принимать какие-либо

меры до завтрашнего утра... На мой взгляд, дело принимало такой важный оборот, что время было слишком дорого... Поэтому я притворилась, что устала и хочу спать». Как только Никита Иванович удалился, племянница вышла на Синий мост ловить «своих».

Тут ей повстречался Алексей Орлов. Кейзерлингу княгиня просто передает суть разговора: послать Рославлева к гетману Разумовскому, а самому ехать за Екатериной в Петергоф. В мемуарах маленький фельдмаршал произносит, стоя на обочине, целый монолог: «Скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы они сию же минуту отправлялись в Измайловский полк и оставались при своих постах с целью принять императрицу в окрестностях города. Потом вы или один из ваших братьев молнией летите в Петергоф и от меня просите государыню немедленно сесть в почтовую повозку, которая уже приготовлена для нее, и явиться в лагерь измайловских гвардейцев: они готовы провозгласить ее главой империи и проводить в столицу».

Представим себе, как это выглядело. Женщина в длинной, метущей мостовую шинели на ночной улице. Недаром Алексей Орлов сразу предложил проводить княгиню домой. Однако Дашкова отвергла всякое притязание сильного пола на покровительство. Она отдавала распоряжения. Он должен был подчиниться.

Обратим внимание: в мемуарах Екатерина II названа «правительницей» или «главой империи». Кейзерлингу же по горячим следам сказано: «...провозглашена Государыней». Сразу после переворота не имело смысла отрицать очевидное. Другое дело в начале нового, XIX века, когда само желание ограничить монархию вызывало у читателей сочувственный интерес.

«Может быть, я сама приеду и встречу ее, — продолжала княгиня в разговоре с Орловым. — Скажите ей, что дело такой важности, что я даже не имела времени зайти домой и известить ее письменно»^{228}.

Клод Рюльер ставил Алексею Орлову в вину то, что он не передал императрице записки от Дашковой: «Означенный Орлов... разбудил свою государыню и, думая присвоить своей фамилии честь революции, имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой»^{229}.

Станный упрек, ведь княгиня сама признавала, что не писала подруге. Стало быть, после переворота разговоры о записке велись в окружении Дашковой. Но почему княгиня в действительности не написала ни слова? Ее горячий энтузиазм имел пределы. Будь посыльный схвачен вместе с письмом, и княгине не удалось бы отпереться от участия в

заговоре.

Рассказывая о том, как каждый из заговорщиков намеревался поступить в случае провала, Рюльер замечал: «Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно». В реальности Екатерина Романовна провела тревожную ночь: «Я предалась самому печальному раздумью. Мысль боролась с отчаянием... Воображение без устали работало, рисуя по временам торжество императрицы и счастье России. Но эти сладкие видения сменялись другими страшными мечтами... Екатерина, идеал моей фантазии, представлялась бледной, обезображенной... умирающей... Моим единственным утешением было то, что я также буду предана смерти»^{230}.

«Канальи»

Стоило княгине задремать, как раздался «страшный стук в ворота». Это явился Федор Орлов с вопросом, не рано ли посылать за государыней. По словам мемуаристки, она «остолбенела». «Я была вне себя от гнева и тревоги... и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания... Лучше, чтоб ее привезли сюда в обмороке или без чувств, чем, оставив ее в Петергофе, подвергать риску... взойти вместе с нами на эшафот».

Из рассказа Дашковой видно, что промедление случилось по вине Орловых, которым пришлось два раза повторять приказ. Того же мнения держался и Панин, три года спустя поведавший свою версию Ассбург. Узнав об аресте Пассека, он вызвал к себе Алексея Орлова, «гвардейского офицера, посвященного в тайну», и приказал ему предупредить четырех капитанов своего полка, чтобы они были готовы к следующему утру. После чего Алексей должен был отправиться в резиденцию и привезти императрицу в возке, находившемся у камер-юнгферы Шкуриной. Никита Иванович уверял, что «отправил в Петергоф... наемную карету в шесть лошадей». В столице Екатерине надлежало ехать в казармы «кавалергардского полка для принятия от него присяги, оттуда... в полки Измайловский, Преображенский, Семеновский и во главе этих четырех полков» явиться «в новый дворец, остановившись на пути у Казанского собора, чтобы там дожидаться великого князя, которого Панин привезет к ней».

Обратим внимание, что воспитатель царевича намеревался доставить мальчика в Казанский собор, где производилась присяга. В этом случае крест поцеловали бы маленькому Павлу, а его матери только в качестве регентши — «главы империи». Кроме того, бросается в глаза, что привезти императрицу, по рекомендации Панина, следовало не в Измайловский, а в Конногвардейский полк. Как показали дальнейшие события, среди измайловцев оказалось много сторонников самодержавного правления Екатерины.

Об этих распоряжениях дяди Дашкова или не знала, или умалчивала. Зато оба в один голос заверяли, что в промедлении виновны Орловы. «По его расчету, — писал датский посланник о Панине, — Алексей Орлов в четыре часа должен был быть в Петергофе, а государыня после пяти часов утра в Петербурге. Каждая минута была дорога и каждая рассчитана...

Пробило пять часов, и никакого известия не приходило; пробило шесть, а известий все нет. Алексей Орлов пал духом, вместо того, чтобы ехать тотчас в Петергоф, он в четыре часа утра еще раз явился к княгине Дашковой узнать — не последует ли какой перемены в решении, и уехал, наконец, только тогда, когда княгиня приказала ему немедленно отправиться в путь»^{231}.

Как видим, при разнице некоторых деталей главное в показаниях княгини и воспитателя совпадает — Орловы проявили колебания и потеряли время.

Со своей стороны Екатерина II была убеждена, что главы вельможной группировки отговаривали гвардейских заводил от скоропалительных решений. Орловы поспешили в Петергоф вопреки их желанию. После ареста Пассека, писала она, «трое братьев Орловых... немедленно приступили к действиям. Гетман [К.Г. Разумовский] и тайный советник Панин сказали им, что это слишком рано; но они *по собственному побуждению* послали своего второго брата в карете в Петергоф»^{232}.

Верить в данном случае следует императрице, поскольку именно при таком развитии событий картина первых часов переворота приобретает логичность. Многочисленные приходы того или другого из братьев на квартиру к главам вельможной группировки были попытками поторопить: не пора ли ехать за «Матушкой»? Наконец, около четырех утра на свой страх и риск Орловы решились.

В таком случае объяснимо отсутствие записки от Дашковой — Екатерина Романовна просто не знала, что Алексей Орлов уже поскакал в Петергоф. Это вовсе не исключает разговора на улице, но ставит под вопрос его содержание. Становится понятно, почему княгиня не поспешила встретить императрицу за городом. Ссылка на жмуций мужской костюм, якобы «приковавший» юную героиню «к постели», выглядит неуклюже. А вот неведение о реальном ходе событий вполне понятно: Дашкова, как и Панин, проспала начало «революции». Когда она открыла глаза, всё важное уже совершилось. «Эта потрясающая ночь, в которую я выстрадала за целую жизнь, наконец, прошла; и с каким невыразимым восторгом я встретила счастливое утро, когда узнала, что государыня вошла в столицу и провозглашена главой империи».

Что касается Никиты Ивановича, то он прилег у кровати воспитанника в Летнем дворце, а наутро обнаружил, что присяга уже совершена. Без великого князя. В пользу императрицы. И кого, собственно, было винить? Только Орловых.

У победы много отцов... Мемуаристы редко предполагают, что, помимо их свидетельств, позднейшие исследователи будут обращаться к солидному кругу источников. Например, наша героиня обошла молчанием судьбу восемнадцатилетнего брата Семена, как если бы он сам не оставил воспоминаний. Длинное письмо-исповедь пожилого посла появилось в 1796 году и было адресовано другу Ф.В. Ростопчину. Через восемь лет Ростопчин близко общался с княгиней. Говорил ли он ей о мемуарах брата? Давал ли читать? Во всяком случае, на текст «Записок» они не оказали влияния.

По словам Екатерины Романовны, единодушие войск, расквартированных в Петербурге, было полным. Это не так. Наиболее преданным императрице считался Измайловский полк. Однако измайловцы уступали старшинство двум первым созданным в России гвардейским полкам — Семеновскому и Преображенскому. Между ними неизбежно должно было начаться соперничество.

Сама Екатерина так описывает присягу Преображенского полка. «Мы направились к Казанской церкви, где я вышла из кареты. Туда прибыл Преображенский полк... Солдаты окружили меня со словами:

— Извините, что мы прибыли последними, наши офицеры арестовали нас, но мы прихватили четверых из них с собой, чтобы доказать вам наше усердие!»^{233}

Этими офицерами были С.Р. Воронцов, брат Дашковой, П.И. Измайлов, П.П. Воейков и И.И. Черкасов. Семен служил поручиком в первой гренадерской роте и был любим Петром III за «неодолимый порыв к военному ремеслу». Накануне переворота он испросил разрешения отправиться «охотником» в армию П.А. Румянцева, уже выступившую в поход против Дании, и получил согласие государя. Но не успел покинуть столицу. Воронцов уже садился в дорожную карету, когда ему сообщили, «что императрица находится в Измайловском полку, который шумно окружает ее с радостными кликами, провозглашая Государыней».

Характерами брат и сестра напоминали друг друга. «Я был нетерпелив, как француз, и вспыльчив, как сицилиец, — писал о себе Семен Романович. — Я пришел в невыразимую ярость при этом известии». Воронцов прискакал в свой полк. Преображенцы уже выстроились перед казармами и готовились выступить. Возле своей роты он встретил несколько офицеров, среди которых были Бредихин, Баскаков и князь Федор Барятинский. «Я... высказываю им о поступке мятежников все, что крайняя раздражительность моего характера внушает мне в эту минуту, причем выражаю уверенность, что они, и вместе с ними весь наш полк, мы

подадим пример верности прочим войскам». Трое заговорщиков ничего не ответили ему, «бледные, расстроенные».

«Я принял их только за трусов... Отвернувшись от них, я поспешил обнять моего капитана, Петра Ивановича Измайлова, одного из храбрейших и вернейших слуг нашего несчастного государя... Он надеялся, так же как и я, что полк не увлечется». Вместе они начали обходить ряды гренадер, увещевая тех, «что лучше умереть честно, верным подданным воином, чем присоединиться к изменникам, которые будут побеждены». Им навстречу проскакал секунд-майор Петр Петрович Воейков, восклицая: «Ребята, не забывайте вашу присягу!» Вместе они склонили гренадер на сторону императора, и те даже закричали: «Умрем за него!»

Воейков повел солдат к Казанскому собору, чтобы воспротивиться приносимой там присяге. «Мы надеялись... что, по первом выстреле на нас со стороны мятежников... ударим на них в штыки всей тяжестью нашей колонны, сомнем их и уничтожим: ибо они толпились в расстройстве, без рядов и линий, как мужики, собранные случайно и большей частью в пьяном виде; мы же были в стройном порядке».

Если бы преобращенцы послушались офицеров, приверженцев Петра III, произошло бы кровопролитие. Но, на счастье заговорщиков, сзади к колонне гренадер присоединился премьер-майор князь А.А. Меншиков и крикнул им в спины: «*Vivat* императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот призыв. «Это было электрическим ударом». Воейков бросил шпагу со словами: «Ступайте к черту, каналы, е. м., изменники! Я с вами не буду!» — повернул лошадь и ускакал. «Я не знаю, как и почему случилось, что нас не убили», — признавал Воронцов. Он кинулся к реке искать лодку, чтобы плыть в Ораниенбаум, предупредить императора, но был схвачен. Арестованных офицеров преобращенцы притащили к собору, как доказательство своей преданности новой самодержице. Об этом позоре Семен Романович умолчал.

Затем пленных посадили на гауптвахту Зимнего дворца. Семен оставался под арестом 11 дней и был выпущен только 8 июля, спустя несколько суток «после кончины императора».

Как Екатерина Романовна не упомянула о брате, так и Семен Романович не назвал имени сестры. С «ужасного и мерзостного дня» их отношения были испорчены. Почему Дашкова не попросила за младшего брата — в сущности, еще мальчишку? Забыла? Закрутилась в вихре событий? Не захотела выслушивать упреки? «Прибывши в наш дом, —

заклучал Воронцов, — я нашел в нем множество солдат, ибо мой отец и моя сестра [Елизавета] были тоже арестованы»^{[1234](#)}.

Мундир

Дашкова попала в Летний дворец очень поздно, когда присяга уже закончилась. Переворот фактически совершился, и Екатерину Романовну могли разве что раздавить ликующие толпы. Княгиня едва пробилась через них, изрядно помяв платье. Однако в ее собственных глазах этот эпизод стал триумфом. «Перо мое бессильно описать, как я до нее (до императрицы. — О. Е.) добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардии, окружили дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пойти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умилением, трогательными словами и провожали меня благословениями... вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»^{235}.

Дамы кинулись «друг другу в объятья» со словами: «Слава Богу! Слава Богу!» И рассказали, как провели разделявшие их часы: бегство императрицы из Петергофа, тоскливое бездействие Дашковой. «Мы еще раз обнялись, и я никогда так искренно, так полно не была счастлива, как в этот момент!» Признание в любви? Прямое и пылкое. Огромный спектакль переворота сузился до одной сцены, где осталось место только для двоих. Но уже в следующую минуту декорации снова раздвинулись. Императрица нужна была всем. Подругу смывало прибойной волной царедворцев и заговорщиков.

Если обратить внимание, сколько раз за день 28 июня Дашкова переезжала из дворца домой и обратно, возвращалась к Екатерине II, напоминала о себе яркими театральными жестами, то становится ясно: княгиня нарочно старалась заполнить чем-то время. «Заметив, что императрица была украшена лентой св. Екатерины и еще не надела Андреевской — высшего государственного отличия — ... я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а ее Екатерининскую, согласно с желанием ее, положила в свой карман». Этой алой ленте, надетой на черное платье, в котором в дни траура по Елизавете Петровне петербуржцы привыкли видеть новую императрицу, вскоре

суждено было сыграть важную роль.

«Государыня предложила двинуться во главе войск на Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей, — продолжает рассказ Екатерина Романовна. — ...Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, у лейтенанта Пушкина»^{236}. На эти мундиры стоит обратить внимание. Императрица облачилась в семеновский. Если бы преображенцы поспешили с присягой, она непременно предпочла бы форму первого из русских гвардейских полков. Но служивые промедлили, в том числе и благодаря стараниям брата Дашковой. Его поведение, с точки зрения княгини, не могло считаться патриотичным. И Екатерина Романовна как бы исправляет ситуацию, одеваясь в форму поручика Преображенского полка Михаила Ивановича Пушкина, близкого друга семьи. Она точно подменяет собой брата, как прежде подменяла мужа. Слабая женщина выполняет их, мужские, функции.

Самой княгине такой поступок казался едва ли не героизмом. Но для традиционного сознания он был поруганием военной формы. Чин следовало заслужить. В мундире приносили присягу. Все его атрибуты от офицерского знака на шее до шпаги с темляком и трехцветного пояса-шарфа были в глазах дворянина овеяны святостью религиозного ритуала и повседневного ратного риска. Мундир не мог фигурировать на театральной сцене, так же как и церковное облачение. Его, в отличие от простой мужской одежды, не использовали в маскарадах. Срывая с новых «прусских» мундиров Петра III офицерские знаки и нацепляя их на собак, участники переворота, уже облаченные в старые «елизаветинские» кафтаны, совершали осознанный акт глумления над «вражеской» формой.

Надев такой же, как у брата мундир, сестра попыталась символически занять его место среди офицеров. Этого унижения и этого издевательства щепетильный Семен не смог ей простить. В 1764 году, сожалея о смерти зятя, Семен Романович напишет, что князь Дашков не участвовал в «бешенствах и неистовствах жены своей»^{237}. Публичное облачение в гвардейский мундир и ношение его, подобно маскарадному костюму, были в глазах тогдашних офицеров именно «неистовством». Перед походом на Петергоф Екатерина Романовна попросила одного из своих родственников, В.С. Нарышкина, служившего в Измайловском полку, одолжить ей шляпу. Но тот отказал со словами: «Ишь, бабе вздумалось нарядиться шутихой, да давай ей еще и шляпу, а сам стой с открытой головой!»^{238}

Этот эпизод показывает, что наша героиня не понимала знаковую

недопустимость собственных действий: ей всё казалось, что она на маскараде, ведь офицерская шляпа Измайловского полка не могла быть надета с мундиром Преображенского. Окружающие чувствовали театральную подмену и сердились на Дашкову.

Казалось бы, подруги совершали одно и то же кощунство. Но действия одной приветствовались, а второй осуждались. Значит, имелись важные различия. Участники переворота жаждали увидеть Екатерину II в гвардейской форме — облачение в мундир означало, что государыня принимает одну из важных функций императора — командование полками. Действие было сугубо сакральным. Но в отношении княгини начинал работать принцип: что позволено Юпитеру, не позволено быку Юпитера.

«Я уехала домой переодеться, — вспоминала княгиня, — а по возвращении моем я застала ее [Екатерину II] в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. Так как известие о бегстве императрицы из Петергофа... уже могло дойти до Петра III, то я думала, что он двинется к Петербургу... Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, советуя принять всевозможные меры... Мое нечаянное появление в совете изумило почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня... Екатерина сказала им мое имя... Сенаторы единодушно встали со своих мест... Я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире»^{239}.

Если бы Екатерина II нуждалась в Дашковой в момент составления манифеста, она бы ее позвала. Но, видимо, княгиня боялась, что о ней забудут, и потому постоянно вращалась возле обожяемого кумира. Был еще один фарсовый момент, связанный с ее именем. «Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»^{240}, — сообщал Шумахер. Его сведения подтверждал Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы... Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: “Мы хорошо приняли свои меры”. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы... удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»^{241}.

Старый учитель Петра III Якоб Штелин приводил слова гусарских офицеров, обращенные 29 июня к арестованным голштинским солдатам:

«Нас обманули и сказали, что император умер»^{242}. Казацкая свита при гробе как будто указывает на гетмана Кирилла Разумовского. Отзыв Дашковой — на ее осведомленность о фальшивых похоронах. Вельможная группировка не предполагала, что после переворота свергнутый государь останется жив.

Амазонки

Столица признала Екатерину II. Но оставалось еще захватить свергнутого императора и принудить его к отречению. «Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом... выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»^{243}, — писала императрица Понятовскому.

Поход на Петергоф был яркой, но уже не опасной страницей переворота. Голштинские войска в десять раз уступали по численности тем полкам, которые двинулись против них.

При чтении «Записок» Дашковой создается впечатление, что на фоне гвардейских полков должны были явственно виднеться две женские фигуры в мундирах. «Мы сели на коней и поехали во главе двенадцатитысячного войска»^{244}, — сказано в одной редакции. Несколько иначе эта фраза звучит в другой: «Мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели двенадцать тысяч войска»^{245}. Однако ехать во главе армии или осматривать растянувшиеся вдоль дороги полки — не одно и то же.

Если сопоставить рассказ Дашковой с другими известиями о перевороте, то привычная картина изменится. Рюльер писал о Екатерине II: «Она села верхом... и вместе с княгиней Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь... Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять вошла во дворец и обедала у окна... потом села опять на лошадь и поехала перед своею армией»^{246}. А Дашкова? Сопутствовала ли она Екатерине? Ехала ли с нею рядом? Сама государыня и в письме Понятовскому, и позднее в автобиографических записках ни слова не говорит о совместном путешествии: «Я... поместилась во главе войск, и мы всю ночь продвигались к Петергофу»^{247}.

Кажется, пары бок о бок скакавших амазонок все-таки не было. Никто не имел права затенять императрицу. Очень немногие из солдат знали Екатерину II в лицо. Для того и понадобился символ — женщина в гвардейской форме, скачущая верхом, — чтобы всем стало ясно: вот государыня. Это был намек на покойную императрицу Елизавету Петровну. М.В. Ломоносов писал:

Внемлите все пределы света

И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церковь и чертог,
Елизавета — Катерина,
Она из обоих едина.

Дама на коне с обнаженной шпагой в руках — вот государыня для огромной массы гвардейцев. К ней направлялись волны ликования. Чтобы поддерживать в войсках восторг, воодушевление, любовь, нужно было постоянно показываться им. Один человек физически не мог быть сразу в нескольких местах. Поэтому появляется «вторая» Екатерина — дублер. Одна из подруг скакала впереди полков, другая появлялась то там, то здесь, вызывая крики «ура!» и ликование. Дашкова купалась в выплеснувшихся на нее восторгах, в грозном реве приветствий и относила их на свой счет.

Утомленные дорогой амазонки оказались в местечке под названием Красный Кабак и переночевали на одном, брошенном на кровать плаще. «Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, — писала Дашкова, — государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была роскошью для моих измученных членов... Мы не могли уснуть, и ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашему возвращении в город». Многие биографы, начиная с Герцена, принимают на веру эти слова. Две подруги, будущие преобразовательницы, лежат «под одним одеялом»^[248] и обсуждают *реформы*. Жаль, что их мечты не сбылись!

Перед читателями снова сугубо литературный ход — третья и главная подмена, на которую претендовала Екатерина Романовна. В этом эпизоде она предъявляет права на первенствующее место рядом с монархом. Место наперсника, даже канцлера — своего оставшегося под арестом дяди.

Сама Екатерина II, тоже описавшая ночлег в Красном Кабаке, ни словом не упомянула государственные бумаги^[249]. Да и было бы странно везти с собой в кратковременный поход материалы для будущих законодательных актов.

После отъезда из Петергофа в обратный путь Екатерина и Дашкова, согласно «Запискам» княгини, провели еще одну ночь вместе: «Мы... остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме»^[250]. Можно предположить, что на даче богатого вельможи кроватей

было так же мало, как в заурядном кабаке, но главное здесь уже не куртуазная сторона событий, а способ, которым княгиня подчеркивала близость к государыне. Она ни на минуту не покидала подругу и ела и спала с ней, охраняя свое сокровище от посягательств.

Соперник

В Петергофе Дашкову ждало самое горькое разочарование в дружбе с Екатериной II. Именно тогда, согласно «Запискам», между двумя амазонками впервые пролегла разделяющая тень. Мужчины. Соперника.

Княгине казалось, что именно она распоряжается всем и вся. «Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выходы». В реальности управлять разбушевавшейся, уже отчасти хмельной гвардейской массой было нелегко даже офицерам. Молоденькой же Екатерине Романовне представлялось, будто гвардейцы относятся к ней с детским доверием и готовы выполнять ее приказы: «Я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино... Мне удалось уговорить солдат вылить вино... и послать за водой... Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше... Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты»^{251}.

В письме Кейзерлингу сообщалось, что во время выхода к солдатам княгиню сопровождали офицеры: «Я с Бредихиным и Баскаковым ходила по гвардейским и армейским полкам уговаривать солдат, чтобы они не напивались, и раздала им несколько сот моих собственных червонцев»^{252}. Позднее, из мемуаров, имена сопровождающих исчезнут, сократив дистанцию между Дашковой и служивыми. Но в реальности женщине не следовало одной появляться среди хмельной вооруженной массы.

«Я возвращалась к государыне, — писала княгиня. — Каково было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, лежавшего на канаве (он ушиб себе ногу) и вскрывавшего толстые пакеты, присланные, очевидно, из совета». Сюжетно эти «пакеты» соответствуют «черновикам указов», которые Екатерина II якобы читала подруге в Красном Кабаке. В этом эпизоде мы видим кухню не просто работы с мемуарами, а шире — работы с прошлым. Княгиня ставила себя на место других людей и оказывалась одна в тех ролях, которые могла, но не сыграла.

Она гневно потребовала от Орлова объяснений.

«Эти пакеты могли бы оставаться нераспечатанными еще несколько дней, пока императрица не назначила бы соответствующих чиновников; ни

вы, ни я не годимся для этого»^{253}.

Дашкова лукавила. Себя она как раз предназначала для роли советника. Но ее опередили. И кто? В беседе с Дидро Екатерина Романовна назвала фаворита «циническим развратником, совершенно чуждым государственным делам»^{254}. Она шаг за шагом присваивала сферы деятельности родных-мужчин. Заговор, командование гвардейцами и, наконец, политическая близость с императрицей. И вдруг споткнулась о какого-то мужлана. Характерно, что ей помешал мужчина, ущербный в глазах традиционного общества, — любовник государыни. До какой-то степени тоже травести, сочетавший обязанности своего пола с сугубо «женскими» — услаждать покровителя. Если других можно было победить силовыми методами, то как бороться с таким «перевертышем», княгиня не знала.

«Возвратившись во дворец, я увидела, что в той же комнате, где Григорий Орлов лежал на канапе, был накрыт стол на три куверта... Вскоре ее величеству доложили, что обед подан; она пригласила и меня, и я к своему огорчению увидела, что стол был накрыт у того самого канапе»^{255}.

Дашкова настолько была потрясена и расстроена, что не смогла скрыть раздражения: «Моя грусть или неудовольствие... отразились на моем лице... С той минуты я поняла, что Орлов был ее любовником, и с грустью предвидела, что она не сумеет этого скрыть»^{256}.

Показать Орлова именно в таком нахально-валяжном облике — удачный композиционный шаг. Пока шла подготовка к перевороту, о Григории почти не упоминалось. Появись он раньше в своей действительной роли вербовщика гвардейских душ, и с ним пришлось бы поделиться лаврами организатора «революции». Возникая же на самом излете переворота, да еще в малопочтенной роли, Григорий — явный антигерой. Он пришел только для того, чтобы пожать плоды чужих трудов и присвоить себе права, принадлежащие только Дашковой. Эти права — политические и личные — Орлов узурпирует буквально на глазах читателя.

Собирая Дашкову и Орлова за одним столом, императрица предприняла столь характерную для нее попытку внешне сохранить согласие между представителями разных группировок и даже обратилась к подруге за помощью. «Она меня попросила поддержать ее против Орлова, который, как она говорила, настаивал на увольнении его от службы... Мой ответ был вовсе не таков, какого она желала бы. Я сказала, что теперь она имеет возможность вознаградить его всевозможными способами, не принуждая его оставаться на службе»^{257}.

Екатерина перенесла ту же сцену в Петербург и не описала присутствие третьего лишнего: «Когда императрица с триумфом вернулась в город... капитан Орлов пал к ее ногам и сказал ей: “Я вас вижу самодержавной императрицей, а мое отечество освобожденным от оков... Позвольте мне удалиться в свои имения”....Императрица ему ответила, что заставить ее прослыть неблагодарной... значило бы испортить ее дело; что простой народ не может поверить такому большому великодушию, но подумает, что... она недостаточно его вознаградила»^{258}.

Обратим внимание: отставки после переворота просил Орлов. А «неблагодарной», подавшей «повод к неудовольствию» императрица прослыла под пером подруги. Слишком резкая и несдержанная на язык, Дашкова с самого начала отказалась делить доверие государыни с кем бы то ни было. Ее поведение можно назвать политической негибкостью, оно грозило конфронтацией среди сторонников Екатерины II. Рюльер сообщал, что Дашкова, приняв «строгий нравоучительный тон», выговаривала подруге за «излишнюю милость» к Орлову^{259}.

Императрица, в свою очередь, была вынуждена упрекнуть Екатерину Романовну «за раздражительность». Характерна реакция княгини: «Я ответила сухо, и мое лицо, как мне потом передавали, выражало глубокое презрение:

— Вы слишком рано принимаетесь за упреки, ваше величество. Вряд ли всего через несколько часов после вашего восшествия на престол ваши войска, оказавшие мне столь неограниченное доверие, усомнятся во мне»^{260}. Это звучало как угроза. Дашкова готова была повоевать за место возле императрицы. Но Екатерина II остро чувствовала, кто ее истинная опора. Она могла пожертвовать княгиней, но не Орловыми.

В столице

Возвращение в Петербург было для нашей героини нерадостным, хотя толпы вокруг кареты ликовали. Но в счастливом мареве второго дня на ясное небо уже набегали облака. Императрица начинала чувствовать себя неуютно рядом с раздражительной, готовой перейти от обожания к выговорам подругой. При любых обстоятельствах Екатерине II нужен был мир среди сторонников. Иначе не удалось бы удержать власть.

А княгиня вносила разлад. Эпитет «сварливый», которым императрица часто награждала подругу, происходит от слова «свара» — склока, ссора. Юная Эрида, богиня раздора, накаляла обстановку на русском Олимпе. И самое обидное, сознавала себя в праве предъявлять претензии. А Екатерина II при всем блеске нынешнего положения должна была уступать. И не только ради мира. Императрица чувствовала себя обязанной. Это ощущение, вполне терпимое со спокойными людьми, при взрывном характере Дашковой становилось непереносимым.

По прибытии в столицу она испросила разрешения пересест в дорожную карету императрицы и в этом экипаже отправилась к родным. Знаковый жест. В гвардейской форме юная заговорщица навещала семью — сторонников свергнутого государя — и ехала в повозке августейшей подруги. Ярче подчеркнуть свое новое положение она не могла. Недаром дядя-канцлер, к которому Дашкова прибыла первому, «начал философствовать насчет “дружбы государей”, которая вообще не отличается стойкостью и искренностью, уверяя, что он лично в том убедился, т. к. чистота его намерений и взглядов не спасла его от ядовитых стрел интриг и зависти в царствование императрицы... которая многим была ему обязана».

Либо пожилой вельможа прозревал будущее, либо Екатерина Романовна вложила в его уста описание своей жизни так, как она ее видела на склоне лет. Показывая, что в своей судьбе она до известной степени повторила судьбу дяди, княгиня вновь, теперь уже стилистически, настаивала на его политических прерогативах. Неудивительно, что позднее многие современники и потомки, как строку из псалма, повторяли: ее место было во главе государства. И единственное, что этому помешало, — переменчивость царского сердца.

Миф сложился.

Посетив дядю, княгиня отправилась к отцу. И тут произошла сцена,

которая должна была показать Дашковой ее реальное место — подруги государыни, но уж никак не командира гвардейцев. Роман Илларионович был взят под стражу. А когда в его доме оказалась Елизавета Воронцова, разлученная с Петром III, караул только усилили. Княгиня попыталась уверить читателей, что никакого ареста не было: императрица послала солдат охранять царедворца от пьяных товарищей. А их начальник вообразил, будто должен содержать хозяина как «государственного преступника». В другой редакции она скажет, что солдат разместили в доме на отдых.

Выслушав жалобы отца, княгиня заверила: арест — чистейшее недоразумение и «к ночи не останется ни одного солдата». Она сказала офицеру, «что он не понял приказаний государыни». А потом обратилась к гвардейцам, заявив, «что напрасно мучили их, и если бы из них осталось здесь десять или двенадцать человек, этого было бы совершенно достаточно».

Разрешить сложившуюся ситуацию могла только личная беседа с императрицей, и княгиня отправилась в Летний дворец. Но Екатерину II уже предупредил Орлов, к которому начальник караула явился за инструкциями. Служивые явно не признавали за нашей героиней права командовать. Дальнейшее угадать нетрудно. Государыня обратилась к подруге с упреком: «Вы не вправе распускать солдат с их постов». Дашкова ощутила себя оскорбленной, вынула орден Святой Екатерины и положила на стол. Пришлось уговаривать ее принять еще и красную ленту.

Сломанная звезда

Однако любопытно, какой орден надела на подругу императрица. Дашкова настаивала, что свой. «Я поцеловала ей руку и очутилась в офицерском мундире, с лентой через плечо, с одной шпорой, похожая на четырнадцатилетнего мальчика»^{261}.

Образ мальчика в мундире очень нравился княгине. Недаром она еще три дня после переворота не снимала мужского платья. С ним алая лента смотрелась особенно эффектно. Но придворные тут же пустили слух, будто Екатерина Романовна сама возложила на себя орден. Екатерина II надела голубую ленту Андрея Первозванного, а снятую с себя красную отдала подруге на хранение. «Через некоторое время императрица, оглянувшись, к удивлению своему, увидела ленту на плече Дашковой и с усмешкой сказала: “Поздравляю”... — “И я вас поздравляю”, — ответила княгиня со свойственной ей дерзостью»^{262}.

Еще более неприятным оказался другой слух. Злые языки утверждали, будто новую фаворитку украсила награда, снятая с сестры. Тот самый «семейный» орден, которым Петр III пожаловал «Романовну».

Рюльер писал, что в Петергофе при выходе из кареты гвардейцы схватили бедную «Романовну» и оборвали с нее знаки ордена Святой Екатерины. В замечаниях на книгу французского дипломата Дашкова возражала: «Неправда, будто солдаты отняли у моей сестры ее орденскую ленту». Но, так или иначе, Елизавета лишилась своей награды. В дом отца она приехала уже без нее.

Рюльер поместил в книгу трогательную сцену: «На другой день поутру... молодые дамы, которые везде следовали за императором... [и] питали ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее. Большая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: “Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала”. Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине [орденскую] ленту и драгоценные уборы сестры ее»^{263}. И снова Екатерина Романовна отрицала это событие: «В Петергофе я никогда не бросалась к ногам императрицы вместе с моими родными. Никого из моих родных там не было».

Последнее утверждение не соответствует истине. Вместе с Петром III в летней резиденции находились фаворитка, ее тетка Анна Карловна

Воронцова, кузина Анна Строганова и сестра Мария Бутурлина, а также множество дам. Когда император решил отправиться на двух кораблях в Кронштадт, женщин взяли с собой едва ли не в качестве заложниц. Но крепость не пустила свергнутого монарха, и ему пришлось высадиться с яхты в Ораниенбауме. А дамы на галере вернулись в Петергоф. 29-го они предстали перед новой государыней. По словам английского посла Роберта Кейта, «целуя руку императрицы», жена канцлера «сняла с себя ленту св. Екатерины и, подавая ее ея величеству, сказала, что никогда не просила этого знака отличия и теперь кладет ее к стопам императрицы». Однако Екатерина II «с величайшею любезностью» вернула ленту хозяйке^{264}.

Таким образом, родные Дашковой все-таки повергались к ногам августейшей победительницы, но сама Екатерина Романовна не присоединялась к ним. Нет даже сведений, виделась ли она с кем-то из них в Петергофе.

История с пожалованием Дашковой бриллиантов бывшей фаворитки выглядела особенно обидной. Она возникла в первые же дни после переворота и добралась даже до Лондона, откуда брат Александр обвинил Екатерину Романовну в крохоборстве. «У меня на хранении из вещей сестры были только те, которые она оставила в комнатах Летнего дворца. Бриллианты же были у императрицы»^{265}, — оправдывалась княгиня. Однако источником, откуда родные черпали сведения о «похищении» бриллиантов и ордена, были жалобы самой Елизаветы^{266}. По прошествии многих лет Дашкова продолжала настаивать в заметках на книгу Рюльера: «Ложь, будто меня вознаградили бриллиантами сестры моей»^{267}. А орденом? Почему, отрицая одно пожалование, княгиня молчала о другом?

Вопрос о принадлежности ордена отнюдь не праздный. Он расставляет акценты во взаимоотношениях императрицы и княгини. Показывает степень близости последней. Если государыня отдала свой, значит, Дашкова воспринималась ею как истинная наперсница, почти сестра. Если орден «Романовны» — то как любимая, балованная служанка, даже фаворитка, но не советница. Ибо капелька унижения в таком подарке угадывалась.

Есть сведения, показывающие, что Екатерина II не могла возложить на подругу свой орден. За два дня до переворота, 26 июня, она побывала в Ораниенбауме. Присутствовавший там ювелир Иеремия Позье записал: «Императрица сказала мне, что сломала свой Екатерининский орден и просит меня его поправить... Это был тот самый день, в который графиня Елизавета Воронцова должна была явиться с орденом, подаренным ей

императором»^{268}. Государыня хотела выйти к столу без красной ленты, чтобы случившееся всем бросилось в глаза. Ювелир испугался гнева Петра III и уклонился от чести починить царский орден. Поэтому 29-го регалия все еще была сломана (возможно, самой императрицей). Это не мешало незаметно сколоть ленту на боку булавкой и носить в таком виде, но не позволяло использовать в качестве награды. Трудно представить пожалование испорченного золотого креста с бриллиантами или надломленной звезды.

Кроме того, царствующая императрица являлась начальницей ордена Святой Екатерины, ей полагались особенно богатые знаки. Надеть такой орден по статуту Дашкова не имела права^{269}. Однако в запасе у императрицы имелся другой орден, недавно украшавший «Романовну».

Эта версия оказалась живучей. Д.Н. Бантыш-Каменский ввел ее в «Словарь достопамятных людей Русской земли» и даже уточнил, что Дашкова сама сняла орден с сестры^{270}. И вновь княгиня возразила на слух не прямо, а скрыто, подводя читателя к своей версии событий: «Я была затянута в мундир, с алой лентой, без звезды»^{271}. Любопытно, что в двух редакциях мемуаров Екатерина Романовна в завуалированной форме опровергла два разных придворных анекдота. Раз она оказалась без звезды, значит, ее украсила именно лента подруги, у которой один из знаков ордена был сломан.

Исследователями предложен способ узнать, каким орденом была награждена Дашкова: «Было бы любопытно сравнить портрет Екатерины II до ее восшествия на престол с таковым княгини Е.Р. Дашковой. По нашему мнению, на обоих портретах должен быть изображен один и тот же орден Св. Екатерины»^{272}. Должен. Но не изображен. Портретов великой княгини Екатерины Алексеевны с алой орденской лентой и звездой немало. Один из самых известных принадлежит кисти Г. Х. Гроота — это так называемая Екатерина в желтом платье 1748 года, с которой еще в XVIII веке было сделано множество копий. Орденская звезда на нем заметно крупнее, чем обычная, и усыпана бриллиантами. Ее 33 луча разделены и похожи на спицы разной длины. На портрете Дашковой в мундире Кирасирского полка мужа звезда меньше, имеет всего восемь больших лучей конической формы и украшена жемчугом. На портретах Дашковой от Г.И. Скородумова 1777 года до Д.Г. Левицкого 1784 года и многочисленных повторениях последнего четко виден орден, отличный от раннего изображения княгини: лучи превращаются в полуизогнутые гладкие лепестки, лишенные украшений драгоценными камнями. Возможно, с

годами Дашкова заказала себе орденские знаки попроще — для повседневного ношения. В любом случае — это не орден Екатерины II^{[\[16\]](#)}.

Во дворце

В первые дни после переворота подруга стояла настолько близко к Екатерине II, что та заговорила о переезде четы Дашковых во дворец. «Мы обедали у императрицы, а так как государыня не ужинала, то нам подавали ужин на нашей половине, и мы приглашали к нему всегда от десяти до двенадцати персон».

Составители биографии Дашковой не сомневаются в том, что Екатерина Романовна действительно какое-то время жила под одной крышей с императрицей. Однако камер-фурьерский журнал вновь вступает в противоречие с рассказом княгини. Этот источник сильно пострадал: пропали тексты за конец царствования Петра III и начало правления Екатерины II, в частности за июль 1762 года. А в августе Дашкова уже не упомянута в журнале. Более того — вплоть до коронации 22 сентября ее имя отсутствует на страницах документа^[273].

Показательно, что ни один иностранный дипломат не сообщил своему кабинету о такой редкой милости, как переселение четы Дашковых во дворец. Подобные сведения являлись не данью простому любопытству, а насущной необходимостью: требовалось точно вывести имена новых фаворитов и степень их влияния. Недаром Людовик XV писал Бретейлю: «Надобно знать тех, которые будут преимущественно пользоваться ее (Екатерины II. — О. Е.) доверенностью и заискивать их расположения»^[274]. От этого зависели знаки внимания, подарки, предложения крупных сумм за покровительство интересам того или иного двора. Даже Роберт Кейт, не забыв представить княгиню в Лондоне как одну из ключевых фигур переворота, не упомянул о переезде во дворец.

Еще более странно, что дядя-канцлер, весьма подробно обсуждавший в переписке с племянником Александром поведение воспитанницы, не упомянул о переезде в Зимний. Таким образом, «Записки» — единственный источник, который повествует о жизни во дворце. Если подобный казус имел место, то Екатерина II очутилась между двух враждебно настроенных друг к другу фаворитов. И княгиня не собиралась смягчать ситуацию.

Она крайне болезненно отнеслась к обнародованию фавора Орлова. «На следующий день, — сообщала Дашкова о 1 июля, — Григорий Орлов явился к обеду, украшенный орденом св. Александра Невского. По окончании церковной службы я подошла к дяде и к графу Разумовскому и... сказала смеясь:

— ...Вы оба глупцы»^{275}.

Поясним: гетман и воспитатель наследника «глупцы» не только потому, что не поверили молоденькой союзнице, будто «Орлов — любовник ее величества». Но и потому, что считали себя первыми лицами переворота.

О том, какие слухи распространялись в отношении императрицы и нового фаворита, свидетельствует сцена в книге Рюльера: «В сии-то первые дни княгиня Дашкова, вошед к императрице... увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию. Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость»^{276}. Сам ли дипломат добавил салонного перца? Или обиженная княгиня передавала историю по горячим следам не так, как годы спустя в «Записках»? Зная, что и с чьих слов говорят, Екатерина II не могла не пенять подруге.

Тем не менее императрица готова была сносить неудобства. Наличие пары ближайших наперсников лишь отражало распределение сил между крупнейшими политическими группировками. Малые «мира сего» искали покровительства сильных. Одним из таких покровителей и должна была стать княгиня. А вот интерес Орловых состоял в том, чтобы отвести от нее «прожектеров, искателей мест», не позволить «патрицианке» обзавестись «клиентами».

История с поручиком Михаилом Пушкиным, другом мужа княгини, демонстрирует, как оказался проигран первый раунд «домашней» войны.

28 июня именно Пушкин пожертвовал Дашковой свой мундир. То есть отказался от дальнейшего участия в перевороте. Такой шаг можно было совершить, только рассчитывая на будущие благодеяния. Вскоре представился удобный случай расплатиться. Панин подал императрице мысль окружить великого князя «образованными молодыми людьми, знакомыми с иностранной литературой». Екатерина Романовна предложила кандидатуру Пушкина, хотя знала, что тот мот, должник и забияка. Яркое прошлое протеже не смутило нашу героиню. Ведь Пушкин усилил бы влияние группировки Панина при Павле Петровиче. А заодно и ее собственное — Пушкины числились дальними родственниками Дашкова^{277}.

Орловы действовали весьма умело для новичков. Они довели до сведения императрицы историю с неуплатой поручиком долга французскому негодянту. Екатерина II высказалась очень определенно: «Достаточно и того, что на Пушкина падает тень сомнения, чтобы лишить

его возможности быть товарищем моего сына». Когда княгиня передала эту весть самому поручику, показывая, что ничего не может для него сделать, он отправился к Орловым. А те приискали ему место в Мануфактур-коллегии^[17].

Дело шло не о «второй неосновательной придирке» к Дашковой «со стороны императрицы», а о весьма болезненном случае перехода сторонника от княгини к соперникам. Екатерина Романовна в силу своей импульсивности и неумения устраивать чужие дела переставала восприниматься как желанный покровитель. История с близким другом семьи, которому якобы указали на дверь и которого плачущего на лестнице подобрали-облагодетельствовали фактические враги, многому учила тех, кто еще только намеревался выбрать патрона.

Поздно было повторять: «Орлов всегда искал случая мне повредить». К Дашковой больше не обращались. Она и так слыла взбалмошной. А добродушные братья быстро приобретали репутацию щедрых, готовых помочь всем, вплоть до неприятелей. Бекингемшир отмечал: «Они ничуть не мстительны и не стремятся вредить даже тем, кого не без причины считают своими врагами»^[278].

Было и другое происшествие, не нашедшее места на страницах «Записок», так как воспоминание о нем ранило Дашкову. Через несколько дней после переворота бывший фаворит Елизаветы Петровны — Иван Шувалов — написал Вольтеру, будто «женщина девятнадцати лет сменила в этой империи власть». Такое высказывание оскорбило императрицу, и она просила Станислава Понятовского: «Разуверьте в этом, пожалуйста, великого писателя»^[279].

Зачем Шувалову понадобилось подставлять себя под удар? Ведь Екатерина и так относилась к нему с неприязнью. После переворота положение Ивана Ивановича стало еще более шатким. Он состоял с Дашковой в отдаленном родстве и искал покровительства той, кого называли восходящей звездой. Однако похвалы Дашковой еще больше восстановили императрицу против Шувалова. Вскоре он засобиравшись за границу на «лечение», но Академия художеств предъявила ему денежные претензии. Только обратившись к Орлову за помощью, Иван Иванович смог прекратить тяжбу и, наконец, ехать.

Случай весьма похожий на историю Пушкина. Из обоих происшествий следовал один вывод: не ищи покровительства Дашковой — этим можно только прогневать государыню.

«О сестре Вашей уведомить имею...»

Второй ложный шаг, который княгиня совершила на придворном паркете, был фактический отказ поддерживать семью. В те времена человек ценился во многом благодаря влиятельной родне, весу фамилии. Крупные вельможи, вроде дяди-канцлера, возглавляли «великие роды» — целые кланы, — которые сообща боролись за власть и богатство, за влияние на государя. После переворота Дашкова воспринималась как виновница краха семейных надежд.

Считается, что Воронцовы по-прежнему жаждали получать богатые пожалования и награды, а Екатерина Романовна не предоставляла им такой возможности^{280}. В подтверждение подобного взгляда приводится письмо Михаила Илларионовича племяннику Александру от 21 августа в Лондон: «О сестре Вашей княгине Дашковой уведомить имею, что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как и от Елизаветы Романовны, и только что под именем ближнего свойства слышем, а никакого... вспомоществования или надежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не имеем»^{281}.

Современный читатель легко подменяет понятия далекой эпохи привычными, и текст кажется ясным. Однако картина, разворачивающаяся в письмах дяди-канцлера и племянника-дипломата, не просто сложнее. Она принципиально иная. За столетия существования «близ царя, близ смерти» аристократические роды создали целую стратегию выживания: не одного человека, а семейства в целом. В дни смут боярские фамилии предусмотрительно рассылали своих представителей на службу к разным претендентам, например, к Лжедмитрию, Василию Шуйскому, Романовым. Когда верх одерживала одна из сторон, сородичи-победители просили за побежденных. Пожалования земель и «рухляди» компенсировали конфискации, семья получала шанс не «захудать».

В рамках этой стратегии Воронцовы действовали безупречно: одна племянница — фаворитка Петра III, другая — его мятежной супруги. Но произошел сбой. Княгиня отвернулась от близких.

Случившееся было симптоматично. Однако пока никто не знал, что стряслось. Даже просвещенный Александр видел в поведении сестры просто неблагодарность. Уже 30 августа он взялся наставлять ее: «Не заглушая в себе родственных чувств, вы докажете всем свою правоту, а у завистников отнимите возможность чернить вас»^{282}.

Заметим, княгине пеняли не за переворот. «Правда, она имела многое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни, — писал дядя, — и в том мы ее должны весьма прославлять... да когда поведение не соответствует заслугам, то не иное что последовать имеет, как презрение».

Трудно поверить, что искушенный политик Михаил Илларионович наивно ожидал, будто воспитанница начнет немедленно добывать для родни высокие чины и должности. Этот человек 20 лет подсиживал канцлера Бестужева, прежде чем занял ключевое место, и знал, что большие дела быстро не делаются. Но они должны как-то делаться!

Хуже того, воспитанница могла вот-вот лишиться милости: «Я опасаюсь, чтоб она капризами своими и неумеренным поведением... не прогневала государыню... а через то наша фамилия в ее падении напрасного порока от публики не имела».

В письмах брату Екатерина Романовна здраво объясняла свои поступки: «Мои родные отнюдь не имели оснований меня упрекать (они ясно понимали свое прошлое положение и нынешние обстоятельства), им бы следовало принять в расчет, что я не могла давать никаких обещаний улучшить их благополучие»^{283}. Молодой дипломат спорил: «За Ваши заслуги Вы должны были бы просить одной награды — помилования сестры и предпочесть эту награду Екатерининской ленте»^{284}.

Каждый остался при своем. Дразги в семье не утихали много лет. Семен даже заявил, что у него «нет сестры»^{285}.

Часто исследователи видят в отказе княгини «порадеть родному человечку» яркий признак нового, просвещенческого мировоззрения. Порывая с родом, отстаивая права своей личности, княгиня опережала время на целое столетие^{286}. К этой картине требуются уточнения.

Как философ и публицист Дашкова всегда защищала прерогативы рода. «Связь родственная была тверда и любезна нашим предкам, — писала она о допетровской старине, — старший в роде был как патриарх, коего слушались и боялись... за родню, за друга вступались и противу сильного»^{287}. Именно такая картина была любезна ей самой. Но в клане Воронцовых нашу героиню отвергали. Как младшую, как «незаконнорожденную», как девочку, наконец. Первые места занимали братья.

Выйдя замуж, Екатерина Романовна перешла в другую семью и действовала со своей новой родней — дядей мужа Никитой Паниным, кузеном Репниным. Она вовсе не противостояла судьбе, открытая всем

ветрам. А в полном соответствии с традицией укрепляла собой клан, где со временем могла занять главенствующее положение. Заявляла о себе как о будущем «патриархе». Уже замужняя, отмеченная наградами, богатая княгиня претендовала на роль милостивца.

Этот план был осуществим, если бы Екатерина Романовна задержалась во власти подольше. За несколько лет она успела бы подтянуть к себе родню по мужниной линии. Но судьба не дала княгине времени. Летом 1762 года при дворе Дашковой всерьез не на кого было опереться, кроме группировки Панина. Однако в роковой момент его помощи оказалось недостаточно.

Глава пятая.

РЕВНОСТЬ

Если Екатерину Романовну украсил все-таки орден сестры (на чем настаивали в письмах родные), то это была первая попытка императрицы поставить подругу на место. Показать, что ее роль и в перевороте, и возле новой монархини скромнее, чем княгиня думает.

На беду, Дашкова либо игнорировала подобные знаки, либо не понимала их. Через несколько дней состоялась вторая демонстрация. В комнату, где беседовали государыня и княгиня, вошел Иван Иванович Бецкой, бросился перед Екатериной II на колени и потребовал ответа: «Кем, по ее мнению, она была возведена на престол?» Государыня заявила, что всем обязана «Богу и верным подданным». Тогда гость попытался снять с себя орден Святого Александра Невского. «Я самый несчастный человек, — воскликнул он, — так как вы не знаете, что это я подговорил гвардейцев и раздавал им деньги».

Дашкова сочла камергера «безумцем». «Императрица весьма ловко от него избавилась, сказав ему, что знает и ценит его заслуги и поручает ему надзор за ювелирами, которым была заказана новая большая бриллиантовая корона для коронации». Бецкой был «в полном восторге», а дамы «смеялись от всего сердца»^[288].

У этого забавного на первый взгляд эпизода грустный смысл. «Вы не признаете во мне *единственное* лицо, которое приготовило вам корону!»^[289] — такой упрек едва удерживала на устах сама Дашкова. И озвученный Бецким, он должен был о многом сказать княгине.

Подчеркнем такт императрицы: беседа произошла наедине, никого, кроме подруги, с государыней не было. Вспоминаются знаменитые слова Екатерины II: «Я браню тихо, а хвалю громко». Бецкой являлся близким к новой монархине человеком (многие даже называли его тайным отцом Екатерины; именно ему позднее она поручила воспитывать своего побочного сына А.Г. Бобринского). Ни о «сумасшествии», ни о «глупости» этого просвещенного вельможи речи не шло. Перед нами розыгрыш, который демонстрировал княгине, что она в своих претензиях заходит слишком далеко. Что государыня не станет гласно опровергать ее слова, поскольку «знает и ценит» заслуги. Но что минутами подруга выглядит смешно.

Поняла ли Дашкова намек? Если бы княгиня решила, что выходка Бецкого — карикатура на ее собственное поведение, эпизод не попал бы в мемуары. Напротив, он не только остался в памяти, но и был пересказан Дидро с соответствующими комментариями: «После революции многие, не принимавшие ни малейшего участия в ней, старались выставить свои заслуги перед императрицей»^{290}.

Значит, Дашкова не допускала и тени сомнения в значимости своей роли. Для нее жизненно важно становилось действовать в рамках избранного амплуа. Любое колебание оказывалось уже не только личным делом княгини, но и относилось ко всей партии, которую она представляла в качестве фаворитки. В каком-то смысле Екатерина Романовна попала в западню. Много лет спустя в письме Кэтрин Гамильтон она писала: «В чертах моего образа есть краски и тени, падающие на сановитых людей и великие события»^{291}.

Эти слова относятся не только к императрице, но и к таким «великим персонам», как Никита Иванович Панин. Соединив свои интересы с интересами его группировки, Дашкова незримо отодвинула себя от государыни. Какой бы собственнической любовью княгиня ни любила Екатерину II, быть для подруги поддержкой она уже не могла. Логика развития событий ставила ее в оппозицию.

Слова Екатерины II в письме Понятовскому: «Пока я повинуюсь, меня будут обожать; перестану повиноваться — как знать, что может произойти»^{292} — то же относились не к одним гвардейцам. В первые же дни после переворота Дашкова с удивлением заметила, что подруга «перестала повиноваться», вернее, делать вид, будто повинуется. Наступило время «как знать...».

«Отвратительная клевета»

Первым рубежом, за которым отношения уже не могли быть прежними, принято считать гибель Петра III. В мемуарах это событие словно подводит подруг к разрыву: «Когда получилось известие о смерти Петра III, я была в таком огорчении и негодовании, что, хотя сердце мое и отказывалось верить, что императрица была сообщницей преступления Алексея Орлова, я только на следующий день превозмогла себя и поехала к ней. Я нашла ее грустной и растерянной, и она мне сказала следующие слова: “Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!” — “Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей”, — ответила я».

«Вечером в апартаментах императрицы я имела неосторожность выразить надежду, что Алексей Орлов, более чем когда-либо, почувствует, что мы с ним не можем иметь ничего общего, и отныне не посмеет никогда мне даже кланяться»^{293}.

При чтении таких строк вопрос об участии самой Екагерини Романовны в ропшинской драме должен был сразу отпасть. Среди биографов княгини он считается почти неприличным. Между тем недостаточно сослаться на приведенный выше фрагмент из «Записок», дополнив его красочным письмом Алексея Орлова с места преступления, чтобы считать проблему закрытой.

«Матушка милостивая Государыня, — взывал Орлов. — Как мне изъяснить, описать, что случилось... Свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни»^{294}.

В настоящий момент подлинность этого документа подвергнута обоснованным сомнениям^{295}. Княгиня же горячо отстаивала достоверность приведенных в нем фактов. В течение долгих лет письмо подтверждалось рассказом Рюльера, согласно которому Алексей Орлов — командир охраны в Ропше — и статский советник Григорий Николаевич Теплов, приехавший из Петербурга, сначала попытались отравить императора, а потом удушили его. «Орлов обеими коленями давил ему на грудь и запер дыхание»^{296}.

Это описание стало известно раньше других источников и использовалось гораздо чаще. Есть все основания считать, что Рюльер в своей книге повторял сведения, услышанные в кругу Дашковой. «Он бывал

у меня в Петербурге и в Москве», — признавала княгиня, — и считался «старинным знакомым, оставившим во мне самые приятные воспоминания»^{297}.

Комментарий Дашковой к записке Орлова показывает, что и через 40 лет ее ненависть к Алексею не остыла: «Он писал как лавочник, а тривиальность выражений, бестолковость, объясняемая тем, что он был совершенно пьян, его мольбы о прощении и какое-то удивление, вызванное в нем этой катастрофой, придают особенный интерес этому документу... Когда, уж после кончины Павла, я узнала, что это письмо не было уничтожено... я была так довольна и счастлива, как редко в моей жизни»^{298}.

Что заставило княгиню радоваться? Доказательство вины старого врага? Подтверждение невинности подруги? Или чувство облегчения — ведь ее собственное имя тоже связывали с событиями в Ропше? Недаром Вольтер назвал Екатерину Романовну «Томирис с французским диалектом»^{299}, ставя знак равенства между нашей героиней и древней царицей кочевого племени массагетов, победившей и обезглавившей персидского царя Кира. Философ намекал на участие Дашковой в свержении и убийстве Петра III. В европейских столицах, где никто толком не разбирался в реалиях переворота, сложился образ эдакой тигрицы, готовой жертвовать своей и чужими жизнями. Увидев княгиню в 1770 году в Лондоне, Горацио Уолпол писал: «Ее улыбка приятна, но в глазах — свирепость Каталины»^{300}. Эта маска прирастала к живому лицу княгини, ее становилось трудно сорвать.

Для ряда исследователей загадка состоит в том, что Павел I наказал Дашкову за участие в перевороте куда строже, чем Орлова. Екатерину Романовну отправили в дальнюю ссылку, в глухую деревню, под надзор полиции. А Алексею, после участия в торжественном перезахоронении останков Петра III, позволили уехать с официальной любовницей и дочерью в заграничное путешествие «на лечение». Он даже не потерял чинов.

После смерти Екатерины II Алексей был призван во дворец, его объяснение с новым государем происходило «при закрытых дверях», из-за которых слышался «горячий разговор»^{301}. Видимо, граф сумел оправдаться, так как 28 и 30 ноября 1796 года он участвовал в императорском обеде^{302}, а убийцу отца с собой за стол не сажают.

Совсем иначе Павел повел себя в отношении нашей героини. 1 декабря 1796 года московский генерал-губернатор М. М. Измайлов получил

именной указ: «Объявите княгине Дашковой, чтобы она напamятовала происшествия, случившиеся в 1762 году, выехала из Москвы в дальние свои деревни». В черновике император собственноручно приписал: «чтоб ехала немедленно»^{303}. Павел считал непосредственным убийцей князя Ф.С. Барятинского, которого подверг аналогичным с Дашковой гонениям. Оба были помилованы одновременно и в одних и тех же выражениях: «Позволить... жительство свое иметь... в Москве, когда нашего в сей столице пребывания не будет»^{304}.

Возможно, Павел, неведомо с чьих слов, видел в княгине вдохновительницу преступления. Вспомним отзыв Бекингемиша: «Если бы когда-либо обсуждалась участь покойного императора, ее голос неоспоримо осудил бы его; если бы не нашлось руки для выполнения приговора, она взялась бы за это»^{305}. Однако император мог ошибаться. Вряд ли наказание, павшее на голову княгини в 1796 году, является подтверждением ее вины.

Но и само желание Екатерины Романовны безоговорочно возложить всю ответственность на Алексея Орлова говорит о стремлении обелиться. Показать дистанцию между собой и убийцами. Выделить себя из группы соучастников. Противопоставить им. А значит — в известной степени и государыне, покрывавшей преступников. На этом пути письмо Орлова играло ключевую роль.

В воспоминаниях Дашкова говорит о документе так, как если бы он был ей известен сразу после ропшинских событий, а потом всплыл уже при Павле I^{306}. Княгиню не смутил тот факт, что письмо было предъявлено ей Ф.В. Ростопчиным в 1805 году в копии, а рассказ об исчезновении подлинника, мягко говоря, вызывал сомнения. Согласно Ростопчину, документ был найден после смерти Екатерины II в особой шкатулке и передан Павлу I: «Я имел его с четверть часа в руках. Почерк известный мне графа Орлова... Император Павел потребовал... письмо графа Орлова» и «бросил в камин и сам истребил памятник невинности Великой Екатерины, о чем и сам чрезмерно после соболезнавал»^{307}.

Дашкова приписала Павлу восклицание: «Слава богу! это письмо рассеяло и тень сомнения, которая могла бы еще сохраниться у меня». Если император испытал радость и облегчение, то зачем было сжигать письмо? Вопросов к истории множество, но, будучи человеком пристрастным, княгиня охотно поверила в подлинность письма. Ведь оно подтверждало версию Панина, сторонницей и распространительницей которой Екатерина Романовна была много лет.

Рассказ самого Никиты Ивановича содержится в мемуарах его племянницы Варвары Головиной. «Решено было отправить Петра III в Голштинию, — писала фрейлина. — В Кронштадте подготавливали несколько кораблей... Приведу здесь достоверное свидетельство, слышанное мною от министра графа Панина: "...Я находился в кабинете у ее величества, когда князь Орлов явился доложить ей, что всё кончено. Она стояла посреди комнаты; слово 'кончено' поразило ее. 'Он уехал?' — спросила она вначале, но, услышав печальную новость, упала в обморок... Надежда на милость императрицы заглушила в Орловых всякое чувство, кроме одного безмерного честолюбия. Они думали, что, если уничтожат императора, князь Орлов займет его место и заставит государыню короновать себя"»^[308].

Итак, обвинения в адрес Орловых распространял Панин. Восклицание императрицы в рассказе Никиты Ивановича: «Моя слава погибла! Никогда потомство не простит мне этого невольного преступления!» — очень похоже на слова, переданные Дашковой: «Вот удар, который роняет меня в грязь!»^[309] А далее: «Слишком рано для вашей славы и для моей». После таких слов должно было произойти нелिцеприятное объяснение.

Но нет. Княгине отворили кровь, чета Дашковых перебралась во дворец и зажила с императрицей как ни в чем не бывало. Значит, у разговора был конец, который опущен в «Записках» и который позволил Екатерине II оправдаться. Княгиня подводит читателя к мысли о том, что во время объяснения государыня показала ей письмо Алексея Орлова.

Сторонники версии «заговора вельмож» часто подозревают, что Дашкова знала о гибели Петра III больше, чем рассказала. Ее многозначительные недомолвки воспринимаются как намеренное желание скрыть правду.

Однако могло быть и наоборот. Княгиня знала очень мало. От нее по-прежнему продолжали «всё скрывать». Посмотрим, например, как описан ею придворный быт: «Я пламенно любила музыку, а Екатерина напротив. Князь Дашков, хотя сочувствовал этому искусству, но понимал его не более императрицы... Она, обыкновенно, подавая секретный знак Дашкову, затягивала с ним дуэт... Ни тот ни другой, не смысля ни одной ноты, составляли концерт самый дикий и невыносимо раздражающий уши... Она также искусно подражала мяуканью кошки и блеянию зайца (так в тексте. — О. Е.)... Иногда, вспрыгивая, подобно злой кошке, она нападала на первого мимо проходящего, растопыривая руку в виде лапы»^[310].

В самих «кошачьих» концертах ничего невозможного нет. (Точно такие

же Дашкова могла видеть летом, посещая великокняжескую чету в Ораниенбауме.) Екатерина II описывала в мемуарах, как с юности научилась копировать голоса животных. Однако время после убийства Петра III было крайне неподходящим для подобных развлечений — дворец оказался фактически в осаде.

Дашкова убеждала Дидро, что «в России никто, даже среди народа, не обвинял Екатерину за участие ее в смерти Петра III»^[311]. Это неправда. Согласно донесениям иностранных послов, один ночной взрыв в гвардии следовал за другим. Прусский министр Бернхард фон Гольц сообщал 10 июля о «множестве недовольных», число которых «возрастает со дня на день»^[312]. Чуть позже дипломат добавлял: «Теперь, когда первый взрыв и первое опьянение прошли, сознают, что только покойный император имел право на престол»^[313].

Голландский резидент Мейнерцгаген доносил 2 августа в Гаагу, что «третьего дня», то есть 31 июля, «ночью возник бунт среди гвардейцев», охвативший два старших полка — Семеновский и Преображенский. Солдаты «кричали, что желают видеть на престоле Иоанна [Антоновича], и называли императрицу поганою». «Майора Орлова» — Алексея, — который пытался их успокоить, они именовали «изменником»^[314]. Спустя два дня беспорядки возобновились.

«Братья Орловы едва смеют теперь показываться перед недовольными, — писал Гольц. — Нет таких оскорблений, которых не пришлось бы выслушать Орлову-камергеру (Григорию. — О. Е.) в одну из тех ночей, когда императрица посылала его успокаивать собравшихся»^[315].

Раздражение росло день ото дня. Кейт писал в Лондон 9 августа: «Между гвардейцами поселился скрытый дух вражды и недовольства. Настроение это достигло такой силы, что ночью на прошлой неделе оно разразилось почти открытым мятежом. Солдаты Измайловского полка в полночь взяли за оружие и с большим трудом сдались на увещевания офицеров. Волнения обнаружились две ночи подряд, что сильно озаботило правительство»^[316]. Мейнерцгаген сообщал, что результатом волнений стали «аресты и высылка множества офицеров и солдат из столицы»^[317]. Информацию об арестах подтверждал и Кейт.

Императрице приходилось самой выходить успокаивать служивых. То же делали Разумовский, Орловы, другие бывшие заговорщики. Отсутствие среди них князя Дашкова было бы невозможно, находись Михаил Иванович во дворце. Если бы у его супруги имелось влияние на солдат, ей пришлось бы тоже принять участие в успокоении. Ничего подобного не произошло.

«Обижались моим энтузиазмом»

Нарастание неприязненных отношений между подругами, на наш взгляд, произошло стремительнее, чем принято считать. Буквально за несколько дней.

Екатерина II была очень терпеливым человеком. Однако имелся пункт, в котором императрица не могла уступить. Руководство переворотом, свержение Петра III не должно было приписываться за границей юной амазонке. И здесь государыне пришлось столкнуться с плодом своих прежних усилий. Во время подготовки заговора одна Дашкова открыто обнаруживала ненависть к императору, гласно заявляла о готовности рисковать головой. Екатерине было выгодно, чтобы подругу, не знавшую ничего «важного», считали главой заговора и не опасались.

Теперь, когда переворот произошёл, императрицу раздражало, что иностранные дипломаты сообщали своим дворам о Дашковой как о главной движущей силе «революции». Чего стоил один Кейт — давний поклонник Екатерины Романовны и неприятель самой государыни: «Местом встреч был дом княгини Дашковой — молодой леди не старше двадцати... Ясно, что она сыграла важную роль, когда заговор задумывался и при исполнении его от начала до конца»^[318]. С чьих слов посол сделал подобный вывод? Екатерина II знала, что Дашкова с мужем часто обедали у старика, что тот называл княгиню «дочкой»...

Естественным образом возникали соперничество, ревность, желание рассказать «правду» — как каждая из подруг ее понимала. Рюльер описал положение княгини весьма близко к тому, что она сама о себе рассказывала, например, Дидро: «Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем как Екатерина хотела казаться избранною); наконец, всё не нравилось Екатерине, и немилость к Дашковой обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздавали ей из приличия»^[319].

Слова секретаря французского посольства подтверждал и вернувшийся в Россию Бретейль: «Сразу после беспорядков думали, что княгиня Дашкова и господин Панин недовольны и покинули двор. Когда княгиня Дашкова вернулась, императрица осмеяла ее и больше не доверяла господину Панину». В донесении 13 сентября француз рассказывал о столкновении из-за Вольтера: «Императрица спрашивала меня, знаком ли я с господином де Вольтером. Она хочет, чтобы я просветил его касательно

истинной роли княгини Дашковой. Несмотря на службу, которую княгиня Дашкова действительно сослужила, ее теперь игнорируют. Императрица ревнует и хочет, чтобы Вольтер не приписывал успех революции княгине»^[320].

Гольц зафиксировал странное «легкомыслие» вельмож, стремление не гасить, а раздувать слухи о смерти Петра III: «Удивительно, что очень многие лица теперешнего двора, вместо того, чтобы устранять всякое подозрение, напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя. Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь». Среди тех, кто «забавлялся», была и Екатерина Романовна. Она передавала, вероятно, со слов Панина, что в день ареста император «ел с аппетитом и, как всегда, пил много своего любимого бургундского вина»^[321]. Это была неправда, Петр III не мог есть, но действительно выпил один стакан, после чего его скрутила жестокая колика на нервной почве.

Екатерина II, без сомнения, не испытывала благодарности к подруге за «легкомысленную» болтовню в дипломатическом кругу. Нарастало напряжение и по внешнеполитическим вопросам. Сразу после восшествия императрицы на престол при дворе началась борьба за повторное вступление России в войну против Пруссии. За такое развитие событий ратовали бывшие союзники — Австрия и Франция. Короткое время партия Панина, позднее вставшая на позиции альянса с Пруссией, придерживалась австрийской ориентации^[18]. А вот Екатерина II, напротив, поставила целью не допустить нового столкновения с Берлином и рассматривала Фридриха II как потенциального партнера в решении польских дел.

Из донесений дипломатов видно, что Дашкова вместе с Паниным очутилась не на стороне императрицы. 23 июля Гольц сообщил домой тревожные новости: «Княгиня Дашкова часто ведет оживленные беседы с венским послом». Дашкову считали ближайшим доверенным лицом Екатерины, и, конечно, ее разговоры с графом Мерси не воспринимались как частная болтовня.

Сам Мерси д'Аржанто обнаруживал близость взглядов с представителями вельможной группировки: «Кажется еще сомнительным, не сделала ли новая императрица большой ошибки в том, что возложила корону на себя, а не провозгласила своего сына, великого князя, самодержцем, а себя регентшею империи во время его несовершеннолетия»^[322]. Так говорили и Панин, и Дашкова.

Временной близостью позиций объяснялись и симпатия к княгине

французских дипломатов, и отзыв Бекингемшира, иногда ставящий исследователей в тупик: «для Англии нет особой причины сожалеть об» удалении Дашковой, «поскольку она поддерживала в сильной степени интересы Франции»^{323}. Несмотря на то что в течение всей жизни княгиня предпочитала Британию, был краткий момент в ее политической биографии, когда вместе с партией Панина она выступала на стороне Вены и Парижа.

«Поддерживала в сильной степени» — значит, доводила до государыни мнение своей группировки. И делала это с обычной для княгини настойчивостью. Чтобы не сказать назойливостью, к которой подталкивал племянницу Панин, сам предпочитавший действовать осторожно. Позднее она рассказывала Дидро: «Я часто оскорбляла своих друзей ревностью, с которой старалась помочь им, и некоторые предприятия не удались только потому, что я слишком горячо принималась за них. Холодные и мелкие душонки обижались моим энтузиазмом»^{324}. То, что для Дашковой было энтузиазмом, императрица расценивала как вмешательство в государственные дела.

«Epris de Catherine»

Не легче складывались и личные контакты в узком дворцовом мирке. Помимо сильных врагов — Орловых, существовало множество мелкой придворной рыбешки, которая, сбиваясь в стаи, могла нападать даже на крупную дичь. Екатерина Романовна остро помнила нанесенные обиды. Недаром ее брат Семен, в 1813 году убеждая Марту Уилмот не публиковать мемуары княгини, писал, что в тексте «сквозит питающееся ни для кого не интересными дворскими сплетнями чувство ненависти к людям, сошедшим в могилу за четверть века до смерти автора. Что подумать о такой вовсе не христианской ненависти, которой не может примирить и самая смерть?»^[325].

Княгиня считала иначе. За 40 лет она не смогла примириться с перенесенной болью. Один брат обвинял ее в отсутствии благодарности. Другой — в неумении прощать. Оба чувства вытеснялись из души нашей героини жалостью к себе. Если летом 1762 года Дашкова еще претендовала на роль «главной фаворитки», то в момент написания воспоминаний она уже давно и уютно сжилась с ролью жертвы. «Некоторые изображали меня упорно преданной своим мнениям и необыкновенно тщеславной, — писала княгиня Кэтрин Гамильтон. — Самолюбие считали господствующей моей страстью».

И далее развенчивала оба мнения: «Я никогда не подозревала в себе способность нравиться. Это недоверие к себе... выражалось на лице; поэтому в моих манерах проглядывала какая-то неловкость, очень охотно перетолкованная в заносчивость или раздражительность. Застенчивость моя была так велика, что я обыкновенно в кругу большого общества сообщала именно то впечатление, которого боялась, — ложное понятие о том, что говорила и делала».

Иными словами, княгиня держалась с показной гордостью, чтобы скрыть природную робость. Последнюю не замечали, на первую ополчались. «Меня также представляли жестокой, беспокойной и алчной, — продолжала она. — Канва для этих портретов... была представлена публике вслед за восшествием императрицы на престол... Мне было тогда восемнадцать лет от роду... я действовала под влиянием двух опрометчивых обстоятельств: во-первых, я лишена была всякой опытности; во-вторых, я судила о других по своим собственным чувствам, думая о всем человечестве лучше, чем оно есть на самом деле... Вспомните также о

лицах, окружавших императрицу; это были мои враги с первого дня правления ее, и враги всемогущие»^{326}.

Сделав круг, княгиня вновь вернулась к мысли о врагах. Нельзя не отметить, что ее представление о прошлом отличалось цикличностью: любовь к Екатерине II — противники, отнявшие обожаемого идола, — несправедливые гонения и ложная клевета.

Однако материал для подобных представлений имелся в избытке. Придворная среда живет сплетнями. Екатерина Романовна с ее беспокойным, взрывным характером, демонстративной независимостью и презрением к условностям стала удобной мишенью для злословия. Насколько реальные претензии Дашковой преувеличивались, можно судить по слуху, записанному в конце века Ш. Массоном: «Всем известно, что она усиленно просила Екатерину назначить ее гвардейским полковником и, несомненно, была бы в гвардии больше на месте, чем большинство теперешних полковников. Но Екатерина не могла доверить ей такую должность — слишком мало полагалась она на эту женщину, хваставшуюся тем, что возвела ее на престол»^{327}. В основе сплетни лежала попытка княгини в дни переворота распорядиться солдатами. Впрочем, безуспешная. Отчего было не приписать даме посягательство на чин фельдмаршала?

При жене, которая «не только усвоила мужские вкусы, но и обратилась совсем в мужчину», супруг, естественно, смотрел на сторону. Говорили, будто князь Дашков ухаживал за Екатериной II. А его законная половина стала любовницей Никиты Панина. Обычная светская грязь. Семен Воронцов ошибался, назвав «дворские сплетни» «ни для кого не интересными». И тогда, и через два с половиной века они вызывают больше любопытства, чем участие княгини в создании буквы «Ё» для русского алфавита^{328}.

В 1831 году А.С. Пушкин побывал в Москве на балу у дочери Дашковой — Анастасии Михайловны Щербининой и с ее слов записал старую сплетню: «Разумовский, Никита Панин, заговорщики. Мсье Дашков, посол в Константинополе, возлюбленный Екатерины, Петр III ревнует Елизавету Воронцову. (Мадам Щербинина)»^{329}. Запись сделана частью по-русски, частью по-французски. Забавно, что некоторые биографы Дашковой не решаются перевести оборот: «Epris de Catherine» — и ставят в нужном месте отточия^{330}.

Переданная история в первую очередь не украшала саму Щербинину. Анастасия Михайловна сильно пострадала от деспотизма матери, но

княгиня скончалась уже более двадцати лет назад. «Что подумать о такой вовсе не христианской ненависти, которой не может примирить и самая смерть?» Видимо, мать и дочь были похожи.

Что же до сути истории, то либо Пушкин неточно записал, либо Щербинина неверно запомнила: ведь не Петр III ревновал фаворитку, а наоборот. Подробность об отсылке князя Дашкова женой в Константинополь, чтобы избежать романа с Екатериной, любопытна. Но возникает вопрос: кого же ревновала Дашкова — мужа к подруге или подругу к мужу?

Вспоминаются слова княгини: «Кроме мужа, я пожертвовала бы ей решительно всем». А фраза Екатерины II в письме 1781 года о детях Дашковой: «будучи любима обоими их родителями»^{331} — приобретает иной смысл. Много лет спустя, рисуя характер княгини для «Былей и небылиц», государыня очень резко выскажется о ее семейной жизни: «Любезному мужу доставалось слышать громогласные ее поучения, кои бывали... бранными словами и угрозами наполнены... “я все для тебя потеряла, и я бы знатнее и счастливее была за другим, когда бы черт меня с тобой не снес”»^{332}.

Видимо, Михаил Иванович жаловался. Нет ничего удивительного в том, что люди, измученные беспокойным поведением княгини, тянулись друг к другу. Личная симпатия между Екатериной II и Дашковым, без сомнения, существовала. Но в той обстановке, когда государыня во всем опиралась на братьев Орловых и боялась задеть их, ни о какой связи речи идти не могло. Любой кандидат рисковал головой, о чем императрица прямо писала Понятовскому, отговаривая от немедленного приезда в Россию: «С меня не спускают глаз, и я не могу давать повода для подозрений»; «вы очень рискуете тем, что нас обоих убьют»; «я не хочу, чтобы мы погибли»^{333}.

Если императрица и сгущала краски, то совсем немного. Бекингемшир подтверждал серьезность настроя Орловых относительно новых кандидатов на роль фаворита: «Не очень давно некий молодой человек хорошего круга, внешностью и манерой своей сильно располагавший в свою пользу, обратил на себя особенное внимание императрицы. Некоторые из друзей Панина, бывшие также и его друзьями, поощряли его добиваться цели. На первых порах он последовал было их совету, но вскоре пренебрег блестящею участью... Он сознался по секрету близкому родственнику, что он побоялся угроз, высказанных Орловыми по адресу всякого, кто вздумает заместить их брата, и не имел достаточно

честолюбия, чтобы рискнуть жизнью»^{334}.

Следует ли видеть в описанном «молодом человеке» князя Дашкова? Или это был другой кандидат? Ведь посол вел рассказ с чьих-то слов и не называл фамилий. Но кое-какие следы добрых отношений остались: Екатерина II подарила князю лучшую лошадь из своей конюшни^{335}. Она сама была страстной ценительницей лошадей, прекрасно ездил верхом, и подобный презент много говорил заинтересованным наблюдателям.

Как бы там ни было, императрица держалась крайне осмотрительно, и Михаил Иванович не имел шансов. Другое дело — его жена. Привязанность государыни к княгине могла выглядеть как дружба. Но Екатерина Романовна вносила в нее столько горячности, что не позволяла окружающим остановиться на этой невинной трактовке.

Пушкин зафиксировал довольно поздние слухи, касавшиеся отношений Дашковой с императрицей. В 1835 году, взбешенный назначением С.С. Уварова президентом Академии наук, он писал: «Уваров большой подлец... Разврат его известен... Он начал тем, что был б..., потом нянкой и попал в президенты Академии Наук, как княгиня Дашкова в президенты Российской Академии»^{336}.

Эта запись не значит ничего, кроме того, что подобные разговоры велись. Но гораздо больше сплетен вызывали близкие, доверительные контакты молодой княгини с Паниным. Дипломаты в один голос называют княгиню «дочерью или любовницей» Никиты Ивановича. Родные открыто обсуждали больной вопрос. Дядя-канцлер, чья дочь — Анна Михайловна — также в свой час не миновала объятий Панина, с негодованием сообщал племяннику Александру, что Никита Иванович «к его позору страстно любит и боготворит Дашкову», хуже того — «слепо превращается в раба ее»^{337}.

Дж. Казанова, побывавший в России в 1767 году, посетил Дашкову с рекомендательным письмом. «Княгиня замолвила обо мне словечко перед графом Паниным, — отмечал он. — Я слышал от лиц, заслуживающих всяческого доверия, что граф Панин был не любовником госпожи д'Ашковой, а отцом»^{338}.

Эти сплетни больно ранили такого нервного, впечатлительного человека, как Екатерина Романовна. Клевету, по словам Дашковой, распространяла «первая камеристка императрицы в бытность ее великой княгиней». Некоторые исследователи видят в этой особе Марию Травину^{339}, урожденную Жукову, действительно возвращенную ко двору. Однако прежняя горничная Екатерины была слишком молода и худородна,

чтобы находиться некогда «в дружеских отношениях с матерью» Дашковой и от нее узнать подробности романа с Паниным. Ее сослали в 1745 году. На наш взгляд, имелась в виду М.С. Чоглокова, первая камер-фрау малого двора и родственница Воронцовых. Некогда «Кербер» молодой Екатерины, она с годами превратилась в ее преданного пса. Эту-то женщину и использовали против Дашковой.

Часто в рассказах об охлаждении между подругами императрица предстает безучастной и отдаляющейся. На самом деле она поборолась за сохранение княгини. Но сделала это очень своеобразно.

Кто бы ни был источником слухов о связи с Паниным — Чоглокова или Травина, — обе являлись слишком слабыми и несамостоятельными фигурами, чтобы действовать без ведома государыни. Перед нами попытка вбить клин между Дашковой и Паниным, рассорить их. А такой ход уже отдавал политикой. Группировка, выступавшая за интересы наследника Павла, должна была дать трещину, ведь позиции княгини и воспитателя совпадали далеко не полностью. Порвав с Паниным, лишившись поддержки его партии, Екатерина Романовна становилась безопасной и могла быть сохранена в качестве подруги. Но теряла политический вес.

Императрица почти преуспела. «Я бы ненавидела Панина, потому что из-за него пятнали мою репутацию», — признавалась княгиня. Причиной сохранения близких отношений в мемуарах названы благодеяния детям Дашковой. Но это анахронизм: до благодеяний оставалось несколько лет, а дружба подвергалась испытаниям летом 1762 года. Истинная причина состояла в желании нашей героини играть самостоятельную политическую роль, пусть и оппозиционную, Екатерине II.

«Уклониться от наград»

Почему Екатерина II не привлекала подругу к политическим делам? Считала юной? Опасалась амбиций? Оба ответа справедливы.

Попытки умиротворить княгиню не давали плодов. Дашкова признавала право предъявлять претензии. А императрица чувствовала себя обязанной и постоянно заговорила о наградах. Точно откупалась. Екатерина же Романовна внешне избегала расплаты. Но то небольшое, о чем она просила, отнюдь не являлось безделицей.

Показательна история с «возвращением к жизни» генерал-аншефа Николая Михайловича Леонтьева, дяди князя Дашкова по материнской линии. За него наша героиня ходатайствовала уже 29 июня, на второй день переворота. Этому эпизоду исследователи не предают особого значения. Между тем он прекрасно характеризует планы княгини относительно родни мужа. При разъезде с женой — Екатериной Александровной, урожденной Румянцевой — Леонтьев лишился «седьмой части своих поместий и четвертой части движимости и капитала». Раздел имущества был закреплен указом Петра III. Дашкова решила его оспорить, напомнив о традиции, по которой вдова могла рассчитывать на свою долю только после кончины супруга, а не «благодаря капризам».

Согласно рассказу Дашковой, императрица признала справедливость ее просьбы и обещала «восстановить права» дяди. На самом деле для Екатерины II было очень опасно ввязываться в тяжбы разветвленных дворянских семейств, где один неверный шаг грозил появлением тучи недовольных — всех родственников фигуранта. Осторожная государыня всегда старалась уклоняться от судов, разводов, разделов наследства, требуя от Сената «решить по закону». Особенно ярко эта черта проявлялась в первые годы царствования, когда императрица сомневалась в прочности своего положения. В октябре 1762 года Бретейль доносил в Париж: «Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественной, слаба и нерешительна, когда дело идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи»^[340]. Если кто-то из подданных будет недоволен, то лучше не решать проблему — стало на время девизом Екатерины II.

Дашкова же демонстрировала не просто настойчивость, а родовую заинтересованность в сохранении имущества. Девятнадцатилетняя дама проявляла готовность поучаствовать в тяжбе. А в подобных делах

выигрывал тот, у кого находился близкий к престолу милостивец. При Петре III такими фигурами были мать «разводящейся», влиятельная статс-дама М.А. Румянцева, и ее сын, П.А. Румянцев, к которому благоволил император.

Теперь роль милостивца готовилась принять на себя княгиня. Но Екатерина II вовсе не горела желанием ссориться с Румянцевыми. На второй день переворота еще неясно было, как поведет себя армия, отправленная под командованием Петра Александровича в поход против Дании. Посредницей между императрицей и влиятельным семейством выступила другая дочь старухи Румянцевой — Прасковья Александровна Брюс.

Эта дама являлась настолько близким Екатерине II человеком, что на одной из редакций мемуаров помечено: «Графине Брюс, которой я могу сказать о себе всё, не опасаясь последствий». Дашкова такой характеристики не удостоивалась. Брюс же умела держаться в тени, но годами блюла интересы клана^[19]. «Она является первым украшением петербургского общества, — писал Бекингамшир. — Она хорошо одевается, порядочно танцует, бегло и изящно говорит по-французски... не сторонится ухаживаний, но всегда скромна в выборе лиц, к которым благоволит; привязанности ее всегда подчинены рассудку, и она внимательно следит за привязанностями своей повелительницы... Теперь отличает Алексея Григорьевича Орлова»^[341].

Такой осмотрительный выбор не только вводил Брюс «в круг сократнейших тайн», но и позволил «с умом и непринужденностью» навести мост между августейшей подругой и братом-полководцем. В маленьком, почти семейном, мирке конфликты сглаживались личными отношениями. Неудивительно, что первое примирительное письмо Румянцеву написал Григорий Орлов. А будущий фельдмаршал, опасавшийся после смерти Петра III потери «гравёра» при дворе, с охотой пошел навстречу новой государыне.

Этот пасьянс, уже любовно складывавшийся в голове Екатерины II, Дашкова могла разметать одним движением, добиваясь милости для человека, лично императрице неприятного. В 1753 году он тяжело ранил на дуэли старого поклонника и сторонника Екатерины графа Захара Чернышева. Инцидент возник за картами в доме Романа Воронцова. Дашкова была тогда еще десятилетней девочкой, жила у дяди и могла ничего не знать. Во всяком случае, она не рассказала об этом в мемуарах. Захар, которого многие считали любовником великой княгини, находился

несколько дней между жизнью и смертью, доктора говорили о трепанации, но всё обошлось. «Мне это было весьма неприятно, так как я его очень любила, — писала императрица. — ...Этот поединок занял весь город, благодаря многочисленной родне того и другого из противников.

Леонтьев был зятем графини Румянцевой и очень близким родственником Паниных и Куракиных. Граф Чернышев тоже имел родственников, друзей и покровителей»^[342]. Именно тогда молодая Екатерина увидела, что такое столкновение кланов. Леонтьев оказался ненадолго посажен под арест, но чтобы не раздувать распри между сильнейшими родами, Елизавета Петровна благоразумно предпочла замять дело.

Теперь государыне предлагалось своей рукой облагодетельствовать несостоявшегося убийцу Чернышева, потому что тот был в родстве с ее молодой подругой. Обе женщины ставили друг друга перед непростыми решениями. Обе ждали жертв. Княгиня потребовала первых уступок буквально в ходе переворота. Важно подчеркнуть, что ее демарши возникли не в ответ на несправедливость государыни, как часто подают биографы княгини, а опережали действия императрицы.

12 июля в столицу прибыл возвращенный из ссылки А.П. Бестужев-Рюмин. Прежний канцлер получил аудиенцию у императрицы. «Я была представлена ему в самых лестных выражениях, уязвивших Орловых», — сообщала мемуаристка. «Вот княгиня Дашкова! Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова!»

По мнению нашей героини, эта фраза «вырвалась» у Екатерины II как бы помимо воли, и стоявшие рядом Орловы «охотно затушевали бы» ее. На самом деле хитрого, лукавого старика, вернувшегося из «глухой неизвестности и политической эмиграции», знакомили с новыми звездами русского Олимпа. Его сопровождал из-под Москвы фаворит — тем самым императрица указывала понятливому царедворцу, кто ближе всех стоит к ее персоне. Но необходимо было продемонстрировать и другую партию. Тех, кто, поддержав Екатерину II, все-таки являлся сторонниками не безусловными, но имел вес. Из них «молодая дочь графа Романа Воронцова» выглядела в первые дни после переворота даже ярче Панина.

Бестужев, несмотря на дряхлость, был человеком честолюбивым и деятельным. Он сразу же начал добиваться возвращения поста канцлера, который занимал его враг Михаил Воронцов. Не желая наделять Бестужева прежним весом, молодая государыня указала старику на препятствие в лице Дашковой — племянницы Воронцова. Один фаворит — Орлов — поддерживает опального; другая — может воспротивиться по семейным

соображениям. Всё зыбко, императрица не всеильна...

Именно такой подтекст был у слов Екатерины II — величайшей мастерицы уравнивать влияние одних вельмож силой других. Фраза, которой так гордилась Дашкова, в сущности, предназначалась не ей и менее всего говорила о благодарности государыни.

«Фальшивое выражение»

Бестужев произвел на Дашкову неприятное впечатление, ее поразило «его умное лицо и тонкое фальшивое выражение». Но сам факт, что 12 июля императрица представила княгиню царедворцу, готовившемуся «выступить на сцену в ярком свете и знаменитости», говорит о сохранении между подругами хотя бы видимости добрых отношений.

К началу августа этой видимости не станет.

2-го числа появится письмо императрицы Понятовскому. 9-го в «Санкт-Петербургских ведомостях» будет опубликован список награжденных, где имя Дашковой окажется отодвинуто во второй эшелон. В течение всего месяца княгиня не появится за столом императрицы. Что случилось?

Именно в это время Панин начал прощупывать почву для подачи Екатерине II своего проекта нового Императорского совета с законодательными функциями. Делать это следовало не прямо, а через близкое к государыне лицо — подругу, которая в разговоре могла затронуть нужную тему и выслушать реакцию. А потом пересказать дяде, чтобы сориентировать того в настроениях государыни.

Так вел бы себя сам осторожный Никита Иванович. Но не Дашкова. В конце жизни княгиня писала журналисту С.Н. Глинке: «Я настойчива и даже своенравна во мнении и слоге своем»^[343]. Эти качества, по пословице, родились раньше ее. И если в печатной полемике были еще терпимы, то в политике приводили к провалу.

«Один горький урок вынесла Дашкова из ее сношений с двором, — записал Дидро, — он охладил в ней пылкое желание полезных и благотворных реформ». Фраза посвящена не реформам вообще, каковых в екатерининское царствование было проведено исключительно много. А тому единственному случаю, когда августейшая подруга раз и навсегда преградила княгине дорогу к решению вопросов высшего государственного управления.

«Почему она не любит Петербурга? — продолжал Дидро. — ...Может быть, она недовольна тем, что заслуги ее мало вознаграждены; или, возведя Екатерину на престол, она надеялась управлять ею... или она добивалась места министра и даже первого министра, по крайней мере, чести государственного совета; или княгиня обиделась, что друг ее, которому она надеялась вручить регентство, захватил, без ведома и наперекор ее планам,

царскую власть»^{344}. Всё это весьма проницательно.

Говоря в «Записках» об одном из сторонников Панина — Г.Н. Теплове, княгиня пометила: «Он писал очень свободно и красноречиво, и я думала назначить его секретарем императрицы»^{345}. Из этих слов видно, какое место Екатерина Романовна отводила себе — человеку, который может назначать чиновников в окружении царицы. Позднее Г.Р. Державин, конфликтовавший с княгиней по своей сенаторской должности, вспоминал: «Дашкова была честолюбивая женщина, добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Совете»^{346}. Имелся в виду тот самый Совет, проект которого исходил от Панина. Рюльер, много общавшийся с Екатериной Романовной, подчеркивал, что разногласий между вельможей и племянницей не было: «Панин и княгиня одинаково мыслили на счет своего правления»^{347}.

В чем же состоял проект Никиты Ивановича? И чем он был близок Дашковой? Панин сконцентрировал в документе идеи, с которыми вступал в заговор. Совет из нескольких (от шести до восьми) несменяемых, пожизненных членов должен был служить местом «законодания» и существенно ограничивал власть монарха. Без него государь не мог принимать решений. Сам же Совет, напротив, приобретал право выпускать указы, как бы исходящие от государя^{348}.

Являясь главой партии наследника, Панин не просто защищал интересы Павла. Его план состоял в том, чтобы ограничить власть юного монарха при вступлении на престол. Пока Екатерина II соглашалась быть регентом, цель казалась достижимой.

Но при взрослом самодержце дело обстояло иначе. Тем более что государыня с первых шагов продемонстрировала самостоятельность.

В проекте Никита Иванович ловко выставлял новый орган защитником власти монарха, который «оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оной». Под «похитителями» имелись в виду «временщики и куртизаны». «Фаворит остался душою, животворящею или умерщвляющею государство»^{349}.

Эта мысль была близка Дашковой. Сердечное влечение к государыне вступало для нее в острое противоречие с политическими реалиями. Подруга не стала регентом, не соблюла закон, открыто завела любовника, предпочитала гвардейский охлос «честным патриотам». Логика развития событий ставила княгиню в оппозицию к человеку, перед которым она преклонялась.

Создание законодательного Совета должно было восстановить

попранную справедливость. Отдалить Орловых от Екатерины II и от власти, а саму императрицу вернуть «на путь истинный» — то есть в лоно аристократического либерализма. Ведь, как отмечал Рюльер, обе подруги испытывали «равное отвращение к деспотизму», и Дашкова считала, что «нашла страстно любимые ею чувствования в повелительнице ее отечества»^{350}.

Но, ненавидя деспотизм, подруги совсем по-разному понимали отказ от него. Для западного читателя достаточно пояснить, что Орловы выступали за самодержавие, а Панин и Дашкова являлись сторонниками либерального пути^{351}, и нужные ориентиры будут расставлены. Но на деле картина гораздо сложнее и в некоторых чертах противоположна заявленной схеме.

Совет ограничивал волю монарха, передавая его права узкой группе несменяемых олигархов — представителей знатнейших родов. Среднее дворянство России со времен Анны Иоанновны выступало преградой для реализации подобных планов, поскольку было заинтересовано, чтобы государь продвигал помещиков по чиновной лестнице и жаловал за службу. Многочисленное офицерство боялось, что при введении того или иного олигархического органа круг лиц, получающих доходные назначения, ограничится разветвленной родней членов Императорского совета. В новой форме вернутся порядки времен Боярской думы и государева двора, когда места занимали в соответствии с родовитостью. Возможности для выдвижения и обогащения широкой служилой массы исчезнут. Выразителями этих настроений и были Орловы. Выскочки, попавшие «из грязи в князи».

Высшую аристократию, напротив, волновал вопрос о том, что ее права попираются капризом государя, своевольным хотением продвигать по службе худородных, мелкопоместных, никому не ведомых людишек. Последние не имели своего мнения, боялись возразить монарху и заменяли попечение об Отечестве царевой службой. То есть были исполнителями. Тогда как родовитые аристократы годились и в законодатели.

Этот средневековый конфликт в России XVIII столетия, в силу культурной европеизации, приобрел внешние черты противостояния абсолютизма и либерализма. Тогда как, по сути, был противостоянием аристократии и монархии. Свои претензии на власть наиболее образованные представители высшего сословия формулировали языком «Духа законов» Монтескье, что до сих пор сбивает с толку исследователей. Да и для самих носителей подобного мировоззрения — например, Панина

и Дашковой — создавало немалую трудность. Им нужно было понять самих себя, потребности своей страны и выразиться так, чтобы вместо Москвы не получался Париж и Лондон.

«Тщеславие ее безмерно»

Неоднозначная позиция Дашковой: любовь к Екатерине II, с одной стороны, и оппозиционность — с другой, позволяли каждой из партий упрекать ее в предательстве своих интересов. Императрица писала об отце княгини, что тот имел «сварливый, перемечливый нрав». Нечто подобное обнаруживалось и у дочери.

Теперь Екатерина Романовна приняла удары, предназначенные группировке Панина в целом. Наказывая ее, императрица демонстрировала, что все разговоры об Императорском совете неуютны.

Сам Никита Иванович в силу мягкой, уклончивой позиции и близости к наследнику был неуязвим. А вот его вспыльчивая племянница легко вызывала на себя гнев. И защититься ей было нечем. Кроме того, на примере бывшей подруги государыня наглядно объясняла придворным, что легко отвернется от того, кто отвернулся от нее. Это казалось необходимо, чтобы предотвратить рост рядов сторонников Павла и предостеречь от новых заговоров.

Можно было бы добавить: ничего личного. Но между Екатериной II и Дашковой личного было очень много. И письмо Понятовскому 2 августа дышит именно личным раздражением: «Княгиня Дашкова... напрасно пытается приписать всю честь победы себе... Она действительно умна, но тщеславие ее безмерно. Она славится сварливым нравом, и все руководство нашим делом терпеть ее не может»^[352]. Пройдут годы, императрица изменит тональность, но не оценку: «Вся смелость княгини Дашковой (и, действительно, она много проявила ее) ни к чему не привела бы, так как у нее было более льстецов, чем людей, веривших в нее»^[353].

Пока же гнев брал верх. Сообщение о наградах участникам переворота было опубликовано 9 августа. Панин получил пожизненную ежегодную пенсию в пять тысяч рублей. Дашкова — 24 тысячи рублей единовременно^[354]. Таким щедрым пожалованием можно было гордиться. Однако в черновике документа княгиня замыкала список с суммой в 12 тысяч рублей. А вот в окончательном варианте «дача» удвоилась^[355]. Изменилось и ее место в реестре — теперь фамилия Дашковой шла четвертой, сразу после Разумовского, Волконского и Панина. Что заставило Екатерину II отказаться от первого решения? Спихнулась ли она сама или ее уговорил Панин?

Та неохота, с которой княгиня приняла пожалование, показывала, что

ей была известна тайная подоплека дела. «Я была удивлена, что была причислена к первому разряду», — вспоминала она. Следовательно, Дашкова знала о желании императрицы существенно сдвинуть ее фамилию в списке награжденных, ждала этого публичного оскорбления и удивилась, не найдя в документе следов немилости. Екатерина II не вынесла сор из избы.

Однако и назвать награды соразмерными амбициям княгини нельзя. Орловы получили по 800 душ, а Панин, Разумовский и князь М. Н. Волконский (давний сторонник Екатерины II) по пять тысяч рублей пенсии. Дашкова же считала, что именно она вовлекла этих людей в заговор. Справедливость была поправа.

Хуже того — хотя имя княгини в списке стояло четвертым, по размеру пожалований она попала во вторую группу, где получали по 600 душ или взамен по 24 тысячи рублей. Эта тонкость подчас ставит исследователей перед вопросом, к какому эшелону заговорщиков императрица отнесла подругу. Всего было пожаловано 454 человека. Общая сумма раздач достигла миллиона рублей. Высшая категория включала 40 человек, она была разделена на четыре группы. Дашкова находилась во второй, рядом с П.Б. Пассеком и Ф.С. Барятинским. Очень неприятное соседство, поскольку один не раз предлагал свою кандидатуру в качестве убийцы Петра III, а второго считали исполнителем злодейства.

Только учитывая эти факты, можно правильно интерпретировать желание княгини отказаться от награды. «Я не воспользовалась разрешением взять земли или деньги, твердо решив не трогать этих двадцати четырех тыс. рублей. Некоторые из участников переворота не одобряли моего бескорыстия, так что... я велела составить список долгов моего мужа и назначила эту сумму для выкупа векселей... что и было исполнено кабинетом ее величества»^[356].

Создается впечатление, что Дашкова не притрагивалась к сумме, всё за нее сделали чиновники. Но это не так. Сохранилась записка императрицы от 5 августа: «Выдать княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и отечеству отменные заслуги 24 000 рублей»^[357]. Таким образом, деньги были выплачены еще до обнародования остальных наград. Свое Дашкова получила раньше других заговорщиков.

Желание отказаться от награды очень сомнительно. Тем более что дела с Советом обстояли дурно и рассчитывать на скорое место в нем (а значит, и на новые даяния) не приходилось. Много позднее, в 1776 году, французский дипломат при русском дворе М.Д. Корберон записал рассказ

женевского адвоката Пиктэ, находившегося на службе у Григория Орлова. Как положено, рассказчик преувеличивал свою роль во всем, что происходило с его господином и, не стесняясь, приписывал себе похороны проекта Панина. «Дело шло о привилегиях дворянства, в пользу которых императрица хотела издать указ... Теплов представил заманчивый и казавшийся правдоподобным проект, следствием которого было бы управление, как в Польше. Императрицу пленил проект, и уже было решено приступить к составлению указа. Тем не менее, она дала его на рассмотрение Орлову. Пиктэ исполнил эту работу, но Орлов понял опасность проекта и, осведомленный запиской Пиктэ, показал эту записку, полную помарок, императрице, которая быстро смекнула, в чем дело, и склонила Орлова воспротивиться принятию проекта»^{358}.

Надо полагать, что Екатерина II и без Пиктэ «быстро смекнула, в чем дело». Но кое-что из истории женева почерпнуть можно. Например, тот факт, что Панин действовал не прямо, а через статс-секретаря Теплова. Точно так же и императрица не сама отвергла проект, а приказала «воспротивиться» фавориту. Перекладывая тяжесть борьбы на плечи посредников, главные игроки могли не ссориться — держали двери для примирения открытыми.

Представим в роли «медиатора» Дашкову. Переговоры прервались бы, не начавшись.

27 августа Панин отбыл вместе с наследником престола в старую столицу, чтобы присутствовать на коронации императрицы. Екатерина Романовна и Теплов еще оставались в Петербурге, встречаясь на обедах. Из писем статс-секретаря видно, что за столом у Дашковой о создании Императорского совета говорили как о вещи решенной. 29 августа он сообщал: «Поговорим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом горе после Вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельною и разума исполненною, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею... Смех содействовал много нашему пищеварению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли... Императорский совет решит все... Верно то, что не станут удерживать силой того, от кого хотят отделаться. Ради Бога, берегите Ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для в[ашего] п[ревосходитель]ства, для княгини и для того, который всю свою

жизнь не перестанет вас любить»[{359}](#).

Что следует из этого письма? Принадлежность Теплова к кругу Панина. Частые дружеские контакты с Дашковой. И уловимое разочарование. Чувство утраты внимания императрицы. Причем не им одним, а *ими всеми*. Отсюда и упования на Совет.

Глава шестая.

В ОППОЗИЦИИ

Отправляясь по осенней дороге в Москву, Екатерина II чувствовала себя очень неуверенно. Ее окружали сторонники, которым она была обязана и которые не скрывали своих прав на благодарность. Примирить их интересы не представлялось возможным. А удержать от будущего столкновения — крайне трудным.

«Императрица мне призналась, что она не совершенно счастлива, — 13 сентября доносил в Париж Бретейль, — что она должна управлять людьми, которых нельзя удовлетворить». И в другом письме: «В больших собраниях и при дворе любопытно наблюдать... свободу и надоедливость, с какой все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях... Значит, сильно же чувствует она свою зависимость, чтобы переносить это»^{360}.

Среди «осаждавших» была и Дашкова, на которую французская дипломатия возлагала особые надежды. «При твердости духа у Екатерины слабое сердце, — писал Людовик XV. — У нее будет фаворит, наперсница... Княгиня Дашкова, разумеется, должна пользоваться большими милостями; но можно ли отвечать, что эта молодая женщина содействовала перевороту из одной любви к отечеству и привязанности к государыне? Страсть царя к Воронцовой могла возбудить ее ревность. Если эта причина прекратилась со смертью этого государя, то княгиня Дашкова, с романтической головой и ободренная успехом, может подумать, что она не довольно вознаграждена... снова заведет волнение. Императрица, открывши кое-что, может ее наказать»^{361}. Следует признать точность прогноза французского монарха. При лени и безволии Людовик XV отличался ясным политическим мышлением.

Теми же глазами смотрели на княгиню и другие иностранные министры. Заинтересованный в помощи Екатерины Романовны австрийский посол граф Мерси д'Аржанто еще 13 июля сообщал в Вену, что она «обладает романтическим воображением и выдающимися интеллектуальными способностями, но сочетает их с талантом интриганки»^{362}.

Сменивший Кейта уже в сентябре 1762 года сэр Джон Бекингемшир отметил: «Высокомерное поведение этой леди... привело ее к потере уважения императрицы еще до моего прибытия в Москву. Разочарованное

тщеславие и неугомонная амбиция... повлияли на ее чувства; если бы она удовлетворилась скромной долей авторитета, то могла бы остаться до сего времени первой фавориткой императрицы». Но «вследствие своего беспокойного, проницательного характера и ненасытного честолюбия, обратилась из ее закадычного друга в самого закоренелого врага»^{363}. Следующий английский посол, сэр Джордж Макартни, в 1765 году только развил данную характеристику: «Не будучи оцененной или вознагражденной по воображаемым ею заслугам, она занялась новыми заговорами, но неудачными, и была наказана полной потерей расположения ее госпожи»^{364}.

Прибывший на коронацию, вместо Гольца, граф И.Ф. Сольмс доносил в Берлин, что Панин и Дашкова были «главными деятелями переворота». «Тот и другая ожидали большей признательности, но получили весьма чувствительные для них удары. Княгиня Дашкова, которая, как уверяют, хотела вмешиваться в дела и давать советы и указания, нашла в императрице женщину, не расположенную делиться властью... Она способна создавать новые перевороты через каждые восемь дней, единственно из удовольствия их делать»^{365}.

Итак, весь круг дипломатических представителей высказывал о Дашковой сходное мнение. Значит ли это, что послы были правы? Они передавали разговоры, царившие при дворе, и заимствовали мнения друг у друга. Но был и общий источник.

Для дашковской апологетики очень соблазнительно сразу указать на Екатерину II. Однако вспомним, что говорила раздраженная императрица: ее подруга — «честолюбивая дура», не принимавшая в перевороте того участия, которое себе приписывает. Если поверить этой характеристике, то княгиню не стоит воспринимать всерьез.

Вопреки мнению, насаждавшемуся императрицей, дипломаты подчеркивали, что Дашкова сыграла весомую роль в событиях 28 июня. Ее недостаточно оценили, теперь она недовольна, *ergo*... Перед нами та характеристика, которую давала себе сама княгиня. И в «Записках», и в частных разговорах она настаивала, что руководила заговором, и предоставляла собеседникам право судить о неблагодарности августейшей подруги. Недаром Дидро сразу после встречи с княгиней записал: «Екатерина опасается, что если Дашкова один раз подняла бунт за нее, то не струсит поднять его и против нее»^{366}. В тот момент философ еще не общался с императрицей. Его вывод сделан под непосредственным впечатлением от посещения княгини.

Таким образом, наша героиня, как гоголевская унтер-офицерская вдова, «сама себя высекла». Вольные разговоры Екатерины Романовны в дипломатическом кругу обернулись против нее же самой.

Дорога

Царский поезд покинул Петербург в первый день осени, а 9 сентября остановился в подмосковном селе Кирилла Разумовского — Петровском. Здесь, в роскошной резиденции гетмана, Екатерина II и ее свита отдыхали несколько дней перед въездом в Первопрестольную. Приводились в порядок экипажи и наряды, принимались делегации духовенства и чиновников.

Дашкова пребывала подле императрицы. В «Записках» сказано: «Я ехала в одной карете с Екатериной»^[367]. Камер-фурьерский журнал путешествия слишком неподроben, чтобы подтвердить эти сведения. Обычно в поездках Екатерина II предпочитала по временам приглашать в карету то одних, то других царедворцев, пользующихся ее расположением (особенно иностранных дипломатов), чтобы честь сидеть рядом с государыней разделили многие. Вероятно, не раз побывала в экипаже и Дашкова.

В Петровском Екатерину Романовну ждала горестная весть. Князь Дашков съездил в Москву, чтобы навестить мать и полутороогодовалого сына, оставленного на попечение бабушки. Когда он вернулся, «императрица позвала меня и мужа в отдельную комнату и тут... осторожно объявила мне о смерти моего сына Михаила».

Видимо, сам князь не решился сказать жене о постигшей их утрате и поделился с Екатериной II, а уже та взяла на себя трудный разговор. Красноречивая деталь. Она подчеркивает доверительные отношения между Михаилом Ивановичем и императрицей. А также их обоюдный страх за нервную Дашкову.

«Это известие меня глубоко опечалило, но не поколебало моего намерения повидаться со свекровью, — сообщила княгиня. — ...Я не вернулась более в Петровское, где императрица оставалась до своего торжественного въезда в Москву; мне удалось не только избежать участия в этом торжестве, но и уклониться от переезда в помещение, приготовленное для меня во дворце»^[368].

Однако камер-фурьерский журнал показывает, что Дашкова как раз участвовала в торжественном въезде в Москву 13 сентября, сидя в карете с камер-фрейлинами^[369]. Почему же она — всегда такая щепетильная в вопросе царских милостей — настаивала, будто не принимала участия в церемонии? На наш взгляд, дело в изменении культурной традиции. Между

реальными событиями и их описанием в мемуарах прошло сорок с лишним лет. В начале XIX века сентиментальные настроения уже охватили общество, и княгине трудно было объяснить нежной Марте, как после смерти ребенка она приехала на торжества, вместо того чтобы оплакивать малютку. Однако за полвека до этого царили иные нормы поведения. Это не значит, что горе родителей не было глубоким, но выражалось оно иначе. Екатерина II описала в воспоминаниях случай, когда ее с великим князем пригласили на обед к фельдмаршалу С.Ф. Апраксину. Накануне у того заболела оспой младшая дочь, девочку скрыли в дальних комнатах и приняли великокняжескую чету. Вскоре дитя скончалось^[370]. Родители не отложили обед из-за того, что у них умирал ребенок: принять у себя наследника — слишком большая честь. Наша героиня была плоть от плоти своей эпохи. Но по прошествии сорока лет ей хотелось, чтобы давние поступки вписывались в новую нравственную парадигму: более свободную для выражения человеческих чувств.

Коронация

Но наиболее трудный вопрос связан с участием Дашковой в коронации Екатерины II.

Сама княгиня повествовала о событиях так:

«Орловы, думая унижить меня, внушили церемониймейстеру, что орден св. Екатерины не дает мне права на особенное место во время церемонии коронования; он действительно не давал никакого особенного преимущества в этом отношении, но уже более 50 лет считался высшей наградой. Петр I... установил немецкий этикет, согласно которому в высокаторжественные дни приглашенные размещались сообразно чинам, жены — по чинам своих мужей, а девицы — по чинам своих отцов; таким образом, на торжестве коронования я должна была занимать место жены полковника... им отводился последний ряд на высоком помосте, сооруженном в церкви»^{371}.

Уточнение про немецкий этикет сделано для британского читателя, причем для читателя среднего круга, который плохо представляет себе церемониал коронации и удивлен, почему в собор не пустили всех желающих. В другой редакции рука Марты, старавшейся разъяснить детали, заметна еще явственнее: «Орловы с их обыкновенным пронырством... устроили церемониал венчания; на основании немецкого этикета, введенного Петром I, военное сословие первенствовало на подобных выставках; поэтому они назначили мне место в соборе не как другу императрицы, украшенному орденом св. Екатерины, а как жене полковника»^{372}.

Церемониал коронации оттачивался веками, он восходил к эпохе византийских «цесарей», а с введением императорского титула дополнился рядом новых обрядов^{373}. Это было сложное и многоступенчатое действо, включавшее сначала венчание «Шапкой Мономаха», а затем Большой императорской короной^{374}. «Устроить» его по своему вкусу Орловы не могли, как бы близко ни стояли к государыне.

Присутствующие размещались в Успенском соборе строго в соответствии с чинами. На основании положения в официальной иерархии распределялись и роли участников «спектакля». Так, дядя нашей героини, канцлер Воронцов, нес державу — что указывало на положение первого вельможи государства. Хотя в реальности он уже не обладал властью.

Еще меньшим влиянием пользовался старик князь Н.Ю. Трубецкой,

вызывавший в свете постоянные насмешки. Тем не менее именно он — старейший вельможа русского двора — был назначен главным распорядителем коронации. Правда, при нем имелись распорядители поменьше, которые, собственно, и организовали действо, но внешне почести были распределены верно. Григорий Орлов удостоился счастья среди шести других камергеров только поддерживать мантию своей венценосной возлюбленной. А вот конец мантии нес более высокопоставленный царедворец — обер-камергер граф П.Б. Шереметев.

У Л.Н. Толстого в «Войне и мире» есть примечательная сцена, когда князь Андрей видит в приемной, как «наверх» допускают молоденького адъютанта, а пожилой, заслуженный генерал продолжает ждать в передней. Герой понимает, что первый посетитель выше второго по «невидимой субординации». Именно благодаря «невидимой субординации» Дашкова дорогой в Москву разделяла карету с императрицей. Но во время официальных торжеств она должна была отступить в тень, как сделали Орловы.

Однако Екатерина Романовна хотела, чтобы во время коронации внешние знаки отличия соответствовали ее внутреннему самоощущению — «друга императрицы», главного виновника торжества. Такое настроение поддерживали Панин и близкие к нему вельможи, провоцируя амбициозную княгиню на демонстративные выходы. «Мои друзья думали, что я обижусь этим, — писала Дашкова, — и находили даже, что мне не следует ехать в церковь.

— Я непременно поеду, — отвечала я, — я непременно хочу видеть церемонию, которую никогда не видела и, надеюсь, не увижу более. Мне совершенно безразлично, на каком месте я буду сидеть; я настолько горда, что думаю, что я своим присутствием украшу самое последнее место и сделаю его равным самому первому. Не меня ведь будут бранить за это, так что мне не придется краснеть, и я настолько великодушна, что желаю, чтобы и других за это не журили».

Два века читатели, несмотря на «великодушие» княгини, «журят» Орловых. Между тем Дашкова не упомянула, что одним из церемониймейстеров был ее супруг Михаил Иванович. В его обязанности как раз входило встречать гостей и провожать их на места^{[1375](#)}. Не могли же «пронырливые» братья уговорить князя унизить собственную жену.

Дальнейшие действия Екатерины Романовны могут быть поняты только при учете этого опущенного факта. «22 сентября, в день коронации, я, по обыкновению, отправилась к императрице, только гораздо раньше обычного часа. При выходе ее из внутренних покоев я следовала

непосредственно за ней (великий князь был болен, а императорской фамилии не было). В соборе я, весело улыбаясь, отправилась на свое скромное место».

Коронация началась в пять часов утра, с колокольного перезвона московских церквей. К шести знатные особы собрались в «Кремлевском доме», чтобы встретить выход государыни. У каждого имелся пригласительный билет с номером, согласно которому занимали места. Такой документ получила и Дашкова, но решила заранее очутиться во внутренних покоях, чтобы выйти оттуда вместе с Екатериной II.

Приняв приветствия, ее величество под пушечный салют появилась на Красном крыльце, начав «шествие» в Успенский собор. Чтобы оказаться рядом с ней, Дашковой следовало не только очень рано встать и, миновав караулы, проникнуть в комнаты государыни, но и пройти следом за Екатериной II по залу «Кремлевского дома». А именно там княгиню должен был встретить и препроводить на положенное место муж.

На гравюрах И.Д. Лебедева и Д.В. Андрузского, посвященных коронационным торжествам и представляющих ценный исторический источник, видно, что императрица идет одна под специальным балдахинном, окруженная камергерами. И в дальнейшем подле нее нет женщин, государыня отделена от остальных гостей плотным кольцом вельмож-мужчин и церковных иерархов.

В девять часов на паперти Успенского собора Екатерину II встретило духовенство, архиепископ Новгородский Дмитрий поднес ей для целования крест, а митрополит Московский Тимофей окропил святой водой. В окружении священников императрица вступила в храм. «Следовать непосредственно за ней» Дашкова не могла — ее отделяли от подруги камергеры, несшие длинный шлейф, и духовные лица.

В чем состоял смысл маневра: вступить в собор вместе с Екатериной II, а потом на глазах у всех развернуться и отправиться на галерку? Продемонстрировать нанесенную обиду? Именно так часто трактуются действия княгини. Однако в соборе находились люди, прекрасно понимавшие значение внешней субординации. Устраивать для них спектакль не имело смысла.

Значит, действия Дашковой преследовали иную цель. Вероятно, она надеялась пройти за императрицей вперед и там остаться на местах у алтарной преграды, где размещались обер-гофмейстерина, гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины. Однако у входа в собор Екатерину II отсекло от остального сопровождения духовенство. Поэтому, попав внутрь, уже достаточно далеко от подруги, княгине ничего не оставалось, как занять

свое скромное место.

«Я рассуждала, что, если бы в театре давали оперу, которую мне так бы хотелось видеть, и не оставалось бы хороших мест, я... согласилась бы скорее занять место в райке, чем вовсе пропустить спектакль»^{376}. Тем не менее есть причины думать, что «спектакль» был пропущен. Невнятный местами камер-фурьерский журнал на коронацию разразился подробнейшим описанием событий с перечислением лиц, принимавших участие в церемонии. В Успенском соборе Дашкова не названа. Она появится позднее, в Грановитой палате, во время награждения, которое описано в мемуарах одной строкой: «По выходе из церкви ее величество села на трон; тут же я была назначена статс-дамой». Справедливости ради стоит сказать, что по выходе из собора Екатерина II в короне и мантии села не на трон, а на лошадь. Ее провезли торжественным кругом по Соборной площади.

А что же собор? Оговорку, будто Дашкова собиралась «сидеть» среди жен полковников, еще можно объяснить неточностью Марты Уилмот. В православных храмах не сидят, тем более в присутствии императрицы, в момент коронации. А вот для западной церкви это в порядке вещей, и девушка из семьи протестантских священников, записывая воспоминания княгини, совершила ненамеренную ошибку. Но как быть с утверждением, будто великий князь отсутствовал? В течение всей церемонии он находился на так называемом «месте цариц» — под второй резной сенью^{377}. Возможно, Дашкова не заметила его из-за толчеи? А поднявшись на шестой ярус деревянной галереи — не разглядела издалика?

Павел Петрович действительно болел, о его слабом здоровье и о молитвах императрицы за выздоровление сына писали своим дворам послы и сообщали русские газеты. Но Екатерина II не могла допустить, чтобы наследник не принял участия в ее венчании на царство. Это навело бы придворных и иностранных министров на печальные мысли — либо мальчик удален намеренно, либо его сторонники так сильны, что демонстрируют свое презрение к коронации «узурпатора». Если бы цесаревич остался дома, в соборе не присутствовал бы и его воспитатель — Панин. В таких условиях неприход Дашковой выглядел как согласованные действия глав партии наследника. Недаром «друзья» уговаривали княгиню не ехать.

Если Екатерина Романовна все-таки манкировала коронацией, объяснимо заблуждение на счет Павла и тот факт, что в камер-фурьерском журнале нет ее фамилии.

Положение Дашковой изменилось только в Грановитой палате. Там государыня раздавала награды и могла сравнять видимую субординацию с невидимой. Пожалования получили 84 человека.

Дашкова названа четвертой — она стала, наконец, статс-дамой и обрела законное основание всюду сопровождать Екатерину II^{378}. Орловы в списке уступали первенство знатнейшим персонам, их имена находились на 34, 35 и 36-м местах. Трое братьев стали графами, Григорий получил чин генерал-поручика и должность генерал-адъютанта. Алексей удостоился ордена Святого Александра Невского.

На досуге

Косвенным подтверждением того, что Дашкова не побывала в соборе во время коронации, явился сделанный ею для журнала «Невинное упражнение» перевод отрывка из поэмы древнеримского стихотворца Марка Лукана в переложении француза Ж. де Барбёфа. В ней гордый республиканец Катон отказался войти в храм Юпитера, чтобы гадать о будущем. Узнав о победе Цезаря, он выбрал самоубийство, поскольку «мужественна смерть почтеннее оков».

Что будет с нами впредь, когда теперь не знаем
В грядущи времена, когда не проникаем;
Почто ж нам суетно стараться узнавать,
Полезней то не знать, что хочет он скрывать.

Эти строки Екатерина Романовна обращала к тем «друзьям», которые советовали ей смирить катоновскую гордость и преклониться перед «цезарем», чтобы обеспечить себе блестящую будущность. Но римский герой отказался вступить в храм, а княгиня сделала все возможное, чтобы туда проникнуть и занять почетное место. Такова была разница между литературным образцом и низкой жизнью. Прикрывать уязвленное самолюбие тогой классических страстей значило соответствовать культурному коду эпохи.

Дашкова быстро поняла это и, со своей стороны, приложила к созданию персонального мифа не меньше сил, чем ее венценосная подруга. Она уже становилась легендой на страницах сочинений иностранных авторов. То же самое могло случиться и с отечественными, будь журналистская и салонная культура в России более развита. Но в 60-е годы XVIII века газеты печатали главным образом официальные сведения, толстые журналы едва-едва начинали торить дорогу, а разговоры в гостиных не имели широкого резонанса.

Однако княгиня попробовала. Часто встречавшийся с ней в Москве Рюльер писал, что Дашкова проводит время «в отборном обществе умнейших людей»^{379}. Та действительно вращалась среди наиболее образованных вельмож и литераторов. Ее частым гостем был М.М. Херасков, вскоре муж представил ей И.Ф. Богдановича, своего старого

протее. Появилась идея издавать журнал. Им стало «Невинное упражнение», выходившее с января по июнь 1763 года. Было выпущено шесть номеров, большим для того времени тиражом — 200 экземпляров. Княгиня много переводила, а позднее писала сама. Участие в периодическом издании, поиск авторов, выбор текстов оказались той интеллектуальной отдушиной, в которой Дашкова так нуждалась, устав «толкаться в стаде придворных».

Княгиня обладала не только политическими, но и литературными амбициями. Надо сказать, весьма обоснованными. Ее стихотворные переводы отличает простой, понятный язык. А всё направление журнала, заданное именно Екатериной Романовной, — просвещенческое в широком плане, — обнаруживает свободно мыслящего человека.

Позднее княгиня много раз напишет о долгах мужа. При этом журнал издавался на средства покровительницы. «Невинное упражнение» стало ее дорогой игрушкой. Кто-то платит за наряды, кто-то за журналистику. Михаил Иванович не имел морального права возражать. Жена только выкупила его прежние векселя. Теперь мужу стоило промолчать, даже читая галантные мадригалы Богдановича. Это были вольные переводы из шеститомной французской антологии любовной лирики «Сокровища Парнаса».

Переложения Богдановича — лучшее в русской лирической поэзии той поры. Никто до него так смело и просто не обращался к предмету страсти:

Я буду жить затем, чтоб мне тебя любить;
А ты люби меня затем, чтоб мог я жить.

Кто был адресатом? Являясь переводами, стихи Богдановича не требовали персонификации образа прекрасной дамы. Но общение с Дашковой — супругой старого покровителя и теперь покровительницей, меценатом — не могло по канонам времени не вызывать галантных славословий.

Я все, что без тебя, Кларисса, ненавижу.
Я счастлив в те часы, когда тебя я вижу.

Современные читатели так привыкли к образу Дашковой — синего чулка, в 27 лет выглядевшей на 40, что с трудом представляют себе

пленительную молодую даму, способную вызывать сильное чувство.

Всечасно страсть моя, Климена, возрастает,
Одна ты царствуешь в желаниях моих;
Но ах! В твоей душе любовь не обитает,
А только лишь она видна в глазах твоих.

Екатерина Романовна так старалась подчеркнуть верность мужу, чисто семейные отношения с Паниным, — что и здесь перегнула палку. Ее перестали воспринимать как женщину.

А ведь она вовсе не была «весталкой».

Без тебя, Темира^[20],
Скучны все часы,
И в блаженствах мира
Нет нигде красы;
...
Придешь — оживляешь,
Взглянешь — наградишь,
Молвишь — восхищаешь,
Тронешь — жизнь даришь.

Вслушаемся в слова не расположенных к княгине английских дипломатов: «Д'Ашков, леди, чье имя, как она считает, будет, бесспорно, отмечено в истории, обладает замечательно хорошей фигурой и прекрасно подает себя. В те краткие моменты, когда ее пылкие страсти спят, выражение ее лица приятно, а манеры таковы, что вызывают чувства, ей самой едва ли известные»^[380].

Удивительно ли, что подобной даме могли посвящать стихи?

О, сильный бог любви,
Желал бы я, чтоб ты сказал моей прекрасной,
Какой безмерный жар я чувствую в крови,
И чтоб ты мне помог в моей любви несчастной.
Но трепещу, ее представя красоты...

Смело. Но поступки самой княгини были еще смелее.

От журналов Хераскова — «Полезное увеселение» и «Свободные часы» — «Невинное упражнение» сразу отличал налет оппозиционности. Княгиня начала борьбу, бросив перчатку в первом же номере. Ее старый знакомый Аполлос Епофродитович Мусин-Пушкин предложил перевод аллегории «Путешествие в микрокосм» из третьей книги швейцарского правоведа, философа и дипломата Эмера де Ваттеля «Полиэгррия».

Душа автора, покинув после смерти тело, посещает сначала голову мудреца, затем светской красавицы и, наконец, монарха. У последнего фаворитом было «Самолюбие», первым министром — «Воображение», но над всеми господствовала «Прихоть». Совет составляли «Суетность» и «Тщеславие». А вот министр по имени «Рассудок» пробыл при дворе всего один день, поскольку его не захотели слушать. В финале монарх поручил «Любви» командовать армией и осаждать крепость, в которой оборонялись «Разум» и «Опыт». Нетрудно догадаться, что войско было разбито.

Злободневность подобной аллегории очевидна. Читатели легко угадывали за «Любовью» намек на Орлова, за «Разумом» и «Опытом» — на Дашкову и Панина. Вместо «монарха» в русском переводе стояло «государыня».

Началась и публикация «Опыта эпической поэзии» Вольтера, где среди прочего подозрительно выглядела поэма Лукана «Фарсалия» о гражданской войне в Риме, отрывок из которой перевела Дашкова.

И что на это должна была сказать императрица?

Страх

«Как бы то ни было, но между ними до приезда в Москву не было ни малейшего разлада, — передавал со слов княгини Дидро. — Дашкова доселе постоянно была с Екатериной, а здесь без всякого объяснения разлучилась с ней». Так ли это?

Дипломаты в один голос вопияли об обратном. 7 июля, в самый разгар дела Хитрово, Сольмс писал: «Эта романтического ума женщина, которая хлопочет только о том, как бы создать себе имя в истории, и желала бы, чтобы ей при жизни воздвигали монументы, не могла перенести нанесенного ей оскорбления. Поведение императрицы в отношении ее она называет неблагодарностью, и, окруженная у себя дома людьми умными и льстецами, она принимает всех тех, кто имеет какой-нибудь повод к неудовольствию против двора»^{381}.

На наш взгляд, справедливо мнение, согласно которому живая картина «Дискордия» («Несогласие»), представленная в маскарade «Торжествующая Минерва» — большом красочном шествии по улицам Москвы 30 января и 1, 2 февраля, — намекала на разлад Дашковой и Орлова^{382}. Следовало бы сказать шире: двух враждующих партий. Артисты, наряженные «фуриями» и «кулачными бойцами» (удачные символы для обеих сторон), пели:

Все тело пропадает и обратится в тлен,
Когда противится один другому член.
Подобно обществу в такой болезни страждет,
Коль ближний ближнего погибелию жаждет.

Последние строки оказались пророческими. В надвигавшемся деле Хитрово речь шла именно об убийстве Орловых. Пока же Екатерина II только намекала на свою осведомленность о разговорах подружки. Фурия с сердцем республиканки!

В то же время государыня умела и подчеркнуть высокое положение княгини. 21 ноября, в День святой Екатерины, — именины обеих героинь, а также орденский праздник, — императрица обедала за малым столом с еще тремя кавалерственными дамами: А.Е. Воронцовой, Е.И. Разумовской и Е.Р. Дашковой. Приглашение к малому столу — огромная честь — за

праздничным ужином будет уже 250 персон, а на балу и того больше. Но княгиню выделили из всех.

Позднее Макартни писал, что приглашения княгини ко двору лишь подчеркивали, как ее боятся. Екатерина II действительно боялась, но не одной Дашковой, а всего того крыла недовольных, чье мнение озвучивала подруга. Бекингемшир тоже отмечал состояние страха у государыни: «Мне два раза случалось видеть ее сильно испуганною без причины... когда ей слышался легкий шум в передней»^{383}.

Не кажется фантастичной и история Пиктэ: «Это было в год коронавания, в доме графа Ивана Чернышева. Предполагалось, что сей последний принимал участие в каком-то заговоре, и Екатерина II, остерегавшаяся его, но не желавшая выдать своей боязни, отправилась, согласно приглашению, к нему на костюмированный бал, приказав всем сопровождавшим ее иметь оружие под их домино»^{384}. Во время маскарадов на Масляной неделе императрица опасалась покушения либо на себя, либо на Орловых. Вот фон, на котором Дашкова позволяла себе журнальные колкости.

Еще 28 декабря 1762 года Екатерина II дала слабину и подписала подготовленный Паниным манифест о введении Императорского совета. Но потом, почувствовав, что раскол в стане вельмож очень значителен, отказалась его обнародовать. От документа была аккуратно оторвана подпись государыни^{385}. (История весьма напоминает надорванные Анной Иоанновной в 1730 году «Кондиции» верховников^{386}.)

Такие колебания свидетельствовали о политической неуверенности императрицы. В сложившихся условиях журнал с «Путешествием в микрокосм» и намеками на гражданскую войну был не менее действенным средством борьбы, чем кинжал под домино. 23 февраля 1763 года Бретейль передал слова Панина о Совете: «Времена ослепления и покорности, постыдной для человека, в России уже миновали»^{387}. Племянница Никиты Ивановича вела себя так, как если бы это было правдой.

«Вот что значит женщины!»

Государыня отвергала проект Панина, опираясь на помощь Орловых. Но последние хотели слишком многого — брака Григория с августейшей возлюбленной. «Связанная взятыми на себя обязательствами, сознавая трудность своего положения и боясь опасностей... она не может пока освободиться от тех из окружающих ее лиц, к характеру и способностям которых должна относиться с презрением», — доносил в Лондон Бекингемшир. «Если бы императрица не боялась, а также и не любила, если бы она не думала, что для ее безопасности необходимо, чтобы Орловы находились в зависимости от ее милости, а вместе с тем, если бы она не опасалась их решимости в случае немилости, то она, быть может, сбросила бы иго, тяжесть которого она по временам чувствует»^{388}.

При горячем темпераменте Екатерина II имела холодную голову. Она сознавала опасность, которой подвергалась, оказавшись между Сциллой и Харибдой — Паниным с его идеей законодательного совета и Орловым, предлагавшим счастливую семейную жизнь на троне. Обоим были даны обязательства, от которых предстояло уклониться, что императрица и сделала, противопоставив друг другу враждующие партии. Но игра минутами становилась очень опасной.

Идею брака подсказал Орловым вернувшийся из ссылки Бестужев. Вот как дело описано у Дашковой: «Зима прошла среди общего веселья. В это время граф Бестужев... прочел некоторым лицам вздорную челобитную на имя императрицы, в которой ее всеподданнейше... просили избрать себе супруга ввиду слабого здоровья великого князя. Несколько вельмож подписали ее, но когда он явился с этой челобитной к моему дяде канцлеру, эта безумная и опасная затея была навсегда уничтожена мужественным его поведением». Воронцов отказался слушать челобитную и немедленно поехал во дворец. «Он рассказал императрице... что народ не пожелает видеть Орлова ее супругом»^{389}.

Ни слова о Панине. Ни слова о себе. Дашкова писала, что ее дядя «почти никого не видел по болезни». Но примерно в это же время, 19 января, канцлер встречался с Бекингемширом и намекал на вспомоществование, за что обязывался помогать заключению торгового договора между Англией и Россией на британских условиях. «Гипокрит, какого не бывало, — с возмущением писала о Михаиле Илларионовиче императрица, — вот кто продавался первому покупщику; не было двора,

который бы не содержал его на жалованье»^{390}. Посол доносил в Лондон: «Если его величеству угодно будет повелеть произвести эту оплату, то, судя по тону, в котором говорил проситель, я полагаю, что уплата эта будет сочтена за большое одолжение». По мнению посла, канцлер был «человек слабый, боязливый, честный лишь наполовину»^{391}. Какой контраст с «Записками» Дашковой!

И вот такой вельможа настоял на аудиенции, немедленно получил ее и разговаривал с государыней в назидательном тоне: «Императрица... сказала, что не забудет откровенного и благородного образа действий дяди... Дядя ответил, что он исполнил только свой долг и предоставляет теперь ей самой подумать над этим, и удалился». Что ж, княгиня *так видела*. В разговоре с Дидро она даже вложила в уста дяди упрек Бестужеву, читавшему челобитную: «Чем я заслужил такое унижительное доверие с вашей стороны?»^{392}

Однако реальность прорвалась у княгини во фразе: «Бестужев вообразил, что дядя столь решительно отверг его проект, опираясь на могущественную партию». В другой редакции дана иная трактовка: «Бестужев приписал твердость со стороны канцлера предварительному согласию с императрицей, которая будто бы хотела с помощью этого протеста отделаться от настойчивости Орлова»^{393}.

Самое удивительное, что обе версии верны.

Страх потерять должность под нажимом Бестужева, за которым стояли Орловы, заставил канцлера сблизиться с Паниным. Это сближение оказалось настолько серьезным, что уже после отъезда из России, в декабре 1763 года, Михаил Илларионович советовал племяннику Александру по всем служебным делам прямо адресоваться к Панину^{394}.

Разговор канцлера с Екатериной II явно имел место, но не в таких выражениях, как описала Дашкова. С Дидро она была менее сдержанна на язык: «Канцлер... побежал к императрице... советуя ей, если угодно удержать Орлова как любовника, осыпать его богатствами и почестями, но отнюдь не думать о бракосочетании с ним»^{395}.

Бестужев знал, что у его бывшего покровителя Алексея Разумовского в доме хранятся документы, подтверждающие факт венчания с Елизаветой Петровной. По совету бывшего канцлера Орлов испросил у императрицы проект указа об официальном признании Разумовского супругом покойной государыни и возведении его в достоинство императорского высочества. Таким образом, создавался официальный прецедент для брака.

Екатерина прямо не отказала фавориту. Но к Разумовскому послала

канцлера Воронцова — противника идеи брака^[21]. Показав графу проект указа, Воронцов попросил бумаги, подтверждающие факт венчания. Вместо ответа Алексей Григорьевич достал из ларца черного дерева пожелтевшие листы, завернутые в розовый атлас. Внимательно перечитал их и бросил в камин. «Я не был ничем более как верным рабом ее величества, — произнес он. — ...Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен я десницею ее... Если бы было некогда то, о чем вы говорите со мною, то поверьте, граф, что я не имел бы суетности признать случай, помрачающий незабвенную память монархини, моей благодетельницы»^{396}.

От Разумовского Воронцов вернулся к Екатерине и донес ей о случившемся. Государыня протянула канцлеру руку для поцелуя со словами: «Мы друг друга понимаем»^{397}. О дальнейших событиях сообщает Пиктэ: «Брак Григория Орлова с императрицею был окончательно решен. Был изготовлен указ, объявлявший его князем империи; помимо этого его ожидал чин генералиссимуса, и все это ко времени свадьбы. Между тем образовалась партия, противная Орлову, к которой принадлежали граф Панин, канцлер Воронцов и граф Захар Чернышев. Невзирая ни на что, был назначен день и час, когда упомянутые лица должны были быть удалены в свои поместья; кареты были поданы... Все принадлежавшие к партии прибыли около одиннадцати часов вечера ко двору. Императрица с взволнованным видом прохаживалась большими шагами по своему покою, переговариваясь от времени до времени с Орловым, который стоял, облокотившись на камин. Прошло два часа. Кареты, ожидавшие приказания, велено отложить, императрица удалилась в свои покои... Григорий стоял на пороге брака с одной из могущественнейших монархинь... уже был определен его штат, состоявший из хранителей, пажей и камергеров... И вдруг один разговор наедине императрицы с Воронцовым разрушил все планы и надежды. Кто мог бы ожидать, что этот слабый и бесхарактерный человек сумеет подчинить своему влиянию Екатерину II? Вот что значит женщины!»^{398}

Свидетельства современников, как кусочки мозаики, складываются в картину, дополняя друг друга. Надо полагать, что канцлер прибыл с известием о сожжении бумаг Разумовского. Это и остановило обнаружение проекта.

«Нарушители покоя»

В разгар описанного противостояния Екатерина II взяла паузу. 12 мая 1763 года она отправилась в Ростов Великий, чтобы присутствовать в Воскресенском монастыре при освящении мощей святителя Дмитрия Ростовского в новой серебряной раке^{399}. Дашкова не сопровождала государыню. 12 мая, день в день с отъездом подруги, она родила сына Павла.

События, разворачивавшиеся в Москве, своей суетностью резко контрастировали с внутренним покоем религиозного шествия. Стоило Екатерине II покинуть старую столицу, как мигом распространились слухи, будто она отправилась в Воскресенский монастырь венчаться с Орловым. «Тайна брака обнаружилась, — рассказывала княгиня Дидро, — негодующий народ сорвал один из портретов императрицы и, отстегав его плетью, разорвал в клочки»^{400}.

О сорванном с ворот портрете повествуют многие источники. Но вот плетью упомянула только Дашкова. Накануне переворота, ночью, она тоже представляла подругу — идеал фантазии — бледной, обезображенной, окровавленной... Слова Федора Хитрово, переданные Дашковой в обычной возвышенной манере, свидетельствовали об экзальтации: «Он... с гордостью объявил, что первый вонзит шпагу в сердце Орлова и сам готов скорее умереть, чем примириться с унижительным сознанием, что вся революция послужила только к опасному для отечества возвышению Григория Орлова»^{401}. Это собственные мысли княгини. В деле подобных признаний нет.

Заколоть фаворита, а Екатерину отстегать за ослепление и вернуть в объятия подруги. Княгиня отказывалась понять: императрица больше не принадлежит ей. Ни участие в заговоре, ни даже убийство соперника не вернут прежней близости. Чем громче наша героиня роптала на неблагодарность, тем больше царица отдалялась.

В начале двадцатых чисел мая к Орлову явился с доносом камер-юнкер князь Иван Несвижский (Несвицкий), который передал разговор своего приятеля Федора Хитрово, одного из активнейших участников переворота. Теперь Хитрово оказался в стане противников брака Екатерины II с Орловым. Несвижский привел его слова, что Панин «согласился с гетманом и Захаром Чернышевым уничтожить дело; для этого они пригласили к себе» несколько недавних заговорщиков «и

рассуждали, что дело нехорошее, отечеству вредное и всякий патриот должен вступить, искоренить».

Перечисленные вельможи — сторонники Панина. А вот имена офицеров часто упоминались Дашковой: Рославлевы, Ласунский, Пассек, Барятинский, сам Хитрово бывали у нее на квартире.

Вопреки словам княгини, корень бед заговорщики видели не в фаворите, а в его брате Алексее: «Этого ничего не было бы, потому что Григорий Орлов глуп; но больше все делает брат его Алексей: он великий плут и всему делу причиной». Дальнейшие планы относительно ретивых братьев были не вполне ясны. «Мы на собрании своем положили... схватя Орловых... погубить. Меня в этот заговор привела княгиня Дашкова».

24 мая письмо фаворита с пересказом доноса Несвижского уже было в Ростове. В тот же день Екатерина II передала следствие в руки своего верного сторонника сенатора В.И. Суворова (отца будущего фельдмаршала) и приказала ему арестовать Хитрово: «Я при сем рекомендую вам поступать весьма осторожно... и весьма различайте слова с предпрятием»^[402].

Вопреки мнению ряда биографов^[403], следственные материалы противоречат выводу о заказе правительства добиваться от Хитрово показаний на Дашкову^[22]. После ареста подозреваемому предъявили донос, и в первый день он, как положено, от всего отперся. О княгине сказал: «И что меня, Хитрова, в данный заговор привела княгиня Дашкова, не упоминал, и ни о каком заговоре не знаю, и с княгинею Дашковою о той материи никогда не говорил». Источником же своей осведомленности назвал «гороцкой слух».

Однако уже на следующий день, 27 мая, подследственный «опаматовался» и начал давать показания. Физических мер к нему не применяли: Екатерина II была решительной противницей пыток. Однако могли и кричать, и запугивать, и топтать ногами. Проведя ночь в заключении, молодой человек должен был осознать, в какую гадкую историю попал. Им овладели страх и общая подавленность. Еще вчера он храбрился. Но сегодня, по здравом размышлении, казалось глупо одному отвечать за всех: «Вскоре после того, как я услышал об оной подписке, приехав к княгине Дашковой... она мне сказала, что удивляется немало такому дурному предпрятию, и хотела разведать».

Дашкова в мемуарах отрицала какие бы то ни было встречи с Хитрово и, чтобы объяснить, почему не желала принять старого соратника, сдвинула события заговора на апрель, когда умирала ее невестка княжна Анастасия.

«Я не отходила от нее, — писала Екатерина Романовна, — ...так как я сама болела до этого и была беременна, то просила мужа никого не принимать»^{404}.

Но дело начали распутывать в конце мая. Дашкова придвинула визиты Хитрово к апрелю, чтобы показать невозможность опасных бесед. «Я был три раза у княгини, — передает она слова молодого заговорщика, — чтобы спросить ее советов, даже приказаний, но меня к ней не допустили... Если бы я имел честь ее увидеть, я бы сообщил ей свои мысли на этот счет и убежден, что услышал бы из ее уст только слова, продиктованные патриотизмом и величием души».

Заметим, что княгиня не скрывала внутреннего согласия с заговорщиками. Но что же из этого следовало? Даже с учетом признания Хитрово ничего противозаконного в действиях Дашковой не было. Неприязненная по отношению к Екатерине II болтовня могла положить конец внешним знакам дружбы. Но ее было недостаточно, чтобы привлечь нашу героиню к следствию. Даже допросить.

И тут Суворов, прежде давший «словесные накрепчайшие обязательства о не нарушении секрета»^{405}, встретив Михаила Дашкова во дворце, сообщил как большую тайну, что Хитрово показывает на жену князя. Следует согласиться с мнением, что сенатор действовал по приказанию государыни^{406} — Екатерине II было любопытно, как поведет себя подруга. Переволновавшись, та могла выдать себя.

Так и произошло.

«Я ничего не слышала»

Иногда возникает сомнение: а понимала ли Дашкова, в каких серьезных делах участвовала? Сознвала ли, что ее одобрение убийства Орловых — не поза, не игра, не шутка? Или нервная экзальтация стояла барьером между нею и реальностью?

Княгиня была убеждена, что императрица «окружена врагами», а истинные «бескорыстные» патриоты от нее отогнаны. Эта мысль перекликалась со словами Хитрово о государыне: «Она сама нам будет благодарна, что мы нарушителей покоя от нее оторвем». Дашкова думала так же. «Я никогда не составляла заговоров против императрицы, — писала она в комментариях на книгу Кастера, — я ее нежно любила»^{407}. И говорила правду. Ведь негодование Хитрово было направлено против Орловых. Вонзить «шпагу в сердце» фаворита для Дашковой значило освободить подругу.

А вот императрица думала иначе. Из ее писем Суворову видно, что она ставила знак равенства между убийством Орловых и собственным падением: «Орловых убить хотят, а меня свергнуть». Братья были ее стеной, защитой. Собственноручно составляя допросные пункты, Екатерина II первыми двумя требовала ответа, в чьей голове родилась идея убить Алексея Орлова и кто были сообщники этого «скарредного предприятия». Только потом государыня спрашивала о себе: «Чего они намерены были сделать против меня?»^{408}

Этот вопрос отнюдь не повисал в воздухе. По словам Хитрово, во время переворота Алексей Орлов сообщил ему, будто государыня дала Панину подписку быть правительницей. Отняв у Екатерины II опору в лице Орловых, ее пытались вернуть к первоначальному замыслу. Заговорщики заявляли, что братья хотят «похитить власть», а в проекте Императорского совета фавориты названы «скрытыми похитителями самодержавной власти»^{409}.

12 мая Дашкова родила и, по ее рассказу, через три дня заболевший скарлатиной муж получил записку от императрицы с предостережением. Иностранные дипломаты говорят о двух письмах: вопрос императрицы и ответ княгини.

Первую из них, на наш взгляд, Екатерина II написала не после родов подруги, а накануне. Тогда становится понятно, почему эпистола была адресована мужу. Помимо добрых отношений с князем Дашковым, которые

позволяли обращаться к нему по-свойски и просить унять жену, императрица избегала третировать беременную женщину. «Я от всей души желала бы не забыть заслуги княгини Дашковой вследствие ее собственной забывчивости; напомните ей об этом, князь, так как она позволяет себе угрожать мне в своих разговорах»^{410}.

Получив предостережение от августейшей подруги, Дашкова, вопреки чаянию, притихла. Она оправлялась от родов, и это было удобным поводом никого не принимать. Хитрово признался, что разговаривал с княгиней только раз, хотя приходил трижды.

Весьма возможно, что, если бы переворот 1762 года не удался, княгиня представляла бы свое участие в нем как невинную болтовню в пользу обожаемой подруги. Возможна и обратная картина: если бы заговор Хитрово состоялся, Дашкова назвала бы себя его главой — молодой человек приходил к ней за «советами и даже приказаниями».

Во время одного из допросов Алексей Орлов зашел в комнату, после чего Хитрово сознался в замысле убить графа. По Дашковой — заколоть фаворита. Но княгиня выдала осведомленность, заметив, что Алексей «грубо обошелся» с подследственным. Избил? Не беремся предполагать, как повел себя человек, услышав, что его хотели лишить жизни. Гораздо важнее, что Екатерине Романовне становились известны внутренние подробности следствия. Они пугали.

И в этот момент ей была привезена новая записка императрицы. По сведениям поверенного в делах французского посольства М. Беранже, Екатерина II задала княгине вопрос, не слышала ли та «злонамеренных разговоров» в городе, и выразила надежду, что подруга откроет, «буде ей случится слышать таковые». Донесение дипломата передает и ответ Дашковой: «Государыня, я ничего не слышала... Чего именно требуете вы от меня? Взойти на эшафот? Я готова и к этому»^{411}.

Так не пишут люди, ни к чему не причастные. Навязчивый образ эшафота мелькал в речи княгини, когда она собиралась пожертвовать головой ради подруги. Этой фразой Дашкова выдала себя. Да, она знала, что собираются убить Орловых, и сочувствовала идее вонзить шпагу в сердце фаворита. Если за это судят, она готова.

«Я была спокойнее, чем была бы всякая другая при подобных обстоятельствах», — сообщала княгиня. Но внешнее хладнокровие не гарантирует от внутренних мук. Дашкова очень испугалась. Дидро она сказала, что «ее спасли от ареста только болезни родов»^{412}.

Роды уже прошли. Нашу героиню спасло нежелание императрицы

дальше расследовать дело. Но молодая женщина пережила страшный шок. «Наконец я забылась под влиянием лихорадочного сна, но меня разбудил крик и буйные песни пьяной толпы под окном; эта толпа высыпала на улицу после увеселений у Орловых». Участники «неистовой вакханалии» названы ткачами, «которых Орловы заставляли петь и плясать, затем напивали и отпускали». Окна спальни княгини выходили на улицу. «Я от шума и крика вскочила в испуге. Я почувствовала сильные внутренние боли и судороги в руке и в ноге»^{413}.

Что подумала молодая женщина, увидев под своими окнами пьяную толпу, валившую от Орловых? Она находилась в доме с мужем и слугами. Братья фаворита считали ее подстрекательницей к их убийству. Натравить хмельных гуляк — месть, достойная низких душ. А именно такими княгиня видела Орловых.

Страшная правда на мгновение открылась. Ее не возведут на эшафот, а разорвут пьяные животные. Теперь же. Сейчас!

Толпа прокатилась мимо. А несчастная женщина осталась лежать в конвульсиях. «Когда хирург меня увидел, он совершенно растерялся... В шесть часов мне стало хуже, и, думая, что умираю, я велела разбудить мужа». Екатерина Романовна поручила князю детей, заклиная заботиться о их воспитании, и поцеловала «в знак вечной разлуки»^{414}.

Дашкову спас прибежавший придворный лекарь. «Но поправлялась я долго и очень медленно».

«Говорил безо всякого умысла»

Когда произошла описанная сцена? Донесение Беранже, в котором приведены записки подруг, датировано 15 июля. К этому времени двор уже более полумесяца находился в Петербурге, куда княгине путь был закрыт.

Начиная с 4 июня Екатерина II перестала внимательно знакомиться с допросами Хитрово: практически всё, что можно было доверить бумаге, он сказал. Теперь ее интересовала личная беседа. После долгого разговора с глазу на глаз императрица писала Суворову: «Хитров двух человек уговаривал, чтоб они в его партию пошли». Их цель — «убить графов Орловых, всех четверых. В сем Хитров обличен и по многим запискам, наконец, сам мне признался». Однако, хотя узник прежде называл причастными Панина, Глебова, Теплова, «двух Рославлевых, двух Барятинских, двух Каревых, двух Хованских, Пассека, кн. Дашкову, но он в том отпирается, а мне признался, что он только с двумя Рославлевыми и с Ласунским согласие имел»^[415].

Эта записка полностью обеляла Дашкову, как и других крупных вельмож. Вопреки мнению, будто Екатерина II стремилась представить бывшую подругу активной участницей заговора, документ показывает, что внешне императрица ставила в деле точку. Именно после разговора с Хитрово и могла возникнуть примирительная эпистола к княгине с просьбой открыть «злонамеренные разговоры».

Но Дашкова не могла давать показания на себя. Она приняла письмо подруги за попытку выведать побольше, и недаром. Екатерина II сообщала Суворову, что словам Хитрово «верить невозможно».

Старый канцлер Воронцов еще до окончательного разрыва подруг почувствовал беду и постарался откреститься от племянницы. Все его письма перлюстрировались, поэтому неблагоприятные суждения о княгине были способом показать императрице: остальная семья не замешана в «неистовствах». «Не хочу писать о поступках сестры Вашей княгини Дашковой, — обращался он к племяннику Александру 25 мая. — Она больше сожаления, нежели ненависти достойна. Может быть, что она со временем сама узнает ошибку свою и постарается мысли и поведение свое исправить... Мы с ней поведение имеем как бы с незнакомою и постороннею персоною»^[416].

Не помогло. 7 августа Воронцов вынужден был отправиться на лечение в длительное заграничное путешествие. Екатерина II сохранила за

ним звание канцлера и полное жалованье^{417}. Но от дел он был удален навсегда. Испытывал серьезное неудобство и Панин. 12 августа Сольмс доносил, что из разговора с Никитой Ивановичем понял желание последнего уйти в отставку^{418}. Но вельможа предпочел потянуть время — и был вознагражден: 21 августа Екатерина II приказала ему «присутствовать в Иностранной коллегии старшим членом». Этот человек представлял большую силу. И был слишком нужен благодаря своим способностям. Но не исключено, что подай Никита Иванович в отставку, и та была бы не без радости принята.

14 июня состоялся приговор Хитрово, 17-го — братьям Рославлевым и Ласунскому. На удивление мягкий. Хитрово вынужден был выйти в отставку и отправиться в свое село Троицкое Орловского уезда, где ему предписывалось оставаться «безвыездно». Там в 1774 году он и скончался. Трое остальных соучастников просто были разосланы служить подальше от столицы: Николай Рославлев на Украину, его брат Александр — в крепость Святого Дмитрия (Ростов-на-Дону), Михаил Ласунский — в город Ливны. Все трое в 1763, 1764 и 1765 годах вышли в отставку с чином генерал-поручиков и поселились в поместьях.

Такая участь была весьма далека от нарисованной Дашковой в разговоре с Дидро картины: «Четыре офицера... были сосланы в Сибирь». Княгиня вновь преувеличивала. Ей грезились то эшафот, то путешествие в кандалах на край света... На деле же заговорщики не были даже лишены званий.

Сама Дашкова пострадала гораздо меньше, чем могла бы. Она знала о готовившемся убийстве и одобряла замысел. Но остается вопрос: насколько реально Екатерина Романовна воспринимала происходящее? Когда Хитрово 31 мая спросили, хотел ли он убить всех братьев, молодой человек ответил утвердительно, но добавил: «...только к тому никакого умыслу, ни намерения не имел, а говорил безо всякого умыслу»^{419}. Эти слова применимы и к Дашковой. За день до переворота 28 июня ей казалось, что «дело отстоит от нас несколькими годами». То есть она произносила пламенные речи, но не ожидала быстрых действий.

А когда оказалось, что перед ней не игра, испугалась до паралича. Тем не менее первое действие Дашковой после того, как она узнала об опале, было политически безупречно. Княгиня попросила Панина напомнить государыне, что та обещала крестить ее ребенка: «Я уверена, что она не позволит себе отказаться»^{420}.

Екатерина II сохранила лицо. «Императрица и великий князь были

восприемниками моего сына, названного Павлом; но ее величество не спросила о моем здоровье». Ни поздравлений матери, ни подарков, ни хотя бы сочувствия по поводу внезапной болезни не было. Разрыв выглядел полным.

Глава седьмая.

ПАТРИЦИАНКА

Екатерина II вернулась из Москвы победительницей. Обе партии потерпели друг от друга поражения. Орлов не стал мужем государыни. Панин не продвинул идею Совета, ограничивавшего права монарха. Во взаимном столкновении группировки ослабли и теперь зависели только от императрицы. Становясь последовательно то на одну, то на другую сторону, она могла управлять, не опасаясь посягательств на свою власть.

Блестящая комбинация!

Начав игру слабой и зависимой, постоянно опасаясь за свою жизнь и захваченную корону, императрица превратилась в хозяйку положения. Самую сильную фигуру на доске. С ее подругой произошла обратная метаморфоза. Обладая после переворота положением фаворитки, Дашкова за год пустила политический капитал по ветру. Очутилась в опале и больше никогда не поднималась на прежнюю высоту. И это вопреки уму и способностям.

Мог ли осуществиться другой сценарий? Вероятно. Обе партии имели шанс победить, если бы объединили усилия. Орлов получил бы официальный статус, а Панин создал законодательный совет. Тогда в проигрыше была бы государыня.

Что помешало вельможам пойти на перемирие? Цели того стоили. Но, помимо явных политических разногласий, между враждующими сторонами стояла юная Эрида, которая, по удачному выражению Теплова, «подбавляла соли» в неприязненные разговоры. Создав вокруг себя в Москве нечто вроде политического салона, княгиня поддерживала эмоционально накаленную атмосферу, в которой сближение оказалось невозможным. Она от всего сердца ненавидела Орлова и имела на Панина влияние любимого, балованного ребенка.

Именно эта позиция сделала ее крайне неудобной для всех участников игры. После заговора Хитрово требовалась видимость примирения. Дашкова же со своей «сварливостью» и «перемечливостью» грозила постоянно взрывать внешнее согласие. Поэтому 14 июля Москву покинули все действующие лица недавней драмы, кроме Екатерины Романовны.

«Наказанье за робость чужую»

«Двор уехал в Петербург. Я осталась в Москве, каждый день принимала ванны, но силы мои не возвращались. В июле муж мой уехал в Петербург и затем в Дерпт, где квартировал его полк. Я же переехала в наше имение, лежавшее в семи верстах от Москвы... Чистый воздух, холодные ванны и правильная жизнь благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре я, хотя еще и не совсем окрепши, уехала в Петербург»^{421}.

Удивительно, как много можно *не сказать* в одном абзаце!

Создается впечатление, что только болезнь помешала Екатерине Романовне последовать за императрицей. Это вполне соответствовало постулату: «Я никогда не подвергалась продолжительной опале». Но для отчуждения достаточно было отрывка из «Фарсалии». Ведь тогдашние читатели отличались стойким двуязычием^{422} и могли обратиться не к переводу на русский, а к французскому варианту поэмы Лукана. Последний певец республики так проклинал победу Цезаря в битве при Фарсале:

Ниспровержены мы на столетья!
Нас одолели мечи,
Чтобы в рабстве мы век пребывали.
Чем заслужил наш внук
Иль далекое внуков потомство
Свет увидеть при царях?
Разве бились тогда мы трусливо?
Иль закрывали мы грудь?
Наказанье за робость чужую
Нашу главу тяготит.
Дай же сил для борьбы, коль дала господина,
Фортуна!

Это тоже речь Катона. Осторожная Дашкова перевела другой фрагмент. Но чтобы понять чувства, владевшие сторонниками ограничения монархии, следовало познакомиться с поэмой целиком. Нет сомнения, что императрица при ее любви к Вольтеру, переведшему Лукана, знала текст. Теперь «Фарсалия» звучала и как упрек, и как угроза.

В июне «Невинное упражнение» прекратило свое существование. Первый опыт издательской и журналистской деятельности Дашковой был прерван. Без запрещения со стороны правительства, без выражения малейшего недовольствия собственно журналом. Однако обстоятельства явно сложились против издателей. Редактор уезжал в Петербург (еще в мае Екатерине Романовне удалось устроить Богдановича переводчиком в штат своего дяди генерала Петра Панина). Меценатка оставалась в Москве, в опале. Но главное — основной читатель тоже покидал Первопрестольную вместе с двором. Узость круга образованной публики диктовала свои законы. Экземпляров издавалось всего двести, и они полностью поглощались придворной, чиновной и университетской средой.

Прощаясь от имени издателей с публикой, Дашкова писала: «Мы радуемся успехам нашего намерения, но более сожалеем, что далее полугода трудами нашими жертвовать вам не можем; и с чувствительной прискорбностью лишаемся собственного своего утешения». Здесь таился туманный намек, в стиле «вреден север для меня». Он охотно расшифровывается исследователями в рамках устойчивой запретительной традиции^[423].

Но намекать, в сущности, было не на что. Крутых мер к княгине не применялось. Технически продолжать журнал в описанных условиях не имело смысла. Однако сам факт опалы запирает уста и налагал на пишущего печать отверженности. Перед нами случай самоограничения (что-то вроде внутренней цензуры), которому человек пера подвергал себя, исходя из личных страхов и атмосферы, царившей в обществе, а не из прямого давления властей. Достаточно намек, косого взгляда, раздраженного отзыва — и непримиримый Катон-республиканец становится «кротким, как ягненок».

Быстрота, с которой княгиня перешла от оскорбительных для императрицы публикаций к внешней покорности, характеризует не только личность Дашковой, но и время, среду, условность границ, в которых формировался аристократический либерализм.

Если бы Екатерина Романовна «удовлетворилась скромной долей авторитета» и осталась в свите, для нее как для писателя и журналиста открылись бы более благоприятные условия. Вокруг молодой императрицы сложилась творческая атмосфера: ее кабинет занимался не только сугубо государственными делами: статс-секретари постоянно переводили, сочиняли, редактировали. Правились статьи и пьесы монархини, создавались собственные философские и публицистические произведения. Среди шестнадцати статс-секретарей, известных за всё царствование,

трудно назвать не писавшего. А в первые годы здесь работали такие заметные авторы, как Г.Н. Теплов, И.П. Елагин, Г.В. Козицкий, С.М. Козьмин, А.В. Олсуфьев^{424}.

В их кругу Дашкова не потерялась бы. Но тонкий слой нарождавшейся чиновной интеллигенции был сервilen по отношению к государыне. А княгиня предпочитала говорить «о собственной славе». Для такой свободы самовыражения в России в тот момент не было ни самостоятельных издательств, ни прессы, хоть в малой степени отделенной от правительства, ни литературно-политических салонов. Отказываясь действовать вместе с императрицей, человек, даже высокородный и состоятельный, падал в пустоту. В небытие. Выбираться оттуда княгине предстояло самой.

Это было тем более трудно, что Екатерина Романовна чувствовала себя покинутой. Неясно, когда именно из Москвы уехал супруг нашей героини. По ее словам, он сначала отправился в Петербург, а затем в Дерпт, причем произошло это в июле — то есть Михаил Иванович никак не мог отбыть вместе с двором. Однако в донесении Бекингемиша от 28 июня (день торжественного въезда Екатерины II в столицу) сказано: «Княгиня Д'Ашков... получила приказ следовать за мужем в Ригу, где квартирует его полк»^{425}. Таким образом, в конце месяца Михаил Иванович находился уже в Риге, а значит — выехал из Первопрестольной либо одновременно с царским поездом, либо вскоре после него, что свидетельствовало о желании поскорее загладить неудовольствие императрицы. Дашковой было неловко писать в мемуарах, что супруг покинул ее, больную и разбитую параличом, исполняя приказ государыни-обидчицы.

Между тем князю было чего опасаться. По неписаным правилам прежних царствований, опала жены ставила и его под удар. Следует согласиться с точкой зрения, что отправка Михаила Ивановича вместо столицы в полк соответствовала наказанию ряда заговорщиков: удалению от двора под видом важного поручения^{426}.

Так или иначе, но Дашков направился в Ригу. А вот последовала ли за ним жена? Из мемуаров явствует, что нет. Она сочла достаточным удалиться в деревню Михалково.

«Могущее вспоможение»

Тем временем Никита Иванович прилагал серьезные усилия, чтобы вернуть племянницу в Петербург. «У нее было мало друзей, — замечал Сольмс в том же июльском донесении, — и только граф Панин был все еще на ее стороне». Наконец, в ноябре императрица дала разрешение приехать. Не значит — вернуться ко двору! Обратим внимание на эту тонкость. До 25 апреля 1764 года княгиня не будет упомянута в камер-фурьерском журнале.

Сама Екатерина Романовна писала, что вернулась в столицу в декабре. Называют и другую дату — 25 ноября. Письмо Бекингемшира от 9 декабря (28 ноября) близко именно к этому числу. «Сюда прибыла княгиня Д'Ашков; господин Панин, который обещал пообедать со мной в прошлый вторник, извинился, что не может, поскольку, как я позже узнал, хотел быть с ней; потребуется все его хладнокровие и авторитет, чтобы удержать ее деятельный дух в терпимом состоянии спокойствия, я жду с некоторым нетерпением, как ее примут»^[427].

Приема не последовало. Во всяком случае, ни наша героиня, ни иностранные дипломаты его не описали. «Мой муж нанял для меня дом Одара, поместительный и заново отделанный», — коротко сообщала княгиня. Этот особняк располагался на берегу реки Мойки на Большой Конюшенной улице^[23]. Давний протеже Дашковой сдавал его внаем.

Еще в июле 1762 года пьемонтец отправился в Италию за семьей, получив тысячу рублей на дорогу. В Архиве внешней политики сохранились его письма Панину и Дашковой, изученные А.Ф. Строевым, специалистом по литературе эпохи Просвещения. Близко связанный с вельможной партией, Одар признавал изменение веса своих покровителей при дворе. Княгиня настаивала на его скорейшем приезде, поскольку он укреплял ряды панинской группировки. Но пьемонтец не торопился, ощущая шаткость ситуации в России. «Дайте мне окончить карьеру так, как Бог ссудил», — едва ли не с раздражением отвечал советник корреспондентке. В октябре 1762 года он писал молодой женщине из Вены о неких грядущих «превратностях судьбы», которые ее ожидают: «Вы напрасно тщитесь быть философом. Боюсь, как бы философия Ваша не оказалась глупостью в данном случае»^[428]. Нельзя не признать прозорливости пьемонтца. До опалы Дашковой оставался один шаг.

В феврале 1763 года Одар все-таки вернулся в Россию, был назначен членом комиссии для рассмотрения торговли, получил от Екатерины II 30

тысяч рублей и в ноябре купил каменный дом в Петербурге, который через месяц сдал супругам Дашковым^{429}. Денег ему явно не хватало, и он стал осведомителем французского и саксонского посланников. Есть свидетельства, что Одар знал о заговоре Хитрово и был одним из доносителей, перейдя от Панина под крыло Орловых^{430}.

Теперь, владея домом, где поселилась его прежняя покровительница, он мог без труда узнавать обо всем, что там происходило, и ставить в известность новых патронов. Чуть позже Дашкова будет с негодованием писать, что окружена шпионами Орловых: «Меня все это повергло в печаль... Я жалела, что императрицу довели до того, что она подозревала даже лучших патриотов»^{431}. Само стремление установить надзор говорит о том, что государыня не доверяла княгине и ожидала от нее если не враждебных действий, то враждебных разговоров. Ее подозрения оправдались.

Вскоре вновь возник вопрос о высылке Екатерины Романовны, поскольку та оказывала влияние на влюбленного Панина. «В виду полученного... извещения о том, что княгиня прибегает ко всевозможным ухищрениям, чтобы восстановить как Панина, так и многих других против нее лично и против ее управления, императрица решила выслать ее из Петербурга»^{432}, — сообщал неусыпно наблюдавший за карьерой Дашковой Бекингамшир.

В начале марта Александр Воронцов пожаловался дяде, находившемуся в заграничном путешествии, что Панин не ответил на два его письма. «Может быть, княгиня Дашкова тому причиною, которой он слепо раболепствует»^{433}, — рассуждал старый вельможа. Таким образом, члены семьи считали, что Екатерина Романовна не дает им пробиться к единственному оставшемуся покровителю. А от Панина теперь зависела их карьера. «Ежели вы совершенно не прервали корреспонденцию с княгиней Дашковою, — советовал племяннику канцлер, — то можете для политики к ней послать копию с письма Вашего к господину Панину, требуя ее могущественного вспоможения»^{434}.

Судя по этим источникам, положение Екатерины Романовны изменилось. Ее уже не допускали ко двору, но она все еще оставалась могущественной фигурой, став из фаворитки императрицы фавориткой первого министра. Теперь сила княгини состояла во влиянии на Панина, который «не к похвале своей страстно любит и почитает» молодую даму.

Живя буквально в двух шагах от дворца, но не появляясь там, опальная патрицианка была благодаря Никите Ивановичу в курсе «важнейших

тайн».

Вновь подняться или пасть Дашкова могла только вместе с его группировкой. А весной акции Панина пошли вверх в связи с развитием дел в Польше. Именно опираясь на партию Никиты Ивановича — главного советника по внешнеполитическим делам, Екатерина II намеревалась не допустить в Варшаве на освободившийся престол ставленника Франции и продвинуть своего кандидата Станислава Понятовского, что обеспечивало установление в соседней стране русского влияния. В данном вопросе Панин и императрица мыслили одинаково. Настало удобное время для привлечения к работе родственников и протекже министра.

С весны же в делах Дашковых намечается улучшение. 17 марта Екатерина Романовна купила городскую усадьбу в Петербурге. На берегу Фонтанки у генерал-лейтенанта П.С. Сумарокова был приобретен большой участок, тянувшийся до слободы Семеновского полка. Почти весь он зарос садом с плодовыми деревьями. Посреди стоял длинный деревянный дом на каменном фундаменте, он уже был меблирован, имелись хозяйственные постройки и оранжереи^[435]. В XVIII веке это место считалось почти предместьем (ныне по Гороховой улице от Фонтанки до Загородного проспекта). Сама княгиня в дом не переехала, оставшись у Одара — в центре города, в каменном особняке, — а свой участок стала сдавать внаем^[24].

Новое приобретение стоило 14 тысяч рублей. По тем временам сумма солидная. В «Записках» Екатерина Романовна не сообщала о купленной усадьбе, привычно жалуясь на безденежье. Откуда же взялись средства? 1763 год был неурожайным, наступивший 1764-й тоже^[436]. Оброк собирался не в полном объеме. Следовательно, имелись другие источники доходов. Среди них главный — командование полком. Исследователи часто недопонимают значение этой статьи в дворянском бюджете. Между тем полк представлял собой не просто воинскую единицу. Он обладал внушительным хозяйством, где многое от сапог до упряжи делалось на месте. Были налажены связи с поставщиками фуража и провианта.

«В России полк — это, в сущности, небольшое селение со всем необходимым, чтобы существовать самостоятельно, а когда прикажут, тотчас же выступить в поход, — писал путешественник Франсиско де Миранда в 1787 году. — Нет такой работы по механической части или в доме, для исполнения которой тут не имелось бы собственных мастеровых... Есть люди, которые трудятся в кузницах, столярных мастерских и т. д.»^[437].

На содержание полка отпускались средства из казны, по заранее установленным ценам. Но приобрести все необходимое (или произвести на месте) можно было и гораздо дешевле, договорившись с поставщиками. Разница составляла так называемые «безгрешные доходы» командира. Недаром должность полковника часто давалась «для поправления экономии». В кавалерийских полках, а Дашков руководил кирасирами, командиры часто содержали собственных лошадей, которых продавали офицерам по более высокой цене, чем можно было купить на стороне. Приобретение жеребца из табуна полковника обеспечивало молодому сослуживцу благоволение начальства^{[\[438\]](#)}.

Надо полагать, что к весне 1764 года Михаил Иванович, находясь в Лифляндии, сумел воспользоваться «безгрешными доходами». Но обратим внимание: усадьба была куплена на имя Дашковой. В 1762-м, получив крупное пожалование от императрицы, Екатерина Романовна употребила свои деньги на покрытие долгов мужа. Теперь расплачивался он.

«Маленький фельдмаршал»

Итак, благодаря тесному общению с Паниным княгиня была в курсе важнейших политических событий. Поэтому нарисованная ею картина придворных интриг, сопровождавших вступление на польский трон Станислава Понятовского, в целом верна.

«Саксонская династия желала сохранить польскую корону в своей семье; прусский король желал противоположного... Императрица, не объявляя еще своего намерения возвести на престол Понятовского, высказалась только за конституционное избрание одного из Пястов, но, когда она сказала это в совете, князь Орлов вдруг выставил сильные доводы против возвышения Понятовского. Военный министр, граф Захар, и его брат граф Иван, Чернышевы... стали (правда, не совсем открыто) на сторону Орлова... Приближалось время собрания сейма, и императрица находила, что во главе войск должен стоять энергичный человек, который будет действовать, не соображаясь с желаниями фаворита. Ее выбор пал на моего мужа, и она так секретно повела с ним переговоры, что он уехал из Петербурга прежде, нежели узнали о его назначении»^{439}.

Значит ли это, что супруги не попрощались?

Как писал русский посол в Варшаве Н.В. Репнин: «Наш интерес есть, чтоб никакой чужестранный двор здесь сильнее нашего не был»^{440}. Россия и Пруссия, уже предчувствуя возможность раздела, желали видеть на троне короля, во всем послушного их воле. Таким кандидатом должен был стать прирожденный поляк, представитель фамилии, берущей свое начало от древнего рода Пястов, из которых прежде избирались короли. Не имея собственных сил, он был бы всем обязан Петербургу и Берлину.

В мутной польской водиче Екатерина II намеревалась поймать огромную рыбину. И тут, очень не к месту, восстал Орлов, видевший в Понятовском старого соперника. Иностранные дипломаты свидетельствовали, что Григорий Григорьевич отнюдь не расстался с идеей жениться на государыне и приобрести официальный статус. В случае же избрания Понятовского королем тот мог посвататься к императрице. Династический союз между Польшей и Россией имел блестящие перспективы.

Недаром сам варшавский рыцарь питал серьезные надежды именно на такое развитие событий: «Более всего меня занимала мысль о том, что, если я стану королем, императрица рано или поздно могла бы решиться

выйти за меня замуж». Он уговаривал себя: «Я желаю стать королем лишь в том случае, если у меня будет уверенность, что я женюсь на императрице, ибо без императрицы корона не привлекает меня». Такой брак должен был, по мысли Понятовского, послужить возвышению его страны: «Трудно даже представить себе степень величия, какого могла бы достичь Польша»^{441}.

Со своей стороны Екатерина II понимала, что подобное величие достигается только русскими штыками и за русские деньги. Услышав от Станислава рассуждения о династическом альянсе, Кейзерлинг озвучил ему позицию государыни: «Подобный союз вызвал бы слишком большую ревность и мог бы зажечь в Европе целый пожар»^{442}.

В условиях, когда группировка фаворита отказалась поддерживать ее внешнеполитический курс, императрица переложила руль и обрела опору в лице Панина. Он же проявил себя опытным, прозорливым, твердым и решительным (вопреки мнению племянницы) политиком. В последний момент, когда под давлением Орловых императрица заколебалась и просила Кейзерлинга официально не объявлять сейму ее рекомендацию избрать Понятовского, Панин настоял на своем. Он послал в Варшаву требование огласить перед депутатами желание государыни. Ни один голос не был подан против «русского» кандидата. Корона увенчала голову Станислава. Прощая самоуправство Никиты Ивановича, императрица написала ему сразу после избрания: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали... Я вижу, как безошибочны были все, взятые вами меры»^{443}.

Одной из безошибочных мер Панина оказалось назначение князя Дашкова командиром русских войск, вступивших в Польшу. В Варшаве служил послом и другой племянник Никиты Ивановича — Николай Репнин. Таким образом, решение дела оказалось отдано в руки родни министра.

Дашкова недаром подчеркивала сугубую конфиденциальность переговоров государыни с ее мужем: «Он должен был отдавать отчет о своих действиях только непосредственно самой императрице и своему дяде министру графу Панину». В отличие от дяди Михаил Иванович смог удержаться от обсуждения происходящего с женой. Отсюда тень обиды, проскользнувшая в ее рассказе: «Князь был польщен доверием императрицы». Именно князь, а не «мы»: нашу героиню к делу не привлекали. Однако и ее не обошли почестями, главная из которых — возвращение ко двору.

25 апреля при дворе состоялись три свадьбы. На одной из них Дашкова играла роль посаженной матери жениха^{444}. Ее пригласили занять место во

главе стола одной из обвенчанных пар, причем посаженным отцом жениха выступал Захар Чернышев, тоже не так давно вернувший милость государыни. В таком распределении ролей крылся намек. Невесту представляли Кирилл Разумовский и Анна Матюшкина — никогда милости не терявшие. Сводя четверых царедворцев-соперников за одним столом, императрица словно говорила, что готова уравнивать и тех, «кто трудился до первого часа», и тех, «кто пришел последними».

Об этих внешних знаках благоволения Екатерина Романовна ничего не писала. Возможно, они были не слишком приятны княгине, так как вызывались не признанием ее собственных заслуг, а возросшим весом мужа. Однако она радовалась успехам Михаила Ивановича и даже, со свойственной склонностью к преувеличению, видела в нем главнокомандующего.

В Польше еще со времен Семилетней войны оставались русские контингента, охранявшие склады с оружием и провиантом. Кроме них Репнин потребовал вступления войск в Литву, чтобы помочь «благонамеренным магнатам», составившим конфедерацию против князя Радзивилла. Последний, как и гетман Браницкий, получил поддержку от Саксонии и должен был вооруженной рукой препятствовать агитации «русской» партии на сеймиках. Князь М. Н. Волконский вовсе не остался в Смоленске, он с одной колонной двинулся в апреле через Минск. А Дашков с другой — через Гродно.

В конце апреля в Варшаву начали съезжаться депутаты на сейм, выдвигавший кандидатов для последующего избрания. Радзивилл привел с собой три тысячи вооруженных наемников, а Браницкий — почти все польские войска, считавшие коронного гетмана своим командиром. Однако сорвать сейм им не удалось, и они решили составить конфедерацию, выйдя из города. В 21 миле от Варшавы отряд Дашкова нагнал гетмана и завязал бой с арьергардом. Репнин доносил по этому поводу: «Могу справедливо сказать, что храбрости и желания нельзя больше иметь, как наши войска показали... Усерднее и расторопнее нельзя быть, как действительно князь Дашков есть»^{445}.

Рука руку моет, могла улыбнуться императрица. Кузен не стал бы писать дурного. Но вскоре Михаилу Ивановичу действительно представился случай отличиться. Напугав Браницкого, он догнал и разбил под Слонимом Радзивилла, пробиравшегося в родную Литву. Последний вынужден был бросить всю пехоту и артиллерию и с тысячей конников переправиться через Днестр. В конце концов, оба противника Понятовского были вытеснены русскими войсками в Венгрию. А Дашков у деревни

Гавриловки пленил остатки их отрядов.

В Россию прибыл польский посол граф Ржевусский, который рассыпался перед Екатериной Романовной в комплиментах ее супругу: «Он сообщил мне, что, благодаря энергии князя, план императрицы несомненно удастся, что порядок и дисциплина в его войсках привлекли к ним все сердца и что граф Понятовский был в особенности обязан ему. Императрица также отзывалась о моем муже с похвалой и называла его своим “маленьким фельдмаршалом “»[{446}](#).

Казалось, солнце начинает вновь улыбаться семье Дашковых.

«Уже время настает к бунту»

Избрание Понятовского состоялось 26 сентября. А еще в июне 1764 года Екатерина II отбыла в Лифляндию. Она планировала большое путешествие: доплыть до Ревеля и посетить Балтийский порт, а оттуда добраться «по сухому пути» в Ригу, Смоленск, Псков, Великие Луки и Нарву^{447}. Однако летом 1764 года, когда в поездке государыня получила известие о деле В.Я. Мировича, конечными пунктами стали Рига и Митава. Следовало возвращаться в Петербург.

От Петербурга до Риги государыня проехала 32 станции, а обратно 28 — то есть четыре промахнула, не меняя лошадей^{448}. У Екатерины были причины спешить. Она выехала в Митаву, но «на другой день в полдень тревога охватила всех, когда узнали, что в Петербурге едва не случилась революция, — писал лицеизревший государыню в Риге Джакомо Казанова. — Попытались силой освободить из Шлиссельбургской крепости... несчастного Иоанна... Мученическая смерть императора произвела такое волнение в городе, что осмотнительный Панин стал немедленно слать гонца за гонцом, дабы известить государыню, что ей надобно быть в столице»^{449}.

Толки о возможном возведении на престол шлиссельбургского узника не затихали, несмотря на коронацию. Сам по себе Иван не казался Екатерине II опасным, его можно было поместить на жительство в отдаленный монастырь^{450}. Караульным дали предписание склонять арестанта к монашеству, на что тот отзывался положительно. Но в начале июля 1764 года подпоручик Смоленского полка Василий Мирович собрал 45 человек солдат, скомандовал «к ружью» и попытался силой освободить узника. Охрана, имея инструкцию Н.И. Панина: «противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать», — исполнила приказ. Когда Мирович ворвался в каземат, Иван Антонович был уже мертв.

В Петербурге узнали о случившемся в тот же день, 5 июля. «Не думайте, что я страху предалась», — писала Екатерина II с дороги Панину. Между тем у нее имелись причины для тревоги. С весны в столице находили подметные письма, содержание которых оказалось сходным с «манифестом» Мировича. В них повторялись обвинения Екатерины в убийстве Петра III и осуждалось желание вступить в брак с Григорием Орловым. Знакомый набор. Среди бумаг Мировича был найден план заговора, начинавшийся словами: «Уже время настает к бунту». Согласно ему, похищенного Ивана Антоновича следовало привезти к артиллеристам,

представить как государя, а затем арестовать сторонников Екатерины. Трех — Захара Чернышева, Алексея Разумовского и Григория Орлова — предстояло четвертовать. Саму императрицу выслать в Германию, а на престоле «утвердить непорочного царя»^{451}.

Заметим, что предложение убить Орлова как бы унаследовано от дела Хитрово. Чем помешал Алексей Разумовский? Тем, что мог подтвердить факт давнего венчания с Елизаветой? А Чернышев? Тем, что когда-то считался поклонником Екатерины и, в случае гибели Орлова, августейшие взгляды могли обратиться к нему? Не слишком ли большая осведомленность в «комнатных», как тогда говорили, делах для скромного подпоручика?

10 июля Екатерина напомнила Панину о сходстве «манифеста» с подметными письмами, а кроме того, писала: «Надобно до фундамента знать... естли неравно искра кроется в пепле, то не в Шлиссельбурге, а в Петербурге»^{452}.

Мирович выглядел идеальным козлом отпущения. Он происходил из прежде богатой малороссийской семьи, поддерживавшей гетмана Мазепу и потерявшей имения еще в 1709 году. Подпоручик несколько раз обращался с просьбой в Сенат вернуть ему конфискованное или хотя бы выделить пенсион трем сестрам, но получал отказ. 24-летний офицер вел разгульную жизнь, наделал много долгов и, судя по ответам на следствии, страдал болезнью честолюбия. Например, его раздражало, что из-за низкого чина ему нельзя присутствовать на спектаклях во дворце одновременно с императрицей. Сам собой напрашивался вывод, что Мирович хотел путем переворота выбиться в люди. Когда Петр Панин спросил арестанта, зачем тот предпринял «столь злой замысел», последний ответил: «Для того, чтобы быть тем, чем стал ты»^{453}.

На вопрос судей: кто ему посоветовал совершить похищение Ивана Антоновича, — подпоручик дерзко отвечал: «Граф Кирилл Разумовский». Оказалось, что Мирович посещал дом гетмана и просил его помощи при возвращении конфискованных земель. Но Разумовский дал земляку иной совет: «Ты молодой человек, сам себе прокладывай дорогу, старайся подражать другим, старайся схватить фортуна за чуб, и будешь таким же паном, как и другие»^{454}. Подобные слова можно было расценить как подстрекательство. Но состава преступления в них не прослеживалось. И, вместо того чтобы заподозрить Разумовского, Екатерина II почему-то бросила взгляд в сторону старой подруги.

«Ложная тень»

Текст при внимательном чтении всегда выбалтывает то, что автор предпочел бы скрыть. «Я слишком много сделала для Екатерины и слишком мало для своей личной пользы»^[455], — писала Дашкова.

Вряд ли стоит удивляться, что после московских событий ее заподозрили автоматически. Рассказывая о своей непричастности к делу Мировича, она так старалась рассеять «ложную тень», что перегнула палку. Многочисленные перестраховки, специально помещенные в мемуары, заставляют исследователей задаваться неудобными вопросами.

«Сильная раздражительность души и двойное беспокойство за отсутствующего мужа и больную дочь снова расстроили мое здоровье; мне была предписана перемена воздуха». Поэтому «я попросила у моего двоюродного брата, князя Куракина^[25], разрешения поселиться в его поместьях в Гатчине». Причина «раздражительности» — неясна. Однако понятно: в Петербурге княгиню что-то смущало. Это не болезнь Анастасии — девочке лучше было бы оставаться в столице, где имелись доктора. И не тревоги за мужа — они не изменились с отъездом в поместье. Сырой и холодный из-за множества озер климат Гатчины не позволял поправить здоровье.

И все же Дашкова уехала. Почему? Ее болезнь — истинная или мнимая — опять выступала извинительной причиной, по которой княгиня не присутствовала в Петербурге как раз в тот момент, когда развивались опасные события. Более того, и в Гатчине она жила «совершенной отшельницей», никого не принимая в отсутствие мужа. Описание похоже на рассказ о деле Хитрово: все хворают, полное затворничество и неведение о городских слухах. А когда приходят неприятные записки от императрицы — удивление и негодование.

Интересна последовательность расстановки эпизодов в мемуарах княгини. Сначала она безотносительно к главным событиям сообщала об отъезде в Гатчину. А потом из последующего текста становилось понятно, зачем этот факт помещен. Дашкова показывала, что падающие на нее подозрения не просто ложны, но и нелепы.

«За несколько месяцев до этого генерал Панин был назначен сенатором и членом совета (еще один шаг по укреплению партии его брата. — О. Е.). Так как у него не было своего дома, а моя квартира была чрезвычайно поместительна, я предложила ему занять ее... а сама

переселилась с детьми во флигель-Генерал Панин занимал мой дом до отъезда императрицы в Ригу, куда он ее сопровождал. В качестве сенатора он каждый день принимал большое количество просителей; наши выходы и входы были на противоположных концах дома; кроме того, прием дяди происходил в весьма ранние часы, так что я никогда не видела его посетителей и не знала даже, кто они. В числе их, как оказалось впоследствии, был и Мирович»^{456}.

В годы Семилетней войны подпоручик служил адъютантом Панина. Теперь он надеялся, что тот поможет с хлопотами по имениям. Петр Иванович не отказал, просьбой Мировича в Сенате занимался регистратор Бессонов, состоявший в канцелярии Теплова и близко связанный с Никитой Ивановичем. Накануне мятежа, 4 июля, Бессонов посетил Шлиссельбург, обедал с комендантом и долго о чем-то договаривался, а приехавшие с ним офицеры расспрашивали о секретном узнике. Однако во время следствия регистратор даже не был допрошен. В день убийства Ивана Антоновича, уже фактически захватив крепость, Мирович всё ждал кого-то из Петербурга с «манифестом об освобождении» августейшего заключенного^{457}. От кого мог исходить такой акт, если государыня находилась в Риге, а главным лицом в столице фактически являлся Панин?

Следствие по делу Мировича оставило много нераспутанных нитей. Но все они в конечном счете вели к Никите Ивановичу. Екатерина Романовна чувствовала неладное и потому удалилась в Гатчину. Ей не хотелось, чтобы ее заподозрили вместе с дядями. Это был шаг умного, осторожного человека. За битого двух небитых дают.

Только после возвращения Екатерины II в Петербург бывшая подруга тоже приехала в город, причем выдержала уже знакомую нам паузу в несколько дней. Так она поступила после смерти Елизаветы, когда ожидалось немедленное возмущение. И после гибели Петра III, когда дворец оказался буквально в осаде. Теперь мог произойти новый взрыв, поскольку «Иванушку» любили в народе. Но город выглядел на удивление тихим^{458}.

Оставалось по привычке ругать старых врагов. В Риге императрица получила письмо от Алексея Орлова, где было сказано, «что видели, как Мирович несколько раз рано утром бывал у меня в доме». Екатерина II поделилась подозрениями со своим статс-секретарем И.П. Елагиным. Тот якобы отвечал: «Вряд ли княгиня Дашкова, не принимавшая почти никого, допустила бы до себя» «никому не известного» и «ненормального человека». Но уже сам факт, что Дашкова «никого не принимала» и «не

допускала до себя» очередного мятежника, выглядел калшкой с дела Хитрово.

Поэтому и ответный ход государыни был точным повторением ее приказа В.И. Суворову поделиться сведениями с князем Дашковым. «Елагин не удовлетворился этим честным и прямодушным поступком и прямо от императрицы пошел к генералу Панину и рассказал ему все». Решиться на такой шаг статс-секретарь мог, только исполняя волю государыни. Как она и ожидала, грубоватый Петр Панин, не обладая придворными навыками брата-министра, откликнулся сразу. Он заявил Елагину, что знает Мировича и готов в любую минуту ответить на вопросы монархини.

Всего генерал, разумеется, не сказал. Напротив, внешней откровенностью постарался отвести подозрения и от себя, и от племянницы: «Действительно, Мирович бывал рано поутру в моем доме, но он приходил к нему, Панину, по одному делу в Сенате». Однако непосредственная, быстрая реакция человека, не натеревшего в интригах, позволила Екатерине II глубже понять происходящее. «Если, с одной стороны, он уничтожил в ней всякое подозрение в моем сообществе с Мировичем, — рассуждала Дашкова, — то, с другой, вряд ли доставил ей удовольствие, обрисовав ей портрет Мировича, составлявший точный снимок с Григория Орлова, самонадеянного вследствие своего невежества и предприимчивого вследствие... своего скудного ума»^[459].

Княгиня так и не осознала, что дядя проговорился. Новый намек на Орловых делал предприятие Мировича продолжением и развитием заговора Хитрово. Даже письмо с обвинениями в адрес Дашковой как будто перекочевало из одного рассказа в другой^[460].

Был эпизод, за который цепляется внимание исследователя. 26 июня 1764 года Одар навсегда покинул Петербург. По свидетельству саксонского посланника графа И.Г. фон Сакена, перед отъездом он проклинал бывших покровителей — Никиту Ивановича и Екатерину Романовну. А Беранже сказал: «Императрица окружена предателями, поведение ее безрассудно, поездка, в которую она отправляется, — каприз, который может ей дорого обойтись»^[461].

Значит ли это, что пьемонтец знал о готовящемся заговоре? Ведь именно он осуществлял слежку за «лучшими патриотами». Вероятно, Одар считал, что затея Мировича приведет к падению его новых покровителей Орловых и даже самой императрицы. Он предпочел бежать. Этот поступок обнаруживает, как сильно «хитрый человек» боялся старых хозяев.

«Дойти до фундамента»

Решая дела в Польше, Екатерина II оперлась на помощь Панина, ослабив в известной мере влияние Орловых. И, как следствие, произошел новый заговор. Выбраться из сложившейся ситуации она могла, только опять выдвигая вперед братьев фаворита.

Последние горели желанием «дойти до фундамента». Один из членов судебной коллегии, барон Александр Иванович Черкасов, креатура Орловых, обратился к товарищам с предложением подвергнуть Мировича пытке. А когда эта идея не была принята, назвал судей «машинами, от постороннего вдохновения движущимися»^[462]. «Постороннее вдохновение» исходило не столько от императрицы, сколько от Никиты Ивановича.

Наивно было бы думать, будто воспитатель наследника ратовал за интересы шлиссельбургского узника. Очень быстро пошли толки, будто целью являлось не реальное освобождение «Иванушки», а именно его гибель в результате неудачной попытки бегства. Таким образом, убирался еще один претендент на престол. На первый взгляд это было выгодно именно Екатерине II, уже покончившей с мужем.

Дашкова весьма подробно пересказала, что именно говорили о государыне: «За границей... приписывали всю эту историю ужасной интриге императрицы, которая будто бы обещаниями склонила Мировича на его поступок и затем предала его... Мне в Париже стоило большого труда оправдать императрицу в этом двойном преступлении... Странно именно французам, имевшим в числе своих министров кардинала Мазарини, приписывать государям и министрам столь сложные способы избавиться от подозрительных людей, когда они по опыту знают, что стакан какого-нибудь напитка приводит к той же цели гораздо скорей и секретнее»^[463]. Фразой: «государям и министрам» — мемуаристка проговаривалась. Вместе с Екатериной II подозрение падало и на Панина.

Потенциально царь-узник угрожал обоим. Волнения гвардии после переворота и заговоры в Москве показали, что, пока он жив, никто всерьез не говорит о правах Павла. По этой причине сторонники великого князя также были заинтересованными лицами. «Стакан какого-нибудь напитка» решал дело тихо, но ничего принципиально не менял: Екатерина II оставалась императрицей. Чтобы избавиться от нее или хотя бы поколебать позиции, нужен был очередной громкий скандал. Убийство «Иванушки»

такой скандал обеспечивало.

Верховный суд приговорил Мировича к отсечению головы^{464}. 15 сентября 1764 года приговор был приведен в исполнение. Толпа до последней минуты ждала помилования, не верили, что после двадцати двух лет смертная казнь будет возобновлена. Г.Р. Державин вспоминал: «Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обыхший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия Государыни, когда увидел голову в руках палача, единодушно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила отвалились»^{465}.

Императрица явно вознамерилась дать урок. И не только мелким военным заговорщикам, среди которых высокие персоны искали легковверных исполнителей. Дашкова вспоминала, какое тягостное впечатление произвела на нее казнь: «Когда Мировича казнили, я радовалась тому, что никогда не видела его, так как это был первый человек, казненный смертью со дня моего рождения, и если бы я знала его лицо, может быть, оно преследовало бы меня во сне под свежим впечатлением казни»^{466}.

За границей, особенно во Франции и Саксонии — странах, проигравших польскую карту, — возникли слухи, упомянутые княгиней. Появился памфлет «Заметки немецкого путешественника о манифесте 17 августа 1764 г.», где объявлялось, что убийство узника — низкое преступление, а официальные сентенции по делу Мировича — ложь. Подобное может быть «оправдываемо только в России»^{467}.

О том, кому в первую очередь был выгоден провалившийся заговор, в наибольшей степени свидетельствовали его результаты. 28 сентября Бекингемшир доносил: «За последние шесть недель поведение императрицы было таково, что она утратила любовь и уважение большого числа своих подданных. Однако даже самые ярые из ее врагов столь боятся замешательств, всегда связанных с малолетством монарха, что пока ей можно не опасаться каких-либо переворотов. Но смерть великого князя стала бы для нее воистину фатальной, поелику при нынешнем настроении умов никто не поверил бы в естественную причину оной».

Именно этого добивались Панины. «Ежели императрица здраво рассудит свое положение, — продолжал дипломат, — то, несомненно, поймет, что по достижении наследником совершенных лет трон ее сделается неустойчив и, прислушавшись к голосу благоразумия, ей будет лучше всего по доброй воле удалиться от престола»^{468}.

Итак, после заговора Мировича возникла новая политическая

реальность. Пока сторонники великого князя не могли заставить императрицу уйти, а она, в свою очередь, не имела возможности окончательно утвердиться как самодержица. Сложилась негласная договоренность: трон остается за государыней до совершеннолетия наследника. При этом шансы Павла повысились: если раньше оппозиция дробила свои силы между двумя претендентами, то теперь все недовольные примыкали к лагерю великого князя.

Все эти события напрямую касались и нашей героини. Слухи о ее поведении во время мятежа были неутешительны: «Княгиню Дашкову видели в мужской одежде среди гвардейцев, но за ее шагами внимательно следят, и ей скоро придется отправиться в Москву»^{469}.

Можно ли верить этому свидетельству? Даже перед переворотом 1762 года Дашкова отнюдь не сама ходила по гвардейским казармам. К несчастью, теперь не Екатерина Романовна творила свою репутацию, а сложившаяся репутация калечила ей жизнь. Австрийский посол доносил в Вену, что «княгиня находилась в сильнейшем подозрении»^{470}.

«Случай помочь мне»

Догадаться о многом позволяет поступок князя Дашкова. Незадолго до смерти от скоротечной горячки 17 августа в Пулавах он назначил опекуном над имениями своих детей Никиту Ивановича Панина. При живой, совершеннолетней жене, которая, согласно законам, и должна была распоряжаться семейным имуществом до возмужания наследников.

Этот щекотливый момент обычно проходит мимо внимания комментаторов. Между тем он должен вызывать вопросы. Либо Михаил Иванович боялся, что жену вот-вот арестуют за участие в новом заговоре и дети окажутся одни. Либо супруги готовились к разъезду. На последнюю мысль наводит и покупка дома с землей в Петербурге на имя Екатерины Романовны. Перед разделом супруг отдавал старый долг жене.

В «Записках» Екатерина Романовна не бросает тень на свои супружеские отношения. О том, что муж изменял ей, она рассказала не в мемуарах, а в частном письме Кэтрин Гамильтон. Описание судьбы Решимовой в пьесе показывает, что княгиня надеялась: останься муж жив, и все шероховатости их брака постепенно бы сгладились: «Слишком были вместе, потом слишком были розно, вдаваясь в крайности; отдалились от истинного пути... все в меру хорошо; не будем как неподвижные статуйки друг против друга сидеть, не будем также и бегать друг от друга. Он решение мое принял за закон, и с лишком тридцать лет после того счастливо и согласно жили»^[471].

Но, видимо, реальный князь Дашков не соглашался принять решение жены «как закон». Его уже тяготил взбалмошный характер супруги. Прибавим амурную привязанность Панина. Сапфические наклонности самой Екатерины Романовны. Возможно, Михаила Ивановича устроила бы женщина потише.

Нервы Екатерины Романовны были настолько расстроены, что страшный удар вызвал новый приступ паралича. «Левая нога и рука, уже пораженные после родов, совершенно отказались служить и висели, как колодки... я пятнадцать дней находилась между жизнью и смертью»^[472]. Снова преувеличение? «В одном только случае отдала она долг человеческому чувству, именно, когда пролила слезу по случаю потери ее в высшей степени милого мужа»^[473], — доносил Бекингемшир. Так «слеза» или две недели беспамятства?

Вновь был прислан придворный хирург, который, по признанию

княгини, спас ей жизнь. Создается впечатление, что Екатерина II продолжала жалеть бывшую подругу, раз отправляла лейб-медика. Но уже не могла заставить себя изобразить искреннее участие: слишком много взаимных обид было нанесено. Зато она сразу приказала Елагину выкупить у наследников ту самую лошадь, которую подарила Михаилу Ивановичу: «Лучше ее во всей моей конюшне не было и не осталось»^{474}. Бичуя императрицу за черствость — де, она должна была вытирать вдове слезы, — не обращают внимания на культурный контекст, в котором лошадь играет ту же роль, что и веер, только подарок сделан мужчине.

Послы в один голос заявляли, что смерть Дашкова опечалила многих: «Это был человек, которого по всей справедливости любили и сожалели и государыня, и все знавшие его. Особенно отличали его дамы»^{475}. Оплакивала Михаила Ивановича и родня, включая порвавшего с сестрой Семена. Впрочем, брат предположил, что горе Дашковой будет недолгим и она вскоре «выйдет опять замуж за некоторого человека, с коим у нее толь откровенное и дружеское обхождение»^{476}, то есть за Панина.

Семен ошибся. Екатерина Романовна никогда больше не искала спутника жизни. В письме Кэтрин Гамильтон она объясняла свое «отвращение от второго брака» бедностью и страхом «оставить детей двойными сиротами»: «Ради всего этого я вела жизнь и одевалась ниже своего звания»^{477}. Но «меня не пугали никакие лишения»^{478}.

Во время путешествия в Европу не было собеседника, который не узнал бы от Дашковой, как она, благодаря бережливости и жесточайшему самоограничению, выпуталась из стесненных обстоятельств. Дидро записал: «Она продала все, что имела, чтобы уплатить долги мужа... Она великодушно выносит свою темную и бедную жизнь. Она могла бы удовлетворить самым высшим претензиям, если б хотела... продать имения детей, но она ни за что не согласилась на эту жертву»^{479}.

Какова же была ситуация в действительности? Обычно поход служил прекрасным способом поправить финансовые дела. Однако на этот раз императрица, желая вызвать расположение поляков к кандидату от России — Понятовскому, — запретила грабеж. Прусский посол граф Сольмс доносил Фридриху II о войсках Дашкова: «Отряд снабжен наличными деньгами в достаточном количестве, чтобы платить по пути за все для него необходимое»^{480}. Но «по пути» всегда возникали непредвиденные расходы, и отпущенных из казны средств не хватало. А потому Дашков, исполняя приказ императрицы не обижать местных жителей, давал офицерам деньги для закупок и из полковой кассы, и из собственного

кармана, что, кстати, всегда делали командиры на марше. Приходилось влезать в долги. Поговаривали даже о растрате полковых сумм^[481].

Перед смертью Михаил Иванович терзался, «обвинял себя в расстройстве дел» и просил Панина, как опекуна, «привести их в порядок, не... лишая нас некоторого достатка». Никита Иванович прежде всего показал прощальное письмо племянника его жене, чтобы не возникло никаких недоразумений: такова воля покойного. Екатерина Романовна имела законное право возражать, но не стала. «Покинутая своей семьей, я могла ждать советов и помощи только от графов Паниных».

Одновременно дядя-министр смягчил удар: он был занятым человеком и не мог часто выезжать из столицы. Поэтому Никита Иванович попросил брата-генерала разделить с ним груз опекуна, и уже они вместе обратились к вдове, объяснив, что и ей «необходимо принять участие в опеке». Причем именно княгиня стала *de facto* главной, так как только она одна «могла ездить в Москву и в свои имения».

Далее следует фрагмент, нуждающийся в комментарии: «Старший граф Панин, думая, что ее величество, узнав, в каком положении я осталась с детьми, поспешит меня выручить, испросил у нее указ, позволявший опеке продать земли для уплаты долгов. Я была этим крайне недовольна и, когда мне принесли указ, объявила, что я никогда не воспользуюсь этой царской милостью и предпочитаю есть один хлеб, чем продать родовые поместья моих детей».

Сколько исследователей, прочитав эти слова, качают головами. Где же «милость»? Разрешение продать поместья, которые и так принадлежат вдове и сиротам?

Прежде всего, указ, называя Дашкову в числе опекунов, закреплял за ней статус, которого у вдовы, согласно последнему письму князя, не было. Нарушение воли покойного — серьезный шаг, но «императрица только выжидала случая помочь мне»^[482], — сказано в одной из редакций.

После смерти Михаила Ивановича его родовые земли (за исключением части, полагавшейся вдове^[26]) переходили к детям. Павел и Анастасия были еще малы, чтобы самостоятельно заключать сделки. От их имени действовали опекуны. Указ давал им настолько широкие права, что они могли даже продать поместья сирот.

В дальнейшем Дашкова выплачивала долги только частным кредиторам, но не казне. Если справедливы слухи о растрате полковых сумм, то вопрос о казенном долге просто не поднимался.

В этих трех пунктах и состояла милость императрицы. Но Дашкова,

видимо, ожидала, что старая подруга полностью снимет с нее финансовое бремя. Однако сразу после Польской кампании, стоившей миллион, денег в казне не хватало, о чем хорошо знал Панин. Поэтому он попросил об указе, а не о «вспомоществовании».

Прощание

Как и предчувствовал Никита Иванович, вести дела с «фавориткой его сердца» оказалось еще труднее, чем ухаживать за ней. Дашкову разгневал указ. Она не собиралась ничего продавать. Поначалу не собиралась и просить, полагая, что Екатерина II сама даст денег.

Бывшая подруга держала паузу. Ее тоже могла разозлить ситуация с указом — ни слова благодарности. В другое время и по другому поводу государыня жаловалась: «Скучно деньги давать, а спасибо нету». Екатерине все-таки хотелось услышать от Дашковой «спасибо», ей не могло нравиться, что милость воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Между тем на княгиню продолжали валиться несчастья. «Едва я начала вставать на несколько часов с постели, у моего сына образовался большой нарыв. Операция была болезненна и опасна, но, благодаря уходу Крузе и искусству хирурга Кельхена, жизнь его была спасена». Обратим внимание: операцию опять делали придворные врачи, что невозможно без приказа императрицы.

Рассказы о недугах помещались в мемуары нашей героини с умыслом — объяснить и даже оправдать какое-то действие. В данном случае отъезд в Москву. Вернее, его задержку. «Мне удалось уехать из Петербурга только в марте 1765 г., и то, подвергаясь большой опасности, т. к. настала оттепель, и переправа через реки была рискованна».

Итак, собственная хворь, операция сына, весенняя распутица. Словом, никак нельзя раньше. Но зачем вообще торопиться? 11 февраля в Первопрестольную привезли гроб с телом Михаила Ивановича Дашкова. Родные похоронили его в семейной усыпальнице под собором Новоспасского монастыря. Вдова на погребении не присутствовала^[483]. Эта информация опушена в «Записках», и читатель, как уже не раз случалось, остается с выводом без посылки.

Известие о смерти князя было привезено в столицу в сентябре, скорее всего, в начале месяца. Михаил Иванович скончался 17 августа, а курьер из Варшавы в Петербург скакал меньше недели. Наша героиня провела две недели в беспамятстве. Едва стала вставать, простудился двухлетний сын — пришлось делать операцию. В те времена люди болели долго. Но с сентября по февраль — пять месяцев.

Дальнейшее поведение московской родни (никто из них не приютил вдову с детьми; свекровь передала дом внучке в обход прямого наследника

— маленького Павла Дашкова) показывает, что Екатерину Романовну не воспринимали как члена семьи. Возможно, старая княгиня знала о желании сына разъехаться, прошлогодние московские страсти разворачивались на ее глазах. Со своей стороны Дашкова не могла не досадовать на покойного супруга из-за лишения прав опеки. Однако и помещать в мемуары такой вопиющий случай, как неприезд на похороны, ей было неприятно.

Как сочетать подобный шаг с описаниями искреннего горя? А как сочетать гордый тон «Записок» с униженной челобитной императрице? «Я отдала трем главным кредиторам моего мужа все его серебро и свои немногие драгоценности, оставив себе только вилки и ложки на четыре куверта, и уехала в Москву, твердо решив уплатить все долги мужа... не прибегая к помощи казны», — сказано в мемуарах.

А вот прошение: «Всемиловитейшая Государыня! В горьком и злоключительном состоянии несчастной моей жизни с двумя сиротами младенцами ничто уже другое подкрепить меня не может, кроме... милосердной матери и щедрой монархини к своим верноподданным, и сие одно дает мне дерзновение прибегнуть к великодушному Вашего императорского величества воззрению на сирот беспомощных... За сиротами моими отцовского имени... осталось три тысячи душ, а долгу, который я с того же выплачиваю, слишком шестнадцать тысяч. При таком состоянии от недорода во всех деревнях хлеба, я два года лишаюсь с них дохода по половине... Я себя и с моими младенцами повергаю к монаршим Вашим стопам. Воззрите, всемиловитейшая государыня, милосердным оком на плачущую вдову с двумя сиротами, прострите щедрую свою руку и спасите нас несчастных от падения в бедность»^[484].

Не стоит сразу приходить в негодование от оборотов речи. Перед нами обычный делопроизводственный язык того времени. Именно так проситель должен был обращаться к монарху. Это не личное письмо, а челобитная, из которой, наконец, становится известен размер долга — 16 тысяч. И размер наследства — три тысячи душ. Такое владение нельзя назвать «малым». При нем трудно «пасть в бедность».

Средний годовой оброк помещичьего крестьянина в то время составлял от четырех до шести рублей^[485]. Сама Екатерина Романовна называла трехрублевый оброк достаточным^[486]. Бывали случаи, когда в трудных для крестьян обстоятельствах она снижала выплаты до двух рублей, но за долги могла поднять оброк и до семи рублей^[487].

Если считать по минимуму, то получится шесть тысяч рублей. На эту сумму предстояло жить, кормить дворовых, совершать поездки. «Я

ассигновала на себя и детей всего пятьсот рублей в год, и... к моему крайнему удовольствию, все долги были уплачены в течение пяти лет». Не нужно быть математиком, чтобы понять: оставляя неприкосновенными хотя бы пять с половиной тысяч, с долгами можно рассчитаться за три года. При другой сумме оброка — за год-два. Следовательно, траты «на себя и детей» были больше.

В середине 1765 года в Троицком княгиня заложила храм в память о муже. Через два года уже произошло его освящение^{488}, что не говорит о бедности: у нуждающихся людей нет средств для строительства церкви. Можно предположить, что Екатерина Романовна с детьми отдавала последнюю копейку на храм — грустный монумент любви. Но осенью 1766 года она приобрела в Москве на Большой Никитской улице напротив церкви Малое Вознесение бросовый участок земли с полуразвалившейся усадьбой и приказала выстроить для себя деревянный дом^{489}. Позднее, уже в 1770-х годах, архитектор В.И. Баженов начал возводить там дворец для княгини (ныне здание консерватории).

Чтобы покончить с долгами мужа, было достаточно продать дом в Петербурге и добавить две тысячи за счет драгоценностей. Но особняк принадлежал лично княгине, и она предпочла его сдавать. В те времена на долги смотрели как на нечто неизбежное — досадную помеху, которая сопровождала жизнь знатного человека. «Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, — писал Д.И. Фонвизин во «Всеобщей придворной грамматике». — ...Я должен, ты должен, он должен... Никто долгов своих не платит... Само собой разумеется, что всякий непременно в долгу будет, коли еще не есть»^{490}.

Именно такое отношение к долгам демонстрировала уже пожилая Дашкова. В 1804 году Александр I освободил ее от долга казне в размере 44 тысяч рублей. Марта Уилмот писала по этому поводу: «Утром княгиня получила известие из С.-Петербурга, что император решил заплатить некоторые из ее долгов. Посему она в виде первоапрельской шутки положила нам с Анной Петровной (Исленевой, воспитанницей Дашковой. — О. Е.) под кофейные чашки по сто рублей»^{491}. Среди подарков мисс Уилмот были не только ассигнации, но и жемчужные нитки, «вмятые» в кожуру апельсина, черепаховые гребни, шали, камеи... что контрастировало с положением человека, опутанного долгами.

Также было и в 1765 году. Уезжая из Петербурга, Дашкова продала столовое серебро. Через несколько месяцев, к трехлетней годовщине переворота, она будет пожалована новым серебряным сервизом.

Императрица составила список из тридцати трех награжденных персон, упомянув княгиню пятой ^{492}.

В апреле 1766 года наша героиня опять обратилась к императрице, прося подарить ей село Владыкино и деревню Лихоборы, где числилось 114 мужиков ^{493}. Екатерина II не ответила подруге лично и деревень из Коллегии эконoмии не отдала. Это был принципиальный момент: еще недавно крестьяне числились монастырскими (категория крепостных), а теперь — экономическими (категория государственных). Императрица старалась расширить число последних, так как они считались по тем временам вольными. Однако это не значит, будто Дашковой не оказали помощи. К новой годовщине переворота, в июне 1767 года, княгиня получила из кабинета императрицы (то есть из собственных денег государыни) 20 тысяч рублей на уплату долгов ^{494}.

Ни об этих деньгах, ни о сервисе в «Записках» не упомянуто, и потому создается впечатление, будто из долгов княгиня выпуталась сама. Однако это уверение, весьма лестное для самолюбия Екатерины Романовны, не соответствовало действительности. Долги уплатили из кабинета, правда, не так быстро, как рассчитывала наша героиня. Ее огромное состояние возникло за счет многочисленных пожалований Екатерины II, однако было сбережено и приумножено благодаря расчетливому ведению хозяйства.

Марта Уилмот записала случай, когда одна из льстивых посетительниц Дашковой усердно восхищалась красотой ее компаньонки: «Я не удивлюсь, если в следующий визит бриллиантовая графиня получит несколько тысяч в долг без процентов» ^{495}. В тот момент в России не принято было одалживать деньги в рост, ростовщичество осуждалось из религиозных соображений. Поступая так, княгиня переносила на родную почву финансовый опыт Англии — прибыльный, но сомнительный в нравственном отношении. Она знала, что за глаза подвергается осуждению, однако не могла удержаться. Под заклад пятидесяти душ крестьян у нее, например, можно было получить три тысячи рублей ^{496}.

Дашковой нравилось экономить. Бережливость в столе и платье отвечала не только обстоятельствам жизни, но и личным вкусам княгини. Положить в карман шкурку от лимона или спороть с изношенного платья драгоценности было для нее естественно ^{497}. Кожура пригодится от моли, а жемчуг и золотые позументы не выбрасывают.

Но почему, получив так много от щедрот венценосной подруги, она продолжала настаивать, будто едва сводила концы с концами? Сказалась и общая для русских вельмож XVIII столетия любовь пожаловаться на

бедность, особенно ею отличался дядя нашей героини, канцлер Воронцов. И чувство восхищения, которое княгиня испытывала по отношению к самой себе, желая думать, что всего добилась своими руками. Но был еще один момент, который ухватил Дидро. Разговаривая о корсиканском революционере Паскале Паоли, который поднял восстание на острове, чтобы освободиться от французского господства, был разгромлен и бежал в Англию, Екатерина Романовна заметила: «Бедность есть лучший пьедестал подобного человека»^{498}. Нужда лишней раз доказывала, что политического деятеля нельзя купить. Поэтому в «Записках» постоянно подчеркивалось собственное бескорыстие героини.

Дашкову раздражало, что императрица больше не смотрит на нее такими глазами. Вернее, видит иное. Их прощание в 1764 году было очень холодным. 1 марта новый британский посол сэр Джордж Макартни доносил в Лондон: «Княгиня Дашкова... перед отъездом имела честь целовать руку императрице и проститься с нею; ей уже давно был запрещен проезд ко двору, но ввиду того обстоятельства, что она уезжает, быть может, навсегда, ее величество, по ходатайству Панина, согласилась принять ее. Прием был такой, как она и должна была ожидать; то есть холоден и неприветлив; кажется, все рады ее отъезду»^{499}.

18 марта дипломат добавил: «Те, кто желал добра и Панину, и его фаворитке, советовали ей покинуть Петербург; пока» государыня «еще сохраняет некоторую доброту по отношению к ней»^{500}. Значит ли это, что сначала княгиня намеревалась остаться? Что пять месяцев ждала, когда императрица поправит ее финансовое положение? В таком случае медлительность Екатерины II при оказании помощи была намеренной. Дашковой показывали на дверь.

Глава восьмая.

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

В Москве, во время заговора Хитрово, княгиня желала лучше погибнуть, чем разменивать «темные», пустые дни. Но судьба приготовила ей «череду безрадостных лет», уже не озаренных ни теплотой супружеской привязанности, ни страстной близостью с подругой. Без сомнения, кончина на пике славы стала бы лучшим завершением. Но за пределами легенды о Дашковой — юной женщине в гвардейском мундире — лежали четыре десятилетия, полные событий, встреч, путешествий и, наконец, найденного применения обширным способностям.

«В своем роду не последняя»

«Все эти четыре-пять лет, от смерти мужа до поездки княгини за границу в 1769 году, не представляются интересными для биографа, — писал в конце позапрошлого века В.В. Огарков, один из наиболее цитируемых исследователей жизни Дашковой. — Все это время она не играла никакой роли... жила большей частью в имениях, посещала родных и... самым мещанским образом копила деньги»^{501}.

Воистину мужской взгляд! Заниматься хозяйством и воспитывать детей — вряд ли достойно внимания. Сама княгиня, повинаясь заявленной логике, уделила четырем годам опалы не более полутора страниц «Записок». Как и большинство мемуаристов, Дашкову притягивал собственный выход на сцену. Возня за кулисами не считалась достойной. Но чтобы понять личность, необходимо перевернуть реквизит в гримерке.

Сделаем это.

Поселившись в Первопрестольной, княгиня вела в высшей степени экономный образ жизни. Она продала «вороной неаполитанский цуг лошадей» — слишком дорогой и породистый, чтобы тащить его в деревню. А также «липовые кронные деревья хорошей фигуры», поднявшиеся «в подмосковной вотчине сельце Михалкове», о чем извещалось через газету^{502}. Большой господский дом грозил разрушением, и Дашкова приказала мужикам выбрать из него крепкие балки, чтобы срубить жилище поменьше. К весне 1766 года оно было готово, и наша героиня переселилась в него.

Но самая удивительная метаморфоза произошла с ее московским домом. «Моя свекровь, найдя, что вследствие какой-то ошибки при совершении купчей на дом, приобретенный ее покойным мужем, она имеет право располагать им по своему усмотрению, подарила его своей внучке Глебовой, вследствие чего у меня не стало больше пристанища в городе, — вспоминала Екатерина Романовна. — Я не только не жаловалась на это, но решила не произносить при моей свекрови слова “дом”, и только этой деликатностью отомстила ей за ущерб, причиненный ею моим детям... Три года спустя моя свекровь, которой понадобилось временно оставить, вследствие каких-то переделок, свои покои в монастыре, куда она удалилась после смерти сына, не добилась разрешения жить в доме своего зятя Глебова и поместилась у меня, в доме, смежном с моим и очень выгодно купленном мною в предыдущем году»^{503}.

Что тут правда? Анастасия Михайловна, мать князя Дашкова, действительно удалилась в монастырь. По обычаю, пожилые, состоятельные люди выкупали для себя кельи, где заканчивали дни под присмотром собственных слуг или братии. Свой особняк у Никитских ворот княгиня продала, а не подарила в апреле 1768 года зятю Ф.И. Глебову за «три тысячи рублей». Прежде эта московская усадьба принадлежала князю В.Н. Репнину, который еще в 1743 году продал его вдове Ивана Петровича Дашкова. Никакой ошибки в купчей не было: Анастасия Михайловна совершила сделку сама, на свое имя, уже после смерти мужа, следовательно, являлась хозяйкой^{504}.

Глебов был женат на сестре Михаила Дашкова — Александре, к моменту сделки уже покойной. Супругам принадлежал дом и участок земли, примыкавший к усадьбе старой княгини. Для своей дочери, тоже Александры, Глебов решил прикупить владения бабушки.

Почему Дашкова называла куплю подарком? Четверть века назад Репнину были заплачены те же три тысячи. Но за прошедшие годы цена возросла, теперь дом мог стоить около десяти тысяч. Однако он «продавался» внутри семьи, для внучки, и бабушка взяла за усадьбу столько же, сколько отдала сама, без оглядки на время. Такая щедрость могла показаться невестке неразумной. Тем более что она привыкла считать особняк своим. «Дом, в котором я прежде жила в Москве, по моему мнению, принадлежал вместе с другим наследственным имением моим детям»^{505}, — писала Екатерина Романовна.

Для такого взгляда были основания. В 1763 году после смерти дочери, княжны Анастасии, убитая горем мать перебралась на время жить к брату генералу Николаю Леонтьеву в Хлыновский переулок. Наша героиня пишет, что они с мужем «уговорили княгиню переехать с печального пепелища»^{506}. Молодая чета осталась у Никитских ворот, что, впрочем, не означало, будто дом отошел к ним. Юридически он все еще принадлежал старой барыне.

Формально Анастасию Михайловну нельзя упрекнуть «за ущерб, причиненный детям» сына, — родовое имущество отца перешло к ним. Кроме того, невестка и сироты отнюдь не лишались «пристанища в городе», так как рядом с домом свекрови у них был собственный. Участок для него приобрел в 1753 году молодой князь Дашков. Именно этот дом, принадлежавший некогда Михаилу Ивановичу, и являлся наследством детей.

Уже через год после переезда Дашковой в старую столицу был готов

новый, небольшой, господский дом в Михалкове — пристанище на лето. А в Первопрестольной появился участок земли на Большой Никитской, где княгиня «велела построить деревянный дом до поры», пока не будет «в состоянии возвести каменный». Таким образом, в момент оформления купчей с Глебовым свекровь никак не могла считать невестку бесприютной.

Уверения: «Я не только не жаловалась»; «Я нисколько не сердилась на свою свекровь»; «Лично для меня в этом не было большой потери» — вступают в противоречие с твердым выводом: «Она поступила несправедливо». Но еще более контрастен с тоном мемуаров поступок самой Екатерины Романовны. Наша героиня тоже продала дом. На участке мужа. Глебову. За бесценок.

Купчая от 28 ноября 1768 года гласит: «Двора Ея Императорского Величества штате дама ордена святыя Екатерины кавалер вдова княгиня Екатерина Романова... Дашкова; в роде своем не последняя продала... кавалеру генерал майору... Федору Иванову сыну Глебову.. дворовое свое и хоромное строение и с белою землею... а взяла я княгиня у него Глебова за оное свое дворовое строение и с белою землею денег десять рублей»^[507].

Что это? Насмешка или описка? Следует согласиться с мнением Е.Н. Фирсовой: не свекровь подарила внучке свой дом, а Дашкова почти подарила землю. Исследовательница деликатно опускает мотивы подобного шага. Екатерина Романовна гиперболизировала и тем самым высмеяла поступок свекрови — вообще не взяла денег. Глебову фактически бросили дом и землю в лицо. Подобный шаг не свидетельствовал ни о нужде, ни даже об экономии. После подарка из казны в 20 тысяч рублей Екатерина Романовна могла себе позволить широкий, вельможный жест. А вот имела ли на него право?

Когда-то она с гневом отвергла идею продать поместья детей, чтобы оплатить долги мужа. Теперь не продавала — выбрасывала часть их наследства, чтобы проучить Глебова. Дать оплеуху. Но за чей счет? После смерти отца дом у Никитских ворот принадлежал сыну и дочери. Усадьба же на Большой Никитской — самой княгине.

Для того чтобы осуществить сделку, Екатерина Романовна должна была опереться на указ императрицы, разрешавший ей как опекунке распоряжаться наследством сирот. То же самое следовало сделать и при продаже «сельца» Михалково. Собираясь за границу, княгиня в 1769 году рассталась и с этой усадьбой, отдав ее Никите Ивановичу Панину для брата Петра, который вторично женился^[508]. Между тем Михалково в

документах обозначалось словом «вотчина» — то есть родовое земельное владение, передававшееся от отца к сыну.

Итак, «не прибегая к помощи казны и не касаясь имущества детей»...

Жила ли свекровь у невестки? «Три года спустя», когда затеялся ремонт в кельях, наша героиня была за границей. Описание «смежного» дома очень напоминает два строения у Никитских ворот: в прошлом матери и сына Дашковых, а ныне — Глебовых. Разные редакции дают разные трактовки поведения зятя: от «не имел свободных покоев», до «не пустил жить к себе». И столь же по-разному определяют пристанище вдовы: от «у меня», до «по соседству со мной». Беда не только в казусах переводов. Собственный стиль княгини темен. Скорее всего, Анастасия Михайловна поселилась не в своем старом доме, а в прежнем особняке сына, располагавшемся неподалеку от новой усадьбы Дашковой. То есть у Глебовых же.

«Отрекла ее от своего дому»

Этот случай рисует непростые отношения Екатерины Романовны с кланом покойного мужа. В родной семье княгини тоже кипели страсти. Ни дядя, ни тетка, ни отец, ни навечно обиженный брат Семен не шли на сближение. Исключением оставался Александр — «наш моралист», как называла его Дашкова.

В письмах к нему она жаловалась на грусть после смерти мужа, «приступы ипохондрии», «черную меланхолию». Брат ратовал за семейное примирение. Просил вернувшегося в Россию дядю Михаила Илларионовича пособить с прощением отца для беспутной мятежницы. Ее уговаривал повиниться. Стороны отказывались. «Я пересмотрела все свои действия и не нашла ничего обидного для отца», — писала ему Дашкова. Дядя уверял, что любое ходатайство перед Романом Илларионовичем «было бы без успеха»^[509].

«Если я еще не написала отцу с просьбой простить мои так называемые прегрешения, — рассуждала княгиня 26 января 1766 года, — то... лишь потому, что боялась потерять уважение и его, и моих любимых братьев... Поскольку отец считает, что я нахожусь в нужде и мне необходимо прибегнуть к чьей-либо помощи или просить о благодеянии, то представьте, как будут восприняты мои неожиданно предпринятые шаги»^[510]. Дашкова была очень горда.

Только уехав за границу, она решится написать отцу. «Сделайте мне сию несказанную милость, уведомив меня... что я не лишена Вашей отеческой милости»^[511]. Постепенно батюшка смягчится. Время лечит. Еще до отъезда княгиня восстановила формальные отношения с тетей и дядей. В ноябре 1766 года бывший канцлер сообщал племяннику: «Княгиня Дашкова... проформа была у нас с визитою»^[512]. А ведь совсем недавно тетка Анна Карловна писала Семену в Берлин, что «отрекла ее от своего дому» за «беспутное поведение»^[513].

В 1766 году уже все жили в Москве: и уволенный от службы бывший канцлер, и вернувшийся из-за границы Семен, и сестра Елизавета. Последняя в феврале 1765 года вышла замуж за 44-летнего статского советника А.И. Полянского — человека «достойного и тихого», с которым, по словам Семена, «несчастлива не будет». До увольнения из армии Полянский служил секунд-майором в лейб-гвардии Кирасирском полку,

которым еще недавно командовал князь Дашков. Значит, был известен семье: по традиции старшие офицеры посещали дом командира. «Романовне» приискали мужа в своем кругу. Наша героиня должна была его хорошо знать.

Теперь «молодые» собирались в столицу. «Сестра еще не уехала, — докладывала княгиня Александру. — ...Боясь повредить ее делам, я не осмеливаюсь бывать у нее, так что только она меня навещает». Эти слова показывают, что Дашкова считала себя не просто опальной, а поднадзорной. Свидания с ней могли дурно сказаться на близких. Княгиню раздражало такое положение, она даже советовала брату не приезжать из Гааги в Россию. «Не одобряю Ваше желание, — писала она в мае 1766 года. — Имея какой угодно ум и способности, тут ничего нельзя сделать, т. к. здесь нельзя ни давать советы, ни проводить систему: все делается волею императрицы и переваривается господином Паниным... Маска сброшена... никакая благопристойность, никакие обязательства больше не признаются»^[514].

Несмотря на ее уговоры, старший из братьев Воронцовых явился домой — его карьера пока складывалась успешно — и сразу принялся всех мирить. Он нашел лучший способ сплотить клан — отстаивание семейных финансовых интересов.

15 февраля 1767 года в Москве умер отставной канцлер Михаил Илларионович Воронцов. Пережив батюшку всего на два года, в феврале 1769-го, скончалась Анна Михайловна Строганова. Встал вопрос о приданом покойной, на которое Строганов, по мнению Воронцовых, не имел права. Для обоснования этого постулата Александр привлек сестру Екатерину. В своем «Мнении» молодой дипломат перечислял имущество, вернувшееся к Воронцовым: заводы, финляндское имение, дома в Петергофе и Москве, драгоценности, платья, мебель, кружева, часы, книги и эстампы. Екатерина Романовна рассуждала в особой записке, что кузина, «живучи и умерши в доме матери своей, все тут и оставила»^[515].

Объективно Дашкова помогла родне, хотя считала Строганова своим другом, а Анну недолюбливала. Но дело есть дело. И деньги есть деньги. Тетка, братья и отец должны были теперь если не простить, то принять блудную дочь в лоно семейства.

«Воспитание совершенное»

Заранее известно, что Екатерина Романовна не была счастливой матерью. А Павел и Анастасия — счастливыми детьми. Они обманули ожидания княгини. Но и обманулись сами, пойдя против ее воли. Корни этого взаимного несчастья в «хваленном материнском воспитании», о котором так пренебрежительно отозвалась Екатерина II, мол, «и сын, и дочь вышли негодяи»^{516}.

Резкость характеристики не поможет разобраться в случившемся. В настоящий момент опубликовано множество источников, от писем до статей княгини, которые позволяют судить о теоретических взглядах Екатерины Романовны на вопросы воспитания. Она считала личное участие родителей в «надзирании» за детьми главным залогом нравственного здоровья последних. Бичевала пристрастие к иностранным гувернерам, настаивала на предпочтительности нравственного начала перед узко образовательным^{517}.

В эпоху Просвещения многие задавались целью воспитать «совершенного человека». Предлагались разные педагогические теории, из которых идеи Джона Локка и Жан Жака Руссо оказали на европейскую практику наибольшее влияние. «Совершенное воспитание», по словам княгини, состояло из физического, нравственного и классического (школьного). Первое служило развитию тела, второе — души, третье — ума^{518}. Такое разделение позаимствовано у Локка из его трактата «Мысли о воспитании» 1690 года. В России эта книга появилась только в 1759 году и сразу же была взята княгиней на вооружение. «Трудно себя ласкать надеждою от истощенного и слабого тела увидеть действие великого духа»^{519}, — писала Екатерина Романовна. В тот момент идеи физического развития детей еще только начинали торжествовать над идеями ограждения от грубого мира. Другой выдающийся русский педагог, приноравливавший европейские системы к отечественной почве, И.И. Бецкой, писал, что детям нужно разрешить «бегать по песку, по кочкам, по пашне, по горам и крутым местам, ходить иногда босиком по каменному полу в стуже и с открытою головою и грудью»^{520}.

Не правда ли, похоже? Причина этой близости — единый источник, из которого черпали свои методы и Дашкова, и Бецкой. О физической стороне воспитания много писал Руссо. Иван Иванович руководил Шляхетским

корпусом, Смольным монастырем, воспитательными домами в Петербурге и Москве. Но в мемуарах нашей героини он появился только как «дурак» или «сумасшедший». Отношение к этому вельможе показательно — Дашкова не желала говорить о людях, занимавшихся тем же, чем и она. Самим фактом своего существования те посягали на ее исключительность.

«Нравственное воспитание выполняется, когда детей к терпению, к благосклонности и к благоразумному повиновению приучишь, — рассуждала Екатерина Романовна, — когда впришь им, что правила чести есть закон; когда... впечатляешь в нежные сердца их любовь к правде, любовь к Отечеству, почтение к законам церковным и гражданским, почтение и доверенность к родителям и омерзение к эгоизму».

Миссис Элизабет Картер, видевшая княгиню в Англии в 1770 году, писала: «Она очень внимательно относится к образованию сына и сказала ему однажды, что лучше даст свернуть ему шею, чем увидит поступающим недостойно памяти отца»^[521]. Здесь дети становятся не столько атрибутом материнства княгини, сколько атрибутом ее вдовства, при котором суровость оправдывалась ссылкой на авторитет покойного. А сам покойный представлял идеалом.

Нет сомнения, что Дашкова много размышляла о трудностях воспитания «совершенного человека» в далекой от идеала стране. Она говорила в 1805 году Кэтрин Уилмот: «Я была удостоверена, что на четырех языках, довольно мною знаемых, читая все то, что о воспитании было писано, возмогу я извлечь лучшее, подобно пчеле, и из частей сих составить целое, которое будет чудесно»^[522].

Склонная к дидактике, Дашкова предпочитала называть цель воспитания, а о средствах рассуждала скупее: «Воспитание более примерами, нежели предписаниями преподается. Воспитание ранее начинается и позднее оканчивается, нежели вообще думают».

Но как быть, если перед глазами нервная, впечатлительная и строгая мать? Если за назидание она взялась очень рано: «Дочь моя не могла пролепетать еще ни единого слова, а я уже помышляла дать ей *воспитание совершенное*» — и не видит оному конца даже после браков детей? «Иный и на пятом десятке еще требует руководства».

Отсюда и убеждение некоторых исследователей, что Дашкова «заучила» и «завоспитывала» своих отпрысков до изнеможения^[523]. Очутившись в Москве, Екатерина Романовна отлучила детей от игр и оставила наедине с книгами. Конечно, родня, находя маленьких Дашковых за постоянными уроками, норовила вступить, сунуть гостинец, спросить

о прогулках. Это вызывало раздражение матери, как и слова о семейном «баловстве».

Павел и Анастасия хворали. «Я надеялась, что перемена климата и путешествие благотворно действуют на моих детей, у которых была английская болезнь»^{524}, — писала Дашкова. «Английская болезнь» — это не сплин и не хандра, а рахит, возникающий из-за недостатка солнца. Жители Британии часто страдали костными недугами, именно в силу климатических особенностей острова. Считается, что Дашкова, заточив детей в четырех стенах, способствовала развитию болезни. Но рахит часто бывает и врожденным, вызванным нервными потрясениями у матери^{525}. Если вспомнить обстоятельства беременностей и родов княгини, то станет ясно, что склонность к рахиту была практически неизбежна. У самой Дашковой, по свидетельству Дидро, в 27 лет крошились зубы — недостаток кальция в костях является показателем постоянной нервозности. Возможно, наша героиня передала детям это заболевание. Дети нуждались в воздухе и солнце, в ином, более мягком климате, в курортах Южной Германии, Франции и Италии. И чтобы излечить их, мать отправится через всю Европу в... Англию. То есть туда, где врачи не рекомендовали находиться рахитичным. При этом Павла предполагалось оставить в Лондоне в Вестминстерской школе.

Подобные парадоксы не позволяют ограничиться рассказом о благих пожеланиях княгини в области воспитания. Практика была богата самыми противоречивыми начинаниями. Уважая личность в себе и требуя уважения от других, Дашкова совсем иначе подходила к детям. Ведь внутренняя готовность матери на эксперимент уже предполагает долю насилия.

На обратном пути из Англии судно Дашковой попало в шторм. «Воды хлынули в окна корабля... дети мои, необыкновенно перепуганные, горько плакали. Я решилась, в настоящем случае, дать им почувствовать все выгоды храбрости над трусостью; с этой целью я указала им на матросов, которые мужественно одолевали опасности, и потом, заметив, что во всех обстоятельствах жизни надобно поручать себя воле Провидения, я приказала замолчать. Они повиновались»^{526}. Итак, мать ораторствовала там, где менее рациональная женщина просто обняла бы и прижала к себе малышей. Возможно, отношениям Дашковой с отпрысками не хватало сердечности. Марта Уилмот писала в дневнике за 1808 год: «С детьми она часто обращается как со взрослыми, требуя от них такого же ума, понимания и увлечений, которые занимают ее собственные мысли... Это редко занимает более трех с половиной минут»^{527}. При нервной

непоседливости княгини долгий контакт был затруднителен. Его заменяли потоками поучений.

Их во множестве содержит «Словарь Академии Российской», где Дашкова сама комментировала термины, относящиеся к педагогике. «Словарь» советовал воспитывать детей в строгости: «Излишняя потачка портит детей»; «Родители, когда детей своих в младости балуют, будут о сем сожалеть после»; «Воли детям давать не надобно»; «Материн совет должен быть законом детям»; «Долг детей есть слушать родителей»^[528].

Нетрудно заметить, что дети в этих предписаниях являются объектом применения воспитательных усилий. О дружбе и доверии между родителями и чадами речи не идет, ибо они — неравные стороны. Что соответствует иерархическому обществу, где есть высшие и низшие. Те, кто говорит, и те, кто слушается. Но такая система уже несла в себе внутреннее ожидание бунта: «Он своим беспутством сокрушил родителей». Так сокрушат Дашкову тайный брак сына и долги дочери.

Локк мог бы быть назван педагогической иконой княгини. Но англичанин долгие годы служил гувернером и привел множество конкретных случаев из своей практики. Его главная мысль — в балансе между дисциплиной и уважением к ребенку^[529]. Что касается княгини, то она отдавала решительное предпочтение родительской строгости. Ее «воспитательным» текстам не хватало как раз понимания противоположной стороны.

Исходя из «Записок», нельзя сказать, какими чертами характеров обладали чада. Была ли дочь резвой хохотушкой или застенчивой, неуклюжей дикаркой? Любил ли сын разорять вороньи гнезда и лазать по деревьям или лечил собак и кошек с перебитыми лапами? В недоброжелательном отзыве Екатерины II: де Павел «прост и пьяница», а Анастасия даже «под опекою не соглашается жить с матерью»^[530] — больше живых штрихов, чем в мемуарах. В погоне за идеальным образом семьи княгиня невольно обезличила детей. Любопытно, что не сохранилось ранних изображений Павла и Анастасии. Уже во время второй поездки в Англию Дашкова закажет граверу Г.И. Скородумову цикл картин, где будет и ее семейный портрет. Однако закончен окажется только образ самой княгини^[531].

И в живописи, и в тексте доминировала мать — субъект, преобразующий отпрысков силой своего авторитета. Следов обратной связи нет. А это возможно лишь в одном случае — княгиня была отделена от повседневных забот о малышах. Она писала: «Подобно тому, как я была

гувернанткой и сиделкой моих детей, я хотела быть и хорошей управительницей их имений». Но дело в том, что как раз «гувернанткой» Дашкова не являлась. В воспоминаниях она предпочла не говорить, что ее подруга Пелагея Каменская исполняла должность гувернантки. Позднее княгиня не назвала имен гувернеров сына, только уточнила, что один из них был пьяницей, а другой «непристойного поведения».

В мае 1771 года в Страсбурге Дашкова рассказала кузену Иллариону Ивановичу Воронцову о смене наставников своего сына. По ее словам, Павел до сих пор находился «в дурных руках», его гувернер господин Маригьян «не только сам не учит его ничему, но и других мастеров не нанимает». Было бы естественно забрать юного князя из «дурных рук». Но нет, Екатерина Романовна нашла другого наставника^[532]. Новым педагогом стал выпускник юридического факультета Страсбургского университета Жан Фредерик Эрман. С ним отношения тоже не сложились. В 1778 году, после шести лет службы, Дашкова указала гувернеру на дверь незадолго до окончания контракта^[533]. Что, кстати, позволяло недоплатить жалованье.

В мемуарах гувернеры отсутствуют. Это уже известный метод минимализации, при котором автор воспоминаний стягивает к себе функции других лиц, чтобы рельефнее выделить свою фигуру. Но текст не всегда позволяет согласиться с этой уловкой. Так, «Записки» Дашковой не содержат характерных речевых штампов, свидетельствующих об исполнении мелких материнских «должностей». Княгиня почти не допускает повторов, описаний, цветовой гаммы. Эти частые и порой докучные элементы дамской прозы возникают как отражение воспитательных функций^[534] — женщина вынуждена многократно характеризовать ребенка то, что видит, описывать мир, несколько раз говорить одно и то же.

Ничего этого в речи нашей героини нет. Зато есть много наставлений. Ведь наказание и нравоучение применяются с одной и той же целью — исправить дурные наклонности. Только к первому прибегают уже после совершения «преступления», а ко второму — заранее. Дети воспринимают поучение как форму порицания за еще несовершенный промах^[535]. Чувство вины — один из действенных способов подчинения, что отражено в «Словаре»: «Преступников нарочно казнят всенародно, чтобы народ казнился сим примером»; «Каждый гражданин *повинен* защищать свое Отечество»; «Нравы от худых примеров *удобно портятся*»^[536]. Гипотетический «молодой человек» должен казниться и чувствовать себя повинным, оттого что его нравы *могут* испортиться. В таких условиях

грядущий бунт становился неизбежен.

«Льстить народу»

Дашкова писала, что причиной ее отъезда за границу было желание дать отпрыскам достойное образование: «Я предприняла свое путешествие... с целью осмотреть разные города и остановиться на том из них, где я могла бы воспитывать детей, зная, что лезть челяди, баловство родных и отсутствие в России образованных людей не позволят мне дать моим детям дома хорошее воспитание»^[537].

Очень патриотично! «Вперить в сердце любовь к Отечеству» и увезти как можно дальше. Поскольку неприглядные картины родной реальности «удобно портят» нравы. Анастасии было девять, Павлу — шесть, и они хорошо помнили дом. Но эти воспоминания не заключали в себе ни бабушкиных пирожков, ни снежных горок — излюбленной российской «разлюли малины», которая примиряет с родиной и позволяет русскому догадываться, что он не всегда «повинен» перед Отечеством. Что есть где-то счастливый край теплых банных объятий, ночных сказок и преднамеренного баловства. Сама Екатерина Романовна лишилась этого в четыре года. Теперь она повторяла поступок отца. Детство для маленьких Дашковых кончилось.

«В 1768 г. я тщетно просила разрешения поехать за границу, — писала наша героиня. — ...Мои письма оставались без ответа». Значительную часть 1767 года двор провел в Москве. Если отношения с императрицей были такими, как путешественница рассказала Дидро: «...княгиня с полной свободой навещает Екатерину, когда ей угодно, садится, разговаривает и уходит без всякой церемонии»^[538], — можно было побеседовать заранее, тет-а-тет. Однако Дашкова вынуждена была обращаться с официальными прошениями. Значит, дистанция — и весьма заметная — существовала. Подруги изредка встречались. Например, 18 апреля, на свадьбе Петра Ивановича Панина и фрейлины Марии Романовны Вейдель^[539]. И, конечно, такие встречи были обставлены «всякой церемонией».

30 июля 1767 года в Первопрестольной открылась работа Уложенной комиссии, которая, по мысли императрицы, должна была создать для России новый свод законов, прежний — Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года — устарел. Созыв комиссии стал грандиозным действием, в ее работе принимали участие 460 депутатов, представлявшие разные сословия (кроме крепостных крестьян и духовенства^[27]) и съехавшиеся из отдаленных уголков страны. Екатерина II написала для них

«Наказ», полный раскавыченных цитат из просветительских трудов, и предавала огромное значение собранному в ходе заседаний материалу. Позднее он лег в основу ее законодательной деятельности, хотя во время работы самой комиссии депутаты не смогли прийти к единому мнению по большинству вопросов и составить нечто вроде «Общественного договора».

Все эти яркие события как будто обошли Дашкову стороной. В «Записках» нет ни слова о комиссии, хотя Екатерина Романовна живо интересовалась заседаниями, а ее отец стал депутатом. Уложенный «карнавал» — одно из самых красноречивых умолчаний в мемуарах княгини. Смыслообразующий элемент текста. Пролог к первому путешествию. Только поняв, почему сведения о законодательных инициативах императрицы опущены, можно правильно оценить и время отъезда, и характер поведения Дашковой за границей.

В Париже княгиню буквально вынуждали говорить о последних русских новостях, давать оценки, в том числе немилосердно требовали мнения о «новых законах и учреждениях» августейшей подруги. Что могла сказать женщина, уже несколько лет удаленная от политики? Тем не менее отвечать приходилось. И Дидро кое-что выведал.

Он рассказал со слов княгини: «Когда Екатерина задумала издать свод законов, она спросила совета у Дашковой, которая заметила: “Вы никогда не увидите окончания его... но и попытка великое дело; самый проект составит эпоху”». Приведенные фразы более всего напоминают отрывок светской беседы. Государыня задала вопрос, чтобы не допускать неловкой паузы. И услышала ответ, отлакированный гляncем комплимента: «В другое время я бы сказала Вам причину» — своего рода крючок, закинутый в разговор: если вы хотите знать мое мнение, пригласите для личной встречи.

Но Екатерина II как раз не намеревалась советоваться с бывшей подругой. Поприще, для которого княгиня готовила себя, оставалось закрытым. Императрица не обсуждала с ней «Наказ», как с Паниным и Орловым. Не вносила ее поправки в текст (от некоторых ремарок Никиты Ивановича она даже плакала). А ведь Дашковой было что сказать. И что не одобрить. Тем не менее княгиня все-таки донесла до государыни свое мнение. Дидро, строкой выше приведенного пассажа, поместил реплику нашей героини: «Зачем без особой надобности льстить народу, который знает, что принадлежит ему и что нет?»

В «Наказе» Екатерины II, помимо прочего, была высказана мысль о создании нового, удобного для всех законодательства путем совета

правительства и населения, то есть созыва Уложенной комиссии. Тут мнения двух просвещенных женщин расходились кардинально. Императрица не приняла олигархического Совета, не допустила узкий круг аристократов к «законоданию». А теперь открывала двери представителям разных сословий. Речь шла о принципе. Екатерина Романовна предостерегала: не следует льстить народу, пока он знает, что законодательство ему «не принадлежит». А вот государыня видела перспективу участия сословий в выборных учреждениях. При этом она подчеркивала, что шьет платье на вырост. Если одна из подруг говорила об «олигархии», то вторая — о «монархии» в соответствии с определением Монтескье. То есть о такой форме правления, где абсолютная власть опирается на представительские органы. Обе некогда отвергали «деспотию», но это еще не делало их полными союзницами: следующий шаг у каждой был свой.

Таким образом, не одни личные качества княгини — ее докучность и навязчивость — заставляли Екатерину II избегать советов. Суть рассуждений подруги, их политическая направленность шли вразрез с идеями императрицы.

4 ноября 1767 года английский посланник Генри Ширлей доносил из Москвы, что не имеет здесь ни одного друга, кроме княгини Дашковой. «Нельзя сказать, чтобы императрица ее уважала, но она ее сильно опасается и чрезвычайно вежлива с ней»^[540]. Мысль о том, что Екатерина II боялась Дашкову, находит подтверждение в неожиданно щедром поступке, который государыня сделала в июне 1767 года, незадолго до начала работы Уложенной комиссии. Кабинету было приказано выслать княгине 20 тысяч рублей на уплату долгов. Не раньше и не позже. Создается впечатление, что императрица хотела умиротворить опальную подругу. Ее «талант говорить дурное» уже сработал против Екатерины II в 1763 году, после коронации. Вращаясь среди московского дворянства, Дашкова должна была отзываться обо всем происходящем доброжелательно и ни в коем случае не возбуждать ропота против правительства.

Донесения Ширлея позволяют судить, что говорила дипломату о политической ситуации «единственный друг», «пользующийся величайшей милостью графа Панина». Императрица прочно сидит на престоле, нет оснований предполагать скорую перемену правителя. «В Европе утвердилось предположение, будто бы с той минуты, как великому князю исполнится шестнадцать лет, судьба императрицы неверна... Если не произойдет какого-либо крупного переворота, непредвиденного для ума

человеческого, и если она станет управлять точно таким же образом, как в настоящую минуту, предположение такого рода совершенно неосновательно; ибо у великого князя не достанет ни смелости, ни ума для того, чтобы идти против матери; слабость его характера равняется слабости его телосложения»^{541}.

То же самое было сказано княгиней Дидро: «Императрица... пользуется заслуженной репутацией и общей любовью, так что престол ее тверд и независим ни от какой партии... Великий князь еще так мал, что судить о характере его трудно»^{542}.

Дашкова одной из первых поняла, что за удар Екатерина II нанесла партии наследника самим фактом созыва комиссии. Собрание депутатов преподнесло государыне титул Великой и Премудрой Матери Отечества. Императрица вторично легитимизировала свое пребывание на престоле. Ее права подтверждала не только коронация, но и признание выборных от всех сословий. Это и был ответ на вопрос, «зачем лстить народу».

Судя по словам, сказанным Дидро, княгиня верно оценила шаг подруги: «Она освободила себя от всякого постороннего влияния, убедив народ, что счастье его составляет постоянную цель всех ее мыслей, желаний и действий». У Ширлея звучит та же мысль: «Русские не говорят и не думают ни о чем другом, как о собрании депутатов, и заключают, что теперь они составляют мудрейшую, счастливейшую и могущественнейшую нацию во всей вселенной»^{543}.

Негласная договоренность о передаче престола к совершеннолетию наследника была поставлена под сомнение. Теперь только «крупный переворот, непредвиденный для ума человеческого», мог изменить ситуацию. Начался новый раунд игры. Но это не была игра Дашковой. Она уже дважды, по делу Хитрово и по делу Мировича, пострадала из-за близости к партии Панина. В самом начале войны с Турцией, в 1768 году, были раскрыты новые заговоры. И хотя теперь имя княгини не фигурировало в устах арестованных, старый набор обвинений в адрес императрицы указывал на прежнее «осиное гнездо»^{544}. Стоило ли Екатерине Романовне подвергать себя опасности, демонстрируя политическую близость с дядей? Княгиня начала проситься за границу. Чувствуя шаткость ситуации, она хотела пережить грозное время подальше от России.

«План мой удался»

Но сначала требовалось получить позволение. В июне 1769 года Екатерина Романовна прибыла в Петербург и начала везде сообщать о грядущем вояже. Однако репутация заговорщицы не слишком способствовала свободному выезду за границу. «Как дворянка я имела на это право, — настаивала княгиня, — но как кавалерственная дама я была обязана испросить позволение»^{545}.

Разрешения просили не кавалеры орденов, а служащие при дворе лица. Екатерина Романовна являлась статс-дамой. 28 июня, в годовщину восшествия Екатерины II на престол, княгиня приехала в Петергоф на празднование, чего не осмеливалась делать уже несколько лет. Сохранился приказ Екатерины II кавалергардам, стоявшим на часах. Через их пост могли пройти только 122 человека, Дашкова названа в конце списка — 109-й — с разрешением бывать лишь на балах и концертах^{546}. Поэтому камер-фурьерский журнал не отметил ее присутствия на благодарственном молебне, а затем при пожаловании к руке. Она возникла, как чертик из табакерки, уже на балу, где принимали более широкий круг гостей. И очень обдуманно встала возле иностранных министров. Для разговора требовались свидетели.

«Императрица подошла к ним и, между прочим, заговорила и со мной. Я... боясь упустить удобный случай, немедленно же одним духом попросила ее отпустить меня на два года в иностранные края для поправления здоровья моих детей. Она не решилась отказать». Едва Екатерина II двинулась дальше обходить гостей, как княгиня послала передать Панину, чтобы тот готовил ее паспорт. «План мой удался», — с гордостью заключала путешественница.

Между тем триумф был далеко не полным. Одна из подруг обладала властью, другая — исключительно вольным, невоздержанным языком. И чем больше становилось могущество первой, тем охотнее верили второй. Кто победил? Тогда в Европе и позднее в России на многие события екатерининского царствования смотрели сквозь хрусталик дашковских высказываний. В Париже, в салоне мадам Жоффрен, Рюльер уже читал рукопись своей книги о перевороте. Екатерина II считала, что дипломат рассказывал историю со слов Дашковой: «Ежели в этом труде замешана бой-баба с мозгом *principess'*ы, легко может там быть и ложь»^{547}.

Появление в Европе живой достопримечательности должно было либо

подтвердить, либо опровергнуть слухи. И вот здесь многое зависело от цены. В мемуарах есть фрагмент, ставящий комментаторов в тупик внешней нелогичностью поведения княгини. «За несколько дней до моего отъезда помощник секретаря Кабинета принес мне от имени ее величества четыре тысячи рублей. Не желая раздражать императрицу отказом от этой смехотворной суммы, я принесла счета моего седельника и золотых дел мастера...

— Они еще не оплачены; потрудитесь положить на стол нужную сумму, а остальное возьмите себе»^[548].

Некоторые биографы сомневаются в широком жесте княгини, так не вяжущемся с ее практичностью. Других удивляет слово «смехотворная», ведь четыре тысячи рублей — сумма немалая. Уже в начале XIX века, когда цены значительно возрастут, а курс рубля заметно понизится, Дашкова посчитает достаточным выделить своей дочери Анастасии ровно столько же в качестве ежегодного содержания^[549].

Назвать присланные деньги «смехотворными» можно только в том случае, если ожидалось гораздо больше. За что? За молчание и скромное поведение. Возможно, Дашкова полагала, что императрица, несмотря на недовольство ее отъездом, оплатит заграничное путешествие. Но Екатерина II поступила иначе. Видимо, она была не вполне довольна разговорами княгини в Москве. Донесения иностранных дипломатов перлюстрировались, и слова Ширлея об Уложенной комиссии не могли понравиться государыне: «Нельзя не пожалеть русских, которые... в действительности находятся на очень далеком расстоянии от счастливого положения некоторых европейских народов», «благословленных конституционным правлением»; «было бы совершенно бесполезно доказывать им, что это собрание не имеет ровно никакого значения перед деспотическою властью государыни». Депутатам «предоставлены лишь такие привилегии, которыми бы не захотел воспользоваться ни один гражданин благоустроенного государства»^[550]. В донесениях Ширлея так и слышится голос княгини^[28]. Дипломат даже осмелился помянуть о регентстве: руководители переворота «вовсе не собирались возводить императрицу на престол. Они хотели только сделать ее регентшей при малолетнем сыне»^[551].

Перлюстрация этих депеш убедила Екатерину II, что единовременная целиковая выплата, как московские 20 тысяч, не гарантирует скромности княгини: получив пожалование, та считает себя свободной от обязательств.

Поэтому Екатерина II послала путешественнице не слишком крупную

сумму. Аванс. Четыре тысячи могли восприниматься только как обещание на будущее. Если княгиня станет хорошо себя вести. И Дашкова очень хорошо себя вела за границей: не встречалась с неприятелями императрицы, избегала политики, не говорила того, что знала, и тем более того, что не знала. Словом, выданная сумма — пролог грядущих щедрот — привязала княгиню к милости государыни.

Недаром в Париже Рюльеру ставили в вину, что он описал не ту женщину, которая к ним приехала, и дипломат вынужден был оправдываться: «Испытав чувство рабства, она не осмеливается показать свое недовольство, но в ней сохранилась былая одержимость»^{[\[552\]](#)}. Сломлена ли? Опалой ли? Екатерина любила опираться на сильные стороны сподвижников, но умела использовать и слабости. Она считала Дашкову «скупягой» и потому предложила денег.

«Внутреннее о себе восчувствование»

Рассказ о поездках Дашковой по Европе принято начинать словами княгини, относящимися ко временам юности: «Я думала, что у меня никогда не хватит мужества путешествовать, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность моих нервов не вынесут бремени болезненных ощущений, уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца»^[553].

Так, уже заранее, до знакомства с миром, у молоденькой аристократки складывалось представление о том, что родина сильно пострадает от сравнения. При этом целый свет сужался до размеров Западной Европы — то есть просвещенных, богатых и сильных стран, которым Россия должна была соответствовать.

Справиться с «бременем болезненных ощущений, уязвленного самолюбия» помогла поездка в Киев, совершенная вместе с детьми в 1768 году. Дашкова увидела руины церквей, некогда покрытых драгоценными мозаиками. Спустилась в пещеры лавры, где почивали святые. Посетила Киево-Могилянскую академию, из века в век вскармливавшую образование. В древней столице Руси Екатерина Романовна нашла защиту от «глубокой печали любящего свою родину сердца» — увидела себя наследницей старой, сложной культуры. Осознала, что развитие ее народа было грубо прервано, оценила тяготы пути, который он прошел для возвращения в Европу. Задумалась: а стоило ли это возвращение принесенных жертв? Не был ли отказ от «варварства» отказом от себя?

Княгине захотелось, чтобы к ее родине относились с уважением, и она начала деятельный поиск основ для этого уважения. Не замечая, что сам такой поиск свидетельствует о неуверенности. «В монастырях хранятся великолепные картины... Эти фрески необыкновенно красивы и написаны, вероятно, великими художниками... Наука проникла в Киев из Греции задолго до ее появления у некоторых европейских народов, с такой готовностью называющих русских варварами. Философия Ньютона преподавалась в этих школах, в то время как католическое духовенство запрещало ее во Франции»^[554].

Позднее, во время второго путешествия, Дашковой доведется спорить с австрийским канцлером В.А. Кауницем о Петре Великом. Ее запальчивость не будет знать границ: «Наши историки оставили больше документов, чем вся остальная Европа, вместе взятая. Еще четыреста лет

тому назад Батыем были разорены церкви, покрытые мозаиками...

Если Россия оставалась неизвестной... это доказывает только невежество и легкомыслие европейских стран, игнорировавших столь могущественное государство... Время монарха слишком драгоценно, чтобы тратить его на работы простого мастерового в Саардаме»^[555]. Если княгиня и перегнула палку, то не более чем Кауниц, заявивший, будто Петр I «создал Россию и русских».

Напротив, Петр «уничтожил бесценный, самобытный характер наших предков», «со всеми обращался как с рабами», «уничтожил свободы и привилегии дворян и крепостных». Уже на склоне жизни, в 1804 году, Дашкова рассуждала: «Отношение... народов к народу основывается не только на силе, преимуществе и важности, но и на внутреннем о себе восчувствовании... Если мы сами себя почитать не умеем или не хотим, то мы не можем ожидать, а менее еще требовать, чтоб нас почитали»^[556]. Иными словами, если лев — царь зверей — зависит от постороннего взгляда, то, как в басне Лафонтена, его можно назвать ослом и он поверит.

Про себя Дашкова знала, что она — героиня, но постоянно нуждалась в подтверждении статуса. В самом начале поездки случился эпизод, который простодушные отечественные исследователи трактуют как проявление патриотизма, а более искушенные в психоанализе западные коллеги — как склонность Дашковой к карнавальному выворачиванию мира наизнанку^[29]. В Данциге в гостинице «Россия» княгиня увидела картины, изображавшие недавнюю Семилетнюю войну. На них пруссаки побеждали, а русские просили пощады и поднимали руки. Что, конечно, не соответствовало действительности. Кто взял Берлин? За одну ночь Екатерина Романовна перекрасила форму и восстановила справедливость. Теперь синие мундиры терпели поражение от зеленых.

А что же остальные русские постояльцы? Были слишком хорошо воспитаны, чтобы заступиться за свое прошлое? Или просто равнодушны? Дашкову возмутил тот факт, что недавно проезжавший и останавливавшийся в гостинице Алексей Орлов — вечный антипод княгини — не купил картины и не бросил их в огонь, хотя тоже выразил недовольство. Поступки двух героев знаковы. Орлов ехал на реальную войну, его ждали флот и Чесменское сражение. Этот сметливый человек был абсолютно уверен в себе и не собирался воевать с нарисованными солдатами. Ему незачем было подправлять реальность. А вот княгиня перед въездом в Европу нуждалась во внутренней перемене. В восстановлении справедливости, поправленной рассказчиками о перевороте.

Поначалу не всё шло гладко. В странах, связанных с кабинетом Екатерины II союзническими интересами, знали о реальном весе путешественницы. Следовательно, и принимали ее осторожнее.

Так, в Пруссии Фридрих II специально уехал из Берлина в загородную резиденцию Сан-Суси, куда не допускались женщины, и оставался там, пока наша героиня не покинула его земли. Старый лис сумел и оказать Дашковой почести (ее пригласили на аудиенцию королева и принц Генрих), и ничем не вызвать неудовольствия Екатерины II, ведь сам он не принял скандальную путешественницу.

Прусский этикет запрещал являться ко двору инкогнито. Но, согласно «Запискам», Фридрих II воскликнул: «К черту этикет! Княгиню Дашкову надо принять под каким угодно именем!» Наша героиня часто вкладывала свои суждения в уста стороннего человека, чтобы они прозвучали убедительнее и беспристрастнее^[557]. Знала ли она, что после переворота этот же человек назвал ее «мухой, которая сидит на телеге и думает, будто правит волами»?

«У меня нет ни короля, ни принцесс»

В Париже, напротив, все хотели ее видеть. «Чета Неккеров» — королевский банкир с супругой, мадам Жоффрен — хозяйка самого модного политического салона, Рюльер и даже первый министр герцог Шуазель. Пришлось сократить визит до семнадцати дней. Но и этого времени хватило, чтобы понять: путешественницей наперебой интересуются люди, находящиеся в неприязненных отношениях с Екатериной II. Вопрос Дидро: «Намереваетесь ли вы вернуться в Россию по окончании ваших путешествий?» — должно быть, не раз вставал перед самой Дашковой. От ответа на него зависели стиль поведения, контакты, степень откровенности в разговорах. Согласно Манифесту о вольности дворянства, земли человека, отказавшегося вернуться по первому требованию государя, могли быть конфискованы. Терять имущество — единственную основу личной независимости — Екатерина Романовна не могла.

Тем не менее она сразу оскандалилась. Во время прогулки по саду Тюильри ее узнал один из горожан и закричал: «Вот русская княгиня, которая приказала задушить Петра III!» Собралась толпа зевак, глазевшая на нашу героиню, как на диковинного зверя^{558}.

Эту историю рассказал немецкий писатель и ученый Д. Тьебо, повстречавший Дашкову в Берлине уже на возвратном пути в 1771 году. «Эта барыня, дюжая, как мужчина, весьма некрасивая, с высоко закинутой головою, с смелым и повелительным взглядом, с широкою поступью»^{559} — портрет, нарисованный Тьебо, очень бы подошел героине другого анекдота, записанного Ж.Б. Шерером. Он утверждал, будто целью визита Дашковой в Париж являлась месть аббату Шаппу д'Отрошу за его книгу «Путешествие в Сибирь». Шарль Массон добавлял, что княгиня грозилась «всадить бедному аббату пулю в лоб». Особенно нашу героиню возмутила гравюра, на которой пороли кнутом даму, «похожую на одну из ее родственниц». Картинка эта хорошо известна и часто публикуется: на ней полуобнаженная женщина с высокой прической и чуть вздернутым носом, лежащая на закорках одного из палачей, в то время как другой охаживает ее кнутом, скорее напоминает саму княгиню. Кто бы такое стерпел?

Дашкова отправилась к художнику Жану Лепренсу, но тот выставил ее, заявив: «Я во Франции, а не в Петербурге». Чистейшей воды сплетня: выставить княгиню было не так-то просто. А памфлет Шаппа не заслуживал ничего, кроме рукоприкладства: «В России никто не

осмеливается думать... у русских грубая нервная организация, незатейливая и пассивная... Там можно видеть художников, прикованных цепями к мольберту... Нельзя предстать перед императрицей, не пав ниц... биясь лбом о землю»^{560}. Жаль, «бедный аббат» скончался к моменту приезда нашей героини.

В мемуарах ангелом-хранителем Екатерины Романовны назван Дидро. На протяжении двух недель они встречались, по словам Дашковой, каждый день и разговаривали несколько часов кряду. Правда, сам энциклопедист назвал всего четыре рандеву. Но княгиня была мастерицей преувеличивать. Под ее пером парижские приключения превратились в один сплошной диалог с другом-философом. Уже оказавшись в Петербурге, Дидро так описал эти беседы: «Вы, конечно, помните, с какой свободой Вы позволяли мне говорить на улице Гренель... когда Вы, облокотившись на камин, следили за выражением моей физиономии, чтоб угадать, в какой мере и когда я должен воспламениться»^{561}.

Один из самых ярких философов Просвещения находился на жалованье Екатерины II — тысяча ливров в год, причем сумма была выплачена на 50 лет вперед^{562}. Он выполнял щекотливые поручения и, среди прочего, опекал княгиню, как прежде путешественницу опекали русские дипломатические чиновники в разных городах Европы. Были ли эти люди «шпионами» царицы или оказывали Дашковой неоценимые услуги? Всего понемногу. Та же роль предназначалась и философу. Но он воспылал к княгине дружбой, и наша героиня ответила взаимностью. «Все мне нравилось в Дидро, даже его горячность... Вследствие живого своего характера он впадал иногда в ошибки, но всегда был искренен и первый страдал от них»^{563}. Разве перечисленные черты не принадлежали самой княгине?

В мемуаристике есть прием, называемый «другой голос», когда автор описывает себя, давая характеристики окружающим. Он выделяет у них черты характера, свойственные ему самому^{564}. Таким образом, рассказывая о Дидро, Дашкова говорила о себе. Эту особенность текста надо иметь в виду, когда речь заходит о знаменитом споре по поводу крепостного права.

«Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы; следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушать источник собственных доходов», — рассуждала княгиня. «Будь они свободнее, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче», — возражал Дидро.

Особенность диалогов Дашковой — их внешний «сократизм».

Читательница знаменитых философских бесед Платона, где Сократ выступает главным действующим лицом и логически подводит собеседника к нужному выводу, княгиня применила этот метод в «Записках». Однако она не любила говорить длинно, выстраивать цепь доводов, каждое предыдущее звено которой вело бы к следующему. Поэтому ее диалоги выглядят усеченными, а половина реплик — опущенной. С кем бы ни разговаривала Екатерина Романовна: с императрицей накануне переворота, с Алексеем Орловым на улице или с Дидро в парижской гостиной — она неизменно прерывает собеседника тогда, когда ее собственное мнение уже высказано. Прерывание — прием, обычно свойственный мужчинам. А если смотреть шире, то сильному, доминирующему партнеру^[565]. В пространстве мемуаров Дашкова, безусловно, доминировала и не позволяла Дидро возразить.

«Какая вы удивительная женщина! — якобы воскликнул он в завершении спора. — Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет!» Как было на самом деле? Если учесть, что доводы княгини — сначала просвещение, затем освобождение — взяты из работы Беарде де Лабея, члена Дижонской академии, победителя конкурса Вольного экономического общества 1765 года^[566], то окажется, что читатель наблюдает вовсе не диалог с философом, а внутренний монолог героини.

Она сама задавала вопросы и сама отвечала. Точно играла с собой в шахматы, переворачивая доску. «Вы спутали следствия с причинами. Просвещение ведет к свободе». Каковы были настоящие слова философа? Мы не узнаем, ибо не их княгиня хотела передать: «Свобода без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка». Однако ошибочно представлять Дашкову уверенной в своем праве крепостницей. Диалог как раз обнаруживал колебания и страхи, побежденные при помощи житейской логики, ссылки на постепенное развитие и угрозы кровавых потрясений. Что до Дидро, то парижанин с уверенностью записал: «Она искренно ненавидит деспотизм и все проявления тирании».

Его характеристика хрестоматийна: «Дашкова русская душой и телом... Она отнюдь не красавица.

Небольшая ростом, с открытым и высоким лбом; с полными раздувшимися щеками... в ее движениях много жизни, но не грации...

Разговор ее сдержанный, речь простая, сильная и убедительная. Сердце ее глубоко поражено несчастьями... Она коротко знакома с настоящим управлением и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках представителей его. Метко и справедливо раскрывает выгоды и пороки новых учреждений... Печальная жизнь ее сильно отразилась на внешнем виде и сильно расстроила здоровье... В декабре 1770 года ей было только двадцать семь лет, но она казалась сорокалетней женщиной»^{567}.

Многих биографов смущают «испорченные зубы» героини — эта деталь даже опущена в русском переводе у Герцена. А вот замечания о глубоком знакомстве с системой управления на родине повторяется из работы в работу. Между тем о внешнем облике путешественницы Дидро мог судить сам, а о «выгодах и пороках новых учреждений» — только с ее слов. Была ли Дашкова знатоком законодательства? Вряд ли. Она давно не вращалась во власти. Но симптоматична сама направленность бесед. От княгини ждали подобных сведений.

Встречи с путешественницей искали, например, Мари Терез Жофрен и Сюзанна Неккер. Но им было отказано. «Дашкову не поймут наши салонные героини, — писал Дидро. — Я знал, что они желали видеть ее единственно затем, чтобы потом говорить о ней, и был уверен, что она больше проиграет, чем выиграет, во мнении этих дам»^{568}. В пересказе княгини все еще изящнее: «Они вас не поймут, а я терпеть не могу богохульства над моими идолами».

Но не в меньшей степени философ старался и для Екатерины II. Ведь от Дашковой «требовали бы, чтобы она говорила в качестве главаря заговора». Пылкая, увлекающаяся княгиня могла не удержаться. Однако философ заставил собеседницу закрыть дверь даже перед Рюльером.

Вряд ли это нравилось Екатерине Романовне. Недаром она разыграла перед Дидро наивность: «Мадам Жоффрен находится в переписке с императрицей; следовательно, знакомство с ней не может мне повредить». Переписка прервалась после дела Мировича. Жофрен публично заявила, что не находит у русской царицы качеств, воспетых Вольтером. В Спа, где с Дашковой встретилась «чета Неккеров», она кое-что сболтнула о деле Мировича. Теперь, в салоне Жофрен, Екатерине Романовне предоставлялась возможность озвучить свое мнение. А если попасться в расставленные сети «первой кумушки Парижа» составляло сокровенное желание княгини?

Чувства Дашковой прорвались в весьма любопытной фразе, на которую редко обращают внимание. Перед отъездом княгине удалось

посетить Версаль. Инкогнито, вместе с толпой. Королевская семья обедала. Принцессы пили бульон из кружек. Путешественница удивилась этому. Стоявшие рядом дамы спросили, как поступают коронованные особы у нее на родине. «У меня нет ни короля, ни принцесс, — ответила я». Соседки предположили в Дашковой голландку. Она не стала отрицать.

Было бы легче жить в Голландии или Швейцарии. В Англии, наконец. Говорить о себе свободно. Не оглядываться на императрицу. Еще в юности княгиня желала беседовать только с республиканскими министрами. Теперь многое изменилось. Многое. Но не она сама.

«Англия мне более других государств понравилась»

На остров Екатерина Романовна попала еще раньше, чем в Париж. В Спа Дашкова познакомилась с двумя ирландками — Кэтрин Гамильтон, дочерью епископа Туамского, и Элизабет Морган, дочерью адвоката, — которые давали ей уроки английского. Нежная дружба между ними сохранится на долгие годы, и княгиня — «милая чудачка» — через 30 лет будет повязывать шею старым дырявым платком, подаренным ей миссис Гамильтон.

В конце сентября 1770 года Екатерина Романовна вместе с семьей миссис Морган очутилась в британской столице^[30]. По совету друзей-англичан княгиня собиралась поместить маленького Павла в Вестминстерскую школу. Но эта затея не удалась — мальчик не знал языка^{569}. Оставив его на попечение супруги русского посла госпожи Мусиной-Пушкиной, мать отлучилась на 13 дней, чтобы посетить Бат, Бристоль, Оксфорд и их окрестности. После чего вернулась в Лондон. Здесь ее не то чтобы осаждали любопытные, но все же многие частные лица хотели взглянуть на диковинную княгиню. И среди них Горацио Уолпол — признанный виртуоз стиля, репутацию которому составили остроумные письма.

«Итак! Я уже видел княгиню Дашкофф, а ее очень даже стоит посмотреть — не из-за ее лица, хотя, будучи чистой татаркой, она не уродлива... Она ведет себя необыкновенно искренно и свободно. Она говорит обо всем недурно и без разительного педантизма, очень быстра и оживлена. Она ставит себя выше всякого внимания к платью и всему женскому, однако поет нежно и приятно приметным голосом^[31]. Она и сопровождавшая ее русская леди спели две песни очень музыкального народа»^{570}.

Вторая «русская леди» — это Пелагея Федоровна Каменская, отношения с которой несколько удивили Дидро. «Каменская, друг ее и спутница, страстно любит Францию, откровенно хвалит хорошие стороны ее и тем не совсем сходится с образом мнений княгини»^{571}. Каменская появилась в окружении нашей героини в 1763 году и помогала той вылечиться после удара. Когда Михаил Иванович умер, она входила в число немногих, кто умел отвлечь вдову от «черной меланхолии». Сама

княгиня называла компаньонку среди тех лиц, «добровольной работой» которых она была.

Отзывы англичанок о госте подчеркивали ее мужеподобность. Так, миссис Элизабет Картер писала в ноябре 1770 года подруге: «Княгиня Дашкова... ездит верхом в сапогах и в мужском одеянии и имеет соответствующие манеры. Это можно было бы объяснить обычаями ее страны и большей безопасностью в управлении лошадью. Но она также танцует в мужском костюме и, я думаю, появляется в нем столь же часто, сколь и в обычном платье»^[572]. Хотя никто из английских знакомых Дашковой не назовет ее, как французский посол Луи де Сегюр, «ошибкой природы», мысль, будто княгиня «больше походит на мужчину»^[573], прозвучит у многих.

Тем не менее именно в Англии, во время первого приезда в 1770 году, будет написан самый нежный, трогательный портрет княгини кисти О. Хамфри^[574]. Ничего от «бой-бабы», ничего от «необузданных инстинктов» — беззащитность и достоинство ричардсоновских героинь. Идеал новой эпохи.

Дашкова отмечала: «Я не поехала ко двору и все свое время употребила на осмотр достопримечательностей». Но ее и не приглашали. Лондон в это время находился в плотных политических контактах с Петербургом. Дипломатическая близость — хрупкая вещь, и английские официальные лица уклонились от встреч с бывшей заговорщицей. Есть сведения, что такое равнодушие обидело Екатерину Романовну. Миссис Картер писала, что «Дашкова была недовольна приемом».

Однако, если судить по сочинению «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям», княгине очень приглянулась Британия. Она создала образ идеальной страны, — утопии, — расположенной не где-то, «в землях незнаемых», а под конкретной географической широтой. Туда можно поехать и убедиться своими глазами, на что способно организованное общество.

«Англия мне более других государств понравилась, — писала Екатерина Романовна. — Правление их, воспитание, обращение, публичная и приватная их жизнь, механика, строения и сады — все... превосходит усильственные опыты других народов в подобных предприятиях»^[575]. Пока Дашкова отлучалась из Лондона на северо-запад Англии, она вела дневник. Через пять лет в России княгиня опубликовала его, подвергнув заметной редактуре.

В предпосланном «Путешествию...» переводе из Поля Гольбаха

«Общество должно делать благополучие своих членов» высказан один из важнейших принципов, названных позднее «разумным эгоизмом»: «Рассудительная или просвещенная любовь самого себя есть основание общественных добродетелей». «Когда народ, или те, кто им управляет, неправосудны или несправедливо долг свой исполняют, они тем... разрывают связь общества. Человек становится неприятелем одного... Всякий нарушает законы... почти все члены бывают наконец взаимными врагами»^{576}. Естественно ожидать дальше описания правильного устройства.

Расположение за переводом рассказа об Англии подводило читателя к мысли: на острове философия взаимной поддержки — достояние всего общества. Посещая в Лондоне выставку Вольного общества художеств, хлебопашества и торговли, княгиня нашла «великое множество разных машин и орудий, для пользы рода человеческого вымышленных, за кои великими деньгами награждены их сочинители». По дороге княгиня продолжала удивляться: «Земля так удобрена и так прибрана, что смотреть весело, чему много помогает их скот, который бесчисленными стадами почти весь круглый год в поле питается (и который также отмечен величиною и красотою своею); почему как сия земля ни многолюдна, однако им не только своего хлеба становится для себя, но еще много одного выпускают в Ирландию и Шотландию».

Повторив идею Дэвида Юма из переведенного ею «Опыта о торге», что скудость английской земли породила высокую культуру земледелия^{577}, Дашкова опустила сведения о ввозе Англией хлеба из американских колоний. При постоянном росте производства рос и импорт (в том числе русского чугуна, леса, парусины, пеньки, дегтя, домотканого холста). Англия меньше всего напоминала замкнутую систему. Но реальность в данном случае не имела ключевого значения.

Путешественница избегала говорить о конкретных людях и малейших неустройствах, предпочитая описывать парки, газоны, машины и фабрики. «Мастерская мира» обладала и бродягами, и работными домами, и лачугами восточного Лондона. Но Дашкова говорила о среднем классе, где господствовал тон довольства, так приятно удивлявший русских путешественников. Создавая из Англии утопию, княгиня в первую очередь думала о своей стране. Она как бы намечала в воображении две точки: отправную, где находилась невоспитанная Россия, и конечную — просвещенная Британия.

Французские писатели уже освоили это направление мысли. Княгиня

шла по их следам. Дидро восклицал: «Она так любит англичан, что я боюсь за ее пристрастие к этому антимонархическому народу». Но не сам ли он создал у читателей зависть перед британскими законами? Дашкова нашла в Англии отечество своего разума. Мысль о возвращении в «огромную тюрьму» не могла не тяготить княгиню.

Глава девятая.

ЧЕЛОВЕК СЕМЕЙНЫЙ

При сложных, творческих отношениях Екатерины Романовны с реальностью обоснован вопрос: насколько увиденное ею в Европе было результатом непосредственных наблюдений, а насколько — частью внутреннего мира самой княгини, где каждая картина обретала смысл только с учетом прочитанного? Иными словами, ехала ли Дашкова «с широко закрытыми глазами»?

На первый взгляд вопрос кощунственный. Известно, что наша героиня не отдавалась праздным развлечениям, а осматривала фабрики, заводы, парки, верфи и даже пыталась проникнуть на военные объекты, куда ее, впрочем, не пускали. Екатерине Романовне всё нужно было потрогать собственными руками и узнать, как, из каких материалов, на какие средства создано то или иное сооружение. И вот здесь княгиня более всего напоминала слепого, который ощупывает лицо незнакомца.

Наша героиня ощупывала лицо Европы. Многие ее замечания интересны уже потому, что не пришли бы в голову зрячему. При этом другие, очевидные вещи ускользнули от Дашковой. Так, проезжая через Пруссию, она обратила внимание на высокое качество земли и на заботы короля о подданных. В это же время российские чиновники предлагали Екатерине II открыть границу в Риге, чтобы обнищавшие в результате финансовых махинаций казны пруссаки перебежали на нашу сторону^{578}.

Во Франции княгине не нравилось решительно всё, и она, судя по замечаниям Дидро, говорила об этом резко и уверенно. А в парижском обществе смеялись над тем, как мало путешественница знала тамошний тон^{579}. Едва ли за 17 дней Дашковой удалось бы его изучить. Она не могла почувствовать, как напряжены социальные струны в последние десятилетия перед революцией. Вскоре после отъезда Дашковой из Франции король Людовик XV распустил Парижский парламент. Друг-философ написал вдовгонку княгине горячее, полное дурных предчувствий письмо. «Привилегии различных сословий, сдерживающие монархию от перерождения в деспотизм, пали... Гораздо легче образованному народу отступить опять в варварство, чем варварам сделать шаг к цивилизации»^{580}.

Только в конце века, когда на улицах Парижа застучали ножи

гильотин, Дашкова поняла смысл предсказаний Дидро: «Все письмо представляло собой пророчество последующих событий»^[581]. Едва ли следует ставить Екатерине Романовне в вину тот факт, что во Франции 1770-х годов она сама, без помощи Дидро, не заметила Франции 1790-х^[582]. А могла? За две недели? Из окна кареты?

Но больше всех увиденных стран не повезло Англии. Именно потому, что княгиня возлюбила Туманный Альбион всей душой. В отношениях с государствами наша героиня действовала, как с людьми. Если ей кто-то нравился, она начинала, по словам Кэтрин Уилмот, «расточать чудовищную хвалу». Если нет — хула оказывалась не менее «чудовищной». Ненавистная Франция и ее обитатели подверглись самой отъявленной ругани. Англия и англичане стали украшением подлунного мира. Причина — политические свободы и динамичное развитие. Дашкова сопоставляла свое положение на родине с положением британской аристократки и находила заметную разницу в правах.

Однако в рассуждениях Екатерины Романовны нет ссылки на историческое время. Прошное применительно к Британии мало занимало нашу героиню^[583]. Позднее, в «Записках тетушки», княгиня поясняла свою позицию: «Здравый рассудок учит... не вспоминать прошедшего как только для извлечения наставления»^[584]. Из рассказов о религиозной нетерпимости Тюдоров, революции, диктатуре Кромвеля можно было извлечь множество «наставлений», но, видимо, не во вкусе Дашковой.

Возвращаясь на родину, она ехала от покоя к треволнениям, из тихой гавани к политическим штормам и в конечном счете из мира вымышленного — в реальный.

«Золотой дождь»

Первый вопрос, на который предстоит ответить: почему Дашкова заторопилась на родину? Два года еще не истекли. Попытка продать петербургский дом показывала, что княгине требовались деньги. А отказ от особняка в столице — что Екатерина Романовна в ближайшее время не рассчитывала там останавливаться. Еще в мае в Страсбурге княгиню беспокоил вопрос о найме педагогов. При спешном возвращении в Россию с большей частью из них пришлось бы расстаться. Значит, скорый выезд не планировался.

Но летом — осенью 1771 года в Спа Дашкова встретила с принцем Карлом Зюдерманландским, двоюродным братом и наследником короля Густава III. Со времен службы в Швеции Никита Иванович Панин поддерживал тесные контакты с представителями тамошней политической элиты. С Екатериной Романовной принц разговаривал достаточно откровенно. В преддверии совершеннолетия наследника партия Панина стала теснить Орловых, нанося им поражение за поражением.

И Дашкова поспешила домой. Отметим: не к дележу пирога, а к решительной битве. С 1771 года в донесениях иностранных дипломатов замелькали отрывочные сообщения о том, что «низкие люди... желали свергнуть императрицу с престола под тем предлогом, что ей была вручена корона лишь на время малолетства сына, и возвести на престол великого князя»^{585}.

Расчеты нашей героини на первых порах оправдались. Екатерина II была как никогда слаба и приняла подругу с распростертыми объятиями. Никакие благожелательные письма Дидро не могли сделать для княгини того, что сделало падение ее неприятелей. Императрица опять нуждалась во всех и опять очаровывала.

28 декабря 1771 года Екатерина II написала своему статс-секретарю Олсуфьеву: «Адам Васильевич. Пошли ты к княгине Кат. Ром. Дашковой десять тысяч рублей... Сии деньги я ей жалую»^{586}. Так было исполнено молчаливое обещание, данное перед поездкой за границу. Но в новых условиях пожалование значило и новый аванс. Императрица не могла желать усиления партии Панина. На беду, Никита Иванович сам разгневал племянницу: продал петербургский дом Дашковой за полцены, причем приятелю своей любовницы. Двойное оскорбление. И тут императрица послала подруге деньги, с лихвой компенсировав урон. Она готовилась к

затяжному противостоянию и нащупывала малейшие трещинки в отношениях между своими противниками.

Современные исследователи легко причисляют княгиню к партии Панина. Но сама Дашкова смотрела на себя иначе. Она оскорбилась бы, узнав, что дипломаты именуют ее «фавориткой первого министра». Напротив, княгиня считала себя самостоятельной фигурой. Она находилась в союзе с Никитой Ивановичем, а не подчинялась ему. Могла и поссориться. Поселившись у сестры Елизаветы Полянской, Дашкова жила открыто, принимала много посетителей, но дулась на Панина и отказывалась его видеть^{587}. Такой разлад был на руку императрице.

Дашкову охватила такая эйфория, что она даже порвала с Каменской. Пелагея устроила скандал и была изгнана, о чем немедленно узнал Александр Воронцов. Запоздало он упрекнул сестру за недостаток благопристойности в дружбе с этой деспотичной особой^{588}. Что стало причиной разрыва? Ревность компаньонки? Ясно одно: «добровольному рабству» пришел конец.

Летом и осенью 1772 года княгиня часто бывала при дворе^{589}. На ее глазах совершилось падение Григория Орлова. Бывшего временщика сказочно наградили, но потребовали на год покинуть столицу^{590}. Екатерина II взяла себе в фавориты предложенного партией Панина Александра Семеновича Васильчикова, человека тихого, недалекого и во всем подчинявшегося Никите Ивановичу^{591}.

Для Дашковой наступила светлая полоса жизни. Подарки и пожалования сыпались как из рога изобилия. Она помирилась с дядей, понимая, что именно он теперь главная фигура на русском Олимпе. Все милости к княгине лета 1772 года следует рассматривать именно в русле победного шествия группировки Никиты Ивановича. Был нанят и меблирован дом в Петербурге. Как по мановению волшебной палочки, восстановились отношения с отцом: теперь он нуждался в деньгах, и дочь заняла ему 23 тысячи. Такой щедрый жест свидетельствовал, что Екатерина Романовна буквально умывалась золотым дождем. Позднее государыня оплатит даже пребывание своей статс-дамы в доме сестры.

Незадолго до совершеннолетия Павла, 3 сентября, императрица пожаловала подруге 60 тысяч рублей на покупку земли. Баснословная сумма. Что заставляло Екатерину II идти на такие жертвы? Ведь продолжалась война с турками. Перед праздником Павел Петрович неожиданно слег, надо полагать, что его «болезнь» была скорее дипломатического характера. Государыня во избежание эксцессов

постаралась на время удалить цесаревича с глаз многочисленной публики. Иностранные послы писали, что хворь наследника на собственный день рождения — 20 сентября — вызвала волнения в городе. Ожидали, что государыня под давлением Панина поделится с сыном властью^{592}. Но она пока этого не делала. 60 тысяч — такова была цена неучастия Дашковой в проектах дяди.

Сама Екатерина Романовна, впрочем, полагала, что императрица воздает ей за прошлые страдания: «Не будучи более под влиянием Орловых, она хотела увеличить мое благосостояние»^{593}. Опасное заблуждение. Дашкова рассматривала очередной аванс как давно заслуженную награду и развязывала себе руки на будущее в тот самый момент, когда Екатерина II пыталась их связать.

«В плачевном состоянии»

Такое несовпадение взглядов повело к печальным последствиям. Уже весной 1773 года княгиня неожиданно оказалась с детьми на даче в Кирианове и почему-то не могла выехать в Петербург. Летом она не сумела лично поздравить императрицу с военными победами. А осенью — вынуждена была отправиться в Москву, где пребывание носило характер новой опалы.

В «Записках» об этих перипетиях говорится крайне бегло, так, словно Дашкова заглянула в Петербург, получила подарки и уехала в Первопрестольную, как только последствия Чумного бунта были изглажены. Между тем московская чума кончилась еще к зиме 1771 года. Если наша рачительная героиня намеревалась вскоре покинуть Северную столицу, следовало переждать у сестры. Наем дома, покупка мебели, посуды и белья — солидная трата — свидетельствовали о намерении остаться.

Любопытные сведения сообщил декабрист М.А. Фонвизин, племянник Дениса Ивановича, драматурга и ближайшего сотрудника Панина по Коллегии иностранных дел. «В 1773 или 1774 г. — писал он, — когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился... граф Н.И. Панин, брат его фельдмаршал П.И. Панин, княгиня Е.Р. Дашкова, князь Н.В. Репнин... митрополит Гавриил и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола... Екатерину II. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу... Душою заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная»^[594].

Рассказ Михаила Фонвизина, переданный со слов дяди, изобилует неточностями. Из-за этого некоторые исследователи склонны не придавать ему значения^[595]. Другие, напротив, видят в словах декабриста отражение реальных событий^[596]. На самом деле племянник драматурга слил воедино несколько заговоров. В одном принимали участие братья Панины, а другой, более поздний, сложился в среде молодого окружения Павла Петровича в 1775–1776 годах.

Вопреки мнению биографов Дашковой, рассказ Фонвизина — далеко не единственный источник о complote 1772 года^[597]. Британский посол сэр Роберт Гуннинг сообщал в Лондон 28 июня 1772 года о цепи неудачных

придворных заговоров в России. Правительство удовольствовалось наказанием рядовых членов. Среди влиятельных лиц, «руководивших предприятием», назывались братья Панины и княгиня Дашкова, но Екатерина предпочла «не разглашать дела»^{598}. 4 августа дипломат продолжал рассказ: «Императрица знает, что во главе стояли люди высокопоставленные. Впрочем... она не желает до конца прояснять все обстоятельства»^{599}. С завидной регулярностью повторялась ситуация времен Хитрово и Мировича — теневые фигуры были известны, но их боялись тронуть.

Чуть позже, зимой, также негласно, прошло дело Сальдерна, в котором опять всплыло имя Екатерины Романовны. Каспар фон Сальдерн, голштинский дворянин на русской службе, дипломат, протеже Панина, служил министром в Польше, а затем участвовал в переговорах с Данией по поводу продажи наследником Павлом своих прав на герцогство Голштинское. По словам самого Никиты Ивановича, сказанным прусскому послу графу Сольмсу зимой 1773 года, Сальдерн предложил план установления соправительства между Екатериной II и ее совершеннолетним сыном. Поскольку Панин к этому времени уже не доверял голштинцу, он сам уклонился от его услуг и удержал Павла^{600}. Тогда Сальдерн едва не погубил бывшего покровителя: он заявил датчанам, будто Никита Иванович намеревается выдать замуж свою племянницу Дашкову и нуждается для этого в приданом^{601}. Копенгаген, желая поторопить дело о продаже голштинских земель, послал Панину 12 тысяч для Дашковой. Деньги Сальдерн присвоил, а Никиту Ивановича и Екатерину Романовну обнес перед императрицей^{602}.

Очередная дипломатическая сплетня? Любопытно совпадение времени этой финансовой махинации с щедрым поступком Панина — на Рождество уходящего, 1772 года он разделил между своими доверенными лицами из Коллегии иностранных дел имение в Псковской губернии. Счастливыми обладателями ежегодной ренты в четыре тысячи рублей стали Денис Фонвизин, Петр Бакунин и Яков Убрий^{603}. (По другим данным, разделено оказалось имение в девять тысяч душ на бывших польских землях, пожалованное Панину в связи с бракосочетанием великого князя^{604}.) Фонвизина и Бакунина обычно называют среди сотрудников, помогавших в составлении «конституции». (Рукой Фонвизина записан и сам текст документа^{605}.) Награда за труд и за молчание оказалась немалой.

Была ли попытка раздобыть 12 тысяч для княгини личной инициативой Сальдерна? Или он сначала действовал от имени

покровителя, а потом переметнулся, как сделал когда-то Одар? Политические события 1772–1773 годов настолько запутаны, что не всегда удается выстроить даже их последовательность. Ясно одно: в цепи известий о заговорах Екатерина II постоянно слышала имя подруги в связке с Паниным. Ей не удавалось расколоть этот тандем.

Весной 1773 года Григорий Григорьевич вернулся ко двору. Тогда же Дашкова неожиданно уехала в Кирианово. Год назад, при уверенном положении Панина, его племянница первой из статс-дам поехала бы встречать невесту великого князя — принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую (будущую Наталью Алексеевну). Теперь она даже не могла выбраться в Петербург. О положении самого Никиты Ивановича Фонвизин писал сестре: «Мы очень в плачевном состоянии... а последняя драка будет в сентябре, то есть брак его высочества». Вот для неучастия в этой «драке» княгиню и затворили в Кирианово.

После свадьбы цесаревича в сентябре 1773 года Екатерина II отстранила Никиту Ивановича от должности воспитателя^{606}. Дашкова оставалась в вынужденном заточении на даче. Она отправила императрице символический подарок: «чудную картину Анжелики Кауфман, изображавшую красивую гречанку. Я намекала в письме и на себя, и на освобождение греков»^{607}. Смягчение ее участи стало возможным, когда великокняжеская чета была обвенчана, а Панин нейтрализован. Осенью нашей героине разрешили уехать в Москву.

«Я могу все говорить»

Снова, как десять лет назад, Дашкова попыталась принять участие в большой политической игре и не справилась с ролью. Ей были противопоказаны интриги. И не из-за декларативного прямодушия. А из-за переоценки собственных сил. Начать борьбу, не зная обстановки, едва приехав из путешествия, — знак большой уверенности в себе.

Но княгиня всегда поступала так. Если она учила архитекторов Баженова и Кваренги строить, священника служить в храме, актеров играть на сцене, лечила слуг, пускала кровь, никогда прежде не держав ланцета, признавала за собой «музыкальный гений», не получив специального образования, то что мешало ей давать Екатерине II государственные советы? Только нежелание императрицы их слушать.

В этом умении уверенно судить о «предметах, им не принадлежащих», Дашкова очень напоминала Дидро. Едва княгиня покинула Петербург, в столицу Российской империи прикатил философ. Ни минуты покоя — могла бы сказать Екатерина II. Дидро прибыл, чтобы договориться о публикации своей знаменитой «Энциклопедии». Для продолжения издания ему требовались деньги, императрица обещала помощь.

«Мадам, ничего не может быть справедливее; я действительно в Петербурге, — писал философ 24 декабря 1773 года. — На шестидесятом году возраста я проехал восемь или девять тысяч миль, покинув жену, дочь, родственников, друзей, знакомых, чтобы видеть великую государыню, мою благодетельницу»^{608}. Кажется, что путешественник едва скинул шубу и сразу взялся за перо: такая захлебывающаяся поспешность, такое оживление сквозит в письме. Между тем парижский знакомый прибыл еще 28 сентября, уже 67 раз встречался с государыней^{609}, успел оглядеться при дворе и с величайшей досадой не найти Дашкову — она бы «подбавила соли».

В кабинете Екатерины II ему разрешили высказываться с полной откровенностью: «Я могу все говорить, что ни попадет в голову... там нет места лжи, где присутствует философ».

Самообольщение? Далеко не так однозначно. Императрица принимала гостя частным образом, два-три раза в неделю, наедине, выделяя ему три часа после полудня. Помимо этого, как свидетельствует камер-фурьерский журнал, были и общие встречи за столом, на прогулках. Приезд европейской знаменитости сам по себе укреплял реноме государыни, и она

не прятала писателя от публики.

Во время послеобеденных встреч оба высказывались с предельной свободой. В пылу красноречия гость размахивал руками и, как говорят, однажды даже стукнул Екатерину II по колену. Она жаловалась, что от жестикуляции Дидро у нее болят бока, и даже поставила между собой и собеседником круглый столик^[610]. «Я нашел ее совершенно похожей на тот портрет, в котором вы представили мне ее в Париже, — писал француз, — в ней душа Брута и сердце Клеопатры». Мы бы сейчас сказали: ум Цезаря и сердце Клеопатры. Но в те времена в устах просветителя имя римского диктатора могло прозвучать только как хула.

Перед каждой встречей просветитель готовил своего рода конспекты, которые сохранились и позволяют судить о круге затронутых тем^[611]. Образование, веротерпимость, законодательство, престолонаследие, Уложенная комиссия, перевороты, разводы, азартные игры, возможность переноса столицы в Москву...

Но не на все вопросы можно получить прямой ответ. Философ, безусловно, знал, что княгиня не по своей воле не спешит навстречу к нему в Петербург. «Ваше имя часто произносилось в наших разговорах; и если я напоминал о нем, меня всегда слушали с удовольствием». Значит, Екатерина о подруге не заговаривала. Здесь бы философу и понять, что тема скользкая. Но императрица не высказывала возражений. Немудрено, что в определенный момент Дидро почувствовал себя вправе давать советы. И совершил ошибку.

«Я долго с ним беседовала, — рассказывала Екатерина II в 1787 году французскому послу графу Л. Сегюру, — но более из любопытства, чем с пользой... Однако так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я — скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив, наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: “Г. Дидро... Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит... между тем как я... на шкурах своих подданных, которые чрезвычайно чувствительны”»^[612].

Что же задело императрицу? Дидро, как и многие европейские мыслители того времени, считал, что преобразовать Россию гораздо проще, чем, например, Францию^[613]. Старая монархия с давними традициями нуждалась в крайне осторожном отношении. Что же до северных варваров, то их страна подобна чистому листу, она создана Петром Великим из хаоса,

у нее еще нет ни истории, ни устоев. Екатерина II знала, как сильно заблуждается собеседник. Идеи Дидро слабо сопрягались с реальностью. «Если бы я ему поверила, то пришлось бы... уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными химерами».

Сердечность и простота приема создали у философа иллюзию, будто он может говорить с Екатериной II о самых щекотливых вещах — например, о наследнике. Вопрос болезненный. А если вспомнить череду заговоров — бестактный. Своего рода политическое хлопанье императрицы по коленке. Среди прочих эпистол Дидро представил государыне записку с советами о том, как следует предотвращать государственные перевороты. Святая простота! Ведь уже почти 12 лет императрица успешно справлялась с этой задачей.

3 декабря 1773 года появилась записка о воспитании наследника. При этом была дана самая лестная характеристика «проницательности, разносторонним способностям, мягкости сердца и глубине ума» Павла. «Пусть сын Ваш присутствует во время обсуждения дел в разных административных коллегиях... в течение двух-трех лет, пока не ознакомится близко с различными задачами... Это послужит хорошей школой для государя его возраста»^[614]. Затем великого князя предстояло направить в путешествие по России. А после возвращения наследник «мог бы, наконец, сесть рядом со своей августейшей матерью». В смягченной форме речь снова заходила о соправительстве^[615].

Могла ли Екатерина II поверить, что Дидро говорит сам от себя, а не артикулирует идеи ее противников? В этом контексте дружеские отношения философа с Дашковой только вызвали дополнительные подозрения. Сторонники Павла добивались участия великого князя в Совете. Синхронное предложение Дидро должно было подкрепить просьбу цесаревича. Но императрица отвечала сыну весьма твердо: «Я не считаю уместным Ваше поступление в Совет, вы должны терпеливо ожидать, пока я решу иначе»^[616].

Передавая Екатерине II сходные предложения, гость как бы расписался в поддержке враждебной партии. 3 декабря помечена записка Дидро, а на следующий день, 4 декабря, императрица направила Г.А. Потемкину письмо, вызывая его с театра военных действий. Эта связь не случайна. Обдумав рассуждения философа, государыня только утвердилась в мысли, что окружена сторонниками сына. Даже финансово зависимый от нее просветитель не видел иной перспективы, кроме передачи власти

наследнику.

Дидро предстояло разочароваться. Политика была заменена в беседах на литературу, а сами встречи стали реже и короче. В начале января 1774 года в Петербург прибыл Потемкин. Последние аудиенции для Дидро совпали со временем первых, весьма бурных объяснений Екатерины II с будущим фаворитом.

Знал ли философ, что разговорам с ним предпочитают совсем иные randevу? Во всяком случае, он понял, что, получив требуемую сумму, следует удалиться. «Почему не ехать в Москву? — писал он Дашковой 23 января. — ...Потому, мадам, что я глуп, и потому, что Ваша мудрость, моя и всего мира состоит в неспособности управлять ходом обстоятельств»^{[\[617\]](#)}.

«Политическая воля нации»

Сходство главного постулата — ограничения самодержавной власти — между европейскими просветителями и русскими либеральными аристократами еще больше оттеняет различия. Здесь уместно поговорить о взаимном влиянии, которое оказывали друг на друга такие яркие деятели, как Никита Панин и его племянница. О том, до какой степени оба подвергались воздействию западных идей и где пролагали границу преобразований для России.

Проект Панина о «фундаментальных государственных законах» представляет собой пространную записку не с изложением будущих актов, а с обоснованием их необходимости. Она сделана рукой Фонвизина. Считается, что Никита Иванович набросал для секретаря свои идеи, а тот изложил их литературным языком, благодаря чему получился один из самых ярких политических документов эпохи.

Нет прямых сведений о том, что Екатерина Романовна знакомилась с проектом. Но совпадения в тексте с ее письмами, мемуарами и переводами должны обращать на себя внимание. Особенно много их со статьей «Общество должно делать благополучие своих членов».

У Панина: «Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают». У Дашковой: «Добродетель — не что иное, как польза людей, живущих в обществе... Человек будет общество ненавидеть, если оно не станет его ограждать от опасностей».

У Панина: «Где произвол одного есть закон верховный... там есть государство, но нет Отечества, есть подданные, но нет граждан». У Дашковой: «Когда народ или те, кои им управляют, неправосудны... они тем разрывают связь общества. Тогда человек... старается снискать свое благополучие вредными его сотоварищам средствами».

У Панина: «Кто может — грабит, кто не может — крадет». У Дашковой: «Всякий нарушает законы... или употребляет хитрость для сокровенного избежания оных».

У Панина: «Вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения»^[618]. У Дашковой: «Узы, соединяющие общество, ослабевают или разрываются... Тогда-то человек делается зверем против подобного себе»^[619].

Сопоставления можно продолжать. Политическая заостренность

панинского текста сделала его недоступным для печати, а перевод княгини, напротив, был опубликован в журнале «Опыт трудов Вольного Российского собрания при Императорском Московском университете», членом которого Дашкова стала в 1771 году.

Если бы сходство этим исчерпывалось, следовало бы говорить об общности просветительской литературы, которую читали авторы. Ведь и Панин, и Фонвизин не хуже княгини были знакомы с работой Гельвеция. Но аналогии идут куда дальше.

В проекте Панина есть любопытная параллель с диалогом Дашковой и Дидро о крепостном праве. Это образ слепца на обрыве, чрезвычайно распространенный в литературе XVIII века. Описание Екатерины Романовны хрестоматийно: «Мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы... лишенный зрения, он не знал опасности своего положения... Приходит несчастный глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из этого ужасного положения. И вот — наш бедняк... умирает во цвете лет от страха и отчаяния»^{620}.

Сравним эти строки со словами Панина: «Между первобытным его (человека. — О. Е.) состоянием в естественной дикости и между истинным просвещением расстояние толь велико, как от неизмеримой пропасти до верху горы высочайшей... но, взошел на нее, если он позволит себе шагнуть через черту... уже ничто не останавливает его падения, и он погружается опять в первобытное свое невежество. На самом пороге сей страшной пропасти стоит просвещенный государь».

Сходство очевидно. Перед нами два осколка одной картинки. Сложив фрагменты, получим волнующий образ. Дикий народ на краю пропасти удерживается от падения просвещенным государем. Но тот и сам может оказаться на дне, если не ограничит себя фундаментальными законами: «Погибель его совершается, меркнет свет душевных очей его, и, летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: “все мое, я все, все ничто”»^{621}.

Для кого предназначены фундаментальные законы? Для общества — следует из дашковского перевода Гельвеция. Для нации — сказано в проекте ее дяди. Что же такое «общество» и «нация»? Панин однозначен: «Дворянство... представляет нацию». В разговоре Дашковой с Дидро «обществом» тоже названо дворянство.

В том, что положение крестьянства тяжело, и дядя, и племянница согласны. «Люди составляют собственность людей... народ пресмыкается во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого

рабства», — рассуждал Панин. Но именно в силу непосвященности нужно держать простонародье в узде. Иначе «мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, может привести [государство] на край гибели». Об угрозе анархии в результате освобождения крестьян говорила и Дашкова.

Оба автора сетовали на то, что дворянство порабощено, что его права не защищены законом. «Нельзя никак нарушить вольность, не разрушая права собственности, — рассуждал Никита Иванович. — ...Кто может дела свои располагать тамо, где... завтра вменится в преступление то, что сегодня не запрещается?» Исключительное право дворянства — владение землей с проживающими на ней людьми.

Дискуссии по крепостному вопросу в Уложенной комиссии настолько встревожили московских дворян, что они шумно заговорили о грядущем нарушении прав собственности. Екатерина II называла крепостных «несчастливым классом, которому нельзя разбить свои цепи без преступления». «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, — писала она, — ...я рискую тем, что в меня станут бросать камнями. Чего я только не выстрадала от этого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я могла когда-либо представить... стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, как даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности самый гуманный... с негодованием и страстью защищал дело рабства... Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди... Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства»^{622}.

Панин и Дашкова, конечно, «подозревали», но посягательство на права собственности воспринимали крайне болезненно. Вернемся к беседе Дидро с Дашковой: «Во время второго посещения Москвы по случаю общего собрания депутатов... Екатерине угрожал мятеж. Общее неудовольствие дворян... готово было разлиться новой революцией». Теперь можно реконструировать содержание знаменитого диалога. Философ коснулся крепостного права, княгиня высказалась за просвещение черни и сообщила, что при попытке «улучшить» «положение земледельцев» «Екатерине угрожал мятеж».

«Сей новый актер»

Характерно, что о приезде Дидро в Петербург и о переписке с ним в мемуарах Екатерины Романовны не рассказано. Иначе пришлось бы объяснять, почему она не отправилась на встречу со старым другом.

Создается обманчивое впечатление, что, пока философ находился в столице, на политической сцене, его корреспондентка оказалась сброшена с подмостков в зрительный зал, и единственное, что связывало ее с разыгрывавшейся драмой, — письма старого друга. Но это не так. Москва менее всего напоминала тихое прибежище. Позднее Дашкова назовет старую столицу «коловращением всех идей империи». Здесь кипели те же страсти по поводу скорой смены монарха. И оппозиция, возглавляемая другим дядей Дашковой — Петром Ивановичем Паниным, — приняла княгиню как свою.

Петр Иванович вместе с братом долгие годы руководил партией наследника. Осенью 1770 года он неожиданно вышел в отставку, причем отставка эта была воспринята как демарш — знак генеральского негодования. За взятие турецкой крепости Бендеры ему пожаловали орден Святого Георгия 1-й степени. Но Бендеры пали 16 сентября, а двумя месяцами раньше — 24 июня 1770 года — А.Г. Орлов разбил турецкий флот в Чесменской бухте. Алексей Григорьевич стал первым в России георгиевским кавалером, Петр Иванович обрел кавалерию большого креста. Тот факт, что Орлов получил перед Паниным «старшинство», оскорбил генерал-аншефа.

Позднее его брат в проекте «О фундаментальных государственных законах» намекал на эту обиду: «Посвятя жизнь свою военной службе, лестно ль дослужиться до полководчества, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и неведомо за что, становится сего дня полководцем и принимает начальство над заслуженным и ранами покрытым офицером? ... Есть ли способ оставаться в службе мыслящему гражданину?»^{623} Служить бы рад, прислуживаться тошно.

Старший Панин уехал в Москву. Здесь слухи о скором восшествии Павла на престол достигли кульминации. Московские поэты Сумароков, Майков и Богданович (старый друг Дашковой) обращались к великому князю с одами, подчеркивая предпочтительность мужского правления перед женским, отмечались черты характера цесаревича, присущие истинному государю, восхвалялись воспитатель наследника Никита

Иванович и «незабвенный завоеватель Бендер».

Очутившись в Москве, Дашкова попала из-под крыла одного дяди под политическую опеку второго. Чего терпеть не могла. Но положение обязывало. Она сменила лишь декорации, но не амплуа. Ее окружали всё те же оппозиционеры. Ей приходилось разделять их настроения, разговоры и хлопоты. Ничего удивительного, что именно Дашковой было поручено просветить нового кандидата в фавориты — 35-летнего генерал-лейтенанта Г.А. Потемкина — касательно тонкостей отношений императрицы и великого князя.

Вызванный с театра военных действий Потемкин поспешил в Петербург. Он прекрасно понимал, что без опоры на одну из ведущих политических группировок не удержится при дворе. Поэтому по дороге Григорий Александрович остановился в Москве и встретился с двумя виднейшими членами панинской партии: отставным генерал-аншефом и нашей героиней. Разговор с первым свелся к обмену обязательствами: Потемкин обещал ворчуну возвращение на службу.

В Москве же кандидат в фавориты посетил несколько собраний в домах родственников Паниных, где был представлен княгине. «Знакомство наше было весьма поверхностное», — заметила Дашкова. Но она «дала ему один совет; будучи принят к сведению, он устранил бы сцены, которые великий князь, впоследствии Павел I, не преминул сделать, к общему соблазну, чтобы повредить Потемкину»^[624].

Обратим внимание на очевидное противоречие: Екатерина Романовна едва знала кандидата в фавориты, но дала ему совет весьма щекотливого свойства. Такой поступок по меньшей мере странен. Приходится заключить, что Дашкова либо проявила «утонченное» чувство такта, либо действовала по договоренности, вновь играя роль лица, близкого к государыне.

Предшественник Потемкина на посту фаворита — А.С. Васильчиков, ставленник панинской группировки — единственный из всех любимцев Екатерины II не испортил отношений с великим князем. Правда, он и не обеспечил императрице политической поддержки. Давая Потемкину рекомендации, панинская партия устами Дашковой внушала Григорию Александровичу выгодный эталон поведения. Однако Потемкин ни по характеру, ни по государственным талантам не напоминал тихого Васильчикова.

«Сей новый актер станет роль свою играть с великой живостью и со многими переменами, если только утвердится», — писал о Потемкине 7 марта 1774 года Петр Панин своему племяннику камер-юнкеру А.Б.

Куракину. Действительно, с началом нового фавора положение сторонников партии Паниных улучшилось. Это потепление коснулось и Дашковой. В апреле 1774 года она получила милостивый ответ на поздравление Екатерины II с днем рождения, а в следующем году, во время приезда императрицы в Первопрестольную на празднование Кючук-Кайнарджийского мира, часто сопровождала подругу и принимала участие в официальных торжествах.

Сватовство «госпожи Ворчалкиной»

Было бы неверно считать, будто в Москве Дашкова занималась только политикой. Напротив, ее захватили семейные и хозяйственные дела, а затем и участие в издательских проектах. Княгиня похоронила свекровь и задумалась о замужестве дочери. Анастасии исполнилось четырнадцать. Можно было повременить. Но мать твердо взяла курс на поиски жениха. Она хотела пристроить девочку и уже со свободной головой заняться образованием сына.

Пожалованные Екатериной II деньги предназначались Анастасии в приданое, при этом родовых земель дочь не получала. Княгиня писала, что «состояние отца» ей «хотелось целиком передать сыну». Была ли она вправе поступить так? Да, имея указ императрицы об опеке, позволявший распоряжаться имуществом наследников. Но для того, чтобы действовать юридически безупречно, Екатерине Романовне следовало выдать Анастасию замуж до совершеннолетия, пока девица не вступила в права и не могла официально требовать выделения своей доли. Эту тонкость обычно не учитывают исследователи, обсуждая «странности» брака юной княжны.

Между тем Дашкова явно торопилась. Желательно было пристроить дочь за человека своего круга: знатного, богатого, с титулом. Кандидат имелся среди родственников — князь Александр Борисович Куракин, молодой аристократ, десятью годами старше Анастасии, любимый племянник обоих Паниных, с которым Екатерина Романовна обменивалась книгами, статьями и переводами.

Это было лучшее из возможного. Для свидания с ним Дашкова в июне 1774 года повезла девушку из Москвы в Петербург. Однако ее смущала внешность Анастасии — дочь росла дурнушкой. А Куракин был одним из самых обаятельных молодых кавалеров Петербурга. «Наш народ так безжалостен, — писала мать жениху 5 мая 1774 года, — так скор судить на основании внешнего вида и манеры, что у меня кружится голова, когда я думаю о приезде в ваш город»^[625]. В начале июля княгиня прибыла в столицу и вскоре появилась при дворе. Она несколько раз упомянута в камер-фурьерском журнале за столом императрицы^[626].

Однако помолвка не состоялась. Некоторые современные исследователи, ссылаясь на старое мнение П.И. Бартенева, полагают, что и не могла состояться: красавец Куракин не взял бы за себя «горбатенькую»

Анастасию^{627}. Но в тогдашнем придворном обществе обсуждали совсем другую причину — вопрос о приданом. Еще в 1772 году, когда Дашкова жила в Петербурге и ее отношения с императрицей, казалось, восстановились, Екатерина II написала пьесу «Именины госпожи Ворчалкиной». Гвоздь интриги — попытки главной героини, в которой современники узнавали Дашкову, выдать дочерей (в пьесе их две) замуж и не слишком потратиться. «Матери-то не хочется с приданным расставаться, — объяснял один из персонажей, — она любит дочерей и желает их пристроить, только богатство любит еще больше их». Когда старшая из девушек советует Ворчалкиной оделить сестру по совести, та возражает: «А мы с чем останемся?»^{628}

На подмостках скупость матери до поры до времени расстраивала усилия женихов, пока не нашелся тот, кто пожелал взять невесту даром. В реальной жизни такого чудака пришлось поискать. Им оказался сорокалетний бригадир Андрей Евдокимович Щербинин, чьи обширные имения располагались в Псковской губернии. Впрочем, слово «даром» не подходит к случаю. Дашкова обещала за дочерью 80 тысяч рублей. Но именно обещала. Денег жених не увидел.

«Я надеялась, что он даст моей дочери тихую и мирную жизнь, — писала наша героиня. — Она физически развилась неправильно... вследствие чего вряд ли могла рассчитывать, что более молодой и веселый муж станет ее любить и баловать»^{629}. Более молодой и веселый — это Куракин, настоящий принц. При дворе и в московском обществе всласть посудачили о том, как родовитую аристократку выдали замуж за отставного провинциала. Но Екатерина Романовна презирала «клеветы» и твердо знала, «что хорошая мать».

Для начала разберемся с недостатками Анастасии. Сохранились свидетельства людей, знавших госпожу Щербинину в зрелые годы. Е.Н. Фирсова привела рассказ жительницы Курской губернии Арсеньевой, которую дядя-судья привозил в имение Анастасии Михайловны: «Крепкая дубовая дверь на отмах широко растворилась, и вошла... гренадер-баба... плотная, высокая, волосы черные, глаза черные, лицо мужское». Вскоре оказалось, что эта «немалая особа» вовсе не страшна: «У Настасьи Михайловны были какие-то растерянные глаза, как бы она ими смотрела и не смотрела, видела и не видела... да к тому же еще картавя на *р* и *л*, начиная говорить и не кончая, и не совсем к толку суется»^{630}. Получалось что-то вроде: «Ду-ак», вместо «дурак». И хотя Щербинина ругала приемную дочь, выходило это почти «мягко».

Сохранилось и описание Анастасии Михайловны, сделанное Кэтрин Уилмот, когда та приехала в Россию в 1805 году: «Ей за сорок, она жалуется на миллион недугов, но являет собой образец здоровья. Госпожа Щербинина — умная женщина, хорошо знает языки... Далеко не каждая англичанка может так хорошо выразить свои мысли по-английски, как она»^[631]. Итак, перед нами рослая, картавая и несколько мужиковатая особа. «Совершенная татарка»^[632], как отметит Уолпол, — черные волосы, черные глаза.

Что касается Щербинина, то нет исследователя, который не назвал бы брак мезальянсом, забывая при этом размер состояния псковского меланхолика — семь тысяч крепостных^[633]. Правда, располагать ими он смог только с 1784 года, когда умер его отец и Андрей Евдокимович, наконец, получил наследство. Под Харьковом располагались очень богатые имения родни Щербинина^[634].

Наша героиня точно просчитала выгоду дочери: она дала ей большое денежное приданое, на которое молодые смогли бы жить в ожидании наследства, а муж должен был принести земли. Расставшись с титулом, девушка приобретала богатство, каким не обладали ни мать, ни брат. А учитывая тихий меланхолический характер жениха, смогла бы им со временем управлять. Но чтобы понять все преимущества подобного брака, нужно было иметь голову тридцатилетней, расчетливой вдовы. В 15 же лет даже дурнушки мечтают о принцах.

И тут Екатерина Романовна проявила волю. Остается только удивляться, что за три года до этих событий императрица точно описала поведение подруги: «Разве я в своем доме не вольна? Разве дети-то не мои?.. Что в том, противен ли он, нравен ли он ей или нет? Она ведь моя дочь, и будет за тем, за кого я выдать ее хочу».

Так и получилось. Дашкова мыслила «мозгом principess'bi», а Анастасия в тот момент из воли матери «не выступала». Но и состояние девушки передано Екатериной II очень живо: «Она в великом смущении, побледнев и трясясь, шла через комнату и, не дошед до других дверей, вдруг упала на землю... Конечно, от печали; вот плоды Вашей строгости!»

В 1786 году, когда отношения с дочерью приносили Дашковой только боль, когда стало ясно, что, несмотря на попытки съехаться с мужем, семейного счастья не получится, наша героиня напишет комедию «Тоисиоков», где госпожа Решимова говорит: «Оставь мне определить твой жребий, положишься на меня, пусть я за тебя решу»^[635]. Страшно подумать: императрица видела развитие событий еще до того, как они произошли. А

Дашкова настаивала на своем, даже когда жизнь доказала ее неправоту. Княгиня просто не могла поверить, что способна ошибаться.

В 1775 году, накануне свадьбы, Анастасия подписала документ, в котором отказывалась от недвижимого приданого, подтвердив, что получила денежную компенсацию^{636}. Нетрудно догадаться, что пятнадцатилетняя девушка сделала то, чего требовала мать, вряд ли серьезно задумываясь над последствиями. Когда через 35 лет она захотела опровергнуть этот документ, суд ей отказал.

Но была еще одна заминка, связанная с имуществом Анастасии. Мы помним, что, получив от императрицы 60 тысяч рублей, Дашкова часть заняла отцу^{637}. Сумма долга, названная княгиней в «Записках», — 23 тысячи рублей. По ее словам, они нужны были, чтобы покрыть казенный долг. Но в переписке с братом Александром 1775 года фигурирует другая цифра — 16 тысяч рублей, необходимых для покупки железоделательного завода. Деньги были даны Роману Илларионовичу под проценты. Когда Дашкова во второй раз собралась за границу, она попросила вернуть долг, нужный для обеспечения приданого Анастасии. Воронцов сделать этого не мог и предложил вместо денег свой московский дом.

14 декабря Дашкова писала брату, что «батюшкина препозиция о Знаменском его дворе» вызвала у нее «удивление»: «На что он мне? Деньги, которые мне государыня пожаловала, есть только одно награждение и хлеб моей дочери, который в моих руках. Если я оные сберегла, то не оттого, что я достаточна (обладаю достатком. — О. Е.) и другие доходы имею, но оттого, что сама не только прихотей, но иногда и нужного лишалась... Настюше этот дом ни на что не нужен... Я мучилась, собирала, а, наконец, все без пользы оставить!» Далее княгиня объясняла брату для передачи отцу, что согласится принять в оплату долга «деревню за 80 рублей за душу» или доверенность на сдачу Знаменского двора внаем при условии, чтобы расходы на починку дома «батюшкины шли». Кроме того, ей необходимы сразу пять тысяч рублей, которые «легко и по справедливости он в зачет за железо, от купца заняв, мне отдать сможет». И «для лучшей ясности» прилагала счет: «Батюшка изволил взять... 16 000 рублей. Проценты нынешнего году — 960 рублей... Найму с Знаменского дому я надеюсь получить 1550; а как с 13-ти тысяч проценту 780 рублей, то и останется в уплату первый год 770 рублей»^{638}.

Кажется преувеличением называть такой подход «щедростью»^{639}. Скорее, доброй волей: «Я бы желала, чтобы была в состоянии более для батюшки сделать, но... истинно не могу».

Если бы замужняя Анастасия получила собственный дом в Москве, она бы стала в определенном смысле независима. Но Дашкова предпочла, чтобы «хлеб дочери» оставался в ее руках. «Этот брак представлял то огромное преимущество, что дочь моя могла оставаться со мной, и я имела возможность оберегать ее молодость, — сказано в мемуарах. — Отец Щербинина охотно согласился отпустить своего сына, тем более что я объявила, что ему не придется делать никаких расходов, так как процентов с капитала моей дочери хватит на содержание их обоих при совместной жизни со мной». Из этих строк следует, что Дашкова приняла на себя все расходы. По словам же отца жениха, она не выплатила приданого «ни на полушку», зато забрала у зятя «домашнее серебро»^{640}. «В Спа Щербинин... с грустью расстался с нами. Моя дочь не пожелала последовать за ним и осталась со мной»^{641}.

Что же случилось? В России муж не имел права распоряжаться приданым жены. Если они жили вместе, то их объединяли общие расходы, но потребовать всю сумму по закону он не мог. Позднее Кэтрин Уилмот писала домой: «Каждая женщина имеет права на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же от своей жены... Если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму»^{642}.

Увозя дочь с собой за границу, Екатерина Романовна везла и деньги, нужные молодым. Но контролировала их расходы. Щербинин же не имел права ни на чем настаивать. Прежде бригадир финансово зависел от родителей, теперь от тещи. Кроме того, его не пускали к жене, что скрыто за словами «оберегать ее молодость». Видимо, даже «меланхолический, но кроткий характер» не примирил Щербинина с подобным положением. Между старым мужем и властной матерью Анастасия пока привычно выбрала мать.

«Афины Севера»

На этот раз Дашкова сравнительно легко получила разрешение уехать. Ее ждало долгое и счастливое путешествие. Хотя оно заявлено как учебное — «чтобы дать моему сыну классическое и высшее образование», — на деле вояж далеко выходил за рамки прагматики. Он занял шесть лет, из которых лекции в Эдинбурге продолжались только три. Год до и два года после семья странствовала по Европе.

Княгиня уже не скрывала своего имени, и ее с почтением принимали при дворах. К августу 1776 года семья прибыла в Спа, откуда Екатерина Романовна написала послание ректору Эдинбургского университета Уильяму Робертсону с просьбой принять тринадцатилетнего Павла в качестве студента.

Текст сохранился и представляет собой блестящий образчик эпистолярного жанра второй половины XVIII века. Не стоит удивляться ни витиеватости выражений, ни тому, что каждый персонаж — пылкая, но благоразумная мать, просвещенный, благородный наставник, чистый душой и неиспорченный юноша — соответствует определенному культурному амплу, является слепком с социальной роли. Таковы были правила. И такова литературная традиция.

В строгом соответствии с ней рассказ о других использовался для самохарактеристики. Говоря о мальчике, Дашкова говорит о себе. «К вам обращается нежная, но благоразумно любящая мать... Испытывая нежные чувства по отношению к моим детям, я отнюдь не слепа, ибо мне совсем не по душе их недостатки, хотя я и довольна тем, что они честного нрава и мягкосердечны, однако ж не считаю своих детей во всем совершенствами; и я вменила себе в непреложное правило видеть их таковыми, каковы они есть, а не такими, какими чад своих видит большинство родителей. Двенадцать лет назад мои дети имели несчастье потерять в добродетельнейшем из смертных своего отца и покровителя; их воспитание с тех пор зависит целиком от меня; и мой сын, которому только 13 лет, не имеет над собой ни мучителей, ни рабов вокруг себя, а посему и сердце его, и разум до сего времени отнюдь не испорчены». Далее княгиня перечисляет познания Павла, надо сказать, весьма солидные для его возраста: история и география, начала геометрии, французский, немецкий, латынь и английский. Два последних в большей степени на уровне переводов, чем для свободной беседы. «Что же до физического состояния

моего сына, то он высок ростом и силен, поелику привык к деятельной и суровой жизни»^{643}.

Что должен был понять из письма ректор? Что к нему едет женщина, всецело посвятившая себя воспитанию, растворившаяся в сиротах. Упоминание «мучителей» и «рабов», «неиспорченного сердца», а также «суровой и деятельной жизни» выдавали в корреспондентке читательницу и почитательницу Руссо. В то же время багаж знаний ее сына свидетельствовал о том, что «благоразумная мать» пренебрегла советом философа не позволять детям читать до тринадцати лет (разве что «Робинзона Крузо» для мальчиков), пока у них не сформируется собственное мнение о мире, свободное от чужих авторитетов. Именно этот пункт должен был обратить на себя внимание ректора, поскольку вскоре ему пришлось иметь дело с юношей, без сомнения, способным, но воспитанным под игом материнской воли.

Не будем упрекать Робертсона за то, что он не всему поверил. Его доводы: 13 лет — слишком рано для университета — вполне резонны. Но ректор еще не знал, с кем имеет дело. Дашкова никогда не останавливалась, пока не добивалась своей цели.

Письмо Екатерины Романовны подкреплялось просьбой старинного приятеля ректора — Александра Уэддерберна, который дал одну из самых живых характеристик княгини: «Представьте себе разумную, искреннюю, добродушную женщину, сердечную в своей дружбе, откровенную в своей неприязни, без подозрения или страха, короче ту, что покажется вам давным-давно знакомою... Я надеюсь, что вы более будете ценить в ней человека семейного, нежели исторического». Но во втором письме Уэддерберн добавил несколько замечаний, которые подчеркивали сложность общения с Дашковой: «Ее дружба — а она уже возымела ее к Вам — очень пылкая», однако «я не буду отвечать за длительность [Вашей дружбы], если Вы позволите управлять собой»^{644}. Иными словами, не давайте сесть себе на шею.

Ректору было о чем призадуматься. Слова Уэддерберна подтверждал его подчиненный, профессор натуральной философии Джон Робисон, который провел четыре года в России, где преподавал математику в Морском кадетском корпусе. Он мог кое-что пояснить относительно политической роли Дашковой: «Императрица... не считает нужным видеть ее долгое время при дворе и постоянно отправляет ее, осыпав прекрасными подарками»^{645}.

Из приведенных описаний возникает чувство, что в Эдинбург

пристраивали именно Екатерину Романовну: она жадно желала учиться и познакомиться с интеллектуалами своего времени. Во втором письме Робертсону княгиня проговаривается: «Я не хочу терять, милостивый государь, надежду, что вы изъявите свое согласие быть наставником, если не моего сына, то, по крайней мере, его матери». Далее следовала заранее продуманная программа обучения.

Прежде всего наша героиня уточняла, что не собирается разлучаться с Павлом: «Я отнюдь не хотела, чтобы мой сын поместился отдельно от меня... Остаюсь в убеждении, что не оказываю вредоносного влияния на характер моих детей». Раннее обучение в университете (с тринадцати лет) продиктовано вовсе не волей матери, а обстоятельствами жизни в России: «У нас, дабы чего-нибудь добиться, надобно... рано начать служить... Я не могу положить четыре года на учение моего сына, который еще совсем не служил, а затем два года положить на путешествия, что вкуче... приведет к тому, что он вступит в службу лишь 20 лет от роду»^{646}.

В конце концов Павел начал службу именно в 20 лет и после двухгодичного путешествия. Но пока этого не знали ни княгиня, ни Робертсон. Программа, разработанная Дашковой, помещается в каждый труд о княгине и служит доказательством либо широты ее научного кругозора, либо завышенных требований к сыну. Занятия разбиты на пять семестров. За три года юноша должен был пройти: языки, риторику, изящную словесность (литературу), историю, устройство различных образцов правлений (обществоведение), математику, логику, рациональную философию (труды просветителей), экспериментальную физику, фортификацию, черчение, естественное право (права личности), всеобщее общественное право (административное право), физиологию, натуральную историю (биологию), нравственность (философскую этику), всеобщее и основательное право народов (международное право), генеральные принципы законоведения (юриспруденцию), гражданскую архитектуру, первоначала химии.

На первый взгляд кажется, что круг наук чересчур обширен и свидетельствует больше о вкусах самой княгини, чем готовится Павла к реальной жизни. Но на самом деле перед нами серьезно продуманная программа не только образования, но и будущей карьеры сына. Дашкова хотела, чтобы юноша «добился видного положения», «достиг возвышенных степеней». В армии ему помог бы выдвинуться курс фортификации, черчения и гражданской архитектуры — став военным инженером, Павел получал редкую и востребованную специальность, которая уже сама по себе обращала на него внимание начальства. В дальнейшем молодому

человеку, добившись первых чинов, следовало перейти на статскую службу и сделаться дипломатом, то есть двигаться по пути, проторенному канцлером Михаилом Илларионовичем, Никитой Паниным и Александром Воронцовым. Этому способствовало изучение языков и международного права. С годами, поднявшись по служебной лестнице, Павел мог стать законодателем. Реализации этого плана служили все юридические дисциплины, а также философия, риторика, изящная словесность. В списке княгини нет ни одной позиции, которая не явилась бы ступенью к будущему служебному благополучию сына.

Напрасно некоторые авторы, взяв пример с Огаркова, подтрунивают над княгиней: «Какой длинный реестр знаний!»^{647} «Она не заботилась об усвоении сыном менее обширного круга знаний, но зато более основательно... Мальчик переучился, получил отвращение к науке, все это вскоре позабыл»^{648}. Не так категорично. Образовательный план княгини не был полностью реализован. Робертсон действительно многое скорректировал, исходя из реальности. Английский исследователь Энтони Кросс обнаружил, что предметами изучения молодого князя стали риторика, изящная словесность, логика, физика, этика, математика и химия, причем большую часть курсов Павел прослушал два раза^{649}. Значит, речь идет именно об углубленном изучении более узкого круга дисциплин.

8 декабря 1776 года, после остановки в Лондоне, Дашковы, наконец, приехали в Эдинбург. Ректору пришлось встретиться с семьей русской путешественницы и к своему удивлению обнаружить, что Павел вполне пригоден для университетского курса. «Мистер Робертсон нашел, что сын... с успехом может заниматься по классической программе», — писала княгиня. А что еще было делать достойному мужу, которому буквально привезли ученика на дом?

Эдинбургский университет был одним из старейших и на тот момент лучших в Европе. Он заслуженно пользовался славой «Северных Афин», и выбор учебного заведения был сделан Екатериной Романовной очень удачно. Там преподавали историк и философ Дэвид Юм, физик и математик, основатель социологии Адам Фергюсон, филолог Хью Бдэр, практикующий химик-исследователь Джозеф Блэк, блестящий математик Дуглас Стюарт. Во главе же этого соцветия ученых стоял знаменитый историк Уильям Робертсон, которого Н. М. Карамзин ставил сразу после Фукидида и Тацита. Многие путешественники решительно предпочитали шотландский университет Кембриджу и Оксфорду. «Нет в мире места, которое могло бы сравниться с Эдинбургом», — писал Томас Джефферсон.

«Здесь был собран букет действительно великих людей, профессоров в каждой отрасли науки», — развивал его мысль Бенджамин Франклин, побывавший в Шотландии одновременно с Дашковой^{650}.

Кроме того, обучение в Эдинбурге стоило дешевле, чем в главных английских университетах.

«Самый спокойный и счастливый период»

Всё устроилось так, как она хотела. Ректор сдался под напором материнской энергии. Сын получал британское образование. Дочь оставалась при ней. Сама княгиня была окружена умными, просвещенными людьми, жила, не заботясь о куске хлеба, совершала путешествия по королевству. «Это был самый спокойный и счастливый период, выпавший мне на долю», — признавалась она.

Дашкову охватили идиллические настроения. Впервые за долгие годы настоящее совпало у княгини с представлением о нем. Нервная, издерганная женщина постоянно воображала, как должны сложиться обстоятельства ее жизни. Но ни замужество, ни отношения с августейшей подругой, ни собственная политическая роль не соответствовали тому, что героиня загадала наперед. Это было источником горьких разочарований, а поскольку Екатерина Романовна всегда упорствовала в своих мечтах, боль от реальности становилась только острее. И вдруг...

«Я познакомилась с профессорами университета, людьми, достойными уважения, благодаря их уму, знаниям и нравственным качествам. Им были чужды мелкие претензии и зависть, они жили дружно, как братья, уважая и любя друг друга»^[651]. Знакомый с академической средой человек улыбнется. Но цель Дашковой — противопоставить научное братство борьбе придворных честолюбцев. Новые друзья «доставляли возможность пользоваться обществом глубоких, просвещенных людей, беседы с ними представляли неисчерпаемый источник знания».

На Екатерину Романовну снизошел покой, который не омрачали даже болезни. Во время поездки в горы она схватила ревматизм коленных суставов. Но «я привыкла к физическим страданиям, и так как жила вне себя, т. е. только для других и любовью к детям, я способна была смеяться и шутить во время сильных приступов боли»^[652]. Ей рекомендовали «воды Букстона и Матлока, а затем морские купания в Скарборо», где наша героиня снова «лежала больная при смерти», и снова нежный друг, в данном случае госпожа Гамильтон, «спас мне жизнь». В рассказах о болезнях всегда будут возникать повторяющиеся образы: умирающая (иногда сама княгиня, иногда кто-то из ее родни) и ангел-спаситель, тоже несчастный, но самоотверженный. Это дань развивавшейся традиции сентиментализма. Что из этого правда?

В Англии она чувствовала себя в первую очередь защищенно, и это,

как никакие воды, укрепляло ее силы. «Мой спокойный, ровный и веселый характер приводил в изумление моих друзей и знакомых. Профессора приходили ко мне два раза в неделю; с целью доставить моему сыну развлечение я каждую неделю давала балы. Кроме того, мой сын ездил верхом в манеже и через день брал уроки фехтования». Дашкова явно стремилась завоевать симпатии эдинбургского общества. Но такой образ жизни стоил недешево. Княгиня пошла даже на банковский кредит — две тысячи фунтов стерлингов^{653} — лишь бы не нарушать сложившегося ритма и совершать путешествия.

Можно с уверенностью сказать, что в столице Шотландии княгиня жила как подобало ее положению. Тем более любопытно, что Дашкова не упомянула о маленькой русской колонии, существовавшей в это время при университете, а среди перечисленных ею добрых знакомых только английские имена. Согласно подсчетам Кросса, одновременно с Павлом в Эдинбурге обучалось 16 студентов из России. Еще Джон Робисон, уезжая из Кронштадта в 1774 году, привез с собой трех кадетов. Он обещал ректору подготовить у себя для Павла «очень покойные и приличные апартаменты» и советовал «разместить» юношу в университете «под менее знатным титулом». «Я... вряд ли согласился бы, имея определенные связи с ее страной, остаться незамеченным»^{654}, — писал он о себе.

Эта претензия насторожила княгиню. В ее втором письме ректору есть такие строки: «Что же касается до господина Робертсона (Дашкова неверно пишет фамилию Робисона. — *О. Е.*), то... я надеюсь, что он станет одним из тех профессоров, занятия коего князь Дашков будет часто посещать, но тем менее я могла бы поместить его в тот дом, где у господина Робертсона проживают и другие молодые люди; этого-то я положительно хочу избежать, ибо более озабочена нравственным состоянием и душевным складом своего сына, чем могла бы когда-либо быть озабочена уровнем его познаний»^{655}.

Попробуем понять тревоги матери. Все студенты из России были старше Павла и, по ее глубокому убеждению, не могли положительно повлиять на юношу. Напротив, разжечь пагубную страсть к развлечениям. Позднее в статье «Путешествующие» княгиня писала, что молодые люди за границей «вдаются только в забавы, пышность и щегольство» и возвращаются на родину «без здоровья, без денег и с одним только презрением к Отечеству»^{656}.

Не лишнее справедливости наблюдение. Но имелся и другой риск: поселившись в одном из университетских общежитий, Павел стал бы более

независим, менее подвержен влиянию матери. А это пугало княгиню. Бросается в глаза, что среди курсов, прослушанных юношей, нет математики Робисона, где была высока вероятность встречи с соотечественниками. Молодой человек, в отличие от других русских студентов, не участвовал во внеклассных мероприятиях, которые часто устраивались университетом: поездках, танцах, спектаклях. Не занимал студенческих должностей. Однако мать не совсем лишила юношу общества соотечественников. В ее доме жили двое студентов: И.С. Шешковский и Е. Зверев^[657]. О последнем ничего не известно, зато первый — личность примечательная. Сын обер-секретаря Тайной экспедиции С.И. Шешковского, так называемого «кнутобойца». Этот юноша, сообразно положению отца, мог и сам за себя заплатить, а не столоваться на кошт княгини. Но Екатерина Романовна посчитала выгодным оказывать ему протекцию и познакомить с сыном, создавая для Павла связи на будущее.

Положение должно было сделать Дашкову покровительницей русской диаспоры, ее негласным главой. Но такая роль накладна, ведь студент на чужой земле всегда без денег, а соблазн попросить помощи у знатного соотечественника велик. Однако не только этот момент заставил княгиню умолчать в мемуарах о русских учащихся. Наша героиня привыкла рассматривать себя как уникальное явление и то же место отводила сыну. Сколько камней брошено в Екатерину Романовну за то, что она лишь себе да императрице приписала право на «серьезное чтение»! Между тем писательниц, поэтов, переводчиков во второй половине XVIII века известно не менее шестидесяти. Например, сестра ее компаньонки, рано умершая Александра Каменская. На их фоне Дашкова — выдающаяся представительница слоя. В Эдинбурге Павел стал одним из русских студентов — самым состоятельным и, возможно, самым одаренным. Но не единственным. Он тоже представлял *слой*. А мать видела в нем уникаму.

Глава десятая. **ВТОРОЙ ШАНС**

«Только сам дьявол может помешать сыну заговорщицы с английским образованием стать выдающимся политиком!»^{[1658](#)} — когда-то написал Горацио Уолпол. В марте 1779 года обучение Павла Дашкова закончилось. Его ждало блестящее поприще, но молодой князь не только не сделал головокружительной карьеры, а как-то потерялся среди житейских неурядиц. Хотя шансы на успех были велики.

Господин магистр

В России существовал обычай весной, на Благовещение, отпускать птиц на волю. В марте 1779 года студент Павел Дашков сдал экзамены и стал магистром искусств Эдинбургского университета. А в мае лорд-мэр шотландской столицы присвоил молодому человеку звание «почетного гражданина». Без хлопот матери такое было бы невозможно. Но в «Записках» княгиня отдает первенство сыну.

«Собрание было очень многолюдно, — писала наша героиня об экзаменах, — и его ответы по всем отраслям науки вызывали шумные аплодисменты (что было воспрещено)... Мое счастье может быть понято и оценено только матерью»^{659}. Дашкову переполняла гордость за наследника. В трактате «О смысле слова “воспитание”» она даже бралась объяснять соотечественникам, что такое «экзамен», как если бы ее сын первым преодолел это «испытание»^{660}.

Звания магистра достаивались далеко не все выпускники. За 53 года, с 1749-го по 1802-й, его получили 104 соискателя, то есть примерно двое в год. Одним из условий конкурса являлась диссертация, Павел посвятил свой труд «Философия трагедии» сценическому искусству. Опираясь на работу ирландского публициста Эдмунда Берка, опубликованную в 1751 году, молодой студент развил мысль о том, что зрители получают наслаждение, видя ужасные и трагические вещи^{661}. Эта идея ежедневно находила подтверждение в семье Павла, где мать, вольно или невольно, играла трагическую роль и, купаясь в болезненных переживаниях, испытывала удовольствие. В ее доме назревали перемены — скорое расставание с сыном. Но Екатерина Романовна нашла способ отсрочить неизбежное.

«По долгу матери я должна ввести тебя в круг нового мира понятий, раскрыть перед тобой сцены, уже знакомые тебе, и дать самые верные средства извлечь из них возможно большую пользу»^{662}, — говорила она в письме Павлу. Считается, что текст этого произведения имеет много общего с известным в английской литературе назидательным «Письмом лорда Честерфилда сыну» 1746 года и создан княгиней накануне отъезда из Эдинбурга^{663}.

Множество конкретных инструкций показывают, что молодой человек должен был на время остаться без материнской опеки: «Не забудь, что ты

едешь не для одного удовольствия, у тебя нет пустого времени... Все, что ты выучил о правах, характерах и образе правления других народов, теперь можешь поверить собственным опытом... Всего больше надобно дорожить общественным мнением, то есть внимательно следить за своими поступками...» «Спасительное недоверие себе» предохранит юношу от «тысячи ложных стезей».

Так пишет обеспокоенная мать, не имеющая возможности вовремя уберечь сына советом. «Путешественник шестнадцати или семнадцати лет не должен выказывать своих талантов. Все, что от него можно требовать — внимание... Всякая другая претензия в этом возрасте есть чистая глупость». Вспоминала ли княгиня себя в 16–17 лет, когда писала эти строки?

Итак, накануне отъезда из Эдинбурга Павлу могли дать вольную. Но не дали. Дашкова предпочла взять молодого человека с собой. Можно предположить, что такому решению способствовал скандал с гувернером: теперь княгиня не доверяла посторонним людям. Но нет, в Дублине юноше сразу же наняли некоего мистера Гринфилда, с которым он «каждое утро» повторял пройденный курс наук. Значит, была иная причина.

На побережье нашу героиню ждали «красивый и удобный дом», заботы подруг Кэтрин Гамильтон и Элизабет Морган, близкое знакомство с известной ирландской благотворительницей леди Арабеллой Денни, вечерние поездки на чай или в театр. Каждую неделю Дашкова давала бал, кроме того, она часто ездила в местный парламент слушать прения.

Если бы мать брала с собой сына, чтобы ознакомить его с чужим политическим устройством, ее поступки вполне укладывались бы в схему образовательного путешествия. Но Павел учился танцам, итальянскому языку и читал греческих и латинских классиков. Видимо, «образ правления иных народов» больше интересовал саму княгиню. «Дни мои текли спокойно и радостно, не оставляя желать ничего лучшего», — признавалась она. Всё вокруг казалось ей «счастливым и очень реальным сном», «целый год пролетел с волшебной быстротой».

Год. Очень долгая пауза для юноши, которому надлежало явиться на службу. Еще совсем недавно Дашкова спешила с образованием сына — университетский курс затри года. Теперь непозволительно затягивала его путешествие — тоже почти три года. Зачем понадобилась отсрочка? В России при массе изменений на политической арене происходило то же, что и всегда. Шла борьба партии Панина и набравшей силу группировки Потемкина. К последней по вопросу союза с Австрией примыкал брат княгини — Александр Воронцов, ставший в 1779 году сенатором.

Дашковой предстояло подумать, с кем она намерена двигаться дальше. Не стоило торопиться домой, пока горизонт не прояснится. В мае 1780 года Екатерина II направилась в путешествие в Могилев для встречи с Иосифом II. В мае же 1780 года Дашкова «с тяжелым сердцем покинула Дублин». Ей предстояло проехать по Европе, побывать в столицах, встретиться с очень высокопоставленными персонами и определить, наконец, свое место в новом политическом раскладе. Тот, кто согласился бы помочь возвышению Павла Михайловича, получил бы княгиню в качестве союзника.

Опасный «антузиан»

Во второй декаде мая 1780 года семейство Дашковых прибыло в Лондон. Это была хлопотная и тревожная поездка, сопряженная с личными неприятностями. Но в мемуарах о ней рассказано коротко и благостно. Первое, что бросается в глаза, — зарисовка королевской семьи. Встреча с государями конституционной страны должна была представлять для нашей героини особый интерес и оставить в ее «Записках» яркий след. Но он чересчур усыпан позолотой. Монархи проявили «свойственную им доброту и любезность», «королева была примерной матерью, и ее прекрасная семья вполне заслуживала и оправдывала ее великую нежность. Я видела ее прелестных детей, действительно похожих на ангелов»^{664}.

Екатерина Романовна явно не «режет правду как хлеб», а выказывает себя «мастерицей тонко польстить». Семья Георга III служила притчей во языцех не только у себя на родине, но и при всех дворах Европы. Лишь благонамеренные подданные называли короля «чудаковатым», а оппозиционеры и врачи — сумасшедшим. Огромный выводок принцев и принцесс не отличался ни умом, ни воспитанием. Королеву жалели настолько, насколько это позволяло легкомыслие столичного общества.

Первый приступ безумия постиг Георга III еще в 1765 году: королю представлялось, что Лондон затоплен, он не узнавал жену, непристойно ругался и буянил. Потребовались смирительная рубашка и кляп, чтобы успокоить его величество. Затем до 1788 года продолжалось затишье^{665}, во время которого Георга и видела Дашкова.

Создается впечатление, что Екатерина Романовна пощадила британскую королевскую чету, не опускаясь до сплетен: де государь отдавал приказы давно умершим лицам, решил взимать налоги с покойников, пытался изнасиловать служанку, принял подушку за своего сына и отдубасил ее... Такая щепетильность пера особенно заметна на фоне рассказов о Петре III и Павле I. Ее легко объяснить, если учесть, что мемуары предназначались для публикации в Англии.

Однако была и другая причина доброжелательности. Система воспитания детей, принятая в семье Георга III, не могла не импонировать Дашковой. На отпрысков не оказывала влияния развращенная атмосфера двора, наследники подрастали в загородной резиденции в Кью, в строгой и даже мрачной обстановке. Им запрещалось сидеть в присутствии взрослых, читать развлекательные книги, принцев и принцесс приучали к ручному

труду, кормили простой пищей, рано укладывали спать. Будущий Георг IV был всего на год старше Павла Дашкова и в тот момент производил впечатление «безукоризненного джентльмена».

Пройдет совсем немного времени, и излишняя строгость обернется против родителей. Едва избавившись от опеки, наследники станут пьяницами и мотами, их баснословные долги будут уплачиваться из казны королем или парламентом. Принц Уэльский больше никогда не прикоснется к скромной пище, тратя состояние на изысканные блюда, скакунов, коллекции картин и фарфора, но главное — на женщин. Первое, что он сделает, почувствовав самостоятельность, — тайно женится на мисс Мэри Энн Фицгерберт, вдове неаристократического происхождения. Парламент будет пытаться установить опеку над расходами молодого Георга. Не правда ли, заметно сходство с судьбами Павла и Анастасии Дашковых?

Еще одна особенность, которая должна была радовать нашу героиню, — это почти полное невмешательство английских монархов в политику. Их тихая семейная жизнь как бы противопоставлена, но чему? В соответствии с нынешней логикой текста — событиям дома, где потрясения вызваны именно абсолютной властью. Но это кажущаяся, искусственная логика. Перед читателем новая лакуна в мемуарах — отсутствие фрагмента, который либо никогда не был написан, либо исчез.

Тем не менее фрагмент должен был существовать, если не в ранних редакциях, то в голове создательницы. К нему тянулись оборванные нити. Гармония, царящая в королевской чете, лежит на одной чаше весов, а уличные беспорядки, охватившие Лондон по вине публичных политиков, — на другой. В момент пребывания Екатерины Романовны в английской столице случился так называемый Гордоновский бунт — одно из самых кровавых выступлений бедноты. Эти события напрямую затронули княгиню, поскольку в них принял участие ее побочный брат — Иван Ронцов (Ранцов), сын Романа Илларионовича от английской любовницы Элизабет Брокет^{[\[666\]](#)}.

На страницах мемуаров Ронцовы отсутствуют. Княгиня была не в восторге от их существования. Мало того что любовница присвоила часть богатств ее матери, так еще и отец наделил побочных сыновей наследством! Иван владел землями в Пензенской, Тамбовской и Костромской губерниях, а Александр — близ Ораниенбаума^{[\[667\]](#)}.

В Лондоне, куда Иван Ронцов был направлен чрезвычайным курьером, наша героиня не могла избежать хотя бы мимолетных контактов с ним.

Подполковник был на 11 лет младше нашей героини, ему едва исполнилось 25. Он называл себя «антузиан» (энтузиаст), то есть обладал пылким, горячим темпераментом, чем походил на других детей Романа Илларионовича.

2 июля в Лондоне начались беспорядки, вызванные так называемым «Актом о папистах» двухлетней давности. Он давал католикам Англии некоторые права: приобретать землю, содержать школы, служить в армии, отменялось преследование католических священников. Ассоциация протестантов, главой которой был лорд Джордж Гордон, подала в парламент петицию об отмене «Акта» и вывела на улицы от сорока до шестидесяти тысяч человек. Демонстранты двинулись к Вестминстерскому дворцу, выкрикивая антикатолические лозунги. Тут к ним и присоединился Иван Ронцов, захваченный красочным действием. Уже в России на следствии он показал: «Вначале был зрителем, но, увлеченный таковым развращенным зрелищем... выступил прямо из здравого разума, и как антузиан по молодости своей сняв с себя шляпу, тут же с тою толпою закричал: “Ура!”»^{668}.

На этом приключения курьера не закончились. Он принял участие в разгроме католической церкви и был схвачен. Проявление вероисповедной нетерпимости должно было задеть княгиню. Совсем недавно она наставляла сына: «Относительно религиозных мнений, где бы ты ни соприкасался с ними, должен уважать их. Серьезное или шуточное опровержение их, каковы бы они ни были, оставляет по себе самое горькое и оскорбительное впечатление на человеке и никогда не забывается»^{669}. Мудрые слова. И тут единокровный брат Дашковой громит храм!

Восстание продолжалось в течение пяти дней. Парламент отклонил петицию, в ответ манифестанты нападали на членов палаты лордов, ломали их кареты, потом двинулись в район Мурфилд, где проживало много ирландцев, громили дома католиков, ворвались в сардинское и баварское посольства, взяли штурмом Ньюгейтскую тюрьму, заключенные которой разбежались. На сожженных стенах узилища написали «King Mob» — Король Толпа. Чем не Бастилия? Лондон охватили поджоги. 6 июля число бунтующих достигло ста тысяч. Было введено военное положение, в город вступили войска, которым удалось подавить мятеж^{670}. По официальным данным, оказалось убито 285 человек, по неофициальным — около полутора тысяч, не считая жертв пожаров. За участие в беспорядках было казнено 25 бунтовщиков. Однако судьба иностранного подданного, чрезвычайного курьера подполковника Ивана Ронцова не могла решиться

без консультаций с Петербургом.

Благодаря хлопотам посла И.М. Симолина «антузиана» освободили из полиции. Ему было приказано немедленно покинуть Англию. По прибытии в Россию Ронцова арестовали. Императрица призвала для совета английского посла Джеймса Гарриса. «Я отвечал ей, что ее милосердие равняется ее справедливости, — доносил он в Лондон, — и я надеюсь, что она не применит к нему особенно строгого наказания, объяснив его поступок... заблуждением и необузданностью молодости»^{671}. Такого ответа императрица и ждала.

Ронцов был наказан очень мягко — временным увольнением со службы и повелением жить в деревне. Причину подобной снисходительности искали в прошлых, мимолетных отношениях государыни с молодым подполковником. В 1778 году возникли слухи о возможном возвышении Ивана Романовича. После отставки С.Г. Зорича с поста фаворита императрица якобы заколебалась в выборе^{672}. Она остановила милостивый взгляд на красавце И.Н. Римском-Корсакове — «Пирре царе Эпирском». Но придворные продолжали приписывать Ронцову краткую роль статиста в куртуазной постановке^{673}. Уже одно это делало Ивана Романовича крайне неприятным для Дашковой лицом.

«Сносный Помпей»

Тем временем лондонский свет готов был увидеть в княгине закулисную соучастницу беспорядков. Особенно усердствовал Уолпол: «Эта скифская героиня» «чувствовала революцию в воздухе!» «Ее побочный брат Ранцов был арестован... она сама в среду послала к лорду Эшберхему записку о том, что его дом был намечен к разрушению». При таких условиях долго задерживаться в английской столице княгиня не могла. Хотя бы ради сына. Описывая ее появление «с толпой татар» на одном из вечеров, Уолпол мимоходом бросил: «Парень — вполне сносный Помпей»^{674}.

Почему Помпей? Менее всего Павел Михайлович внешне походил на древнеримского героя. Однако Помпей — противник Цезаря, защитник республиканских свобод. Мать-заговорщица, мать-гражданка воспитывала сына для грядущих битв. Такой смысл вложен в это прозвище. Следует констатировать, что уже в Англии, без всяких усилий со стороны юноши, о нем заговорили как о будущем политике.

О том, как сами Дашковы воспринимали ситуацию, косвенным образом свидетельствует письмо молодого князя Эдмунду Берку. Прибыв в Бат, семья была настолько напугана лондонскими сплетнями, что никого не принимала. Тем более Берка, слывшего защитником католиков («Сделайте что-нибудь для Ирландии! Сделайте же хоть что-нибудь для моего народа!» — взывал он к королю)^{675}. Философу было отказано во встрече. Спohватившись, Павел написал извинительное послание. Поскольку недавно Берк проиграл на выборах в палату общин, князь выразил примечательную мысль: «Родиться, как Вы, в свободной стране, быть, как Вы, членом Сената свободного государства... было бы моим самым сокровенным желанием... И огромным несчастьем этой страны, знаком ее морального разложения, является то, что она по собственному желанию отказалась от полезных услуг такого талантливой и глубоко уважаемого человека»^{676}.

Либо Павел полностью впитал взгляды матери, либо писал под ее диктовку. Несчастье России в том, что она отказывается от услуг княгини. Видимо, наша героиня была не готова к тому, что и при парламентском строе талантливый человек может проиграть на выборах.

Тем более о «моральном разложении» свидетельствовали слухи насчет фавора. Сама Екатерина Романовна якобы озаботилась сопровождавшей

сына молвой в Лейдене, когда встреченный там Орлов прямо заявил, что молодой Дашков станет фаворитом. Но правда состоит в том, что княгиня буквально бежала из Лондона, боясь невыгодных параллелей между Ронцовым и Павлом.

В отличие от лондонского эпизода история со слухами вокруг сына рассказана княгиней в мемуарах очень подробно. Зачем понадобилось касаться щекотливого вопроса? Княгиня без ущерба для «Записок» опускала и более значимые эпизоды. Но на сей раз промолчать она не могла. Повторим, что книга предназначалась в первую очередь для публикации в Англии, а британский читатель был знаком с вышедшей в 1787 году брошюрой сэра Джона Синклера «Общие наблюдения, касающиеся настоящего состояния Российской империи», где о Дашковой говорилось, что она жаждала назначения сына фаворитом, но делу помешал Потемкин^{677}.

В мемуарах требовалось изменить сложившееся мнение. Показать, что слухи о фаворе возбудил вечный антипод Дашковой — Орлов. «Трудно представить себе более красивого юношу», — якобы заявил старый враг. И далее уже самому Павлу Михайловичу: «Я убежден, что вы затмите фаворита», он будет «принужден уступить вам свое место». Дашкова повела себя, как подобает строгой матери: «Эта странная речь заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал; я поскорее выслала его из комнаты... Когда мой сын вышел, я выразила князю свое удивление, что он обращается с подобными словами к семнадцатилетнему мальчику».

Отповедь не возымела действия. Слухи переползли вслед за Дашковыми из Голландии в Париж. «Как же сделать известным, где следует, что... я не только не строю столь нелепых планов, но и прихожу в ужас оттого, что они зародились в голове Орлова?» — недоумевала Дашкова. Ответ тогдашнего собеседника княгини А.Н. Самойлова, племянника Потемкина, прозвучал несколько двусмысленно: «Императрица знает вас слишком хорошо». Так поверит она или нет? Но главное — как оградить карьеру Павла? «Меня тревожил не страх, что мой сын не попадет в фавориты, а опасение, что настоящий фаворит, боясь соперничества сына, будет тормозить его службу и даже вовсе удалит его от императрицы»^{678}.

Еще из Лондона Дашкова написала первое, несохранившееся, послание Потемкину, прося вице-президента Военной коллегии назначить ее сына адъютантом при государыне. Княгиня понимала, что соперничество может быть жестоким и даже погубить ее мальчика.

Особенно она опасалась, что Павел, как зернышко в жернова, попадет между Орловым и Потемкиным. Это не позволило ей сразу же откликнуться на предложение Григория Григорьевича перевести Павла из Кирасирского полка в Конногвардейский, под свое начало, «вследствие чего он сразу будет повышен на два чина». Щедрый жест. Но солнце Орлова давно закатилось. Два офицерских чина по полку — это еще не адъютантские аксельбанты.

Разговор с Орловым спровоцировал второе письмо в Петербург от 24 ноября 1780 года. Тем более что на первое князь не ответил. Такое пренебрежение задело Екатерину Романовну, и уже в Париже она выговорила Самойлову: «Я... не привыкла к тому, чтобы мне не отвечали на мои письма, ввиду того, что даже коронованные лица относились ко мне иначе». Просить о помощи и в то же время щепетильно указывать на бестактность — в этом вся Дашкова!

Молчание не было знаком забывчивости. Ведь княгиня, как всегда, задала сильным мира сего трудную задачу. «Мне было неизвестно о невозможности моему сыну вдруг достигнуть этого счастья, — писала она Потемкину, — но я знала также, что ваша светлость как военный министр легко может повисить его, приблизив к этому званию до возвращения».

Иными словами, мать добивалась адъютантства для еще не служившего мальчика. Чтобы такое нарушение произошло, требовался приказ императрицы. Его-то и ожидал вице-президент Военной коллегии. Екатерина II взяла паузу. Ей хотелось знать, как поведет себя княгиня в новой политической ситуации, к кому примкнет.

Со своей стороны Екатерина Романовна весьма опрометчиво взялась давить на Потемкина. Ее второе письмо из Брюсселя — акт вежливого шантажа: «Так как я в Лейдене встретила князя Орлова, который полюбил моего сына и с откровенностью и участием, нас всех очаровавшими, предложил ему просить императрицу о переводе в его конногвардейский полк офицером, то... в случае если ваша светлость не пожелаете утруждать себя судьбой моего сына, он мог бы, не теряя времени, воспользоваться счастливым расположением к нему князя Орлова»^{679}. Проще говоря, если вы не хотите удовлетворить мою просьбу, мы прибегнем к другому покровителю.

Так очаровал Орлов княгиню или нанес ей оскорбление? Полагаем, часть правды содержится в обоих текстах. Просто они показывают ситуацию с разных сторон.

«Мне дали понять...»

Следующий шаг Дашковой был еще более опрометчивым. В самом начале 1781 года она прибыла в Париж, где окунулась в атмосферу старых знакомств: Дидро, семейство Неккеров, аббат Рейналь, виденные когда-то в Петербурге скульптор Фальконе и его ученица мадемуазель Коло — творцы Медного всадника. Сам знаменитый Гудон работал над мраморным бюстом княгини, а королева Мария Антуанетта пригласила посетить Версаль.

«По вечерам у меня дома собиралось целое общество», — вспоминала Екатерина Романовна. «Встретилась я и с Рюльером... Подойдя к нему, я сказала, что... я очень рада его видеть, и если госпожа Михалкова, не желая никому показываться, пожертвовала удовольствием, которое ей доставило бы его общество, то у княгини Дашковой нет никаких оснований поступать так же. Я... буду с удовольствием принимать его, когда ему угодно»^{680}.

Как такое понимать?

Княгиня знала, что за ней наблюдали. Даже контролировали переписку. И вдруг демонстративное сближение с Рюльером. Хотя Дашкова и заявила, что не станет «ни читать, ни слушать его книгу», само ее появление рядом с автором санкционировало текст.

Не значат ли такие игры, что наша героиня дразнила Екатерину II? Она давала понять императрице, что княгиня Дашкова, в отличие от госпожи Михалковой, может перестать держаться как тихая незаметная подданная.

Чтобы проверить произведенное впечатление, Дашкова 23 февраля 1781 года написала третье письмо Потемкину. Его тон свидетельствовал о сдерживаемом раздражении: «Заявите, милостивый государь, ее величеству, что она переполнила бы желания матери, если бы соизволила почтить его (Павла Михайловича. — О. Е.) званием своего адъютанта... ибо для меня существенно, чтобы по возвращении в Отечество он не имел бы несчастья сидеть в одной комнате с караульными... чтобы счастье быть вблизи своей великой государыни не соединялось для него с каким-либо унижением и огорчением»^{681}.

Последнюю фразу биографы Дашковой часто трактуют как просьбу избавить Павла от возможного фавора. Но если прочесть письмо целиком, то становится ясно: княгиня говорила о стыде «сидеть в одной комнате с караульными». Солдаты не больше подходили ее сыну, чем русские студенты в Эдинбурге.

Однако попытки напористо наступать на Потемкина, как на

профессора Робертсона, не возымели успеха. Он по-прежнему молчал. Дело решала сама государыня, и пока старая подруга вела себя опрометчиво, ответа быть не могло.

Природную гордость Дашкова демонстрировала самым утонченным образом — отказываясь от почестей и подчеркивая, что они ей положены. «Мне дали понять, что мне следует явиться в Версаль, — писала она о желании королевы Марии Антуанетты познакомиться с ней. — Я ответила, что, несмотря на то, что была графиней Воронцовой по отцу и княгиней Дашковой по мужу... что, хотя для меня лично всякое место безразлично... и хотя я не предавала значения знатности рождения, так что вполне равнодушно могла видеть, как французская герцогиня, дочь разбогатевшего откупщика, сидит на почетном месте (при версальском дворе им считался табурет), но в качестве статс-дамы императрицы российской, не могу безнаказанно умалять свой ранг».

Почему княгиня решила, что в Версале ее обязательно унижат? Сорок лет назад двоюродные сестры императрицы Елизаветы Петровны по матери — Скавронские и Гендриковы — посетили Версаль. Они хотели, чтобы с ними обращались как с кузинами русской государыни, но им указали на низкое происхождение и не позволили даже сесть в присутствии короля. Тем временем его фаворитка, маркиза Помпадур — «дочь разбогатевшего откупщика», — возвышалась на почетном «табурете». Сама Елизавета Петровна — в юности невеста Людовика XV — стояла второй в списке суженых французского монарха, но ее отвергли из-за того, что она дочь «подлой простолюдинки»^[682]. Екатерина Романовна была в родстве с императорским домом через жену своего дяди Анну Карловну Скавронскую, то есть через ту же «подлую» линию. Теперь она добивалась, чтобы с ней в Версале обошлись как со статс-дамой русского двора, если не примут во внимание княжеский титул.

Дабы избежать недоразумения, Мария Антуанетта встретилась с Дашковой как с частным лицом — в доме своей приятельницы мадам Полиньяк, где «вследствие отсутствия придворного этикета» обе чувствовали себя «свободнее».

Об осознании Дашковой особенностей своего положения свидетельствует малозначительный на первый взгляд эпизод. В разговоре королева коснулась танцев. Мария Антуанетта выразила сожаление, что при французском дворе принято танцевать только до двадцати пяти лет. Дашкова возразила, что танцевать стоит, «пока ноги не отказываются служить». На следующий день в Париже все из уст в уста передавали вырвавшуюся у княгини фразу. Но это не доставило ей радости: «...так как

похоже было, будто я хотела дать урок королеве».

Впервые в жизни Екатерина Романовна задумалась, как звучат ее слова — самые невинные — со стороны, как их слышат люди. Ей шел четвертый десяток. А ведь «менторский тон» княгини еще в 1762 году отмечал Рюльер. Этот тон не годился ни в Версале, ни в Зимнем дворце. Екатерину II, как и Марию Антуанетту, не стоило учить, а Потемкиным — командовать. Но трудно, очень трудно побороть свою натуру.

Римские каникулы

Со смешанными чувствами наша героиня уехала в Швейцарию, а затем в Италию. Семья посетила множество городов, общалась с художниками, скульпторами и знатоками искусства, княгиня закупала коллекции и редкие вещи. Женева, Лозанна, Турин, Генуя, Парма, Флоренция, Пиза, Сиена, Рим, Неаполь, раскопки Помпеев, Лоретта, Падуя, Виченца, Верона... Самые высокопоставленные лица становились собеседниками путешественницы, делали подарки. Дашкова посоветовала неаполитанскому королю устроить музей в Помпеях и получила ответ: «Какая умная женщина!.. Все антикварианты не придумали ничего подобного». Да неужели?

В Ливорно «редкая мать» повела детей осматривать инфекционный госпиталь, предварительно пропитав их платки уксусом с камфорой и заставляя поминутно подносить к носу. Другой защиты от эпидемий в то время не знали. В конце экскурсии комендант «выразил удивление... мужеству» Екатерины Романовны. Что ж, назовем это так.

В Пизе, по приказу герцога, из его собственной, городской публичной библиотеки и собраний близлежащих монастырей княгине доставляли множество книг. «Я установила целую систему чтения в хронологическом порядке и по предметам». В восемь утра семья удалялась в комнату «на северной стороне дома», в одиннадцать уже приходилось закрывать ставни от палящего солнца. Все читали поочередно вслух «до четырех часов», потом еще час после обеда. Девять часов чтения в день! И так девять недель. «Мой сын прочел столько книг, что для прочтения их любому молодому человеку понадобился бы целый год»^{683}, — ликовала княгиня.

Тем временем договор России с Австрией был подписан. В знак несогласия с новым курсом Панин ушел в отставку. Сторонники Потемкина праздновали победу. Пора было определяться и Дашковой. Княгиня решила обратиться прямо к государыне — видимо, личного послания, полного нижайших просьб, от нее и ждали. И тут она не нашла ничего лучшего, как пожаловаться на победителя: «Я восемь месяцев назад писала военному министру князю Потемкину, чтобы отрекомендовать ему моего сына и узнать, был ли мой сын повышен в чине за последние двенадцать лет... Не получая ответа и признаваясь императрице, что я слишком горда, чтобы допустить мысль о том, что меня хотят унижить... Я смело и откровенно попросила ее уведомить меня, на что я могу рассчитывать для

моего сына»^{684}.

Оружие было сложено перед Екатериной II. Незадолго до Рождества императрица отправила старой подруге милостивое письмо: «Я приказала зачислить своего крестника в гвардию, в тот полк, который Вы предпочтете. Уверяю Вас в своем неизменном уважении»^{685}. В «Записках» слова Екатерины II переданы иначе: «Она назначила его камер-юнкером с чином бригадира»^{686}.

Приведенное место показывает внутреннее пространство текста: княгиня пишет себе, спорит с собой, сама отвечает на свои вопросы. Здесь Павел обретает чины отца, как бы замещая его в сознании Дашковой. Реальные документы куда прозаичнее: никакого придворного чина, тем более бригадирства (на три ступени по Табели о рангах выше того, что получил юноша по приезду). Однако сам факт личного послания государыни позволял на многое надеяться.

Письмо императрицы успело в Рим буквально накануне приезда графа и графини Северных — великокняжеской четы, путешествовавшей по Европе. Екатерина Романовна весьма интересовалась их расположением к сыну. «Великий князь не узнает своего крестника: настолько он вырос и возмужал, — писала она А.Б. Куракину. — Если он будет осчастливлен покровительством великого князя, я не буду сожалеть, что недостаток значения нашего уважаемого Никиты Ивановича оставляет его без всякой опоры»^{687}. Панин к этому моменту, как и Орлов, — мертвый волк. А Куракин, один из ближайших друзей Павла Петровича, мог уверить наследника в лояльности молодого Дашкова.

Однако встреча с великокняжеской четой обманула ожидания матери. В мемуарах о ней сказано кратко. Но за скороговоркой у княгини обычно скрывались целые страницы жизни. Единственное свидетельство — зарисовка с натуры, сделанная мисс Эллис Корнелией Найт. В Риме кардиналом де Берни был устроен концерт, на котором присутствовал и Павел Петрович. Как злая фея из сказки, Дашкова «прибыла на праздник, одетая в черное. Великий князь и княгиня считали, что она шпионит за ними... Она села на концерте как можно ближе к великому князю, сразу позади него справа. Он был очень рассержен и, повернувшись к ней, сказал: “Мадам, неужели вы не могли надеть что-нибудь другое в присутствии своего суверена?” Княгиня Дашкова в качестве извинения уверила его, что все ее платья упакованы, поскольку она собиралась покинуть Рим. Великий князь ответил: “Но в таком случае вы могли бы не приезжать”»^{688}.

Павел Петрович сам показывал, что не намерен покровительствовать Дашковым. Говоря по правде, у Екатерины Романовны вовсе не было выбора, за какой партией идти. Ради карьеры сына она должна была держаться государыни.

Саардамский плотник

В Вену Дашкова прибыла уже пылкой сторонницей Екатерины II, как если бы два десятилетия трудных, болезненных отношений оказались стерты по мановению скипетра императрицы. Венцом верноподданных речей княгини стал разговор с канцлером В.А. Кауницем, в котором она при сравнении старой подруги с Петром I отдала предпочтение философу на троне перед царем-плотником.

Монолог Дашковой о реформах Петра I можно назвать программным. К концу XVIII столетия просвещенные патриоты начинали тяготиться постоянным славословием в адрес реформатора и хотели вести родословную своей страны от времен Рюрика, а не с основания Петербурга.

«Некоторые реформы, насильственно вводимые им, — заявила Дашкова, — со временем привились бы мирным путем... Если бы он не менял так часто законов... он не ослабил бы уважение к законам... Он ввел военное управление, самое деспотическое из всех... торопил постройку Петербурга, тысячи рабочих погибли в этих болотах... испортил русский язык»^[689].

Сходного мнения придерживались М. М. Щербатов, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков. Оно восходило к рассуждениям Жан Жака Руссо в «Общественном договоре» 1762 года, где философ обрушивался с яростной критикой на петровские преобразования. По его мнению, вместо того чтобы делать из русских немцев, следовало развивать их самобытность, народ нуждался не в цивилизации, а в закалке. Теперь развращенные западной культурой русские ослабеют, подпадут под власть любой азиатской орды, которая следом захватит и Европу^[690].

Однако у княгини и философа были разные отправные точки для негодования. Судя по «Рассуждению о правлении в Польше» 1772 года, «пламенный Жан Жак» уповал на хранящих самобытность поляков как на заслон от враждебного Севера и Востока. Екатерина Романовна Польши не любила и называла ее жителей «наиболее холопской нацией». Она предъявляла к Петру I претензии не за то, что он лишил Европу щита, а за то, что «уничтожил свободу и привилегии дворян». Речь в первую очередь о Боярской думе, в которой члены высокопоставленных родов давали государю советы и совместно с ним правили державой. Дашкова считала, что прежде самодержавие было ограничено боярским представительством.

Преобразования же начала XVIII века — своего рода вывих, который требуется исправить.

Ее дядя Панин, исходя из методологии Монтескье в «Духе законов», считал, что Россия не вписывалась ни в один из типов правления: «Государство не деспотическое, ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление... Не монархическое, ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия, ибо верховное в нем правление есть бездушная машина... на демократию же и походить не может»^[691]. Тогда что? В рамках заявленной схемы Россия двигалась от деспотии к монархии, для которой недоставало только фундаментальных законов.

Монологом о Петре I Дашкова напоминала, что такие законы были — Уложение Алексея Михайловича 1649 года — значит, страна уже являлась монархией, но из-за реформ Петра I потеряла этот статус — качнулась к деспотии. О том, что подобное движение возможно, корреспондентку предупреждал на примере Франции Дидро.

Когда-то княгиня предполагала, что Екатерина II вернет Россию на путь истинный, разумеется, призвав подругу в помощницы. Но императрица, напротив, провозгласила себя продолжательницей дел великого преобразователя. Монолог Дашковой о Петре I — скрытое напутствие государыне: не будь деспотична, не меняй законов, не уничтожай привилегии дворян, очисти русский язык... Княгиня ставила Екатерине II политические условия. Поздновато, если учесть мольбы о карьере сына. Негласный договор был уже заключен, но наша героиня считала себя вправе расширять требования.

В Вене с Дашковой встретился император Иосиф II и около часа говорил с путешественницей наедине, без протокола. Память об этом событии была сохранена своеобразным способом. До сих пор в загородной резиденции Шенбрунн в огромном Зале церемоний можно видеть цикл монументальных полотен Мартина ван Мейтенса, посвященных свадьбе Иосифа II и Изабеллы Пармской. Картины создавались в 1760–1765 годах, а позднее в них вносились кое-какие дополнения. Так, после выступления в Вене чудо-ребенка Моцарта, которого Мария Терезия даже держала на руках и осыпала поцелуями, было решено запечатлеть малыша и его покровителя архиепископа Колоредо на картине «Вечерний концерт в Бальном зале» («Серенада в Редутских залах»). Для этого часть не слишком важных гостей затерли, а на их место вписали священника и маленького Вольфганга Амадея. Любопытно, что по левую руку от Моцарта, через три фигуры, у самого края картины, показана дама, точно сошедшая с гравюры

Г.И. Скородумова 1777 года. Ее прическа и одежда не соответствуют моменту. Волосы зачесаны выше, чем у других жен-шин, а вместо открытого придворного платья с декольте и кружевной накидкой, которыми щеголяют знатные гости, — меховая душегрейка. Подчеркнем: это единственная женщина в мехах во всем зале. На голове у дамы газовая накладка, восходящая к чепцу на миниатюре О. Хамфри 1770 года или портрету Д. Гарднера 1776–1780 годов из собрания Уилтон-хауса. Вероятно, маленький Моцарт — не единственный, кого, по желанию августейших заказчиков, увековечили в данном произведении искусства.

В Берлине старый хитрец Фридрих II, еще не утратив надежду вернуть вес в русских делах, принял Дашковых с помпой. Он даже разрешил княгине присутствовать на военных маневрах, чего обычно не делал для женщин. Оставалось только догадываться, как семья, совершившая триумфальный круг по Европе, будет встречена дома.

«Жертва деликатности»

Весной 1782 года Дашковы вернулись в Россию. Особняка в столице у них не было. Поэтому Екатерина Романовна направилась в Кирианово, где стоял летний дом. Здесь княгиня прожила до глубокой осени, вынеся наводнение, сырость и холод.

В одном из писем старому сотруднику дяди — Д.И. Фонвизину — она иронизировала: «У нас же пристойных трактиров не завелось, а то бы хотя новое зрелище представила — в столице ее величества двора ее статс-дама, а притом русская уроженка, в трактире домком живущая! По дорожной привычке в трактир въехала! Теперь же в подражание ее подвластных кочующих народов и за неимением палаток, остается в карете на улице жить!»^{692} Кажется, княгиня смеется, но с раздражением и претензией. Трижды повторенное «ее» указывает на адресата колкостей. Императрицу. «Конечно, Е.Р. Дашкова желала более достойной для себя встречи»^{693}.

Триумфальных ворот?

Возможно, у Екатерины Романовны не было денег на наем приличного жилья? Но, едва приехав, она начала через отца Романа Илларионовича торговать новую деревеньку, не сошлась в цене — «по сту рублей душа» дороговато — и «отложила попечение»^{694}.

Пройдет несколько месяцев, наша героиня будет осыпана пожалованиями, но так и не переедет из Кирианова. Станет греться присланной братом Александром водкой, но не тронется с места. Почему? Остается предположить, что она ждала приглашения во дворец. При тогдашнем благоволении государыни такой оборот выглядел вполне реалистично. Однако Екатерина II поставила себе за правило не жить с княгиней под одной крышей. Уже глухим ноябрьским днем она задала вопрос, все ли еще подруга проводит время на даче. И, получив утвердительный ответ, прямо указала на дом герцогини Курляндской: «Я велю его купить для Вас»^{695}.

Звучит как приказ. Надежды княгини не оправдались.

Вернемся назад.

Летом на даче в Кирианове Екатерина Романовна чувствовала себя вольготнее, чем в столице. Отсюда можно было совершать поездки по окрестностям, не опасаясь, что за каждым твоим шагом наблюдают. А потому первые визиты Дашкова нанесла отставному и уже тяжелобольному Панину. Как принял ее старый покровитель?

Он никогда не скрывал перед племянницей своих мыслей. Рассуждение Никиты Ивановича о переменах в законодательстве имеет много общего с упреками Дашковой в адрес Петра I. Только теперь под ударом его красноречия был другой деспот — Екатерина II. «Тщетно пишет он новые законы, возвещая благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы будут не что иное, как новые обряды, запутывающие законы старые, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское»^{696}.

Эти рассуждения были близки нашей героине. Однако теперь ее занимали другие мысли: представление ко двору и производство сына. Поэтому, когда в Кирианово завернул сам Потемкин, а Дашковы оказались в гостях у Никиты Ивановича, княгиня горько сожалела: «Мне было очень досадно, что он не застал меня дома».

Не следовало жертвовать прошлому настоящим. Для Панина всё было кончено. Для Дашковой начиналась новая страница жизни, полная надежд. Впрочем, на первой же строке чистого листа судьба поставила кляксу. Дом в Кирианове подмыло весенним паводком, среди болот Павел Михайлович подхватил горячку, саму княгиню скрутил ревматизм, перешедший с ног на живот. Мучительные приступы рвоты могли быть признаками сильнейшего нервного напряжения. Потемкин узнал о визитах к Панину и должен был рассказать императрице. Позволительны ли контакты с опальным вельможей? Когда-то Екатерина II запрещала министру откровенничать с племянницей. Теперь те поменялись ролями.

Но всё обошлось. «Мой добрый и искусный Роджерсон... спас меня». Дашкова в который раз не называет врача лейб-медиком. Между тем его присылка к больной — большая честь. Можно было отбросить сомнения: Екатерине Романовне рады, ее примут «с неизменным благоволением».

Повторялась ситуация десятилетней давности, когда после первой поездки за границу на княгиню пролился золотой дождь. Но тогда он был вызван победой группировки Панина, а теперь — его падением. Дашкова вдруг осталась одна, без поддержки и политических обязательств. Ее следовало немедленно присвоить, что императрица и сделала, позолотив подруге ручку. В 1782 году княгиня получила 35 тысяч рублей на покупку столичного дома, 15 тысяч десятин земли — огромное село Круглое в Могилевской губернии, где числились 2490 (по другим данным — 2577) тысяч крепостных, еще 35 тысяч рублей для возведения там усадьбы и две тысячи рублей на платежи проездных пошлин^{697}. Кажется, императрица

позаботилась обо всем. Если бы у Екатерины Романовны захворала собачка, ее бы немедленно приняли на казенный кошт и лечили бы при дворе.

Дашкова быстро освоилась с новой ролью, так как считала ее естественной и заслуженной. Еще вчера робкая и не уверенная в покровительстве сильных мира сего, она без какого бы то ни было объяснения начала вести себя «с замашками принципессы». «Через два дня после моего приезда я узнала, что князь Потемкин бывает каждый день со мной по соседству у своей племянницы графини Скавронской, которая была больна после родов; я послала лакея сказать князю, что хочу дать ему маленькое поручение... На следующий день князь Потемкин сам приехал ко мне»^{698}.

Заметим: Екатерина Романовна послала лакея с письмом не в присутствие Военной коллегии, а в дом к племяннице и любовнице Потемкина — действие почти неприличное. Чуть позднее, когда императрица решила назначить Дашкову директором Академии наук, та написала письмо с отказом, но заметила, что уже 12 часов ночи — беспокоить Екатерину II поздно. «Сгорая от нетерпения покончить с этим делом... я поехала к князю Потемкину, никогда прежде не переступая порога его дома. Я велела доложить о себе и просила меня принять, даже если он в постели»^{699}. Потемкин встал, принял княгиню и любезно постарался склонить к положительному ответу.

Екатерине Романовне давали понять, что она вдруг стала очень близка вершителям реальной политики. Князь — сама предупредительность. Встретив даму в Царском Селе, спрашивает, в каком чине она желает видеть своего сына. Не в каком положено, а в каком изволите. Ответ Дашковой показателен: «Императрице известны мои пожелания; что же касается до чина моего сына, то вы, князь, должны знать это лучше меня; двенадцать лет тому назад он был произведен в прапорщики кирасирского полка, и императрица повелела постепенно повышать его в чинах. Я не знаю, исполнено ли ее желание»^{700}. Дашкова будто старается уличить Потемкина в служебной некомпетентности. В ответ — ни тени возмущения. Первый вельможа империи вытягивается во фрунт перед Екатериной Романовной. Зачем?

Ответ на этот вопрос связан с внешнеполитическими акциями России. Весной 1782 года параллельно шли переговоры с союзной Австрией о восстановлении Греческой империи и тайная подготовка к присоединению Крыма^{701}. Дипломаты других европейских держав тоже не оставались

безучастны. Английский посол сэр Джеймс Гаррис всеми силами старался расширить влияние своего кабинета при русском дворе. На кону стояло участие России в войне с Американскими колониями, чего Екатерина II намеревалась избежать. Лондон не раз посылал в Петербург запросы и просил о присылке русского экспедиционного корпуса. Но пока безуспешно^{702}. Нельзя было ни пойти у Британии на поводу, ни разочаровать ее раньше времени и тем вызвать негативную реакцию на присоединение Крыма.

В столице Дашкова была окружена «друзьями своих английских друзей», среди которых не последнее место занимал Гаррис. Внимание, оказываемое княгине, воспринималось в дипломатических кругах как признак внимания к Англии. Поэтому партия Потемкина параллельно с обхаживанием английского посла вела планомерную опеку англофильски настроенных лиц. Последние могли создать у британских дипломатов иллюзию, будто при дворе существует проанглийская группировка и она может завоевать ключевое влияние. С января по август 1783 года Дашкова часто обедала у Гарриса. Дневник его супруги изобилует упоминаниями о визитах княгини^{703}.

В первый момент наша героиня едва ли понимала суть интриги, но, увлеченная знаками высочайшего внимания, позволила втянуть себя в игру. Во время первого же приезда в Царское Село произошел многозначительный эпизод. «Шествуя» вслед за государыней из церкви, еще слабая и больная Екатерина Романовна отстала от венценосной подруги на целую комнату, а двигавшиеся следом придворные не посмели ее обогнать. Внешне это выглядело так, словно Дашкова — наиболее приближенное к Екатерине II лицо.

После первых недоразумений у княгини установились дружеские отношения с Потемкиным. Она часто обсуждала с князем те пожалования, которые Екатерина II намерена ей сделать. Через него наша героиня передавала государыне свои пожелания и даже называла своим «светлейшим приказчиком». Потемкин уговорил княгиню взять имение в Белоруссии, которое многие при дворе оценивали как целое состояние, но которое показалось Екатерине Романовне недостаточно доходным. Потемкин же настоял, чтобы княгиня, по просьбе императрицы, выбрала себе дом в Петербурге и казна могла оплатить покупку, а также, чтобы Дашкова дала согласие достроить на казенный счет ее дом в Москве и позволила императрице оплатить ее долги.

При каждом пожаловании Екатерине Романовне что-то не нравилось,

она выставяла свои условия, вынуждала себя упрашивать, а потом жаловалась, что пала «жертвой своей деликатности». «Я тогда осмотрела дом покойного придворного банкира Фридерикса и условилась с его вдовой насчет цены, которая... не превышала тридцати тысяч рублей... В этом случае я действительно стала жертвой своей деликатности, так как в купленном мною доме не было вовсе мебели»^{704}.

Уже из этого фрагмента видно, как тяжело было иметь дело с княгиней. Но Потемкин продолжал возиться, а Екатерина Романовна — требовать. Вместо Круглого, которое располагалось на бывших польских землях, перешедших к России по разделу 1772 года, она хотела получить имение в центральных губерниях — «село Овчино, которое было пожаловано Орловым и потом от них выменено»: «Постарайся, мой милостивец, а то я не знаю вашей польской экономии и, проживаясь в Петербурге, совсем банкрут... с умножающимся ежегодно долгом»^{705}. Это пишет человек, получивший от государыни только чистыми деньгами 67 тысяч рублей. Княгине всё казалось, что ее обсчитывают и обворовывают. В лучшем случае — невнимательны к просьбам.

Примечательна история с производством во фрейлины племянницы Дашковой — Полянской, дочери Елизаветы Воронцовой. Княгиня отказывалась покупать на казенные деньги дом в Петербурге, взамен прося взять девушку ко двору. Просьба была неприятна императрице. Допустить в близкое окружение девицу из враждебного клана, дочь бывшей соперницы — не самый простой шаг. Екатерина заколебалась. Но княгиня решила настоять и обратилась к Потемкину. Светлейший князь повел партию до конца.

«24 ноября, в день тезоименитства императрицы и моих именин, после большого придворного бала я не последовала за императрицей во внутренние апартаменты, но послала сказать князю Потемкину через его адъютанта, что не выйду из зала, пока не получу... копии с давно ожидаемого мною указа о назначении моей племянницы фрейлиной, — пишет Дашкова. — ...Прошел целый час; наконец появился адъютант с бумагой в руках, и я не помнила себя от радости, прочитав назначение моей племянницы фрейлиной»^{706}.

Зачем опытный царедворец подставлял себя под удар в вопросе, лично его не касавшемся? Ради простой любезности князь вряд ли поступил бы подобным образом. А вот ради того, чтобы сохранить лицо в дипломатической игре, — другое дело. Милости сыпались на семью Дашковой как из рога изобилия, внешне кредит проанглийски настроенных

лиц в окружении Екатерины II рос.

Сердце матери

Вскоре княгиня ощутила пристальный интерес двора к ее красавцу сыну. Молодой князь очень быстро получил требуемые пожалования. Уже 14 июня он был назначен адъютантом к Потемкину^{707}. Заметим, не к императрице — ее окружали генерал-адъютанты, а юноша еще не выслужил права на подобную милость. Но адъютантство у светлейшего князя открывало заветные двери и было почетнее, чем служба при фельдмаршале П.А. Румянцеве, которую протезировал племяннику Александр Воронцов.

Можно сказать, что Потемкин буквально перехватил юношу. «Я получила копию с указа, которым мой сын назначался штабс-капитаном гвардии Семеновского полка, что давало ему ранг подполковника. Наша радость была неопишима». Еще в старом чине прапорщика Павел сопровождал мать 10 июля на встречу с императрицей, где, по словам Дашковой, «я представилась ей, или скорее она ко мне подошла». Низкий ранг не позволял юноше присутствовать за столом, но Екатерина II сказала гофмаршалу: «Он, конечно, будет обедать со мной».

Вчитаемся в одну мемуарную зарисовку: «Я приехала на концерт, и императрица встретила меня словами:

— Как, вы одна?.. Вы не взяли с собой ваших детей?»^{708} Дашкова сначала изумлена, не понимает возгласа подруги, а потом «горячо изъявляет свою благодарность». Между тем намек был сделан весьма прозрачный: без Павла?

Повидавший племянника Семен Воронцов в это время написал отцу во Владимир: «Толь доброго, милого, скромного и с большими знаниями молодого человека я никогда не видывал; в нем есть много такого, что, разделя на разных, много бы хороших людей составило»^{709}. Пройдут годы, и Семен Романович, уже будучи послом в Англии, напишет сыну Михаилу, что Павел «самодоволен до степени утомительной»^{710}. Это ли не черта матери?

Светлейший князь подчеркнуто благоволил Дашкову, приблизив к себе. «В конце зимы, — писала Екатерина Романовна, — князь Потемкин отправился в армию и взял с собою моего сына, который ехал с ним в одной карете. Князь обходился с ним дружески и внимательно». В письмах мать заклинала покровителя беречь молодого офицера: «Прошу, батюшка, чтоб его при себе держать и ни отставать, ни метаться противу других в

опасности ему не позволять». А в случае мира «выберете его полку в невредном климате квартиру»^[711]. Дашковой все еще казалось, что сын нуждается в опеке. Между тем Потемкин с адъютантами часто оказывался в опасных местах и жил на зараженных территориях.

«В июле месяце мой сын вернулся курьером из армии с известием о завоевании Крыма. Моя радость неожиданного свидания с ним была неопишима. Он пробыл всего несколько дней и вновь уехал в армию с чином полковника». Курьер, привезший новость о победе, получал награды и повышение. Поэтому в столицу посылали либо отличившегося в деле, либо того, кого хотели отметить. Благодаря стараниям покровителя девятнадцатилетний сын Дашковой стал полковником.

Тот факт, что светлейший князь открыто покровительствовал Павлу Михайловичу, еще более подогревал слухи о скорой смене фаворита. Всерьез к подобным разговорам отнесся А.Д. Ланской — тогда «вельможа в случае», человек тихий, мягкий и искренне привязанный к государыне. Сразу после приезда в Россию Дашкова отметила его холодность и натянутое отношение к ней. Вскоре Александр Дмитриевич «стал при малейшей возможности выражать мне явное недоброжелательство».

Поведение Потемкина смущало и пугало фаворита, ведь светлейший князь не посвятил верного, но недалекого сторонника своей партии в тонкости дипломатической игры. Ланской попытался предпринять свои меры против возвышения Павла Михайловича, которые вылились в слабые и наивные протесты против подарка Екатерине Романовне бюста императрицы работы Федота Шубина. Ведь мраморный бюст — один из знаков высочайшего благоволения, на всех парадных портретах фавориты Екатерины II изображались именно под такими бюстами. Логика простодушного Ланского ясна: если столь важную вещь дарят княгине Дашковой, то явно для Павла.

Осенью 1783 года прогремел скандал с «Санкт-Петербургскими ведомостями», которые редактировались в Академии наук. В них за время путешествия Екатерины II в Финляндию летом 1783 года для свидания со шведским королем ни разу рядом с именем императрицы не упоминалось ничье имя, кроме княгини Дашковой.

Фиксируя окружение императрицы, газета подчеркивала для столичных чиновников, кто из вельмож находится «в силе». Не беремся судить за читателей, к какому выводу они приходили. Во всяком случае, им становилось ясно, что с лета 1782-го по осень 1783 года семья княгини обладала небывалым влиянием. В это время русские войска уже вступали в Крым, татарское население приводилось к присяге. Враждебные действия

какой-либо из европейских стран, в частности Англии, грозили испортить дело.

В схватку за Павла вступили могущественные и грозные силы. Стремление защитить сына боролось в Екатерине Романовне с желанием удержаться на занятой высоте. Осень прошла для княгини спокойно, но зимой Павел Михайлович прибыл в свите Потемкина. «Возобновились нелепые слухи о том, что он будет фаворитом». Оставалось только сожалеть, что овец стерегут волки. Через давнего знакомого Дашковой генерала Самойлова светлейший князь повел с ней переговоры. «Я ответила ему, что... слишком люблю императрицу, чтобы препятствовать тому, что может доставить ей удовольствие, но из уважения к себе... если мой сын когда-нибудь и сделается фаворитом, я воспользуюсь его влиянием только один раз, а именно, чтобы добиться... разрешения уехать за границу»^[712]. Был ли это отказ?

В 1787 году Джон Синклер, находившийся в России именно под покровительством Павла Михайловича, писал о его матери: «Ее жажда власти столь сильна, что она пожелала даже, чтобы ее сына назначили личным фаворитом императрицы... Если бы княгиня преуспела в своих планах... Россия в разгар войны в Америке перешла бы на нашу сторону»^[713].

Путешественник заблуждался в реальности подобных проектов. Когда Крым был присоединен, а Англия постепенно осознала, что всё ее влияние на дела петербургского кабинета было фикцией, Дашковы потеряли тот внешний вес, которым пользовались почти два года.

«Лишила милости»

Постфактум княгиня кое о чем догадалась. Есть сведения, что весной 1784 года она предприняла попытку повредить Потемкину в глазах августейшей подруги.

«Княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее, через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, о разных неурядицах в войске, — писал адъютант Потемкина Л.Н. Энгельгардт, — что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы и другие иностранцы, для населения там пустопорожных земель, за неприуготовлением им жилищ и всего нужного, почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка... Императрица не совсем поверила доносу на светлейшего князя и через особых верных ей людей тайно узнала, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлейшего князя... лишила милости княгиню Дашкову, отставила ее от звания директора Академии»^{714}.

Есть мнение, что «особенные верные люди», через которых Екатерина II узнала, что Потемкина «ложно обнесли», — это П.С. Паллас и его ученик В.Ф. Зуев^{715}. Последний, по инициативе учителя, в 1781–1782 годах ездил в экспедицию по Южной России и Причерноморью, видел своими глазами подготовку к присоединению Крыма и многое мог поведать. Позднее в Академии наук оба подверглись гонениям со стороны Дашковой.

Рассказ Энгельгардта содержит важные ошибки. Он указывает, что к жалобам Дашковой присоединился фаворит Ланской, во что трудно поверить, зная их взаимную неприязнь. Преемником княгини по академии назван Домашнее, на самом деле бывший ее предшественником. Тем не менее слова Энгельгардта интересны, поскольку передают слухи, ходившие среди близких сотрудников Потемкина, разговоры его адъютантов, секретарей, управляющих. В этом кругу молодой Дашков воспринимался недоброжелательно, из-за «благосклонности», которую ему оказывал светлейший князь.

Однако следует обратить внимание, что именно с весны 1784 года отношения Григория Александровича и княгини теряют налет близости. Ее письма, прежде длинные, полные просьб и заверений в дружбе, становятся короткими записками: «Будьте добры, князь, разрешите моему сыну приехать... ко дню св. Екатерины»^{716}. А где же: «Вы не можете

усомниться в искренности и горячей дружбе, кою я вам посвятила»?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к камер-фурьерскому журналу. 1783 год — пиковый в карьере нашей героини. Она не только стала директором Академии наук, но и постоянно на первых ролях участвовала в придворной жизни. Ее близость к императрице была настолько велика, что на малых эрмитажных собраниях имя княгини указывали первым в списке гостей^{717}.

Наконец, во время путешествия Екатерины II во Фридрихсгам для встречи со шведским кузеном Густавом III Дашкова — единственная дама, которую взяли с собой. Ее старый знакомый, брат короля герцог Карл Зюдерманландский через шведского посла в Петербурге барона Нолькена предложил княгине орден «Заслуги». Прежний сторонник тесного союза со Швецией — Панин — был уже не у дел, и северные соседи попытались найти ему замену в лице Дашковой. Та дальновидно отклонила пожалование, считая, что оно обяжет ее действовать в пользу шведского короля. И, добавим, вызовет недовольство Екатерины II. Вместо ордена княгиня получила другой знак высочайшего внимания — кольцо с портретом Густава III в обрамлении крупных бриллиантов. По словам Дашковой, из-за них перстень выглядел уродливо, поэтому в Петербурге камни были вынуты и заменены жемчужинами. Возможно, эта история и породила слух, будто наша героиня выковыривала бриллианты из пожалованных ей наград. Тогда же, 9 июля 1783 года, Дашкова была избрана почетным членом Шведской королевской академии наук.

Влияние княгини было на пике. Через Потемкина она выхлопотала для брата Александра орден Святого Владимира^{718}, пристроила адъютантом в свите светлейшего своего племянника Д.П. Бутурлина^{719} — еще одного хорошо образованного молодого бездельника, впоследствии известного скабрёзной сатирой на императрицу. К весне 1784 года Дашкова начала не просто сознавать, но пробовать свою силу.

Между тем начало 1784 года — кризисный момент. Еще могла начаться война с Турцией из-за Крыма. Великий князь Павел заявил, что европейские державы не станут спокойно смотреть на завоевание полуострова^{720}. После дружного возмущения соседних государств ждали смены царствующей особы в России. Генерал Петр Панин написал для наследника манифест о вступлении на престол^{721}.

И тут Дашкова подоспела со своими разоблачениями в адрес Потемкина. Возможно, это была «маленькая месть» за полутораговую интригу. Но еще вероятнее, княгиня озвучила позицию своего брата

Александра Воронцова. Именно его сторонники неустанно распространяли слухи о «неустройствах в войске» и «слабом управлении» светлейшего князя. Годами Александр Романович носился с идеей подчинить светлейшего Румянцеву. Весной 1784 года старый фельдмаршал, поддержанный Воронцовым, потребовал инструкций на случай разрыва с Турцией^{722}. Такой документ превратил бы его в главнокомандующего, а Потемкина — в подчиненного.

Чтобы добиться своего, следовало представить императрице обоснованные свидетельства нерадения Григория Александровича. Это легче было сделать через Павла Михайловича — лицо, близкое к Потемкину, очевидца присоединения Крыма.

Молодой князь Дашков снимал планы Чуфут-Кале, Мангупа, Ашмалы. Часть пути вместе с ним проделал французский путешественник герцог Караман, составивший для своего правительства весьма подробные «Записки». Караман вполне объективно оценил и уровень русской армии, и ее готовность к будущей войне, и хозяйственные приготовления на юге. Поскольку Караман и Дашков ездили вместе, Павел видел то же, что и француз^{723}. Мог ли он «обнести» Потемкина — дело совести. Достоверно известно одно: Павел лишился покровительства светлейшего и перешел под опеку Румянцева.

Императрица крайне болезненно относилась к выпадам против Потемкина, считая, что тот «дает упор» «властолюбию» придворных^{724}. Участие Павла Михайловича в интригах родни показало его таким же неблагодарным и «перемечливым», как мать. 2 февраля 1784 года Григорий Александрович получил чин фельдмаршала (что уравнивало его с Румянцевым), официально стал президентом Военной коллегии и генерал-губернатором вновь присоединенных земель.

Дашкова осталась в должности, но ее придворная близость к Екатерине II пошла на убыль. В начале мая княгиня получила отпуск, чтобы провести его вместе с приехавшей из Ирландии подругой Кэтрин Гамильтон. В течение четырех месяцев дамы посещали имения княгини в Московской, Калужской, Смоленской и Могилевской губерниях и только в сентябре вернулись в Петербург^{725}. Длительный отпуск — форма опалы. Именно он и заставил Энгельгардта думать, будто Дашкову сняли с управления Академией наук.

Глава одиннадцатая.

КАВАЛЕРСТВЕННАЯ ДАМА

«Единственное, чего России не хватает — это чтобы какая-нибудь великая женщина командовала войском, — не без иронии замечал Джакомо Казанова после знакомства с «госпожой д'Ашкоф». — Ученые мужи сгорели бы со стыда, что ими правит женщина, когда бы не признали в ней Минерву»^{726}.

Стало быть, признали?

24 января 1783 года Екатерина II подписала указ о назначении нашей героини директором Петербургской академии наук^{727}. Впервые не только в российской, но и в мировой истории женщина заняла государственный пост.

На протяжении веков многие дамы из августейших семей надевали корону, что вызывало споры, даже войны. При дворах монархов всегда существовал штат сугубо женских должностей от статс-дам до горничных. Но никогда прежде представительница слабого пола не получала повеления стать чиновником. Принести присягу и служить. Как служили мужчины. Как работала сама Екатерина Великая.

Императрица была свободна от господствовавших стереотипов. А общество? И тут нас ожидает сюрприз. Среди русских известий, далеко не всегда доброжелательных к Дашковой, нет негативных отзывов на сам факт назначения ее директором. Ругали характер княгини, отдельные поступки, но, похоже, современникам не приходило в голову подвергать сомнению право Екатерины Романовны занять пост. В Европе, особенно во Франции, — наоборот. Возмущались именно несообразностью пола и должности. Шарль Массой рассуждал о «геникокрации» в России. Даже признававший интеллект княгини парижский астроном Ж.Ж. Лаланд высказывал русским коллегам удивление^{728}.

Мужчины явно не стремились потесниться на ученом олимпе. Но в России за первую половину XVIII века привыкли к женщинам у власти. А в повседневной жизни — к широкой хозяйственной деятельности жен и матерей. Пока мужчины служили, дамы управляли поместьями с расположенными там предприятиями, заключали сделки, свободно распоряжались собственным приданым.

Мужчин-иностранцев подобное положение задевало: «В царствование

Екатерины II женщины уже заняли первенствующее место при дворе, откуда первенство их распространилось на семью и на общество... Уважение и страх, внушаемый Екатериной вельможам, казалось, распространились на весь ее пол... В деревне мужеподобность женщин была еще заметнее. Вдовам и совершеннолетним девицам часто приходится управлять имениями... вдаваться в подробности, мало подходящие их полу. Покупка, продажа и мена рабов, распределение между ними работы, наконец, присутствие при сечении — все это претило бы женской чувствительности и стыдливости в стране, где мужчины не сведены до уровня домашних животных... Княгиня Дашкова не только усвоила мужские вкусы и манеры, но и обратилась совсем в мужчину, заняв должность директора Академии наук»^{729}.

Блестящий образчик тендерного шовинизма. Не стоит преувеличивать и покладистость российских современников. Вот эпиграмма Державина, много конфликтовавшего с Дашковой: «Се лик/ И баба, и мужик». При этом Гавриил Романович шовинистом вовсе не был, передоверил управление имением и хозяйственные заботы второй супруге, а для себя оставил службу в Сенате и стихотворство. Однако подпись к портрету директора Академии наук весьма красноречива. Впрочем, как и сам портрет. Дашкова на нем — вылитый брат Александр Романович, только в платье. Существует даже теория, что оба изображения писал крепостной художник Воронцова, прекрасно уловивший семейное сходство^{730}. И взгляд, и выражение лиц одно. Далеко не дамское. Перед нами государственный муж. Или государственная жена, если хотите.

Но в том-то и беда, что конец XVIII века отнюдь не походил на рассвет эпохи Просвещения, когда мыслители увидели в женщине творческое начало. В 1784 году в журнале «Собеседник» Дашкова поместила перевод статьи Генриха Корнелиуса Агриппы «О величии и превосходстве женского пола», написанной в начале XVI века^{731}. Теперь, испугавшись «раскрепощенной Фимины», многие современники готовы были согласиться с Руссо: «Женщина, почитай твоего господина; это тот, кто работает для тебя, кто добывает твой хлеб, кто дает тебе пропитание: это мужчина»^{732}. В моду вошли «чувствительное сердце» и «милый ум», о котором «ничего не скажешь, поскольку его находишь ни больше ни меньше, чем в себе самом».

Еще одна маска, надетая на женщину представителями сильного пола. Екатерина Романовна ее сняла. Как сняла и Екатерина II. Обе жестоко поплатились за отказ от стереотипа. Обе пошли до конца.

Но, прежде чем принять назначение в академию, княгиня все-таки заколебалась. Среди русских современников она одна гласно выразила то, что у многих было на уме: «Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, избавил от должности директора Академии наук»^{733}.

Почему так? Долгие годы княгиня стремилась участвовать в государственных делах, сетовала на то, что ее таланты не востребованы дома. Либо отказ был сугубо дипломатическим, либо Дашкова мечтала о другой роли. Вопросы пола не беспокоили Екатерину Романовну, ни когда в 1762 году она скакала на коне в гвардейском мундире, ни когда после переворота добивалась участия в управлении страной. Но давать советы и указания — одно, а реально руководить учреждением — другое. В январе 1783 года княгине предложили дело, за которое пришлось бы отвечать.

Показав всем заинтересованным лицам, что она в ужасе от случившегося, княгиня приняла вызов.

Мадам директор

Попробуем понять Екатерину II. Почему она решила поставить Дашкову во главе Академии наук? Ответ Потемкина: государыне «надоели дураки» — лишь желанная для самой княгини формулировка. Были тысячи причин. Среди которых ум, образованность, широкая известность в европейских научных кругах — важные, но не единственные. Дашкову следовало занять. Причем так, чтобы у нее не оставалось времени на участие в политике. Сообразно дарованиям и весу нашей героини требовалось подыскать важное, но совершенно безопасное для государства дело.

Академия настолько же приближала, насколько и отдаляла старую подругу от императрицы. Это был целый мир, особое царство, которое Екатерина II щедро подарила княгине. Здесь Дашкова могла чувствовать себя относительно независимо. Не стоять у трона, а сама сесть в кресло правителя. Так и случилось. Но путь директора, как и путь монарха, вовсе не усыпан розами. Нет лучшего способа понять, где кончаются благие пожелания и начинаются реальные возможности, чем взвалив на себя административную ношу. «Я оказалась запряжена в воз, совершенно развалившийся», — констатировала Дашкова.

Екатерина II знала это давно. При сохранении за старым другом и сподвижником К.Г. Разумовским номинального поста президента Академии наук, императрица еще в 1766 году ввела должность директора, которую занял младший из братьев Орловых — Владимир. Когда Орловы пали, Владимир Григорьевич вышел в отставку, порекомендовав на свое место поэта и переводчика С.Г. Домашнева, человека, без сомнения, способного к литературному труду, но слабого администратора, перессорившегося со многими академиками. За время своего директорства, с 1775 по 1783 год, он так запутал финансовые дела, что императрице пришлось назначить специальное расследование. В состав сенатской комиссии вошли А.Р. Воронцов и П.В. Завадовский, а от академии — Ф.У. Т. Эпинус^[734].

Зная о дурном отношении к Домашневу как бывших подчиненных, так и самой императрицы (Екатерина Романовна назвала его устами подруги «cet animal» — «это животное»), княгиня наотрез отказалась выслушать предшественника, встретив в приемной государыни: «Он меня наставлял, Ваше Величество!» Но, возможно, Домашнее подошел договориться о передаче дел. Позднее он жаловался, что не мог сдать руководство

«надлежащим порядком по ведомостям и спискам» — княгиня его не принимала. При этом она открыто говорила в свете о финансовых нарушениях старого директора и расхищении им академического имущества. В июле 1783 года Сенат даже осуществил обыск в московском доме Домашнева. Генерал-прокурор Вяземский настойчиво требовал, чтобы княгиня прислала необходимые для следствия документы, но та долго отказывалась. В конце концов комиссия не нашла существенных растрат и не предъявила обвинений^{735}.

Сам Домашнее всячески пытался выразить несогласие с навязанной отставкой. Обвинял брата нашей героини и влиятельного статс-секретаря А.А. Безбородко в интриге с целью заполучить для Дашковой пост директора. Об этом же свидетельствует и конец сохранившегося письма Екатерины Романовны императрице: «Умоляю... не обидеть предположением, будто бы я добиваюсь этого почетного места»^{736}. Скорее всего, старого директора «ушли». Что же до мемуарного ужаса нашей героини: «Сделайте меня начальницей Ваших прачек!»; «Я, круглая невежда, во главе всех наук!» — то он служил важной цели: «Чтобы на мое бескорыстие не упало и тени сомнения».

Из множества обмолвок по тексту видно, как княгиня в действительности воспринимала себя и новое назначение: «Какую бы должность Вы мне ни дали, она станет почетной с той минуты, как я ее займу»; «Вспомнив тех, кто занимал эту должность, я должна буду сознаться, что по своим способностям они стоят много ниже меня».

«Полный невежда»

Когда Дашкова приняла бразды правления, Академия наук находилась в летаргическом сне, а в обществе царствовали равнодушие и даже презрение к науке. В этом Екатерина Романовна выгодно отличалась от большинства современников. Она не считала себя ученым: «Вся моя ученость была делом вдохновения»^{737}. Зато горячо интересовалась достижениями в самых разных областях знания. Скорее администратор и хозяйственник, чем кабинетный ум, княгиня сочетала с деловой хваткой искренний интерес к просвещению.

Зная умение подруги выжимать деньги буквально из воздуха, императрица и назначила ее на пост. Екатерина Романовна начала сдавать часть площадей академии. Не побоявшись молвы, пустила с молотка ветхие академические мундиры. Их полагалось раздать нищим. Но княгиня считала копейку. Существует анекдот о том, как она продала за пять рублей своему старинному приятелю Александру Строганову книгу с дарственной надписью от автора, спохватилась, попросила вернуть издание, обещая заменить его другим, но послала тот же экземпляр, только с вырванной страницей.

Очень болезненным для Дашковой стал конфликт с генерал-прокурором Сената Вяземским, случившийся в первые же месяцы ее директорства. По должности Вяземский обязан был следить за расходом казенных средств. Исследуя запутанные дела академии, сенатская ревизия выделила два источника доходов: из казны и за счет собственной хозяйственной деятельности (так называемые экономические). Вяземский затребовал отчет по обоим пунктам. Со своей точки зрения, он был прав: любая собственность академии — суть казенная. Однако контроль Сената над коммерческими проектами лишал учреждение самостоятельности, а любое дело превращал в волокиту. Дашкова выступила против предоставления Вяземскому информации по «экономическим» деньгам, темпераментно отстаивая право директора на свое усмотрение распределять эти фонды. «Я немедленно же написала императрице, прося ее об отставке... Я не могла позволить генерал-прокурору присваивать права директора... и еще менее набрасывать тень на мое бескорыстие»^{738}. В том же ключе княгиня писала и Безбородко: «Вы, надеюсь, содрогнетесь, вообразя себе, какое я страдание должна чувствовать»; «Я предпочту смерть бесчестью моего места»^{739}.

Устав от жалоб с двух сторон, Екатерина II приняла соломоново решение: княгине приказали ежемесячно подавать краткие ведомости об «экономических» суммах, то есть указывать не всё. И Сенат получал документы, и академия оставалась при неучтенных доходах. И волки сыты, и овцы целы. В «Записках» княгиня отмечала, что из-за претензий Вяземского стала испытывать к своей должности «отвращение». Генерал-прокурор Сената, ценимый императрицей именно за въедливый контроль над расходованием казенных средств, стал на долгие годы неприятелем княгини. Вскоре после первого столкновения он инициировал второе.

Теперь дело касалось жалованья княгини. Домашнее, согласно указу императрицы, получал три тысячи рублей в год. Но штатное расписание Академии наук предусматривало для директора только две тысячи. Дашкова добивалась повышения, считая, что ее предшественник делал меньше, а получал больше. Генерал-прокурор настаивал, что при теперешних «худых» делах академии следует экономить. Раздражение росло. В разгар конфликта, в ноябре 1783 года, императрица вмешалась и выдала старой подруге 25 тысяч рублей из «своей шкатулки» якобы на строительство загородного дома. Ими можно было компенсировать недостачу, даже если бы Екатерина Романовна прослужила в должности директора четверть века.

Но княгиню не устраивало такое половинчатое решение. Она продолжала добиваться официального признания своих прав и 8 января 1784 года получила указ императрицы, согласно которому ее жалованье возросло до трех тысяч. Можно трактовать эту победу над Сенатом как акт уважения к себе^[740]. Можно вспомнить о праве женщины получать равную плату за равный труд. А можно отметить: при княгине остались и 25 тысяч государыни, и новое жалованье из казны. «Меня осыпали знаками внимания, — вспоминала она, — которые, не имея действительной ценности, все же... порождали много врагов при дворе, несмотря на то, что мое состояние оставалось всегда ниже среднего»^[741].

«Есть много что сказать»

За первый же год в новой должности Дашковой удалось добиться очень многого^[32]. Конечно, милость императрицы открывала перед ней любые двери. Но значительная часть инициатив исходила от самой княгини. Она видела европейские научные учреждения и старалась поднять планку Петербургской академии до нужного уровня.

Именно при Дашковой была установлена практика так называемого обязательного экземпляра: отныне все типографии, как государственные, так и частные, присылали в библиотеку Академии наук по оттиску каждого издания.

Чтобы познакомиться с немногочисленными студентами академической гимназии, княгиня установила их понедельное дежурство при своей особе с восьми часов утра до семи вечера. Согласно ее мемуарам, в момент вступления в должность их было только двое. На самом деле около тридцати. Выгнав нерадивых, Екатерина Романовна устроила прием и постепенно довела число юношей до девяноста. Повысилась и плата за их содержание: прежде родные вносили 60 рублей, теперь — 80. Княгиня считала, что наиболее способные могли бы впоследствии стать профессорами, а остальные — поступить на государственные должности. Именно поэтому следует увеличить финансирование гимназии из казны, писала Дашкова ненавистному Вяземскому.

В вопросах денег княгиня всегда была очень строга. Когда Тобольское наместничество, испросив для себя трех выпускников, решило, что юношей направят в Сибирь на академические средства, княгиня просто выдала студентам аттестаты об окончании гимназии. Каждый волен был позаботиться о себе сам.

На просьбы вдов академиков оказать финансовую помощь мадам директор неизменно отвечала отказом. А то ведь были не рядовые профессорши — жены Д. Бернулли и Г.Ф. Миллера, исследователей с европейскими именами, много сделавших для развития отечественной науки. Возможно, княгиня вспоминала молодость и свое горькое вдовство. Между тем сама Дашкова выпуталась из долгов отнюдь не благодаря личной экономии, а с помощью пожалований императрицы. Теперь подобного шага ждали от нее. Но Екатерина Романовна уже уверовала в собственные рассказы и действовала, исходя из заявленной роли.

Обе вдовы попросили годовое жалованье на покрытие расходов по похоронам и устройство семейных дел, но получили двухмесячное, причитавшееся за то время, пока скончавшиеся находились еще на службе^{742}. Утилитарный подход. Так кто выжимал шкурку от лимона? В 1789 году не удовлетворенные решением вдовы обратились к императрице и получили помощь. После чего в дневнике А.В. Храповицкого появилось много неприятных высказываний государыни о скаредности подруги^{743}.

Однако именно Дашкова ввела скромный пенсион для престарелых служителей академии, чей заработок не превышал 300 рублей. Ликвидировав ставку преподавателя музыки с жалованьем 800 рублей в год, она создала из нее две по 400 рублей для учителей английского и итальянского языков. Был случай, когда два преподавателя обратились к мадам директору с просьбой помочь дровами. Стояла зима 1784 года. Резолюция княгини гласила: выделить каждому по 8 рублей 50 копеек на покупку пяти сажень дров по цене 1 рубль 70 копеек. Тут вся Екатерина Романовна, замечает исследователь, — скорость решения, забота о людях, точное знание мелочей, контроль за каждой копеей^{744}. Согласимся: контроль. Если бы княгиня могла сама сжечь дрова и раздать просителям тепло, точно определив, сколько градусов расходовать на каждую комнату, она бы так поступила.

Служащие академии — те же дети. В шаге Дашковой много заботы, но нет уважения. Вдруг они решат греться водкой? Или купят дрова по два рубля за сажень? Нет, за ними нужен глаз да глаз. Особенно когда академическое юношество вырывается за границу.

Именно Дашкова завела традицию отправлять российских студентов в Геттингенский университет в Германии. Почему не в Эдинбург, как собственного сына? Возможно, она все-таки была невысокого мнения о русской колонии под руководством Робисона. Или считала, что юноши по своим знаниям не готовы к высшему учебному заведению, где «гораздо строже экзаменуют». Дашкова лично определяла стипендию, которая высылалась посеместрово, только после того, как пансионер вышлет отчет о предыдущей работе, заверенный профессорами. В гимназии княгиня ввела два экзамена в год, на которых обязала присутствовать академиков. Сама мадам директор неизменно слушала студентов и весьма резко отчитывала за неудовлетворительные ответы. Отличившихся премировали книгами. За время директорства Дашковой четверо из выпускников отправились в Геттинген. Трое из них, возвратившись, стали академиками.

При всей любви приобретать и беречь, наша героиня предпочитала

коммерческую деятельность неразумному скопидомству. Книжная лавка академии была затоварена. Княгиня снизила цены на 30 процентов, и вскоре полки оказались пусты. Для типографии были куплены новые шрифт и пресс. Постепенно издательская деятельность стала приносить доход. Для этого принимались заказы от частных лиц. Чтобы не путать их с собственными публикациями, был впервые установлен академический гриф: «Иждивением императорской Академии наук».

Академия много была должна. Еще больше задолжали ей. А Дашкова долгов не любила. За первые же полгода директорства она отдала заимодавцам более восьми с половиной тысяч рублей. А за вторую — сумела выбить 15, 5 тысячи рублей долгов^[745]. Даже Н.И. Новиков, обычно весьма неаккуратный, прислал требуемую сумму — 839 рублей 11с половиной копеек.

В июле 1783 года Екатерина Романовна инициировала строительство нового корпуса академии на стрелке Васильевского острова, между Кунсткамерой и зданием Двенадцати коллегий. Академия наук должна была представлять из себя тринадцатую. Это вполне соответствовало представлению о poste директора как о министерском. Позднее Бентам скажет о Дашковой как о «министре императрицы по ученым делам, которому иногда есть много что сказать»^[746]. Княгиня предполагала, что это здание обойдется в 90 тысяч рублей — 72 тысячи выдаст казна, а 18 тысяч — само учреждение. Императрица согласилась и даже предложила одного из своих любимых архитекторов — Джакомо Кваренги. Правда, распределение средств стало иным: 65 тысяч рублей дала казна, а 25 тысяч были взяты из «экономических» денег. Не поладила мадам директор и с зодчим. Она по своему обыкновению решила вмешаться в проект и украсить строгое классическое здание окнами «венецианского типа». Кваренги взбунтовался. «Если постройка должна быть закончена согласно утвержденному проекту, то это один разговор, — писал он в марте 1786 года. — Если же проект должен быть изменен согласно Вашим идеям, то, в таком случае, я не буду далее руководить постройкой»^[747].

Погасить конфликт не удалось. Строительство и отделка продолжались до середины 1790-х годов под неусыпным контролем самой княгини. Она каждый день, а иногда два раза на дню, бывала на работах, сама поднималась на крышу, строго следила за расходом материалов. «Когда она... карабкалась по лесам, ее можно было принять скорее за переодетого мужчину, чем за женщину, — вспоминал о своих детских впечатлениях Ф.Ф. Шуберт, сын немецкого астронома Ф.И. Шуберта, посещавшего нашу

героиню на стройке. — Что она, естественно, все знала лучше, чем другие, само собой разумеется!»^{748}

Здание получилось красивым, но несколько эклектичным. Однако в этой истории примечательно другое: княгиня отнеслась к возведению корпуса академии так же, как к собственному дому. В Москве она не поладила с В.И. Баженовым. «Моя сестра, которая думала, что имеет прекрасный вкус, — с сарказмом замечал Семен Воронцов, — вела себя очень странно и принуждала архитектора Баженова, навязывая ему свои идеи и не заботясь о том, соответствуют ли они замыслу»^{749}. Результатом опять стал конфликт, хотя дом получился великолепным.

Марта Уилмот писала, что княгиня сама и каменщик, и животновод, и хирург. Прокладывает дорожки, учит мужиков класть раствор. «Она начала с четырьмя-пятью рабочими, а закончила, заставив работать всех, — доносил Александру Воронцову его друг Лафермьер, о создании ландшафтного сада в имении Андреевское. — Она сама — главный работник и не терпит, чтобы кто-нибудь был праздным зрителем»^{750}.

Этими строками принято восхищаться. Но фанатичная приверженность к труду вкупе с желанием «заставить работать всех» — не свидетельство здоровой психики. Такие поступки давали пищу для сплетен, будто бы княгиня в своем селе Кирианово не сажает гостей за стол до тех пор, пока те не положат ряд кирпичей в строящейся колокольне, и принуждает трудиться на себя чужих слуг и лошадей^{751}. Возможно, кто-то в охотку и помахал мастерком. Возможно, чьего-то кучера и попросили помочь перекидать мешки с песком. Нет дыма без огня. Но в рассказах о княгине он так густ, точно палят сырые дрова!

Без вины виноватые

Вдогонку злосчастному Домашневу продолжали лететь громы и молнии. В марте 1783 года на заседание конференции по приказу Екатерины Романовны внесли ящики с книгами «непристойного и развратного содержания», которые ее «предместник» заказал для библиотеки академии. Это оказались парижские издания Вольтера, Лафонтена и Боккаччо с «фривольными» гравюрами. Впрочем, академик Я.Я. Штелин назвал их «превосходными гравюрами на меди». Из каталога выбрали книги, отсутствовавшие в библиотеке, за остальные Домашневу предложили заплатить из своих денег. Однако княгиня не стала дожидаться развязки и сожгла развратные книги у себя дома, из-за чего чуть не приключился пожар.

Домашневу поставили в вину даже «два термометра», якобы унесенные им домой из Академии наук. Но самым нелепым было «похищение» механических игрушек великого князя Александра Павловича, якобы забранных в академию и невозвращенных... «А! Княгиня Катерина Романовна! — писал бывший директор. — Вам ли возводить на меня, что я расхитил всю Академию! Вам!.. судить о моей власти по мере Вашей... Вы приказали подать на меня доносы, и Ваша над теми людьми власть и Ваше настояние, чтоб они то... под опасением гнева Вашего сделали. Некоторые из них меня слезами просили простить им плачевную необходимость».

Вина Домашнева состояла только в том, что он был креатурой Орловых. «Если б под другим только именем рассказать ей произведенные ею со мной приключения, она бы сама от того ужаснулась»^{752}, — заключал бывший директор о Дашковой.

В то самое время, когда княгиня сожгла «фривольные» гравюры, она на академические деньги и для академической лавки купила тысячу экземпляров «Душеньки» старого друга Богдановича — поэмы, далеко не во всем пристойной^{753}.

Конфликты в академическом окружении оказались не менее часты и не менее остры, чем при дворе. Самый громкий был связан с именем адъюнкта В.Ф. Зуева, ученика П.С. Палласа. Молодой ученый с опозданием представил журналы своей экспедиции. Княгиня, зная, что Зуев занимается дополнительной работой вне стен ее учреждения, сочла задержку результатом побочных заработков и объявила об увольнении сотрудника

«для примеру другим». Ее резолюция гласила: «Невозможно предположить, чтобы подчиненные... могли располагать своим временем... и поступать на службу в другие департаменты»^{754}.

В декабре 1783 года по другому поводу княгиня писала брату Александру: «Только не допуская подобного обращения, могу я держать моих подданных в подчинении»^{755}. Важное слово. Позднее, в беседах с Мартой, Дашкова точно так же назовет своих крепостных. Служащие, по мысли княгини, не имели права совмещать занятия в академии с другими должностями. Корни подобного убеждения — в осознании себя маленьким монархом. Имея интересы, работу и связи на стороне, сотрудники разрушали иллюзию замкнутого мирка, где глава учреждения — царь и бог. Зуев, например, имел наглость заявить, что служит «в моем отечестве больше из чести, чем из денег».

Знакомая история. Между тем адъюнкт не делал ничего не дозволенного, его официально привлекли к преподаванию «естественной истории» в Комиссии народных училищ, где готовили будущих педагогов для школ. В 1783 году Зуеву положили жалованье размером 400 рублей, до этого адъюнкт откровенно бедствовал.

Он происходил из крестьян Тверской губернии, окончил гимназию при Академии наук, стажировался в Лейденском и Страсбургском университетах, где защитил диссертацию. По инициативе Домашнева и отчасти на его средства молодой ученый был отправлен в очередную экспедицию — на юг России. Конференция академии не поддержала эту идею, и на половине дороги Зуев остался без денег. Тем не менее он выкрутился, занимал, где мог, привез в Петербург большую коллекцию семян, 89 сосудов с рыбами Днепра, Черного и Мраморного морей, карты городов, гербарии, коллекции кораллов, описания степных курганов и зарисовки каменных баб. Эту экспедицию Дашкова назвала «нелепой».

По возвращении конференция затребовала от ученого счета и пришла к выводу, что он перерасходовал 159 рублей, которые решено было взыскать из его жалованья. Последнее и так выплачивали только в половинном размере, удерживая за обучение в Германии. Между тем на поездку по югу страны пошло 1640 рублей, а сама академия вручила Зуеву только 300. Естествоиспытатель оказался в долгах как в шелках и до 1783 года, пока не был принят в Главное народное училище, не знал, чем их отдавать.

Заступничество Палласа еще больше возбудило Дашкову против Зуева. Директор подозревала академика в создании дублетных минералогических

коллекций и продаже части экземпляров за границу. Этот «безнравственный, беспринципный и корыстный человек»^{756} был особенно неприятен тем, что мог дать императрице дополнительные сведения о жизни академии.

Географ обратился к императрице, которая и распорядилась восстановить Зуева на службе. Казалось, конфликт исчерпан. Но наша героиня не могла быть довольна. Когда в октябре 1784 года возник спор между адъюнктами и академиками, княгиня встала на сторону молодых ученых. Конференция приняла решение не рассматривать трудов адъюнктов без предварительного рецензирования и одобрения академиков. Но Екатерина Романовна, вернувшись из длительного отпуска, отменила этот вердикт. «Слава часто бывает единственной наградой для труженика науки, — писала она, — зачем же посягать на его достояние?» Поступок в целом правильный. Старые ученые, основатели целых школ, склонны, встречая несогласие учеников, отказывать им в праве на публикацию и тем объективно тормозить науку. Но у конфликта была и иная сторона: после прошлогодней истории с Зуевым княгиня унизила академиков и поддержала молодых сотрудников, надеясь в будущем опереться на них.

Еще один спор был связан с закрытием старой химической лаборатории. Дашкова считала ее ненужной, а здание, вероятно, решила сдавать. Ученые, напротив, ополчились на директора, утверждая, что без лаборатории не обойдутся. Столкновение достигло такой остроты, что у Екатерины Романовны не выдержали нервы — она предложила голосование по вопросу о доверии директору. Это был беспрецедентный шаг. Княгиню назначили указом императрицы, и указом же она могла быть снята. Но если бы академики выразили ей недоверие, Дашкова написала бы прошение об отставке. Из всего собрания лишь двое — П.С. Паллас и А.И. Лексель — проголосовали против княгини. Один был недоволен историей с Зуевым, другой хотел прибавки к жалованью. Лабораторию пришлось оставить. Но Дашкова выиграла, продемонстрировав поддержку большинства.

Была ли это истерика? Да, вероятно. Но даже своим взрывным темпераментом княгиня красила новую должность. Ее предшественники — люди, хотя и образованные, но без полета — тлели, а не горели. Наша же героиня буквально искрила. Ей действительно хотелось, чтобы науки пустили корни в мерзлой петербургской почве. Постепенно воз сдвинулся с места и пошел в гору.

На заседании 3 июля 1783 года она обратилась к конференции с предложением, чтобы академики начали чтение публичных лекций «не

только для студентов и гимназических учеников, но и для всех посторонних слушателей». Лекции должны были читаться на русском, благодаря чему, по мысли княгини, «науки перенесутся на наш язык и просвещение распространится». В апреле следующего года по указу императрицы в банк были переведены 30 тысяч рублей из «экономических» сумм. На проценты (1500 рублей) производились выплаты четырем профессорам-лекторам (по 375 рублей) «сверх жалования». Чтения начались в 1785 году и проводились ежегодно с мая по сентябрь по два часа два раза в неделю.

6 августа 1783 года Ф.У. Эпинусу по представлению Дашковой был пожалован орден Святой Анны. Впервые в истории России ученый получил государственную награду. Выбор кандидата был далеко не случаен. Именно в это время велась активная подготовка к школьной реформе. Эпинусом был составлен «План об организации в России низшего и среднего образования». Академия наук подготовила около тридцати учебников, многие из которых печатались в ее типографии.

По инициативе Дашковой академия выпустила полное издание сочинений М.В. Ломоносова, пятое и шестое издание его «Российской грамматики» и три издания «Краткого руководства к красноречию». Вторым изданием вышло «Описание земли Камчатки» П.С. Крашенинникова, продолжали публиковаться «Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства» И.И. Лепехина. Велась подготовка к созданию атласов, возникли новые журналы. Буквально за год академия встряхнулась от сна — это был блестящий результат.

«Долг дочери — уступить»

Совсем не так победно обстояли дела в семье. 30 ноября 1783 года умер Роман Илларионович Воронцов. Это событие не нашло отражения на страницах «Записок». Тот факт, что отец ничего не оставил княгине по завещанию, говорил о многом. Он не простил 1762 года. А возможно, продолжал сомневаться, его ли Дашкова дочь. К несчастью, дети во многом повторяют родителей, даже если по молодости спорят с ними. Княгиня в отношении Анастасии вела себя очень похоже на Романа Илларионовича. Что обусловило сходный результат. Разрыв.

Щербининой исполнилось уже 23 года. По приезде в Петербург Дашкова через брата Александра и с согласия дочери начала хлопотать о расторжении брака^[33]. Казалось, семейство Щербининых «за». Однако обе стороны преследовали разные цели. Княгиня хотела разъезда, при котором супруги отказываются «брать друг после друга» наследство. «Они будут не первые, да и, конечно, не последние в сем казусе»^[757], — писал дядя. Но Щербинин-старший желал полностью освободить Андрея, чтобы тот вступил в новый союз и родил детей, «как я имею одного сына, и другой надежды нет оставить дому моему потомства»^[758]. Однако Воронцов высмеял его: «Благосостояние нашего отечества, конечно, не потерпит оттого, что не будет от Андрея Евдокимовича потомков»^[759].

В самый разгар переговоров, в начале 1784 года, Щербинин-старший скончался. Что буквально перевернуло ситуацию. До сих пор Анастасия пребывала пассивной зрительницей. Но тут взбунтовалась. Постоянная экономия оказалась не во вкусе девушки. Ей хотелось праздников, развлечений, нарядов. А Дашкова использовала дочь в качестве бесплатного переводчика иностранных статей для академического журнала^[760]. Теперь, когда Андрей вступил в наследство, Анастасия решила покинуть родительский дом, который называла «тюрьмой», и съехаться с мужем.

Тетка Полянская писала брату Семену в Италию: «Она с ума сошла от радости и говорит только об этом. Она очень ветрена. После смерти своего отца ее муж стал очень богат; он обладатель 7 тыс. крестьян и многих сотен тысяч рублей». Вскоре выяснилось, что мать не готова отпустить Анастасию. В апреле в Венецию полетело следующее письмо об Анастасии: «Ипохондрия ее мужа усилилась. Она знает все это. Она

говорит, что благодаря ей он изменится, что его меланхолия пройдет... Но я сомневаюсь, что все это осуществится. Ее ослепляет тщеславие и эгоизм». Прошло почти два месяца, и в конце мая тетка сообщила о развязке: «Княгиня Дашкова уехала в Москву... а ее дочь вернется с мужем. По приезде в Москву она будет жить у мужа. Говорят, что он тронулся умом: говорит сам с собой, смеется, а потом становится задумчив и печален. Ей понадобится много мужества, чтобы выполнить свою миссию. Ее мать очень раздражена против нее; каждый день были нескончаемые сцены»^{761}.

Эти сцены под пером княгини выглядят очень возвышенно: «Я не сочла себя вправе противиться ее решению, опираясь на свой материнский авторитет, но со слезами и с самой безграничной нежностью просила ее остаться со мной. От горя, граничащего с отчаянием, я заболела; зная расточительность своей дочери, я предвидела роковые последствия ее шага»^{762}. Выяснение отношений привело к тому, что мать отказалась видеть Анастасию, хотя та и навещала ее. «Она обещала мне не оставаться в Петербурге и жить либо с родными своего мужа, либо в имении». Очень трудный шаг для молодой дамы. «При такой ее жестокости и открытом неповиновении, — писала княгиня брату, — я совсем не уверена, что она не пойдет на то, чтобы позабавиться с риском или даже злым умыслом моими мучениями или даже смертью».

Значит, речь все-таки шла не об *уговорах*, а об отказе *повиноваться*. Княгиня грозила: «Я открою мое сердце Ее Величеству и не сомневаюсь ни на минуту, что Ее Величество, видя мои мучения, посоветует ей сделать то, к чему обязывает ее долг дочери — уступить»^{763}.

Примечательные слова. По закону, родитель мог формально пожаловаться на неповиновение ребенка, и того, в зависимости от тяжести содеянного, ждали монастырь или тюрьма. Однако, став замужней женщиной, Анастасия уже не принадлежала матери, ее нельзя было вернуть домой. Сам собой вставал вопрос о приданом. Коль скоро Анастасия возвращалась к мужу, его предстояло выплатить. «Я очень расхворалась, — писала княгиня, — судороги и рвота причинили мне разрыв около пупка, и я вскоре так ослабела, что моя сестра и мадам Гамильтон боялись за мою жизнь. Я не узнавала улиц, когда меня возили кататься, и не помнила ничего, кроме горя, доставленного мне дочерью»^{764}.

Состояние Дашковой очень показательно. Много позже Марта Уилмот будет сообщать, что княгиня буквально высасывала людей во время

разговора, особенно детей: «Она как бы выжимает содержимое, энергично и весьма естественно, подобно тому как соковыжималка выжимает сок из овощей»^{765}. Возможно, уход из ее дома энергичной, хотя и безалаберной дочери, в близком контакте с которой Екатерина Романовна прожила долгие годы, плохо подействовал на здоровье княгини. Она не так уж преувеличивала, написав брату 19 марта 1784 года: «Ты бы за меня испугался».

«Словарь»

Воспитательные эксперименты Дашковой не вызывали у императрицы доверия. Именно поэтому Екатерина II избегала привлекать подругу к своим реформам в области образования. Княгиню даже ни разу не пригласили в Смольный монастырь, а ведь во Франции наша героиня с позволения Марии Антуанетты ездила в Сен-Сир, и ей было что рассказать об оригинале этого образовательного учреждения.

Но нет. Екатерина II хотела направить усилия мадам директора совсем в другое русло. «Однажды я гуляла с императрицей по саду в Царском Селе; разговор коснулся красоты и богатства русского языка. Я выразила удивление, что императрица, будучи сама писательницей и любя наш язык, не основала еще Российской академии, необходимой нам, так как у нас не было ни установленных правил, ни словарей». В качестве примера Дашкова привела Французскую и Берлинскую академии. Государыня ответила, что мечтает об этом, но, к ее стыду, дело еще не начато. Княгиня составила план. «Каково было мое удивление, когда мне вернули мой далеко не совершенный набросок... утвержденный подписью государыни»^[766].

Чья это была инициатива? Судя по «Запискам» — самой Дашковой. Получив указ о назначении президентом, она проговорила императрице: «...у меня уже готовы и суммы, необходимые на содержание Российской академии, придется только купить для нее дом». По подсчетам княгини, хватило бы и пяти тысяч рублей, которые Екатерина II ежегодно выделяла «из своей шкатулки» на переводы классических авторов. «Прежние директора... смотрели на них как на свои карманные деньги». В тот же день наша героиня получила от государыни шесть тысяч рублей на новую звезду. Кажется, между ними царило полное согласие.

Однако в реальности назначение на пост президента последовало более чем через два месяца после описанного разговора — 30 октября. Значит, Екатерина II думала, и думала основательно. О чем? Как переподчинить и влить в новое учреждение структуры, которые занимались сходным делом до Дашковой.

Из мемуаров следует, что Российская академия возникла на пустом месте. Но на деле предшественники были. С 1735 по 1738 год работало Российское собрание при Академии наук, где подвизались Ломоносов и Тредьяковский. В 1771 году было основано Вольное российское собрание

при Московском университете, которое ставило своей целью широкую публикацию русских авторов, а через их книги приобщение публики к ценностям родного языка. Одновременно в Северной столице при академии работала группа переводчиков, которые должны были подготавливать тексты античных и современных европейских писателей для отечественного читателя. Это «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык» в 1783 году вошло в Российскую академию.

Княгиня занимала должность 11 лет, одновременно с директорством в Петербургской академии. Следует особо подчеркнуть, что она не получала дополнительного жалованья к уже определенному в три тысячи рублей. «Учреждение Российской академии и быстрота, с которой двигалось составление первого у нас словаря, стояли в зависимости исключительно от моего патриотизма и энергии»^[767]. А ведь вместе с Дашковой трудились такие корифеи культуры того времени, как Державин, Херасков, Львов, Ржевский, Фонвизин, Княжнин, Болтин, Щербатов. Покровительство, в том числе финансовое и административное, оказывали Потемкин, Шувалов, Безбородко, Елагин, Храповицкий. Однако усилия этих людей следовало объединять и направлять, княгиня прекрасно справилась с задачей.

Торжественное открытие Российской академии состоялось 21 октября 1783 года. Княгиня произнесла речь, выдержанную в просвещенческом духе и начинавшуюся с похвалы «лучезарному свету всеавгустейшей нашей покровительницы», чье попечение о благе страны и есть «вина настоящего собрания»^[768]. Такая прямая лесть показалась присутствующим неуместной и вызвала смехи. Екатерина Романовна слишком долго отсутствовала. Славословия в стиле ломоносовской «Оды на восшествие императрицы Елизаветы Петровны...» вышли из моды. Перед публикацией речи в «Ведомостях» Екатерина II лично вычеркнула из текста наиболее цветистые похвалы в свой адрес. Дело не в скромности, а в неуместности тона — общество развивалось, императрица умела уважать его новые предрассудки, как прежде уважала старые.

Дашкова — нет. Что неизбежно вело к болезненным ударам. И первым, кто дал княгине жестокий урок, был Лев Нарышкин — человек, которого считали аристократическим шутом монархини. Хорошо образованный, хотя пустой и далекий от мыслей о пользе своего существования, он почувствовал болевую точку и высмеял речь главы академии на малом эрмитажном собрании у императрицы. Хуже того, в журнале «Собеседник любителей русского слова» появились

«Протоколы общества незнающих», пародировавшие собрания академии^[769]. Екатерина II отнеслась к этому сочинению как к шутке, но княгиня шуток не понимала и на следующем же заседании 11 ноября призвала академиков «противустоять насмешкам и невежеству».

Таковы подводные камни. На поверхности вода оставалась спокойной. Новое научное учреждение создавалось специально для составления «Словаря русского языка». Наша героиня погорячилась, сказав, что в России не существует правил: «Грамматика» М.В. Ломоносова признавалась основой правописания уже около полувека. Беда состояла в другом: «...нам приходится употреблять иностранные термины и слова, между тем, как соответствующие им русские выражения были гораздо сильнее и ярче».

Современному читателю покажется неожиданным, но такие слова, как «чувство» (*sentiment*), «удивление» (*admiration*), «гений» (*genie*), «честь» (*honneur*), «способность» (*faculté*), «впечатлительный» (*impressionnable*), «храбрость» (*bravoure*), «мужество» (*courage*), «доблесть» (*valeur*), «неустрашимость» (*vaillance*) стали общеупотребительными только во второй половине XVIII века^[770]. До этого, по словам адмирала П.В. Чичагова, современники пользовались французскими эквивалентами.

«Высший свет во всем пытается подражать французам, — жаловалась гостившая у Дашковой уже в начале XIX века Кэтрин Уилмот. — Это настоящее забвение самих себя»^[771]. За «забвение самих себя» благородное сословие упрекали не только иностранные критики, но и отечественные патриотические писатели. Главными обвинениями были язык и воспитание, безоговорочно перенятые у французов. Но вот о чем обычно забывается: отличие образования два века назад от современного состояло в том, что иностранные языки не являлись одним из предметов — равным другим, например, истории, математике, географии и т. д. Они представляли собой как бы первую, базовую, ступень образования в целом. Не освоив их, невозможно было двигаться дальше. Отечественных преподавателей не хватало, а приглашенные иностранцы знакомили учеников с предметом на немецком, итальянском или французском языках. Большинство учебников, трудов по специальности, научной и беллетристической литературы было написано *не по-русски*.

Волей-неволей приходилось изучать четыре-пять иностранных языков. Но у этого процесса была и обратная сторона. К 80-м годам XVIII века русский дворянин думал и говорил на французском легче и охотнее, чем на родном. «Мой отец, как и почти все образованные люди его времени,

говорил более по-французски, — вспоминал князь П.А. Вяземский. — Жуковский... всегда удивлялся скорости, ловкости и меткости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты, которые, видимо, слагались в голове его на французском языке»^[772].

Большинству дворян подчас было трудно выразить чувства и мысли, так гладко звучащие на языке Мольера, языком протопопа Аввакума. Да и сами эти размышления были совсем иного свойства, чем принятые в старой словесности. Екатерина II понимала создавшуюся угрозу потери лингвистической идентичности. Именно об этом свидетельствовало создание Российской академии для печатания «Словаря», который помог бы ввести в речевой оборот максимально большее число русских слов и научить правильно пользоваться ими: «Никогда не были столь нужны для других народов обогащение и чистота языка, сколь стали они необходимы для нас, несмотря на настоящее богатство, красоту и силу языка российского»^[773]. Идея работала на будущее, недаром вклад «Словаря» оценили Н. М. Карамзин, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, а не современники.

Екатерина II исходила именно из необходимости повседневного пользования «Словарем», когда требовала от Дашковой ввести алфавитный принцип вместо этимологического. Но княгиня задумала подлинно научный труд: «Придворная партия находила, что словарь, расположенный в словопроизводном порядке, был очень неудобен, и сама императрица не раз спрашивала, почему мы не составляем его в алфавитном порядке. Я сказала ей, что второе издание... будет в алфавитном порядке, но что первый словарь... должен отыскивать и объяснять корни и происхождение слов. Не знаю, почему императрица, способная обнять самые высокие мысли, не понимала меня. Мне это было очень досадно»^[774].

А между тем речь шла именно об удобстве. О том, чтобы труд не лег мертвым грузом на полки. О простоте и доступности. Поэтому Екатерина II отказывалась «обнимать высокие мысли» подруги. Ее поддерживали и многие академики, например И.Н. Болтин, считавший, что «чин азбучный гораздо удобнее для приискания слов»^[775]. Не нравилась императрице и излишняя назидательность, она не любила нравоучений.

За 11 лет Дашкова и ее сотрудники издали шесть томов. Для той эпохи это было грандиозным событием^[34]. Впрочем, есть одно обстоятельство, которое подтолкнуло работу и в заметной степени ускорило ее. У «Словаря» имелся предшественник, почти целиком вошедший в текст дашковского детища. В 1773 году в Москве вышел «Церковный словарь, или Истолкование речений древних, також иноязычных, без перевода

положенных, в Священном Писании и других церковных книгах». Это был главный лингвистический труд Вольного Российского собрания, его автор П.А. Алексеев — протоиерей Архангельского собора в Кремле, преподаватель богословия Московского университета, один из наиболее просвещенных московских интеллектуалов того времени. Помимо церковной лексики, словарь Алексеева содержал множество терминов из области естественных наук, европейского средневековья, простонародных оборотов и т. д. В 1783 году Алексеев прислал Дашковой рукописные дополнения к своему труду. При сравнении статей заметно, что составители академического словаря опирались на статьи Алексеева^[776]. Это и была база, на которой, как на фундаменте, поднялось здание «Словаря Академии Российской». С той заметной разницей, что труд Алексеева имел все-таки «чин азбучный».

Княгиня участвовала в составлении «основных начал словаря», то есть в выработке программы. Собрала более семисот слов на буквы «Ц», «Ш» и «Щ», толковала смысл внесенных в издание нравственных понятий и выступала требовательным редактором. Ею лично просматривался каждый лист, вносились замечания и поправки. В «Словарь» вошло 43 254 слова^[777]. Весьма скромно по современным меркам, но значительно для XVIII века.

Обычно замечают, что Французская академия работала 59 лет. Однако ее «Словарь» имел большие масштабы. Кроме того, французский язык к тому времени уже обладал сформировавшейся литературной нормой. Русская же только складывалась. И если «Словарь» Французской академии в определенном смысле был итогом, то дашковский труд — отправной точкой для создания такой нормы.

Скорость, с которой он возник, имела громадные преимущества. В мгновение ока русский читатель получил целый пласт родных, хорошо забытых слов. Но при этом язык оказался зафиксирован не в развитии (полвека позволили французам показать динамику), а как бы в определенный момент своего становления. Результат — узкое по времени значение «Словаря».

Лингвистическое соперничество

С 1770-х годов императрица занималась иной отраслью филологии. Составляла свой словарь, который должен был охватить как можно больше языков в сравнении и показать родство различных «диалектов» с русским. Возможно, словарь Российской академии виделся ей как развитие и продолжение этой работы, но уже на материале одного языка. Однако княгиня начала самостоятельный труд. Разработала для него концепцию и стала воплощать в жизнь.

Когда за алфавитный принцип высказались все ее сотрудники, за исключением Фонвизина, она своей волей как глава академии настояла на словообразовательном. В мемуарах Дашкова пишет, что академики были с нею согласны и она передала императрице их единодушное мнение. В реальности на нее давили и «сверху» и «снизу». Но Екатерина Романовна не привыкла уступать давлению. Так, словари с самого начала двинулись по разным дорогам.

Дашкова отказывалась впрягаться в чужие проекты, зато впрягала всех в свои. Тот факт, что государыня хотя и покровительствует словарю, но не принимает непосредственного участия в работе над ним — что несказанно повысило бы статус издания, — не мог не сердить княгиню.

Уже к лету 1785 года взаимное раздражение стало особенно заметно. 28 июня, в праздничный день своего восшествия на престол, Екатерина II писала барону Гримму о новом проекте: «Это, быть может, самый полезный труд, какой когда-нибудь был произведен для всех языков и словарей, и особенно для русского языка, для которого Российская академия задумала составить словарь, для чего она, сказать правду, совершенно не имеет достаточных сведений»^{778}. Княгиня также не питала к детищу подруги особого пиетета: «Странное это произведение представлялось несовершенным и бесполезным и внушало мне какое-то отвращение»^{779}.

Вскоре императрица вернулась к теме. «Обер-шталмейстер Нарышкин и я, мы завзятые невежды, — признавалась она Гримму, — и своим невежеством бесим обер-камергера Шувалова и графа Строганова, которые, и тот и другой, состоят членами по меньшей мере 24 академий, и в частности Российской. Вот отчасти чтобы побесить их и показать им, что им приходится сообразовывать свой Русский словарь с мнением невежд, мы и составили наш словарь на Бог весть скольких языках»^{780}.

Итак, чтобы «побесить»?

Имя Дашковой ни разу не упомянуто в письмах императрицы. Но стрелы пущены в нее. О чем говорит не только упоминание словаря, но и перечисление сторонников — Шувалова и Строганова. Среди врагов Нарышкин. Причем императрица солидаризируется именно с ним, называя себя и его «невеждами». Знаковое слово. Противостоять «невеждам» призвала академик Дашкова. Задевшая ее публикация в «Собеседнике любителей русского слова» называлась «Протоколы общества незнающих».

Екатерина II всегда бравировала своим напускным «невежеством». Ее цель — «показать», что Дашковой «приходится сообразовывать свой Русский словарь с мнением невежд». Значит, княгиня не сообразовывала. А чего еще было от нее ждать? За два с лишним десятилетия знакомства государыня могла понять, что ее подруга никогда и ни с кем не сообразовывается.

А что бесило Дашкову? Словарь Екатерины II редактировал Паллас, его труд никак не мог устроить княгиню. Ведь «в издание книги, которую он в угоду императрице называл словарем, он вогнал более чем двадцать тысяч рублей, не считая того, что стоила Кабинету посылка курьеров в Сибирь, на Камчатку, в Испанию, Португалию и т. п. для отыскания нескольких слов каких-то неизвестных и бедных наречий».

Ведь 20 тысяч так хорошо было бы потратить на другой — полезный и нужный словарь! Княгиня не упомянула еще Америку, куда, правда, не гоняли курьеров, но с Филадельфийским философским обществом которой списались и получили ответ от Бенджамина Франклина, а затем и словари языков шауни и делаваров.

Так ли уж «бесполезно» было «что-то вроде словаря», выходившего под эгидой Екатерины II? Четыре тома по 500 экземпляров «Сравнительного словаря всех языков и наречий» появились в 1787–1791 годах. И современники, и потомки высоко оценили этот труд^[781]. Дашкова не скрывала: «...все его расхваливали, как чудесный словарь». Мнение придворных можно счесть лестью, на что и намекала княгиня. Но прошли годы, и оказалось, что словарь Палласа живуч, он внес свой вклад в развитие сравнительной лингвистики. Было бы наивно полагать, будто такой занятый человек, как императрица, сможет, оставив повседневные дела, непосредственно работать над дефинициями или вычитывать гранки. Екатерина II следила за словарем, конкретную же работу осуществляли филологи, в первую очередь немецкие, что обеспечило известность за рубежом и быстрый ввод издания в научный оборот. Особую роль сыграл

Людвиг Иванович Бакмейстер, составивший в 1773 году вопросник, по которому был собран материал для сравнительного словаря. Именно Бакмейстер систематизировал блок, касавшийся славянских языков. Ему, автору обширного библиографического труда по русской литературе, подобная работа была под силу^{782}.

Следует согласиться с мнением Л.В. Тычининой, что оба словаря могли бы мирно сосуществовать, не составляя друг другу конкуренции, поскольку преследовали разные цели^{783}. Но в дело вмешался темперамент зачинательниц проектов. Зная демонстративное терпение Екатерины II и вспыльчивость Дашковой, вряд ли стоит задаваться вопросом, откуда полетел первый камень.

Именины госпожи Решимовой

Стоит только удивляться, как Екатерине Романовне удавалось и так сильно страдать, и так много делать? Каждую драму княгиня переживала с чувством, с толком, с расстановкой, не пропуская ни малейшей детали. Душевная боль давала ей силы. А не опустошала, как случается с обычными людьми.

Заслуживает внимания высокое мастерство, с которым княгиня оттягивала выход из тупика, отказывалась от примирения, оскорблялась посредничеством. Ведь посредник крадет удовольствие. Единственным человеком, с которым княгиня соглашалась разделить свои страдания, была императрица. Но слишком жизнерадостная от природы Екатерина II неизменно уклонялась.

Страдая из-за выходок Анастасии, Екатерина Романовна за столом государыни произнесла примечательный монолог о храбрости: «Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке и вы будете терпеть это мучение, не уклоняясь от него, я сочту вас мужественнее, чем если бы вы два часа сряду шли прямо на врага». Никто из присутствовавших не понял, к чему реплика княгини. Одна императрица не сводила со старой подруги глаз, догадываясь, о каком событии та говорит.

Разговор коснулся самоубийства. «Я сказала ей, улыбаясь, что никогда ничего не предприму ни для ускорения, ни для отдаления своей смерти... Я нахожу, что дам более яркое доказательство твердости своего характера, если сумею страдать, не прибегая к лекарству, которым не вправе пользоваться»^[784].

Мало кто умел так испортить настроение за столом. Согласно Дашковой, «с этого дня императрица пользовалась каждым случаем, чтобы развлечь» ее. Камер-фурьерский журнал за 1786 год полностью подтверждает слова княгини: она почти через день бывала у Екатерины II на малых собраниях и вечером приглашалась во внутренние покои. На любом празднике мадам директор указывалась сразу за императорской семьей^[785].

Отдадим должное Екатерине II: она выбрала метод, которым до сих пор пользуются психологи. Предложила подруге написать пьесу. Излить горе на бумагу. На отказы Дашковой последовал очень характерный ответ: де «она (императрица. — О. Е.) по опыту знает, как подобная работа

забавляет и занимает автора».

В это время саму Екатерину II буквально захватил театральный вихрь: публиковались и переводились на немецкий язык ее пьесы «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибирский», переписывались статс-секретарями отрывки из исторических трагедий «Олег», «Рюрик» и «Игорь». Дневник Храповицкого полон упоминаний о подобной работе^{786}. Дашкова с ее знаниями в области английской комедии Шеридана и Голдсмита была как нельзя кстати.

Княгиня очень держалась за связь с Екатериной II: прийти к ней, обсудить что-то. Поэтому и «поставила условием, что она прочтет первые два акта, поправит и откровенно скажет, не лучше ли бросить их в огонь». Императрица обещала, в тот же вечер проглядела наспех написанный текст, смеялась и ободряла подругу к дальнейшим стараниям. Заметим: Дашкова сама попросила дать советы, но, получив их, например, сделать комедию в пяти актах — обычное сценическое время, — осталась недовольна и вину за медленное развитие сюжета возложила на подругу: «Кажется, пьеса от этого не выиграла, так как действие оказалось растянутым и скучным».

Так возникла пьеса «Тоисиоков», у которой, конечно, был английский протограф. Но которая тем не менее является не чем иным, как терапевтическим откликом Дашковой на поразившее ее семейное горе — разрыв с дочерью. Княгиня получила возможность обосновать свои благородные принципы, а кроме того, показать себя со стороны, увидеть в своем поведении смешное.

С последней задачей Дашкова справилась лишь отчасти. Ее героиня способна вызвать смехи тем, что делает сто дел в минуту и готова всех «замуштровать», но она безусловно остается не просто главным положительным персонажем — а единственным *действующим* лицом. Остальные в оторопи и изумлении взирают на тетушку. Решимова нигде не допускает просчетов. Это цельный образ, противопоставленный другому персонажу — Тоисиокову, фамилия которого происходит от выражения «то и сё», вечно колеблющемуся, неуверенному, ленивому и беспечному. «Я избрала наиболее распространенный у нас тип бесхарактерного человека», — писала Дашкова. В Тоисиокове видели и Л.А. Нарышкина, и И.И. Шувалова. Но подобных лиц — «тряпок», «жестяных вертушек», «кукол без души» — княгиня встречала на своем пути немало. А вот в прототипе главной героини никто не сомневался.

«Хотя горяча, скоро и упряма, но умна и сердцем отходчива», — говорит о ней лакей Пролаз. «Я уверен, что вы в младенчестве и в молодости на других никак не походили и превосходным разумом

блистали», — вторит бесхарактерный племянник Решимовой. «Я умею и знаю, как волю-то иметь... — скажет о себе сама госпожа. — Какой-нибудь нрав лучше, чем никакого».

Сюжет комедии прост: ленивый барин не замечает, как его обкрадывают слуга-француз и дворецкий. Из-за своей нерешительности и желания угодить всем он оказывается буквально на грани банкротства. Навестить «племянника» приезжает тетка жены, которая через собственного лакея и нескольких преданных слуг изобличает мошенничество.

Перед нами просвещенческая комедия в дистиллированном виде. Современные исследователи считают, что «Тоисиоков» восходит к ранней комедии Оливера Голдсмита «Добрячок», где герой-тюфяк похож на дашковского, а некоторые сцены совпадают, но вместо тети положение спасает добродетельный дядя персонажа^[787].

Мнение, будто в комедии княгини «русской действительности и слыхом не слыхать»^[788], давно вызывает справедливую критику: барин, обираемый лакеем-французом, очень характерен для отечественной жизни того времени. Но заметим — это общая тенденция для комедии Просвещения. Шарлатаны, ловкие вымогатели, втершиеся в доверие к простакам, присутствуют и на французской, и на английской сценах, и в русских комедиях Екатерины II, с которыми текст Дашковой имеет много перекличек.

По-настоящему русским, новым, нигде дотоле не опробованным является главный ход автора — помещение в центр событий женщины, превращение ее в основного персонажа. Это не страдающая от чьего-либо деспотизма героиня, а властная, уверенная, богатая сама себе госпожа. Дама средних лет, многое пережившая и утвердившаяся в своих принципах. Деловая. Обремененная заботой о многочисленной родне и немалом хозяйстве.

Эдакая фонвизинская Простакова, только со знаком плюс. От ее действий, решимости зависит всё мироздание в пределах пьесы. Такой образ был поистине прорывным для отечественной литературы. К сожалению, скромные художественные достоинства пьесы не позволили ему как следует утвердиться. Но для России он не был чужим. Имея в виду себя, Дашкова не заметила, как привела на подмостки господствующий в тогдашнем дворянском обществе тип матушки и тетушки.

Для самой Дашковой образ главной героини был автобиографичен. У Решимовой две племянницы. Одна по своей воле вышла замуж за

Тоисиокова и теперь несчастна. Другая, более скромная и робкая, живет у сестры и наблюдает «неустройство» ее дома. Через пару женских персонажей автор показывал и промах Анастасии, и то, как счастливо события могли бы развиваться, покорись она воле матери. Госпожа Тоисиокова и Флена Осиповна — раздвоившийся на сцене единый человек, каждая из половинок которого выбирает свой путь. «Крушусь о сестре твоей, — говорит Решимова племяннице, — но кто же виноват? Сама выбрала, влюбилась в болвана и ускорила выбором своим мое решение. Ты, мое любезное дитя, не погуби себя так же».

Дашкова не стеснялась заявить, что больше всех добродетелей ценит послушание. Восхищаясь Фленой, Решимова замечает: «Она у меня маленькая по ниточке ходила». Жених племянницы роняет: «Ее нрав более умягчается повиновением». О своем муже героиня отзывается: «Он, покойник-свет, был преумный человек, никогда из воли моей не выступал». Может показаться, что эти слова — попытка посмеяться над собой. Но финал показывает: самоиронии не было. Герои по очереди восклицают: «Спокойствие наше зависит от решения тетушки!»; «Оставим лучше тетушке на волю, она лучше нас решить изволит!»

Героиня на сцене, а Дашкова в жизни не замечают, как удобна для окружающих такая позиция.

Ведь сколько бы «тетушка» ни порицала «племянника», его разоренной жене она жалует 30 тысяч рублей содержания. Сумма совпадает с долгами Анастасии. Героиня со сцены признается: «Духом я измучена». Ей хочется, чтобы родные люди «ходили по ниточке». Но за их отказ от самостоятельности приходится платить — не только деньгами, но и душевными силами, вечными ссорами с детьми, которые одновременно и рвутся к личной свободе, и сидят на шее. Страхом за их будущее — ведь они так и не научились ни за что отвечать. А мать стареет...

«Я знаю, что Вы уже женаты»

Тем временем самый сильный удар нанесла все-таки не Анастасия — отрезанный ломоть, — а Павел, с которым княгиня связывала все свои надежды.

Сын женился.

«В Киеве ему приглянулась одна девочка, дочь облагороженного чинами купца Семена Никифоровича Алферова, — писал Ф.Ф. Вигель, отец которого некоторое время водил с Дашковым дружбу. — По... примеру английских лордов, коим он старался подражать и кои часто ничтожных тварей... возводят в звание супруг своих, он долго не задумывался, взял да и женился, не быв даже серьезно влюблен»^{789}.

Дашкова описала в мемуарах, каково было от чужих людей узнать о свадьбе Павла. Как-то, выходя от государыни, она встретила одного из вельмож, который сказал ей: «Я получил письмо из Киева, в котором мне пишут, что ваш сын женился». Знакомый хотел поздравить княгиню, но увидел, что она бледна, как мел.

«Я чуть не упала в обморок, — вспоминала Дашкова, — но собралась с силами и спросила имя невесты. Он мне назвал фамилию Алферовой... У меня сделалась нервная лихорадка, и в течение нескольких дней мое горе было столь велико, что я могла только плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа относительно своей матери... Я предполагала, что заслужила больше своей свекрови дружбу и уважение своих детей и что мой сын посоветуется со мной, предпринимая столь важный для нашего общего счастья шаг, как женитьба. Два месяца спустя я получила письмо, в котором он просил у меня разрешения жениться на этой особе, тогда как весь Петербург уже знал о его нелепой свадьбе и обсуждал ее на всех перекрестках»^{790}.

То, что мать разузнала об «этой особе», способно было бросить в дрожь и менее впечатлительную женщину: «Невеста не отличалась ни красотой, ни умом, ни воспитанием. Ее отец был в молодости приказчиком и впоследствии служил в таможне, где сильно воровал».

Окружающие пытались успокоить княгиню и склонить к примирению с сыном. Не тут-то было. Командир Павла Михайловича пробовал заступиться за молодых. «Одновременно с его письмом я получила и послание от фельдмаршала графа Румянцева, в котором он говорил мне о предрассудках, касающихся знатности рода». Это еще больше распалило

Екатерину Романовну. «Я ответила ему в насмешливом тоне... что в числе безумных идей, внедренных в моей голове, никогда не существовало слишком высокого мнения о знатности рождения». Это, как мы знаем, неправда.

«Сыну своему я написала... “Я знаю, что Вы уже женаты несколько времени; знаю также, что моя свекровь не более меня была достойна иметь друга в почтительном сыне”». Ларчик, между тем, открывался просто, но мелодия его замка была очень печальной. Несмотря на все жертвы, которые княгиня принесла во имя воспитания детей, ее своенравный характер вызывал у сына страх. Никак не дружбу. Он решил жениться по любви. Но, сделав выбор, не нашел в себе мужества открыто объявить об этом матери.

Не один Румянцев пытался примирить княгиню с сыном. Гавриил Романович Державин, в тот момент еще дружественно настроенный к Дашковой, обратился к ней в стихах:

Пожди, — и сын твой с страшна бою
Иль на щите, иль со щитом,
С победой, с славою, с женою,
С трофеями приедет в дом;
И если знатности и злата
Невестка в дар не принесет,
Благими нравами богата,
Прекрасных внучат приведет.
Утешься и в объятьи нежном
Облобызай своих ты чад...

Совет был неисполним. Для княгини разверзлось небо.

Часто повторяют: такую ли невестку хотела видеть Екатерина Романовна? Не задаваясь вопросом: а хотела ли видеть вообще? Нет сведений о том, чтобы Дашкова подыскивала Павлу партию, хотя в ее нынешнем, высоком положении она могла рассчитывать на самые выгодные варианты.

Долгие годы в поступке молодого человека видят лишь слабование: не известил мать. А на происходящее смотрят сквозь призму богато выплеснутых в мемуарах эмоций княгини: «У меня открылась нервная лихорадка... С той минуты, как я поняла, что покинута своими детьми, жизнь стала для меня тяжелым бременем»^{791}.

Но была и хозяйственная составляющая. Если вернуть в картину этот

кусочек смальты, поступок Павла приобретает иное звучание.

К зиме 1783/84 года, когда Павел получил двухмесячный отпуск из армии и приехал в Петербург, относится сообщение в мемуарах: «Я ему передала актом, скрепленным ее величеством, состояние его отца, оставив себе небольшую часть его... Он получил больше, чем отец его оставил мне и обоим детям, и у него не было ни копейки долга, так что... я недурно справилась с задачей опекуниши и управительницы всех имений»^[792].

На самом деле в конце 1783 года княгиня обратилась с письмом в Сенат, прося оформить на ее имя право собственности — так называемой дачи — на земли, оставшиеся после смерти супруга М.И. Дашкова, поскольку ее сын служит в армии полковником и находится у матери в опеке. В мае следующего, 1784 года Павел достиг бы совершеннолетия, которое по законам того времени наступало не в 18, как сейчас, а в 21 год. К нему должны были перейти владения отца. Вдова, согласно законодательству, имела право на $\frac{1}{7}$ имущества покойного мужа. Дашкова заблаговременно обратилась в Сенат, сообщив, что принесла в приданое 13 тысяч рублей, погасила долги покойного супруга и заплатила за него проценты, кроме того, она купила новые деревни и обеспечила воспитание детей^[793].

Сенат решил дело в пользу Дашковой. В результате в мае 1784 года Павел не вступил во владение наследством отца, дачи уже были оформлены на мать. Но взрослого сына следовало выделить, хотя бы юридически. Поэтому в феврале 1785 года княгиня подала на имя императрицы просьбу о разделе. Екатерина II утвердила прошение. За княгиней осталось 2535 душ. Сын получил 4133 души^[794]. Если бы в отношении наследства с Павлом поступили по закону, а не по определению Сената, он приобрел бы 5716 душ, а мать только 952. Разница для молодого князя составляла более полутора тысяч. В те времена 300 крепостных считались средним состоянием.

Теперь главный вопрос: получил ли молодой князь Дашков до женитьбы выделенную долю? Сведений, подтверждающих это, нет. Зато известен случай: в конце 1786 года Павел задолжал в Киеве 1200 рублей, которые за него заплатил Потемкин^[795]. Значит, молодой князь все еще не располагал собственными деньгами.

Дашков служил вдали от дома. И делал долги. Кроме того, он оказался горяч, вступал в дуэли. Некоторые удалось замять при участии императрицы и Потемкина. Но в декабре 1786 года Павел Михайлович влип не на шутку. 9-го числа английское посольство давало бал. Офицер

Преображенского полка Петр Иванович Иевлев устроил ссору с молодым князем и вызвал его на дуэль. Узнав о деле, императрица приказала командиру полка запретить Иевлеву драться^{796}.

«Между тем узнала о сем княгиня Катерина Романовна, — сообщал управляющий петербургскими имениями Потемкина Михаил Гарновский. — Зная нрав сей штатс-дамы, легко вы можете себе вообразить положение ее... Находясь в отчаянии, написала она к Александру Матвеевичу (Дмитриеву-Мамонову, тогдашнему фавориту. — О. Е.) письмо, ...что для спасения жизни сыновней не пощадит она собственной своей и готова сама биться с Иевлевым на шпагах»^{797}.

Важно не то, что Гарновский описал события в издевательском тоне. А то, что само поведение матери молодого офицера вызывало насмешку. Миновал год, и вдруг молодой князь женился, что сделало его самостоятельным. Гласный разрыв с матерью уже исключал для нее возможность управлять его имениями. Кроме потери контроля над частью состояния, она потеряла доверие молодого человека. И никак не могла понять почему. Ведь ей удавалось так хорошо хозяйствовать.

Глава двенадцатая.

ЛИЦЕМЕРЫ

Горе княгини нашло неожиданный выход. В субботу, 28 октября 1788 года, в ее цветник, любовно разбитый в Кирианове, вторглись соседские свиньи. Они принадлежали брату старого обидчика обер-шталмейстера Льва Нарышкина — Александру, с которым у Екатерины Романовны больше года тянулось судебное дело из-за «клока земли».

Свиньи вытоптали рассаду. Были схвачены крепостными Дашковой и, по приказу хозяйки, зарублены^{798}. Некрасивая история. О ней много судачили. Над княгиней смеялись. Храповицкий записал слова государыни: «Тот любит свиней, а она цветы, оттого все дело вышло». Днем ранее Екатерина II приказала «скорее кончить дело в суде, чтоб не дошло до смертоубийства»^{799}.

Приехавшие на место полицейские не нашли потравы. Княгиня отговорила не знанием закона, суд взыскал с нее 80 рублей штрафа...^{800} Смех смехом, но случай показывал, что нервы Екатерины Романовны не выдерживают.

«Такающая» Фелица

Ссора послужила Екатерине II сюжетом для пьесы «За мухой с обухом». Правда, в октябре 1788 года тому же Храповицкому было сказано, что в комедии «надо смягчить суровость имен и выкинуть хвостовство Постреловой о вояжах»^[801]. В конце февраля императрица обронила в беседе со статс-секретарем: «С Дашковой хорошо быть подальше из деликатеса». И позднее: «Она ни с кем не уживется».

Значило ли это, что Екатерина Романовна, получив известие о свадьбе сына, немедленно обрушила расстроенные чувства на подругу? Тогда же княгиня испросила разрешения провести лето в резиденции. Но государыня приказала распределить покои так, чтобы Дашковой не хватило места. Возле себя она хотела иметь Анну Никитичну Нарышкину, женщину в разговорах легкую: «С одной хорошо проводить время, а с другой нет»^[802].

Портрет Дашковой, выписанный в «Былях и небылицах», ясно показывает, почему старая подруга была в тягость императрице. «Знал я одну женщину, которая слыла разумною, ученою и благонравною, — сообщал автор. — Правда, что имела она природную остроту, но не имела столько рассудка, чтоб восчувствовать, что беспрестанное ее во всем притворство наконец откроется, и что она часто оным осмеянию подвергается»^[803]. Что значит упрек в лицемерии?

Масса недоразумений между подругами возникла на почве журналистской деятельности. Период управления Дашковой двумя академиями стал наиболее плодотворным для княгини-писательницы. Именно тогда наша героиня состоялась не только как администратор науки, но и как литератор. Она и прежде много писала, но теперь была вынуждена просто не выпускать пера из рук.

Дорогой в Россию Екатерина Романовна планировала по возвращении начать публикацию нового периодического издания «Санкт-Петербургский Меркурий». Но дело устроилось гораздо лучше: находясь во главе Академии наук, княгиня выступила редактором двух основанных ею журналов, которые выходили на казенный счет.

Два года просуществовал «Собеседник любителей российского слова»: в 1783-м вышли четыре номера, в 1784-м — еще шесть. Журнал стал официальным органом Российской академии наук и проводил ту литературную и языковую политику, которая вырабатывалась сотрудниками «Словаря». Он охватывал почти все сферы писательской деятельности:

стихи, прозу, драматургию, сатиру и публицистику. В журнале, не открывая своего имени, сотрудничала императрица. Ее анонимность позволяла читателям, прекрасно зная, с кем они разговаривают, прикидываться простачками и подвергать тексты Екатерины II критике. Правила игры были понятны, и, если оппозиционер не перегибал палку, государыня терпела. Если же публикация не устраивала императрицу, «мадам редактор» должна была сглаживать ситуацию, выступая то с разъяснениями, то с критикой на критику.

Как далеко княгиня могла позволить себе зайти? И в сторону сервильности? И в сторону оппозиционности? Оба водораздела ясно обозначились именно в «Собеседнике». Один из них связан со знаменитой державинской одой «Фелица».

Гавриил Романович служил экзекутором в 1-м департаменте Сената под началом неприятеля Дашковой — А.А. Вяземского. Экзекутором 2-го департамента был Осип Петрович Козодавлев, одновременно состоявший советником при директоре Российской академии. Он технически руководил изданием «Современника».

Державин написал оду еще в 1782 году, но опасался печатать, так как изобразил вельмож, теснившихся у трона, весьма сатирически. Их пороки контрастировали с добродетелями главной героини, под которой подразумевалась императрица. За год до того появилась «Сказка о царевиче Хлоре», написанная Екатериной II для внука Александра. В ней рассказывалось, как юного царевича Хлора похитил киргизкайсацкий хан, повелев ему найти «розу без шипов» — символ добродетели. Мальчику помогли дочь хана Фелица (Счастливая) и ее сын Рассудок. Именно к Фелице поэт и обратил свое стихотворение.

Гавриил Романович уверял, что не намеревался публиковать оду. Лишь показывал друзьям. Козодавлев упросил снять копию. Уже через два дня стихи читали в доме у И.И. Шувалова, где находилась Дашкова, заявившая: «Вот драгоценная находка для первого номера журнала». Текст появился под заглавием «Ода к премудрой Киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по своим делам в Санкт-Петербурге. Переведена с арабского языка». Примечание к заголовку уверяло читателей, что имя автора неизвестно^[804]. 20 мая журнал вышел из типографии. А уже через несколько дней, на обеде у Вяземского, Державин получил пакет с надписью: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину». Пакет скрывал золотую табакерку, в которой лежали 500 червонцев.

Такое щедрое подношение скромному сотруднику покорило

генерал-прокурора, весьма далекого от литературной жизни, и тот возмутился: «Что это за подарки от киргизцев?» Этот отзыв обычно приводят как доказательство невежества Вяземского. Между тем налицо был подкуп, и Державину стоило немало труда объяснить дело. С того дня прежде добродушный начальник стал немилостив к поэту, не прощая связей при дворе. «Закралась в его сердце ненависть и злоба, — вспоминал Державин, — так что равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязывался во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и ругал, проповедуя, что стихотворцы не способны ни к какому делу»^{805}. Вяземским владела зависть. Державин из незаметного экзекутора одним письмом императрицы был переведен в круг людей, с которыми монархи позволяют себе шутить.

Приятно, конечно. Но Гавриилу Романовичу жест императрицы отлился горячими слезами. Мало того что на него ополчились осмеянные вельможи. Мало того что Державин лишился покровительства прямого начальника. (В конце концов Вяземский вовсе вытеснил его со службы.) Так еще и ода вызвала чувство соперничества у литераторов. Гавриила Романовича обвинили в лести. В ответ он написал поэму «Видение мурзы», в которой сошедшая с портрета Екатерина разговаривала со своим певцом и прямо запрещала похвалы в адрес властей предрежащих:

Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы.

Опасная тема.

Державин слишком уж прямо общался в стихах с царицей, словно у него и не было посредников. Есть и другая версия знакомства Екатерины с «Фелицей». В то время когда Козодавлев передал оду Дашковой, статс-секретарь Безбородко уже показал государыне стихи, которые попали к нему через приятеля, архитектора Н.А. Львова. Ода понравилась Екатерине II до слез: «Читаю и плачу, как дура». Дашкова поместила «Фелицу» на первой странице «Собеседника», сразу после своего юношеского стихотворения к портрету императрицы, тоже полного похвал. Такой поступок указывал на безусловную уверенность в доброжелательном отношении государыни^{806}.

Стало быть, княгиня заранее знала, что ода угодна. И ее шаг был продиктован не личной инициативой, а восторженным отношением монархини. Но Гавриил Романович вспоминал почему-то нападки. На

упрек Фелицы в лести он отвечал:

Довольно без тебя поэту
За каждую мысль, за каждый стих
Ответствовать лихому свету
И от сатир щатиться злых!

О каких сатирах речь? Сразу после «Фелицы» в «Собеседнике» появилось знаменитое «Послание к слову “так”» — самое сильное литературное произведение Дашковой. Оно имеет внутреннюю, нравственную переключку со стихами Державина.

Написанное разными размерами, а местами и прозой, «Послание...» точно пробует формы выражения мысли, свойственные русскому языку, и не желает оставаться в жестких рамках одной из них. Оно посвящено теме «таканья», столь вредной для общества. Потакание — нравственный изъян как сильных мира сего, которые требуют соглашательства с самыми вздорными своими мнениями, так и слабых, подчиненных людей, не способных возразить очевидной глупости или подлости.

Лишь скажет кто из бар: ученье есть вредно,
Невежество одно полезно и безбедно;
Тут все поклонятся, и умный, и дурак,
И скажут, не стыдись: конечно, сударь, так...

Этот пассаж, как и многие другие, роднит «Послание» с грибоедовским «Горем от ума». Нет сомнения, что поэт не просто читал «Собеседник», а многое почерпнул в этом журнале. Сравним, например, «Ученость, вот чума, ученость, вот причина...».

А похвалы старому доброму прошлому, так раздражавшие обоих авторов! «Как посмотреть да посравнить/ Век нынешний и век минувший./ Свежо предание, а верится с трудом...» У Дашковой та же тема:

Иные, спать ложась, боялись в старину,
Чтоб утром не страдать за чью-нибудь вину;
Однако ж иногда те век свой похваляют,
А новы времена несправедливо ругают.
Хотя покойно мы теперь ложимся спать,

Не опасаясь невинно пострадать;
Но если знатный раб, как будто сумасшедший,
Наш новый век бранит, а хвалит век прошедший,
Тогда ему подлец, и умный, и дурак
С поклоном говорят: конечно, сударь, так.

Грибоедов в пьесе не щадит уже и Екатерину II. А щадит ли Дашкова? Строки: «Кто любит *таканье* и слушает льстеца,/ Тот хуже всякого бывает подлеца» — несмотря на благонамеренный, монархический финал, воспринимались как упрек. Сам собой возникал вопрос: что же это за государыня, которая привечает льстецов, оставляя без внимания истинные таланты и заслуги?

Хоть тот пускай умнее,
Который обойден;
Но умный принужден
Стоять и дожидаться,
В передней забавляться
Надеждою пустой,
А за его простой
Его не награждают,
Лишь только презирают.
Другой пускай дурак,
Но, говоря все так,
Он чин за чином получает
И в карты с барамы играет,
А тот в передней пусть зевает
За то, что он не льстец,
Не трус и не подлец.

Здесь и Молчалин, играющий с господами в карты, и Чацкий, которому чин нейдет, его удел — презрение, пустые надежды, зевки в передней... Но самое важное — здесь читатель видит Екатерину Романовну. Пока другие льстят, ее не награждают.

Величие в колике

Принято считать, что Екатерина II с одобрением восприняла «Послание...». На самом деле она составила письмо от лица безымянного читателя, которое редакции пришлось опубликовать. В стихах Дашкова хвалила римского императора Марка Аврелия за то, что тот раздавал богатства и понизил налоги. Екатерина II напомнила строку из «Наказа»: Налоги — *«нужный источник благоденствия обществу, от которого истекают награждения, одобрения, милости»*^{807}. Печатая журнал, княгиня пользуется перераспределенными доходами, которые берутся от налогов. Облегчив бремя «дани», придется отказаться не только от изданий за счет казны, но, быть может, и от самих академий. Словом, сидя на ветке, не стоит ее пилить.

Дашкова составила «Ответ от слова “так”», где уверяла, что «ни одна частная особа не описывается, а порицаются пороки вообще». После этого строки: «Нередко такают почтенны царедворцы,/ Но то же самое творят и стихотворцы» — должны были восприниматься как осмеяние порока, а не личный выпад против Державина. Даже странно, что поэт обиделся.

Отношения Гавриила Романовича с «мадам редактором» были двойственными. Княгиня показывала, что готова покровительствовать ему, но из этих стараний вышли неприятности по службе. «Княгиня Дашкова... говорила императрице много о нем хорошего, — писал о себе в третьем лице поэт, — ...чем вперила той мысли взять его к себе в статс-секретари... Сие княгиня Державину и многим своим знакомым, по склонности ее к велеречию и тщеславию, что она многое может у императрицы, сама рассказывала. Таковое хвастовство не могло не дойти до двора и было, может быть, причиною, что Державин более двух годов еще не был принят»^{808}.

Вместо этого поэта на время удалили из столицы: в 1784 году его пожаловали чином действительного тайного советника и назначили губернатором в Олонец, а затем в Тамбов. Именно из Тамбова Державин обратился к нашей героине:

И ты, коль победила страсти,
Которы трудно победить;
Когда не ищешь вышней власти
И первую в вельможах быть;

Когда не мстишь, и совесть права,
Не алчешь злата и серебра, —
Какого же, коль телом здрава,
Еще желаешь ты добра?

Этим же вопросом задавались многие из знавших Дашкову. При таком богатстве, при таких должностях, чего еще надо? «Живи и распложай науки». Но нет.

Судя по приведенной строфе, поэт нащупал болевую точку. Дашкова действительно любила поговорить о том, что «многое может у императрицы». Даже в письмах Потемкину подчеркивала свое постоянное пребывание при особе государыни. «Вчера дух мой был до крайности встревожен, — писала она в сентябре 1783 года. — В течение более четырех часов императрица страдала сухою коликою; я была у ее постели до полуночи. Ее терпение и внимание к окружающим были невероятны. Даже в колике она остается великою. Сегодня утром я нашла ее не только спокойною, но даже веселою»^{809}.

Наша героиня подчеркивала свою почти домашнюю близость к императрице. Екатерине II это не нравилось. Отсюда пассажи о неискренности, пронырливости княгини. Из путешествия на юг в 1787 году императрица послала парчу всем своим дамам, кроме Дашковой. Храповицкому было сказано: «Княгиня Дашкова хочет, чтоб к ней писали, а она, едзя по Москве, перед всеми письмами хвастает»^{810}.

Руководство «Собеседником», так же как письма государыни, подчеркивало роль княгини. «В этом журнале участвовала императрица своими сочинениями, — писал Державин, — ...и те свои сочинения присылала на просмотрение, в рассуждении орфографии, княгине Дашковой под великим секретом. Но она секрет свой не удержала, а напротив того, всякому, к ней приезжавшему, объявляла и хвалилась, а паче иностранным послам, хвастаясь высочайшею к ней доверенностью, что и было причиною упадка ее при дворе... Затворились княгине райские двери»^{811}.

Вопросы к Фелице

Но прежде чем Екатерина Романовна была «свержена с небес», произошло из ряда вон выходящее событие. Императрицу призвали к ответу. Заставили прямо высказаться на страницах журнала по ряду крайне болезненных вопросов.

Работа над «Собеседником» обычно шла так: Дашкова и ее сотрудники собирали материалы, потом княгиня знакомила августейшую подругу с тем, что должно пойти в печать, получала одобрение и начинала публикацию. Ее величество выступала и в роли цензора, и в роли главного редактора. А кроме того, говоря современным языком, владела «основными акциями». В таких условиях Дашковой было трудно отстаивать свою независимость.

Княгиня выбрала самый простой способ. Усыпить венценосную подругу потоками лестных публикаций и среди них нет-нет да и продергивать нечто критическое. Такое отношение хорошо прослеживается в истории с «Вопросами» Д.И. Фонвизина.

Дашкова и Фонвизин слыли приятелями, в их взглядах имелось много общего. Оба обязанные Никите Панину, они принадлежали к одному политическому кругу. Вспыльчивые, горячие, не удовлетворенные своим нынешним положением, они были склонны за частностями личных неудач видеть более глобальные тенденции и говорить о них с читателями.

Литератор и мемуарист того времени С.Н. Глинка сообщал, что княгиня и присоединившийся к ней Иван Шувалов просили Фонвизина не посылать «Вопросы» в «Собеседник»^[812]. Но автор настаивал. Прежде чем опубликовать текст, Дашкова показала его императрице. Видимо, первая реакция была резкой. Екатерина II сначала решила, что анонимная статья принадлежит Ивану Шувалову, и Дашкова не разубедила ее. Потом государыня смягчилась. В августе 1783 года она написала княгине: «Перечитывая со вниманием эту статью, я теперь нашла ее менее злой. Если бы ее можно было напечатать вместе с ответами, то она совершенно лишилась бы своего едкого характера»^[813].

Подчеркнем: «Вопросы» увидели свет в третьем выпуске журнала с согласия Екатерины II. Принято подчеркивать их обобщающий, антиправительственный характер. Но, согласно понятиям того времени, все они метили в конкретных лиц, принадлежность которых к окружению императрицы и делала текст оппозиционным.

Государыне, воспитанной во времена елизаветинских строгостей, «Вопросы» показались оскорбительными. Отчего в России ничтожные люди ходят в больших чинах, а достойные пребывают в тени? Драматург намекал на отставку своего покойного покровителя Н.И. Панина. Отчего некоторые «наши умники и умницы» слывут за границей «дураками»? Здесь задевался князь Г.Г. Орлов, сошедший после смерти жены с ума. «Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне и весьма большие?»^{814} Тут содержался выпад против Льва Нарышкина.

Как видим, и круг друзей, и круг врагов у Фонвизина и Дашковой был одинаковым.

Екатерина ответила от лица «Дедушки», помнившего прежние царствования: «Молокососы! Не знаете вы, что я знаю. В наши времена никто не любил вопросов, ибо с иными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; нам подобные обороты кажутся неуместны... Отчего? Отчего? Ясно, оттого, что в прежние времена врать не смели, а паче — письменно»^{815}.

Что значит «неприятные обстоятельства»? Вопросы прежде задавали в Тайной канцелярии под пыткой. Показав «свободу языка», автор удостоился прямой угрозы.

Позволительно задуматься: только ли «Вопросы» вызвали раздражение Екатерины II? Ведь она сама пропустила их в печать. В том же выпуске Дашкова попыталась смягчить позицию Фонвизина. В послании «О истинном благополучии», касаясь пороков: жадности к богатству, к чинам, к могуществу, — она соскользнула к опасному обобщению: «Сии страсти не только пагубны частным людям, но приключили падение великим государствам»^{816}. Жало критики традиционно, как делал еще Панин, коснулось фаворитов: «Не можно представить себе равного могущества тому, каковое имел Сеган, римского кесаря Тиберия любимец. Важнейшие чины были на него возложены; власть имел он беспредельную; судьбина всех римских граждан зависела от его произволения... Казалось, долженствовал бы он сделаться благополучнейшим из смертных; но вместо того гнусными своими деяниями сделался извергом человечества»^{817}.

Кто скрыт под именем «Сеган»? Кто из екатерининских вельмож имел «власть беспредельную», на кого были возложены важнейшие чины? Эти строки возникли тогда же, когда и трепетные письма «милостивцу» Григорию Александровичу. Но если в частной корреспонденции с Потемкиным говорит «благоразумная мать», пекущаяся о чинах сына, то в

журнальной статье слышан голос родной сестры «моралиста» Александра Воронцова.

Нападок на светлейшего государыня не любила. Князь был ее защитой перед лицом метущегося двора. Неудивительно, что после третьего выпуска императрица вдруг заявила: новых материалов от нее не будет. Настоящий удар. Ведь текстами Екатерины II из 2800 страниц заполняли примерно полторы тысячи.

Дашкова попыталась спасти ситуацию, написав два материала: «Искреннее сожаление об участи господ издателей Собеседника» и «К господину сочинителю “Былей и Небылиц” от одного из издателей Собеседника». Но в них не удержалась — вступила в полемику: «Ничто не спасет Вас от дерзости людей невоспитанных... Глубочайшее Ваше презрение к их образу мыслей не может быть доказано сильнее, как помещением в Собеседнике бедных их творений». Финальный вывод: «Держитесь принятого Вами единожды навсегда правила: не воспрещать честным людям свободно изъясняться»^{818} — звучал как назидание.

Страсти разбушевались нешуточные. Пришлось опять просить. И снова Дашкова сбилась на поучения. Неудобные авторы «были, есть и будут, но их существование Вас всех менее удивлять должно». По поводу злополучных вопросов княгиня, опять в шутливой форме, ссылаясь на Англию: «Есть (не помню, однако, в какой части света) одно государство, народ коего почитается весьма просвещенным. У него такой обычай, что все обо всем и у всякого спрашивают»^{819}. Стоило бы написать «со всякого».

Ответ напоминал ведро холодной воды: «Существует ли где *вопрошательный* народ, того не ведаю... но, не быв пророком, предсказать нетрудно, где ко времени и кстати *отвечательный* наверно найтись может»^{820}.

Отзвук этого конфликта слышится у Державина: Дашкова «разругала всех, где досталось и самой императрице... Императрица, поблагодарив ее за труд, пожаловала в награждение 25 тысяч рублей и не велела к себе впускать в назначенный после обеда час для упражненья в литературе. Сим княгиня много потеряла, ибо она вошла было через сей журнал в великую милость»^{821}.

Семейная близость

Если читатель думает, что Дашкова не умела постоять за себя, значит, он до сих пор не проникся особенностями характера нашей героини. Когда история с «Вопросами» поутихла и Екатерина II вновь прислала издательнице сочинения, та пристально вычитала гранки, поправила тексты государыни и вернула автору для ознакомления^[822].

Это была пощечина.

Пикировки отнимали силы у обеих подруг. Ничего удивительного, что к зиме 1787 года их отношения скорее напоминали незаживающую рану, чем старый зарубцевавшийся шрам. Поэтому в знаменитую поездку на юг Екатерина Великая не взяла именно Екатерину Малую. С середины 1780-х годов Дашкова все чаще стала восприниматься вкупе со своим братом Александром, президентом Коммерц-коллегии, и его сторонниками. «Моралист» сумел сформировать свою придворную партию — так называемый «сициетет», выступавшую противовесом партии Потемкина.

Императрица и Александр Романович испытывали друг к другу взаимную нелюбовь. Их сотрудничество напоминало отношения с Паниным, поскольку Воронцов был проводником идей ограничения власти монарха. Здесь между ним и сестрой царило полное согласие.

Как и Екатерина Романовна, брат никогда не критиковал императрицу в глаза. Его старый приятель А.П. Шувалов сообщал: «Он нередко сам смеется предложениям государыни, но не только никогда не отвлекает ее от дел, коих худые следствия он предвидит, но еще поощряет ее на то, дабы только идти всегда вопреки» Потемкину. «Когда мне случалось говорить с ним о делах государственных способом, его образу мыслей несоответствующим, то он мне всегда отвечал: “Чего Вы хотите от этой сумасшедшей страны и от этого сумасшедшего народа?”...Сей человек, обогащенный императором и французским двором, не жилец здешнего государства: при первом удобном случае переселится он в чужие края»^[823].

Человек неуступчивый и методичный, Воронцов обладал феноменальной коммерческой хваткой и умел выжимать деньги буквально из воздуха.

Чем тоже напоминал сестру. Под его покровительством ей, безусловно, становилось легче держаться на придворном паркете. Однако у подобной близости была и обратная сторона. Что бы ни делал «социетет», императрица всегда держала в голове возможность одобрения его шагов со

стороны княгини. На юге Екатерина II встретила со своим союзником Иосифом II. Когда-то император очень тепло встретил в Вене Дашкову. Наша героиня способна была сообщить союзнику «по вспыльчивому ее, или лучше сказать, сумасшедшему нраву, — как писал Державин, — премножество грубостей, даже насчет императрицы, что она подписывает такие указы, которых сама не знает»^{824}.

Поэтому Дашкову не только не взяли на юг, но и не писали ей с дороги. Когда же война грянула, вели себя с ней крайне подозрительно. Чуть ли не как со шпионом. Особенно остро это проявилось в начале вооруженного столкновения со Швецией, король которой Густав III решил поддержать турецкого султана.

Когда-то Дашкова познакомилась с ним во Фридрихсгаме: «Он был королем-путешественником, то есть имел совершенно ложное понятие о всем виденном за границей, так как подобным знатым путешественникам показывают все с лучшей стороны и все устроено и налажено так, чтобы производить самое лучшее впечатление... С целью заручиться их поддержкой, не щадят лести и каждения перед ними. Возвратившись к себе, они требуют от своих подданных прямо обожания и не довольствуются меньшим. Потому-то я... всегда предпочитала, чтобы они ездили по своей стране, но без торжественности, которая бременем ложится... на народ»^{825}.

Комментаторы «Записок» Дашковой давно заметили, что все стрелы в этой зарисовке пущены не в Густава III, а в Екатерину II и касаются не Фридрихсгама, а поездки императрицы в Крым в 1787 году. Здесь и попытки показать увиденное с наилучшей стороны, и бремя, лежащее на народ, и потоки лести, которые расточают монархине встреченные чиновники. Слово в слово то, что обсуждалось в кругу воронцовской партии.

Теперь, с началом войны, старый знакомый княгини герцог Карл Зюдерманландский командовал шведским флотом. И вдруг Дашкова получила от него весточку. «Он послал в Кронштадт с письмом к адмиралу Грейгу, в котором просил переслать мне письмо и ящик, найденные им на одном из захваченных судов, — рассказывала княгиня. — Адмирал Грейг... послал ящик и письмо в Совет в Петербург... Императрица приказала отослать мне ящик и письмо, не вскрывая их. Я была на даче и чрезвычайно удивилась... Курьер из Совета... передал мне толстый пакет от знаменитого Франклина и очень лестное письмо от герцога Зюдерманландского... Я... сейчас же... поехала в город, прямо ко двору...

Императрица приняла меня в спальне... я передала ей письмо герцога Зюдерманландского...[и] спросила ее приказаний на этот счет.

— Пожалуйста, — ответила она, — не продолжайте этой переписки»^{826}.

Перед нами одна из самых туманных сцен в мемуарах. Детали сдвинуты со своих мест. Попробуем их расставить.

Прежде всего, когда произошел инцидент? Война со Швецией началась в конце июня 1788 года. Дашкова пишет, что герцог Зюдерманландский направил Грейгу письмо от Бенджамина Франклина об избрании ее в члены Филадельфийского философского общества — первой научной ассоциации Америки. Но княгиню избрали 17 апреля 1789 года, когда адмирал уже умер (15 октября 1788 года). Из-за войны известие шло более двух лет. Только в июле 1791 года письмо было получено^{827}.

Значит, «ящик» Франклина не мог попасть к Дашковой вместе с письмом Карла Зюдерманландского. Тем более при жизни Грейга. Что же писал шведский друг? «Он меня извещал, что... не желает, чтобы война, столь неестественная между двумя монархами, связанными столь близкими родственными узами, распространила свое влияние и на личные отношения частных людей». И заверял, что сохранил к княгине «уважение, вызванное знакомством в Аахене и Спа». Как будто ничего важного.

Но обе подруги подумали иначе. Екатерина II, велев доставить послание Дашковой, не вскрывая, показала, что видит все контакты княгини. Та решила немедленно объясниться. После того как Екатерина II прочла текст и запретила посылать ответ, произошел примечательный разговор о герцоге Карле: «Он желал бы найти какой-нибудь предлог, чтобы вступить в переговоры о собственных своих интересах, совершенно отличных от интересов его брата, короля шведского. Однако ее величество со мной не согласилась, и через несколько месяцев оказалось, что я правильно оценила герцога и что можно было заставить его изменить интересам брата и парализовать действия шведского флота»^{828}.

Недальновидная Екатерина II! Вместо того чтобы губить своих моряков, доверилась бы дипломатическим стараниям подруги.

Не так всё просто. Герцог, человек амбициозный и всегда стремившийся занять трон своего импульсивного брата, искал способ поддерживать контакты с противником. Это было удобно обеим сторонам. Такие связи обычно ценились и оберегались. Однако императрица не хотела, чтобы посредницей становилась Дашкова, а через нее в курсе всего происходящего оказывался Александр Воронцов. Она всегда понимала, что

этот вельможа ей «не слуга».

«Мысли, опасные нашему времени»

Дашковой вовсе не нужно было участвовать в политических интригах, чтобы вызвать подозрение. Ее контакты поминутно ставили княгиню в ложное положение. И нет ничего удивительного, что имя Екатерины Романовны всплыло в истории А.Н. Радищева, коль скоро тот находился под покровительством ее брата.

«Под начальством моего брата по таможне служил один молодой человек по фамилии Радищев; он учился в Лейпциге, и мой брат был к нему очень привязан, — писала княгиня. — Однажды в Российской Академии в доказательство того, что у нас было много писателей, не знавших родного языка, мне показали брошюру, написанную Радищевым. Брошюра заключала в себе биографию одного товарища Радищева по Лейпцигу, некоего Ушакова, и панегирик ему. Я в тот же вечер сказала брату, который послал уже купить эту брошюру, что его протеже страдает писательским зудом...

Этот писательский зуд может побудить Радищева написать впоследствии что-нибудь еще более предосудительное. Действительно, следующим летом я получила в Троицком очень печальное письмо от брата, в котором он мне сообщил, что мое пророчество исполнилось. Радищев издал несомненно зажигательное произведение, за что его сослали в Сибирь»^{829}.

Из приведенных строк следует, что княгиня не была лично знакома с Радищевым и вряд ли читала его книгу. История ареста автора «Путешествия из Петербурга в Москву» как будто прошла мимо нее, никак не затронув. Однако следующее сразу за рассказом о Радищеве описание дела Я.Б. Княжнина содержит характерную деталь: «В 1794 г....вдова одного из наших знаменитых драматических авторов, Княжнина, попросила меня напечатать в пользу его детей последнюю написанную им... трагедию... Не знаю, прочла ли ее императрица или граф Зубов, но в результате... ко мне явился генерал-прокурор Сената Самойлов... [и] сообщил, что императрица намекнула и на брошюру Радищева, говоря, что трагедия Княжнина является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии»^{830}.

Речь шла о трагедии Княжнина «Вадим Новгородский», написанной одновременно с книгой Радищева в 1789 году. В ней главный герой поднимает восстание против призванного править на Руси варяга Рюрика.

Потерпев поражение, Вадим предпочел смерть жизни под властью самодержца. Что ни говори, а посчитать пьесу опасной у Екатерины II были основания. Особенно в условиях, когда во Франции полыхал якобинский террор, а в январе 1793 года был казнен Людовик XVI.

На следующий день императрица сама выговорила Дашковой: «Что я вам сделала, что вы распространяете произведения, опасные для меня и моей власти?» Что дало Екатерине II право винить княгиню? С момента ареста Радищева прошло четыре года, сменился круг действующих лиц при дворе. И все же наша героиня сама объединила события 1790 и 1794 годов. Видимо, в сознании мемуаристки они были связаны, вытекали одно из другого.

Будучи главой Российской академии и крестной матерью «Словаря», Дашкова самое пристальное внимание обращала на так называемых «молодых авторов», от которых ждала очищения и развития русского языка в соответствии с выработанными нормами. Среди них Радищев уже с 1770-х годов занимал не последнее место. Так, он поддерживал тесные контакты с издателем и просветителем Н.И. Новиковым в петербургский период его жизни. В 1772 году в новиковском журнале «Живописец» был помещен «Отрывок путешествия в *** И*** Т***» — первоначальный набросок одной из глав уже тогда задуманного «Путешествия из Петербурга в Москву»^[831]. В 1784 году в Северную столицу перебралась группа бывших московских студентов. Они решили устроить на новом месте литературное объединение. Так возникло Общество друзей словесных наук, где Радищев, благодаря высокому посту и финансовым средствам, занял исключительное положение. Общество издавало журнал «Беседующий гражданин», Радищев брал на себя заботу о прохождении публикуемых текстов через цензуру^[832]. Он же устроил подписку на журнал через книгопродавца Мейснера, который одновременно служил у него под началом мелким таможенным чиновником^[833].

Дашкова назвала Радищева «молодым человеком», хотя в 1790 году тому исполнился 41 год. Он родился в 1749 году и был всего на шесть лет младше княгини. Кроме того, Радищев занимал весьма высокий (и доходный) административный пост сначала заместителя, затем начальника Петербургской таможни. Был хорошо известен при дворе, где начинал карьеру еще пажом. Затем за личный счет государыни обучался в Лейпцигском университете. Пользовался доверием и покровительством Александра Воронцова, по его протекции получил из рук императрицы орден Святого Владимира.

Таким образом, Радищев никак не мог быть для Дашковой просто «молодым писателем», имя которого она впервые услышала в академии. Напротив, он, что называется, входил в «свой круг» близких друзей семейства Воронцовых. Тот факт, что под пристальным взглядом главы Российской академии оказалось «Житие Федора Ушакова», говорил об определенном статусе писателя. Он стал тем, на кого обращали внимание.

Мысли Радищева показались княгине «опасные по нашему времени». Не для печати им уже была написана ода «Вольность».

Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенье природы
На плаху возвести царя.

Это была уже не оппозиционность, а революционность. От таких строк Дашкова могла бы вздрогнуть.

При этом писатель продолжал служить, ходил в немалых чинах и не чурался покровительства одного из высочайших чиновников. О финансовых делах графа Радищев знал, быть может, лучше других. После ареста подчиненного Воронцов очень внимательно отнесся к судьбе документов Петербургской таможни. Значительная часть бумаг хранилась у президента Коммерц-коллегии дома, в частности около ста дел, относящихся непосредственно к работе Радищева. Уходя в бессрочный отпуск, перетекший в 1792 году в отставку, Александр Романович предусмотрительно увез архив с собой из Петербурга в имение Андреевское под Владимиром. И сколько бы впоследствии к нему ни обращались с просьбой о возвращении нужных бумаг, документы продолжали числиться «недосланными»^[834].

Летом 1790 года Северную столицу покинула и княгиня Дашкова. Она застала лишь начало скандала с книгой Радищева, а о развязке дела узнала из письма брата в Троицком. В июле писатель был приговорен к смертной казни через отсечение головы. Но 4 сентября императрица заменила смертную казнь на десятилетнюю ссылку в Сибирь. Буквально на следующий день Воронцов передал в крепость 300 рублей на покупку для узника теплой одежды и обуви. Радищева повезли в ссылку закованным «в железа», но Александр Романович добился снятия кандалов. Петербургские сплетники не ошибались, говоря, что граф шлет вслед своему бывшему подчиненному целые обозы. Все годы пребывания писателя в ссылке Воронцов оказывал ему солидную по тем временам финансовую помощь.

Сначала посылал по 500 рублей ежегодно. Затем, когда Радищев женился на сестре своей покойной супруги Елизавете Васильевне Рубановской и у них родился ребенок, сумма увеличилась до 800 рублей. С появлением на свет второго малыша — до тысячи рублей^{835}.

Заметим: благодеяния посыпались на ссыльного писателя именно после смягчения приговора, когда стало ясно, что он рассказал и о чем умолчал. А до того, во время следствия, Воронцов залег на дно, не посещал придворных церемоний, обедов, праздников, сказавшись больным, перестал появляться в Совете. Недоброжелатели обвиняли Александра Романовича чуть ли не в соавторстве с Радищевым или во всяком случае в подстрекательстве к написанию крамольной книги. Понадобилось заступничество Безбородко, уверившего государыню, будто граф узнал о «Путешествии...» позже других^{836}.

Сам Воронцов тяжело переживал произошедшее. Пока Радищев находился в крепости, он писал своему брату Семену в Лондон: «Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы... Он выпустил книгу под названием “Путешествие из Петербурга в Москву”. Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции»^{837}.

Если это письмо не предназначалось графом специально для перлюстрации, то оно свидетельствует о том, что книга Радищева оказалась для Воронцова полной неожиданностью. Настораживает одна деталь. «Путешествие...» было подарено автором своему покровителю незадолго до ареста, и Александр Романович советовал подчиненному принести повинную.

Из внутренней переписки Воронцовых следует, что и Дашкова, вопреки словам в мемуарах, была знакома с «Путешествием...». Брату о книге она высказывалась куда откровеннее, называя ее «набатов революций». Граф в запальчивости возражал: «Если такая шалость оказывается достойной смертной казни, то каким образом должно наказывать настоящих преступников?»^{838}

Итак, шалость. «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но

взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую: я зрю сквозь целое столетие»^{[1839](#)}. И действительно зрел. Вот только является ли уничтожение целого сословия предметом «шалости»?

«Если суверен — это зло»

Оставался вопрос, который очень беспокоил императрицу. Ее насторожили подцензурность и абсолютная законность публикации революционной книги. Радищев провел свой текст, изъяв из него часть наиболее крамольных страниц, через знакомого цензора Козодавлева, который служил в Академии наук. Да и книжная лавка Г.К. Зотова, где продавалось «Путешествие...», принадлежала академии.

Теперь выпад Екатерины II в адрес Дашковой: «Трагедия Княжнина является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии» — становится понятен. Наша героиня оказывалась дважды виновата в поощрении неугодных текстов.

Кажется странным, но ни один из биографов Дашковой не обнаружил знакомства с трагедией «Вадим Новгородский». Литературный язык XVIII века труден. Прочтем вместе:

Что толку в сем, что Рюрик сей героем быть родился?
Какой герой в венце с пути не совратился?
Величья своего отравой упоем.
Самодержавие повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.

В конце пьесы Вадим восклицает: «Нам ползать ли в толпе тирановых рабов?!» Похоже на переведенную Дашковой в 1763 году поэму «Фарсалия». Новгородский воевода говорит как римлянин-республиканец Катон: «Свершилось все теперь — рабами стали мы».

Строки должны были показаться Екатерине II знакомыми. 9 ноября 1793 года она писала старой подруге: «Намедни появилась трагедия Вадим Новгородский, на титуле коего значится, что она издана в Академии, говорят, она весьма зло нападает на монаршую власть. Вы хорошо сделаете, если прекратите ее продажу до тех пор, пока я ее не прочту... Читали ли Вы ее?»^{840} Этот фрагмент из письма княгини брату Александру, отправленного по горячим следам, существенно разнится с мемуарным описанием, где заметна сглаживающая правка Марты

Уилмот^{841}.

10 ноября к нашей героине прибыл статс-секретарь В.С. Попов и передал слова государыни: «Мне бы стоило лучше приглядывать за тем, что у меня издается». Чтобы исправить положение, княгиня предложила немедленно выдать 200 рублей — купить тираж в лавках. Подобный поступок — трудный для прижимистого человека — показывает, что Екатерина Романовна сознавала свою «оплошность».

О том, что дело приняло нешуточный оборот, свидетельствовал визит генерал-прокурора А.Н. Самойлова, который передал мнение императрицы: «Она не хотела бы поверить в ложь, что я и вы принимали участие в книге Радищева». В данном случае «я и вы» — Дашкова и Александр Воронцов. Княгиня предупреждала брата об опасности: их считают соучастниками.

Чтобы отвести от себя подозрения, Дашкова попыталась выставить «соучастниками» других людей — Козодавлева и Державина. «Когда Козодавлева посадили в коммерцию, то Державин сказал при многих: “Вот какой я души человек, что я не сказал о Козодавлеве, что он участие имел в сочинении Радищева”... Державин меня и брата злословит, я имею-де способ изобличить обоих и не хочу»^{842}. Пауки в банке!

В воскресенье 13 ноября княгиня отправилась ко двору. Сопоставление мемуаров и письма позволяет показать характерные для Дашковой приемы работы с текстом. Согласно воспоминаниям, Екатерина Романовна уже за день до того, вечером, побывала во дворце, «в интимном кружке» государыни. Камер-фурьерский журнал не зафиксировал визита. «Знаете ли, что это произведение будет сожжено палачом», — сказала ей императрица. «Мне не придется краснеть по этому случаю», — якобы ответила наша героиня. «Я сказала последние слова достаточно выразительно, чтобы разговор окончился; императрица села играть; я сделала то же самое».

Перед нами равные величины. Чего не было и быть не могло. Хуже того — Дашкова прервала государыню, что ставило ее в позицию сильного и властного собеседника. Через день она ехала во дворец «с обычным докладом», твердо решив подать в отставку. Когда Екатерина II вышла и, после целования руки, позвала княгиню с собой, та прокомментировала: «Это приглашение доставило мне огромное удовольствие», так как «императрица не заставила меня окончательно порвать с ней... Моя отставка не послужила бы к ее чести».

Во внутренних покоях наша героиня снова не дает государыне

говорить. «Я прервала ее, сказав, что черная кошка проскочила между нами и не следует звать ее назад»^[843]. Так дело выглядело в «Записках».

В письме же на этом месте разговор только начинался. В нем нет гордых поз, зато много оправданий. Екатерина II встретила подругу хмуро. «Если суверен — это зло, — сказала она, — то зло необходимое, без которого нет ни порядка, ни спокойствия... Если занимать то место, на котором я нахожусь, — это преступление (так как я сознаю, что не имею на это ни права рождения, ни другого) так вот, это преступление Вы делите со мной».

Характерна реакция княгини: «Я взглянула на нее пристально и имела деликатность не отозваться». Речь опять о регентстве.

Далее императрица напомнила о Радищеве: «Вот уже вторая публикация в этом роде... Чем дальше, тем хуже... Теперь я жду третьего». Этими словами Екатерина II как бы подвела черту: еще один промах — и отставки не избежать.

«Привкус недовольства»

В перевернутом мире «Записок» подруги меняются местами: Дашкова *решает* покинуть пост. Письмо возвращает всё на круги своя: императрица предостерегает и ставит условия.

Но есть одно обстоятельство, которое снова опрокидывает происходящее с ног на голову.

Согласно камер-фурьерскому журналу^[35], Дашкова не участвовала в важнейшем событии 1793 года — свадьбе великого князя Александра Павловича с принцессой Луизой Баден-Дурлихской^[844]. Она не показана ни во время встречи принцессы, ни на миропомазании 9 мая, ни в день венчания 28 сентября. Известная картина Ж.Б. Лампи «Миропомазание великой княгини Елизаветы Алексеевны» представляет важнейших вельмож двора, но Дашковой среди них нет.

Если учесть, что прежде княгиню приглашали на любой праздник августейшей семьи, она крестила внучек императрицы, то ее «пустое место» на свадьбе цесаревича настораживает. Вероятно, история с публикацией «Вадима Новгородского» — не отправная точка, а финал конфликта, после которого отставка стала неизбежной.

Женитьба мыслилась в те времена как подтверждение совершеннолетия. Первые слухи о желании Екатерины II посадить на престол внука Александра, минуя сына Павла, относились к 1791 году. Новый всплеск разговоров возник как раз в описываемое время. Считается, что после бракосочетания великого князя, в конце 1793 года, императрица поручила его любимому наставнику Цезарю Лагарпу поговорить с воспитанником о возможности получить корону. Лагарп «с ужасом и отвращением» отверг роль посредника «в таком постыдном деле»^[845]. Но в течение 1794 года вопрос о возведении на престол Александра Павловича дважды поднимался Екатериной II в разговорах с разными членами Совета^[846].

Для Дашковой передача короны внуку, минуя сына, выглядела как переход власти от узурпатора к узурпатору. Могла ли она помешать планам императрицы? Скорее помешаться под ногами. С известной «свободой языка» и умением рассказать «десятку другому самых близких друзей» — княгиня безусловно усложняла ситуацию. Особенно если принять во внимание имена этих друзей: А.Б. Куракин и Н.В. Репнин — деятельные приверженцы Павла.

Поэтому княгиню держали как можно дальше от молодой великокняжеской четы. Не позволяли узнать лишнего. А в какой-то момент стали понуждать к отставке и отъезду. Интрига шла через фаворита П.А. Зубова. Сама государыня, как всегда, давала подруге выбор, ее намек на общее преступление — завуалированный вопрос: вы со мной? Но Дашкова не хуже Лагарпа умела изображать «ужас и отвращение». Политические тучи при русском дворе в 1793–1794 годах настолько сгустились, что княгиня, по своему обыкновению, предпочла выдержать паузу, испросить отпуск и удалиться в имения, пока гроза не минует.

История с «Вадимом» не привела к ее немедленной отставке. П.В. Завадовский, не любивший Дашкову, но друживший с ее братьями, писал Александру Воронцову, что неудовольствие императрицы было вызвано не столько публикацией «Вадима», сколько «веселым и бодрым настроением» княгини, которая не желала покаяться^{847}.

Как бы то ни было, Екатерина Романовна исполняла обязанности в академиях еще более полугода. Однако внутренне она уже приняла решение об уходе и только дожидалась публикации последнего тома «Словаря», чтобы исполнить задуманное.

Посещавшие Дашкову в тот момент иностранцы отмечали ее нервозность. Преподаватель Оксфорда Джон Паркинсон писал о своих визитах 1793–1794 годов: «Ее беседа имела привкус недовольства по отношению к императрице; она сожалела, что здесь отсутствует конституция, подобная нашей, говорила о жизни в Петербурге как о ссылке, она, казалось, не желала признавать за монархиней малейших достоинств»^{848}.

«Помогите мне и на этот раз»

Однако всегда необходимо привести дела в порядок, прежде чем сказать последнее прости. А дела Дашковой к 1794 году сильно запутались, и не по ее вине.

Мы прервали рассказ об Анастасии, когда та рассталась с матерью. Ей не удалось избавить Щербинина от меланхолии. Супруги оказались разными людьми. Некрасивая, но образованная и умная жена была светской дамой. Она не могла поладить с домоседом из медвежьего угла. Цепь семейных ссор увенчалась разъездом. К Анастасии должны были вернуться ее 80 тысяч рублей. Но деньги уже были потрачены. Поэтому Андрей Евдокимович подарил супруге одну из своих деревень — Чернявку в Курской губернии.

Несколько лет Екатерина Романовна почти не соприкасалась с дочерью. Обе жили в Петербурге, но точно в разных мирах. Императрица писала барону М. Гримму, что «мать и слышать о ней не хочет»^[849]. Следующий всплеск обид относился к 1788 году, когда Анастасия, задолжав модистке, попала под надзор полиции. Кредиторы получили в суде разрешение не выпускать ее из города. Щербинина была больна, «едва дышала». Лейб-медик Роджерсон считал, что молодой женщине долго не протянуть.

Условием помощи стало возвращение домой. Дашкова приняла на себя долги, составлявшие 14 тысяч рублей, и отправила дочь в Аахен на воды. Однако установила за тратами строгий контроль. В качестве опекуни со Щербининой поехала лектрисса (чтица) княгини мисс Бейтс^[850]. Материнское прощение имело горький привкус недоверия. Но могла ли Екатерина Романовна доверять?

А могла ли взрослая женщина не желать вырваться из-под надзора? После лечения она не вернулась в Россию, а отправилась сначала в Вену, затем в Варшаву. Анастасия отослала мисс Бейтс домой и вновь погрузилась в азартные игры. Новый долг составил 12 тысяч рублей. Приводят и более страшную сумму — 250 тысяч. Однако есть свидетельство самой княгини в письме Екатерине II 1794 года, где она признается, что выплатила за дочь в общей сложности 30 тысяч рублей^[851].

В 1794 году Анастасия опять играла. К тому же ее супруг Андрей Щербинин был взят матерью и сестрами под опеку, от него помощи

ожидать не приходилось. Чтобы выпутаться из долгов, следовало продать Чернявку. Но родные Андрея Евдокимовича желали, чтобы «дарственные записи» на имение были «объявлены недействительными». Только Сенат мог решить дело.

В мемуарах княгиня пишет, что вовсе не желала присуждения имения дочери, так как считала ее виновной в расстройстве дел мужа, и хотела лишь знать, надо ли ей «продавать или заложить свои имения», чтобы высвободить Анастасию. На самом деле она обратилась в Сенат с просьбой установить свою опеку над имуществом дочери. «Если бы я добилась для моей дочери или Чернявки, или [возвращения] ее приданого, тогда бы я должна была немедля заплатить все, что возможно»^{852}, — писала она 4 апреля брату в Андреевское.

Дело на первых порах забуксовало, поскольку четыре сенатора, и среди них Державин, высказались против передачи опеки Екатерине Романовне. Тогда она в начале июля 1794 года написала императрице, прося вмешаться: «Я не знаю... как обуздать ее безумную расточительность. Но я знаю, что, если я не приму мер, она разорит меня; я уже продала все, исключая земель, но тяжело лишаться многого и находиться в тревоге, в таких летах, когда начинаешь слабеть, и все это совершенно незаслуженно... Помогите, государыня, мне и на этот раз!»^{853}

Екатерина II помогла. Дашкова была назначена опекуной. В «Записках» она обошла этот вопрос, сказав, что Сенат, наконец, вынес решение в пользу ее дочери, а императрица только утвердила его.

Анастасия находилась в Варшаве. 4 апреля в Польше началось восстание Т. Костюшко. Анастасия взывала о помощи: «Отъезд мой невозможен до получения денежной суммы, которую я осмелилась у вас выпросить. Никто в целом свете не смог бы мне сейчас помочь выправить паспорт... Крестьяне все вооружены, и в каждом селении меня, русскую, подстерегают опасности»^{854}.

Мать была в ужасе. Александру Воронцову летели письма с признаниями: «Я дрожу за свою дочь»; «Я не имею о ней никаких известий... Я не сплю, у меня постоянно судороги и колики»^{855}.

Только после того, как Варшава была взята войсками А.В. Суворова, под началом которого в тот момент служил князь Дашков, Анастасия вернулась домой. По просьбе матери Павел Михайлович нашел сестру и отвез ее в Киев.

Счастливого пути

Дела дочери задерживали княгиню в столице и откладывали уход с поста. Уже в апреле она продала свой дом на Английской набережной и поселилась в старом особняке отца на Фонтанке. «Мне было поручено управление имениями дочери. Я обложила ее крестьян таким легким оброком, что они считали себя счастливыми и даже те, которые покинули свои избы, вернулись домой»^{856}, — сказано в мемуарах.

Это примечательная история, рисующая отношения княгини с мужиками. Находясь в отчаянном положении, Анастасия продала «какому-то поляку» 100 душ из деревни Коротово. Мать отдала новому хозяину четыре тысячи рублей, чтобы вернуть собственность, и обязала крестьян в течение четырех лет платить оброк по семь рублей с души, дабы возместить свои затраты. Потом жители Коротова были переведены на двухрублевый оброк^{857}.

Как видим, крепостным пришлось самим оплачивать свой выкуп. От кого бежали крестьяне? От неумелой Анастасии? От поляка? Или от семирублевого оброка? И когда они вернулись? Когда оброк стал два рубля.

Итак, Дашкова заранее знала, что уедет. Последний том «Словаря» появился 5 августа, и той же датой помечено прошение Екатерины Романовны об отставке со ссылкой на «расстроенное свое состояние»^{858}. В рапорте особо подчеркивалось, что за годы руководства учреждением княгиня сделала «приращение» капитала на 526 188 рублей 13 копеек^{859}. Это и были пресловутые «экономические суммы», до которых добирался Вяземский, требуя сдавать их в казну.

Одновременно с прошением об отставке наша героиня направила письмо статс-секретарю императрицы Д.П. Трощинскому, в котором поясняла: «Если всемилостивейшей государыне угодно, я с радостью при должности в Российской Академии останусь, дабы окончить начатое мною»^{860}.

Дашковой был дан отпуск с сохранением жалованья. Любопытно, что в черновике указа после лестной оценки труда княгини имелись строки: «Желала бы я, чтоб Вы не оставляли вовсе того места, где служение Ваше ознаменовано успехом и пользою, и для того позволяю Вам...» Эти слова были зачеркнуты. Вместо них осталось: «Увольняю Вас по желанию Вашему для поправления здоровья и домашних дел»^{861}.

Почему так? Ведь сначала Екатерина II намеревалась сказать, что и она не против скорейшего возвращения старой подруги. Но вышло: уходя — уходите. Княгиня указала на Зубова, который буквально перед ней проскользнул в кабинет государыни. Войдя за ним, «я увидела вместо ясного спокойного выражения лица... физиономию возмущенную и даже с признаками гнева. Вместо сердечного прощания, она сказала мне только:

— Желаю вам счастливого пути, княгиня».

Что же произошло?

Как рассказано в «Записках», на следующий день выяснилась причина негодования. Екатерине II внушили, что старая подруга покидает город, не оплатив долги дочери. Портной, шивший для Анастасии и Андрея Щербининых, принес государыне жалобу и представил вексель, подписанный обоими супругами. Дашкова отказывалась платить по нему, так как «это счет мужского портного, поставлявшего одежду самому Щербинину»^{862}.

Какое дело было Екатерине Великой до панталон зятя Дашковой? Как часто случалось у княгини: мелочное событие лишь прикрывало проблему. «У меня был еще свой долг в банке в тридцать две тысячи рублей, которым я ликвидировала свои заграничные долги»^{863}. За 12 лет, при щедрых пожалованиях со стороны императрицы, княгиня не покрыла заем?

«Я заплатила большую часть долгов моей дочери, остальное же обязалась уплатить вскоре же по моем приезде в Москву», — уверяла Дашкова. А вот в письме директора Дворянского заемного банка Завадовского Александру Воронцову сказано: «Та беда, что она и в самый приличный поступок вольет чего-нибудь вонючего. Она должна в Банк серебром, отнеслась с просьбою... чтоб велели принять ассигнациями, или же по милости заплатить за ее сей долг. В обоих случаях отказано, а срам при нас»^{864}.

Ассигнации стоили гораздо дешевле серебра, и даже предложение внести их «в полтора» раза больше не спасало. К концу царствования обмен иногда шел по десять копеек за бумажный рубль. Кроме того, Екатерина II была вправе посчитать, что и так помогла подруге, отдав в опеку имение дочери и сохранив жалованье.

Когда инцидент был исчерпан? Не при жизни Екатерины II и даже не при Павле I. Перед коронацией Александра I княгиня взяла уже в Московском дворянском заемном банке 44 тысячи рублей.

Часть суммы была потрачена по прямому назначению, часть ушла на покрытие новых долгов Павла Михайловича, а частью, наконец, погасили

старый кредит в Заемном банке. В 1804 году молодой император выдал из казны искомые 44 тысячи^{865}. На этом фоне часто цитируемые слова Марты Уилмот о том, что княгиня — единственный человек, который платит свои долги, — объясняются неосведомленностью.

В Академии наук прощание прошло очень сердечно. За 12 лет в ее стенах уже не осталось врагов Дашковой, только благодарные, благодетельствованные ею люди. Даже сухой протокол передает волнующую атмосферу той минуты: «Ее светлость госпожа княгиня поднялась и, трогательнейшим образом поклонившись всей Академии, обняла, прежде чем покинуть зал конференции, каждого академика и адъюнкта в отдельности, которые в полном составе проводили ее до дверей ее кареты, что сопровождалось единодушными их пожеланиями доброго здоровья и благополучного возвращения»^{866}.

Глава тринадцатая.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Смерть Екатерины II поразила Дашкову как гром среди ясного неба. Буквально поставила ее «на край могилы». «Нет, — сказала я, — не бойтесь за мою жизнь; к несчастью, я переживу и этот страшный удар; меня ожидают еще и другие горести, и я увижу свою родину несчастной в той же мере, в какой она была славной и счастливой в царствование Екатерины»^{867}.

Какая перемена! Еще недавно княгиня рассказывала мисс Кэтрин Хейд «о неблагодарности и плохом обращении со стороны ее царственной протеже», «сокрушалась по поводу своего участия в революции и была... полна нанесенной ей в ответ императрицей обидой»^{868}.

Если Екатерину II можно было называть «тираном», то Павел I тираном был. От него нашей героине не приходилось ждать милостей. «В продолжение 24 часов меня терзали невыносимые страдания; я тряслась всем телом, но знала, что не настало еще мое избавление». Состояние княгини очень похоже на то, которое она пережила в Москве, когда был открыт заговор Хитрово.

«Вскоре все общество было объято постоянной тревогой и ужасом. Не было семьи, не оплакивавшей какой-нибудь жертвы. Муж, отец, дядя видели в своей жене, сыне, наследнике предателя». Описание царствования Павла I — одно из самых сильных мест в мемуарах Дашковой. Оно является литературной иллюстрацией к трактату Монтескье «Дух законов», поясняя понятие «деспотизм». «Ссылки и аресты стали явлениями... обыденными... Назначения на различные места и увольнения с них следовали друг за другом... Под влиянием страха явилась и апатия, чувство, губительное для первой гражданской добродетели — любви к родине... Павел с первых же дней своего восшествия на престол открыто выражал свою ненависть и презрение к матери. Он поспешно уничтожал все, совершенное ею, и лучшие ее постановления были заменены актами необузданного произвола».

В мемуарах царствование Екатерины II как бы замкнуто с двух сторон описаниями деспотических правлений — Петра III и его сына Павла. Но если в первом случае княгиня показывала глупость, опасную для государства в силу высокого положения глупца, то во втором —

беспредельное зло. Павел внушал ей ужас: «Когда деспот начинает бить свою жертву, он повторяет свои удары до полного ее уничтожения. Меня ожидает целый ряд гонений... Я надеюсь, что почерпну мужество в сознании своей невинности»^{869}.

Обратим внимание: жертва непременно должна быть невинной, чтобы вызывать сочувствие. Мыслители XVIII века, и среди них Дашкова, были очень далеки от современного представления о том, что тиран и жертва — суть разные стороны одного явления. Эти ипостаси легко меняются местами внутри одной личности. Павел в течение долгих лет царствования матери ощущал себя жертвой, считая одной из своих мучительниц Дашкову, соучастницу переворота. Всю жизнь подчеркивая выдающийся вклад в события 1762 года, та как бы прокладывала дорогу к голгофе.

«Уеду... и опубликую...»

Первое, что сделал новый император, — запретил княгине оставаться в Москве. Затем в Троицкое приехал ночной курьер, требовавший немедленно отбыть в ссылку, в дальнее имение сына под Новгород.

Исследователи много размышляют о причине беспощадности Павла I. Обратим внимание на то, о чем обычно забывают. В первые месяцы царствования император занимался активным поиском бумаг покойной матери. Много домыслов вызвало так называемое завещание Екатерины II в пользу внука Александра^[870]. Часть документов за царствование Петра III и за начало царствования Екатерины II (например, фрагменты из камер-фурьерских журналов и подлинники первых актов) была уничтожена по приказу монарха.

Позднее княгиня демонстрировала сестрам Уилмот письма августейшей подруги. Все ли они остались у нее? Или частью пришлось пожертвовать? Громадные лакуны в переписке говорят в пользу последнего предположения. Могли иметься и предварительные материалы для «Записок». Ведь еще при жизни Потемкина Дашкова, по словам Джона Паркинсона, угрожала ему: «Я уеду в Англию: там я опубликую письма императрицы ко мне... потом я опубликую воспоминания о моей жизни»^[871].

Есть основания считать, что Дашкова делала кое-какие наброски для будущих мемуаров^[872]. Кроме того, она вела дневник^[873], фрагменты которого, касавшиеся переворота, могли заинтересовать Павла I. В декабре 1796 года княгиню в Троицком посетил Платон Зубов. Их отношения оставляли желать лучшего. Трудно представить, что бывший фаворит сделал крюк и заехал к Екатерине Романовне ради печальных воспоминаний о почившей монархине.

Чтобы подольститься, Зубов рассказал Дашковой, какие гадости делал его предшественник Дмитриев-Мамонов. Сведения об этом остались в мемуарах, но без ссылки на источник. «Я узнала, что некоторые фавориты покойной императрицы задавались целью вывести меня из терпения, с тем чтобы я, поддавшись живости своего характера, сделала бы сцену, которая открыто поссорила бы меня с императрицей. Граф Мамонов, который был умнее своих предшественников... исподтишка много вредил мне и моему сыну»^[874]. Эти рассуждения возникают посередине страницы, без всякой видимой связи с описанием тиранств Павла I. Кажется, княгиня давно

отговорила о «случайных вельможах» и вдруг вернулась на круги своя, причем сделала это в крайне неподходящий, внутренне напряженный момент повествования, среди цельного по ощущениям текста. Значит, связь была. Но исчезла.

Зачем вообще приехал Zubov? По слухам, в день кончины Екатерины II фаворит передал новому императору бумаги, тайно хранившиеся в кабинете монархини^{875}. Следует полагать, что у нашей героини Платон Александрович появился не по собственному желанию, а по приказу Павла I. Пожилая больная женщина должна была уже достаточно испугаться, чтобы теперь, в надежде на прощение, выполнить волю монарха.

После визита Zubov написал племяннику Дашковой Д.П. Татищеву о ее тяжелом состоянии. Сохранился ответ: «Я всегда надеялся, что ее философия поможет ей выстоять перед лицом несчастья, но этого не произошло... При расстроенном здоровье человек теряет свою энергию к сопротивлению»^{876}.

Княгиня действительно была плоха. «Рвота, спазмы, бессонницы так ослабили мой организм, что я только изредка могла вставать с постели и то на короткое время... не имея даже возможности много читать вследствие судорожных болей в затылке». У нашей героини было высокое давление. Ее мог постигнуть удар. Прежде Дашкова часто ездила в Москву ставить пиявки. Теперь такие визиты были запрещены.

Недобрую услугу нашей героине оказывал уже укоренившийся миф. Многие, как Бутурлин, были уверены, что она мужественно вынесет испытания. А.Т. Болотов писал: «Говорили, что к сей бойкой и прославившейся разумом госпоже... приехал сам главный начальник московский и по повелению государя объявил... чтобы она через 24 часа из Москвы выехала, и что, сим нимало не смутясь, она сказала: Я выеду не в 24 часа, а через 24 минуты»^{877}.

Но на самом деле княгиня вела себя очень смирно. Испросила разрешения уехать через три дня, чтобы успеть собраться. Благодарила за снятие с должности директора Академии наук как за освобождение «от непосильного бремени». Через А.Б. Куракина и Н.В. Репнина уверяла Павла I в ее «всегдашней преданности». Сохранилось письмо брату Александру с дороги в ссылке: «За мной нет никакой вины в отношении его величества, если бы граф Панин был жив, то он бы подтвердил, что мы сотрудничали с ним в полном согласии»^{878}. Дашкова пыталась передать, что во время переворота желала регентства. «Я никогда не имела в виду... незаконного возвышения моей семьи. Если бы император захотел

вдуматься в это, возможно, он не обращался бы со мной так сурово»^{879}.

Местом ссылки была определена деревня Коротово под Череповцом, принадлежавшая молодому князю Дашкову. Покинув Троицкое 26 декабря, сразу после Рождества, Екатерина Романовна уже 6 января достигла места, то есть провела в пути 12 дней. Проезжая мимо Яропольца, она остановилась отобедать в имении Гончаровых Полотняный Завод, где о ней вспоминали, как о «старухе, довольно неприятной наружности, в долгополом полотняном сюртуке с большим орденом Святой Екатерины на груди и с огромным колпаком на голове»^{880}. Именно такой Дашкова запечатлена на портрете С. Тончи из Государственного музея А.С. Пушкина в Москве.

Едва прибыв на место, наша героиня написала императору. «Могу сказать, что оно было очень гордое и не заключало в себе униженных просьб, — сообщают мемуары. — Я писала, что... мне было совершенно безразлично, где и как я умру; но что мои религиозные принципы и чувство сострадания не позволяли мне равнодушно смотреть на мучения людей, разделявших со мной мою ссылку»^{881}.

Вот это письмо: «Милующее сердце Вашего Императорского Величества подданной, угнетенной летами, болезнями, а паче горестию быть под гневом Вашим, простит, что сими строками прибегает к благотворительной душе монарха своего. Будь милосерд, государь, окажи единую просимую мною милость, дозвожь спокойно окончить дни мои в калужской моей деревне, где по крайней мере имею покров и ближе помощи врачей. Неужели мне одной оставаться несчастной, когда Ваше Величество всю империю осчастливить желаете и столь многим соделываете счастье»^{882}.

Ни религиозных принципов, ни заботы о «своих людях». Письмо шокировало подобострастием. Сознавала ли это сама княгиня? Черновик послания был отправлен брату. Но вскоре она попросила Александра Романовича вернуть эпистолу, так как собирает архив для сына. Таким образом, наша героиня понимала, как некрасиво выглядит^{883}.

Создается впечатление, что Дашкова металась между собственным возвышенным образом и низкой реальностью. Вправе ли кто-то упрекать княгиню за трусость перед лицом деспота? Вряд ли. Извинительная слабость пожилого, больного, доведенного до отчаяния человека. Если бы она умолчала о письме в мемуарах, ее поступок был бы понятен. Но назойливое стремление превращать в мемуарах низости в торжество духа показывает: наша героиня хотела заново почувствовать наиболее

болезненные события прошлого, оставляя победу за собой. И такую версию закрепить в памяти.

Арестантка

Могло ли одно послание изменить участь княгини? Или Павел I проявил свою обычную непоследовательность? Скорее другое — Дашкова упомянула конверт, куда было вложено письмо. Там могли находиться и иные документы. В ответ на их отправку и произошло прошение. Иначе трудно объяснить короткий срок ссылки.

Что это были за бумаги? В один конверт много не положить. Листок-другой. Павел I интересовался главным образом гибелью Петра III и слухами о своей незаконнорожденности. Вспомним, как перед переворотом Екатерина поблагодарила нашу героиню: «Вы охотно освобождаете меня от обязательства в пользу моего сына»^[884]. Значит, подруга должна была сказать Дашковой нечто, позволяющее пренебречь правами ребенка. В 1774 году в «Чистосердечной исповеди» Г.А. Потемкину (не то письме, не то автобиографической заметке) Екатерина II намекала, что отцом Павла был не великий князь^[885]. Дашкова могла обладать более ранним вариантом источника.

Княгиня рисует колоритную картину прибытия своего прошения к Павлу I. Император пришел в ярость, прогнал супругу Марию Федоровну, пытавшуюся передать конверт, и заявил, что «не желает быть свергнутым с престола, подобно своему отцу». В Коротово полетел курьер с приказом отнять у Дашковой бумагу и чернила.

Но тут в дело вступила фаворитка Павла Екатерина Нелидова, с которой императрица давно и хорошо ладила. «Та отдала письмо младшему сыну государя великому князю Михаилу и вместе с государыней повела его к Павлу». При виде ребенка император смягчился и сказал дамам: «Против вас нельзя устоять».

События происходили в феврале 1797 года, когда Михаил Павлович еще не родился. Единственным августейшим младенцем в тот момент был Николай, и, вероятно, именно в его руку вложили послание княгини. Но почему Екатерина Романовна все-таки назвала Михаила? Запомняла? В мемуарах есть ее собственноручная приписка: «Павел утверждал, что только этот сын является императорским высочеством, так как он родился после восшествия его на престол; он, казалось, любил его больше других детей»^[886].

Ремарка княгини о Михаиле Павловиче уводит в область туманных идей императора о судьбе престола, с которыми княгиня позднее могла

познакомиться через Ф.В. Ростопчина. Павел I то дарил титул цесаревича второму сыну Константину, то заявлял супруге, что женит их дочь Екатерину на принце Вюртембергском, чтобы передать корону этой паре^{887}, то сомневался в законности некоторых из своих детей^{888}. Под особым подозрением находились погодки Анна и Николай. Марию Федоровну винули в связи с придворным гоффурыером. «Мудрено закончив с женщиной все счеты, иметь от нее детей»^{889}, — якобы написал Павел Ростопчину. Княгиня никогда не упоминала о незаконнорожденных детях на страницах мемуаров. Ни о Ранцовых, ни о собственных внуках, побочных отпрысках сына, ни об императорских чадах. Но, подставляя на место одного августейшего младенца другого, княгиня намекнула, чему именно был посвящен отданный документ. Шатким правам самого Павла.

«Самолубивейший из смертных»

Вместе с Дашковой в ссылку отправилась и Анастасия. Правда, они уже через несколько дней не выдержали общества друг друга, и Щербинина перешла в отдельный дом на соседней улице. Но сам по себе поступок молодой женщины вызывает уважение.

После того как курьер привез повеление императора собираться под Новгород, весь дом в Троицком пришел в движение: «Мне стоило большого труда успокоить и ободрить мою дочь. Она плакала, обнимала мои колени... Мисс Бейтс... дрожала как лист... Она объявила мне свое твердое намерение не покидать меня... Я поцеловала ее, а моя дочь бросилась ей на шею; мы плакали, как дети»^{890}.

Остался документ, позволяющий сказать, что действия участников сцены не были до конца бескорыстными. В декабре 1796 года княгиня составила первый вариант завещания, назначив душеприказчиком брата Александра^{891}. Она одаривала пятью тысячами рублей мисс Бейтс, отпускала на свободу тех слуг, которые последуют за госпожой в ссылку (княгиня взяла с собой 22 горничных). Об Анастасии сказано особо: «Дочери моей по две тысячи в год доходу по смерть давать и долги ей прощаю». Значит, Щербинина после возвращения денег кредиторам оставалась должна матери? Поскольку ей определена рента, она «по смерть» должна была оставаться под опекой.

Но еще любопытнее отсутствие в завещании даже имени сына. Не определена и судьба основного имущества — остающихся после княгини деревень. Из писем Дашковой брату известно, что в это же самое время она крайне беспокоилась о долгах Павла Михайловича: «У сына нет ни гроша. Я не могу ему ничего послать, так как того немногого, что я имею здесь, бог знает, будет ли достаточно при всех неприятностях, связанных с нападками на меня»^{892}. Княгиня намеревалась «выкупить Ярославские земли» Павла за семь тысяч рублей^{893}.

Сын находился в Киеве, и его жизнь не могла нравиться княгине. Язвительный мемуарист Ф.Ф. Вигель рассказал: «Самолубивейший из смертных, Дашков полагал, что способен управлять государством, и осужден был скрывать свое величие в низеньком доме самого грязного киевского переулочка. Там собирал он около себя веселых людей, каких мог найти в Киеве, шутов, всякую иностранную сволочь, шумом сего общества стараясь заглушить страдания своей гордости. Несчастный утешался

презрением, которое мог он изливать на... жену, на тестя, на всю родню их».

Киевская знать часто звала князя в гости. «Он был красивый, видный мужчина и страстный охотник до танцев... но он не хотел на вечеринках сих ни одну девицу, ни одну даму пригласить, а с начала и до конца беспрестанно танцевал с одной своей женой... Он без церемонии сажал ее к себе на колени и целовал взасос; потом, за что-нибудь поссорившись с ней, при всех начинал ее бить по щекам... Досадуя на целый мир, он всех поносил, всех клеветал»^{894}.

Слыша подобные рассказы, княгиня приходила в ужас. Но не сама ли она выпестовала в молодом человеке сжигающее самолюбие? Теперь Екатерина Романовна ставила условия. Ее послания сыну не сохранились и известны только благодаря его ответам. «Я получил письмо, которое Вы не постыдились мне написать, — сообщал он 10 февраля из Клева. — ...Я вижу, что моя дорогая матушка продолжает питать ненависть к женщине, которую она не знает и не хочет знать, которую ей обрисовали в самых фальшивых красках и которая, между тем, является моей избранницей. Верно, что она не старается понравиться всем женщинам высшего света, которые... растаптывают все буржуазные добродетели. Не дай Бог, чтобы моя жена принадлежала к их числу, она достойная женщина... Однако я смиряюсь перед волей провидения... Я должен отказаться от надежды, что Вы когда-нибудь смягчитесь по отношению к печальной жертве моей привязанности. А я был бы так счастлив, так счастлив!»^{895}

Была ли то капитуляция перед волей матери?

Письмо получили в Коротове 21 февраля. А уже в начале марта княгиня со спутницами достигла Троицкого. Обратное путешествие заняло девять дней. Тогда же сын отбыл в столицу. Перед отъездом он написал матери: «Самое малое, что я сейчас могу сделать, это целовать ноги самой лучшей и самой обожаемой из матерей. Я уже не говорю о Ваших последних благодеяниях... Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить Вас за все, что Вы для меня сделали?»^{896}

О каких «последних благодеяниях» речь? О выкупе ярославских земель за семь тысяч рублей, которые опальная Дашкова сумела найти, даже пребывая в ссылке.

Но за всё надо платить. После поездки ко двору и службы на новых должностях, возложенных на него Павлом I, князь Дашков к жене не вернулся. В октябре 1799 года, рассчитываясь с новыми долгами сына, княгиня писала брату: «Уж конечно не я удерживаю его вдали от его

недостойной супруги; она, очевидно, не обладает особенной притягательной силой для него. Пока я приготовила 24 000 для уплаты его долга по артиллерии»^{897}. К концу года Екатерина Романовна отдала в общей сложности 33 тысячи рублей по вексям сына^{898}.

Но и она была ему кое-чем обязана. Новый император принял Павла Михайловича исключительно хорошо. Они даже обнялись на вахтпараде — случай из ряда вон выходящий. В апреле 1798 года князь был произведен в генерал-лейтенанты, назначен военным губернатором Киева, инспектором пехоты Украинской дивизии и шефом Киевского гренадерского полка.

П.В. Завадовский писал другу Семену Воронцову в Лондон, что его племянник совсем зазнался: «После первых дней не я, а он меня не узнает и не видит»^{899}. Используя благоволение императора, Павел Михайлович испросил для опальной княгини смягчения режима. Государь позволил Дашковой бывать в Москве, когда там нет августейшей семьи.

Таким образом, собственно ссылка продлилась для Екатерины Романовны два месяца — январь и февраль. Затем последовало то, что правильнее было бы назвать высылкой, так как княгине не разрешили жить в Петербурге и Москве. Наконец, с апреля 1797 года она получила позволение вернуться в Первопрестольную.

Но и во время особо сурового режима имущество Екатерины Романовны не подвергалось ни конфискации, ни какому бы то ни было ущербу.

В дни коронации в ее доме на Большой Никитской должна была разместиться рота солдат. Управляющий открыл офицерам только флигеля, сославшись на приказ хозяйки запереть основное здание, пока ее нет. Мебель и имущество княгини не пострадали, но главное — приказ ссылкой действительно был воспринят как запрет и не нарушен^{900}. Если приведенный случай не вызвал у читателя удивления, значит, он плохо помнит недавнюю реальность. При самом деспотичном из государей Российской империи Павле I уважались права ссылки на собственность.

Гостья из Корка

11 марта 1801 года заговорщики убили императора Павла I. На престол вступил его сын Александр, обещавший править «по уму и сердцу бабки Екатерины». Такие перемены не могли не обрадовать княгиню, она написала молодому монарху восторженное письмо: «Вы, милостивый государь, знали мою бескорыстную личную преданность бабушке Вашей... льщусь также, что изволили знать мою к Вашему Величеству еще с младенчества... любовь... Если бы телесные силы мои дозволили, я бы не мешкая повергла себя к стопам Вашим, но лета, а паче печали, придвинули меня к дверям гроба»^{901}.

«Дряхлая старуха из уединения» была приглашена в столицу, ей предложили занять прежние должности при дворе и в Академии наук. Ее брат Александр стал канцлером, Н. М. Карамзин неодобрительно назвал его «атаманом шайки» молодых друзей царя, обсуждавших либеральные реформы.

Казалось, с зарей новой эпохи должна была воспрянуть и Дашкова. Но она прожила свой век, болезни не позволяли с прежней энергией браться за дело. К тому же не всё происходящее вокруг нравилось княгине: «Петербург сильно изменился со времен императрицы. В нем были либо якобинцы, либо капралы». Однажды в доме Александра Романовича горячо заспорили о временах Екатерины II, царицу обвиняли во всех смертных грехах. «Это вызвало во мне чувство, которое я не хочу и, пожалуй, теперь не сумею описать, — вспоминала княгиня. — Моя речь, сказанная против этих нареканий, дышала искренностью и горячностью». По словам княгини, критики «не умели отличить... недобросовестности или невежества исполнителей от чистоты и глубины намерений императрицы»^{902}.

Стоит ли верить в искренность княгини? А почему нет? Пороча покойную государыню, порочили дело жизни Дашковой — переворот 1762 года. Порочили ее самою. Если Екатерина Романовна и не произносила в действительности речи за столом у брата, то мемуары были для нее полем реализации упущенных возможностей.

В начале XIX века, пожалуй впервые в русской истории, интеллектуальные круги общества столкнулись с проблемой личной памяти о прошлом и ее неоднозначной интерпретации. Люди перестали мыслить одинаково. А за устное высказывание «своей правды» уже не

карали свыше. Обстановка была много свободнее, чем позволяли старые законы — теперь почти не применявшиеся. А контраст с царствованием Павла I был столь разителен, что и малое послабление казалось «вольностью».

Для княгини изменение настроений в обществе стало особенно важным. Покойный государь посягал на ее память, старался заставить думать, будто славные страницы биографии были позорными. А свою память Дашкова хотела передать потомкам. Но ее голова хранила такие картины жизни императорской семьи, какие не понравились бы ни одному государю, будь он хоть либерал, хоть консерватор.

То, что знала Дашкова, не могло быть издано в России. Во всяком случае, без купюр. Чтение же мемуаров убеждает: они целиком огромная купюра. Поэтому, смеем утверждать, княгиня с самого начала хотела издать воспоминания в Англии, о чем говорят и ее угрозы Потемкину.

В те времена мемуары часто ходили в списках. Их копировали для себя, от руки, и передавали для чтения тем, кому было интересно. Однако княгиня не рассчитывала на этот круг. В России, по горячим следам, нашлись бы лица, способные возразить и возмутиться вопиющими несообразностями, как сделал брат Дашковой — Семен Воронцов. «Записки» были адресованы читателю, отделенному от событий если не временем, то общей неосведомленностью.

Для помощи в задуманной работе княгине потребовался бы человек образованный, литературно одаренный и принадлежащий британской культурной традиции. Она нашла таких помощников в лице Марты и Кэтрин Уилмот (Вильмот). Первая приехала к княгине в 1803 году погостить и осталась в качестве компаньонки. Вторая навещала сестру.

С именами этих девушек связан один из самых спорных периодов в биографии княгини — время написания воспоминаний. Их роль как в частной жизни Екатерины Романовны, так и в работе над мемуарами крайне неоднозначна. Сама княгиня считала Марту добрым ангелом, посланным ей, чтобы скрасить одинокую старость. В последнее время Марту все чаще называют хитрой вымогательницей, много получившей от богатой метрессы.

На наш взгляд, для белого ангела Марта слишком много пеклась о собственных интересах. Для черного — слишком много сделала, увековечивая память «русской матери». На бумаге ею владели высокие чувства, но в реальности она действовала со сметкой и расчетом. А разве не такой была сама княгиня? Под старость судьба подарила Дашковой встречу с собственным отражением. Могла ли Екатерина Романовна устоять?

Корабль, на котором 28-летняя Марта прибыла в Петербург, назывался «Доброе намерение». Именно добрым намерением можно было объяснить и сам визит. Кузина старинной подруги Дашковой — Кэтрин Гамильтон — происходила из семьи портового служащего в Корке и была ирландкой протестантского вероисповедания. В первом же столичном доме, куда пришла мисс, у Полянских, ее ожидали страшные рассказы о скупости и чудачествах Дашковой. Но и сама гостья вызвала немалый интерес. Срок ее приезда — год или два — заставлял задумываться. Говорили, что девушка бежит от несчастной любви или даже от смерти жениха. Марта уверяла, будто отправилась в путь, чтобы сменить обстановку родного дома, ставшую для нее тягостной после смерти брата Чарлза. Однако, как уже верно заметили исследователи, в письмах мисс Уилмот родным она ни разу не упомянула о Чарлзе.

Нет в корреспонденции и имени мисс Марии Марлоу Уилмот, еще одной кузины Марты. Между тем письмо этой особе, отправленное Дашковой вскоре после приезда гостьи, ясно говорит о характере взаимоотношений двух уже не слишком молодых, но незамужних сестер^[36]. Княгиня, представляясь кавалером Марты, оспаривала право кузины ухаживать за ней. «Мисс Мария Вильмот мучила свою двоюродную сестру своими изобретательными и прелестными проказами. Я делаю то же самое... Остается узнать, у кого это получается лучше». Кузина отвечала, что просто «сражалась» с Мартой «на кулаках». «По окончании сражения мы любили друг друга еще сильнее»^[903].

Возможно, Марте пришлось уехать, чтобы пресечь нелестные слухи. Точно такие же позднее распространятся и в Москве.

Хотя гостье было под тридцать, семидесятилетняя княгиня воспринимала ее как «дитя» и приняла с распростертыми объятиями. Письма Марты домой полны упоминаний о подарках, которыми Екатерина Романовна осыпала ее. «У меня на шее сверкает опал, обрамленный бриллиантами, и четыре нитки жемчуга — то и другое подарок княгини, ей, кажется, нет большего удовольствия, нежели одарить меня»^[904], — писала Марта в январе 1804 года. «При первой возможности перешлю... нож Роберту, великолепный набалдашник для трости — батюшке (это княгиня посылает от себя), матушке — мой портрет, стоивший кучу денег, агатовое кольцо — Китти»^[905]. В другом письме матери сказано: «Для вас у меня есть маленькая коробочка с черепаховыми фишками для карт». Отцу: «Яйцо, подаренное мне княгиней [на Пасху], это два бриллианта, которые я буду носить в сереге будущей зимой»; «Три атласных платья, сердоликовые

серьги с жемчугом, медальон, обрамленный жемчужинами, — вот некоторые из подарков, сделанные мне княгиней». Трудно поверить, что об этой щедрой женщине говорили, будто она спарывает с платьев позументы!

Зимой 1804 года Дашкова заказала четыре портрета со своего «милого ангела» — две миниатюры и два ростовых маслом. «Княгиня убеждена, что Матти — совершенная красавица. Сомневаться в этом — ересь»^[906], — писала в 1805 году приехавшая погостить Кэтрин.

В апреле 1804 года после приступа Екатерина Романовна, ужаснувшись, что в случае своей смерти оставит Марту без гроша, презентовала ей тысячу фунтов, а потом вручила конверт, в котором находилось 13 тысяч фунтов стерлингов. Вскрыть его следовало только после кончины Дашковой. Кэтрин сообщила домой, что «Матти протестовала, плакала, а затем на пакете написала следующее: “Если я умру раньше моей любимой княгини Дашковой, я завещаю этот пакет ей, а если она откажется принять, я оставляю его сыну княгини...” Церемония передачи пакета состоялась 22 августа». Итак, Екатерине Романовне дарили ее собственные деньги, и, похоже, никто не видел в происходящем фарса.

Через два с половиной года, 13 июля 1806-го, Дашкова обратилась к вдовствующей императрице Марии Федоровне, прося оказать Марте покровительство, если сама княгиня скончается. На имя компаньонки она вносила в Опекунский совет воспитательного дома в Москве пять тысяч фунтов. Фактически это была плата за согласие Марты остаться у княгини еще на некоторое время и не уезжать на родину вместе с сестрой, как намечалось ранее. Свое пребывание в России мисс Уилмот рассматривала как жертву. 13 марта она писала домой: «Китти осуществила свою мечту и провела эту зиму, закутанная в меха и окруженная глыбами льда, в царской столице с ее медведями. Для меня это была уже третья зима здесь, и вследствие этого я прибавила к своему состоянию еще 1000 фунтов»^[907]. Дашкова видела в поступке Марты акт милосердия: «Нравственность, таланты, скромность, наконец, дружба Уильмот вот уже три года как облегчают мое печальное существование... Я так много обязана этой прекрасной молодой девушке, что хотела бы со своей стороны отплатить ей взаимным одолжением»^[908]. Ирландская бесприданница жила на всем готовом, получала подарки и играла роль жертвы своей сердечной привязанности. Как такое поведение похоже на манеру самой Екатерины Романовны по отношению к августейшей подруге!

«Я никогда не была ваятелем»

Вдовствующая императрица Мария Федоровна деятельно покровительствовала благотворительным учреждениям, и внесение Дашковой крупной суммы, проценты с которой пошли бы в пользу дома для сирот, обеспечивало благожелательное отношение к Марте. «Взнос денег немедленно последует, как только я буду иметь счастье получить ответ на мою просьбу», — заключает письмо княгиня. Она осталась верна себе: дарила и выкручивала руки одновременно. Можно не сомневаться, что поступок княгини вызвал толки за столом высочайших особ.

Однако золотой дождь над головой Марты продолжался. Кэтрин отчиталась родителям: «Матти *пришлось* (курсив мой. — О. Е.) принять коллекцию драгоценных камней, как иллюстрацию к естественной истории, коллекцию монет, коллекцию медалей, несколько вещей из Геркуланума, две застёжки, увенчанные золотыми львами, из сокровищниц татар, а также русскую одежду, в которой Дашкова появлялась при дворе, агатовую табакерку, табакерку из гелиотропа, украшения из витого металла — гребень, брошь, обруч для волос, ожерелья, кольца. Металлические украшения обрамлены орнаментом из жемчуга и топазов, напоминающим незабудку. Княгиня также подарила Матти замечательные часы (хотя у Матти есть свои), золотые венецианские цепочки, бесчисленное множество печаток, золотой гребень, золотой с жемчугом полумесяц, восемнадцать колец, изысканные сердоликовые серьги, напоминающие красные ягоды, жемчужные браслеты и ожерелья, браслеты из кораллов, янтаря, небольшое пианино, прекрасную гитару, уйму нот, серебряные чашки, бесчисленные шкатулки. У Марты есть атласные, кружевные, бархатные и креповые платья всех цветов, черная кружевная вуаль с головы до пят, муфта, шубы»^[909]. Похоже, глаза у Кэтрин разбежались.

Эта деловитая опись охватывает далеко не всё. Была еще библиотека в 100 томов из творений Вольтера, Дидро, Руссо и других великих авторов. Одновременно Кэтрин ужасалась, что «матушка получила убожество», в то время как прекрасные портреты Матти украшают гостиную и спальню Дашковой.

Дашкова всю жизнь с неприязнью относилась к французским гувернерам, портным, камердинерам, которые, «набогатаясь, из России выезжают и смеются глупости набогатившим их»^[910]. Под старость она попала в ту же ловушку, но с англичанкой.

Марта на удивление органично вошла в дом Екатерины Романовны и быстро заняла первое место среди юных родственниц, окружавших пожилую барыню. К ней обращались как к посреднице, прося устроить через княгиню свои дела, и конечно же наговаривали друг на друга. «Будучи родственниками, они чернят друг друга без зазрения совести. Я, словно *премьер-министр* (здесь и далее выделение Марты. — О. Е.), выслушивала ужасающее количество грубой, не знающей никаких границ лести. Каждый готов был раскрыть мне вероломство своего соседа... Короче, это такая бурлескная карикатура на все, что я когда-либо слышала или читала о дворах»^[911].

В текстах Марты много неприятных, но не лишенных оснований отзывов о русских. Среди которых «горделивые медведи» — самое мягкое. «В кругу титулованных особ какой-нибудь граф или графиня часто производят впечатление поразительно дурно воспитанного человека, едва ли не дикаря». Особенно ее бесило дворянство — своей спесью, четырьмя-пятью языками, приверженностью французским модам и полным нежеланием видеть в ней самой ровню. «Для здешнего общества характерно резкое деление на высших и низших. Здесь нет средних классов, которыми так гордится Англия. Если бы мне пришлось жить в С.-Петербурге, я бы обязательно добилась представления ко двору, просто чтобы довести до предвзятого мнения дворянского общества, что, принадлежа к “среднему классу”, я не плебейка, а такая же дама, как они»^[912]. Слова, полные чувства собственного достоинства. Но «представлена ко двору»? Не слишком ли высоко для скромной мисс?

Надо думать, в беседах с княгиней компаньонка была сдержаннее, чем в посланиях к родным. Ведь добрая старуха души в ней не чаяла. А пребывание в ее доме в качестве компаньонки существенно помогало семье мисс Уилмот. В ноябре 1807 года она писала домой: «Если я пробуду здесь достаточно долго, я смогу дать по 30 фунтов стерлингов каждому из вас, начиная с Роберта, затем Китти, Алисе, Гэрриэт, Дороти, Эдварду и Анне-Марии (братья и сестры Марты. — О. Е.)... Если отношения Дороти с Лэтхемом будут развиваться (имеется в виду замужество. — О. Е.), я повторяю прежнее обещание — или процент, или основной капитал в 1500 фунтов стерлингов. Больше я предложить не могу»^[913].

Порой подобные письма шокируют исследователей. Но постараемся понять: княгине было за что платить и за что благодарить Марту^[37]. Развлекая гостью рассказами о прошлом, Екатерина Романовна читала той письма императрицы, передавала придворные анекдоты. Как-то само собой

явилось намерение писать мемуары. Марта нигде не говорит, что это было давней мечтой Дашковой. Напротив, судя по ее дневнику, именно она подтолкнула покровительницу к мысли создать «Записки». «Княгиня начала записывать историю своей жизни, — помечено 10 февраля 1804 года. — Она говорит, что к этому ее побудила лишь дружба ко мне, и добавляет, что саму рукопись и право публикации она передаст мне»^[914].

Слова о праве публикации, несколько преждевременные в начале работы, наводят исследователей на мысль о составлении дневника постфактум, уже в Англии, дабы отвести все притязания родных Дашковой на владение рукописью. «Грешно было бы скрывать от публики происшедшие в ее жизни замечательные события и истинные чувства, часто представляемые в ложном свете»^[915].

Судя по письмам, Марта обладала несомненными литературными способностями. Она живо схватывала картинку и умела ее передать. Сначала Дашкова проверила компаньонку, поручив переделать дневник «Небольшого путешествия в горную Шотландию». Сама княгиня вела краткие записи. На их основе возник занимательный рассказ, который стилистически восходит к текстам Марты^[916].

Кэтрин разделяла с сестрой ее литературные занятия. Она старалась разузнать побольше о лицах, которые упоминались Дашковой в мемуарах, и представить себе обстановку дворцов, где жила юная княгиня. Но для Китти покровительница предназначала другую работу: изложить ее воспитательные идеи: «Тебе, имеющей перо, которое, покорствуя гению, умеет и приятно, и сильно выражать богатство твоих мыслей, тебе представляю я необделанный камень, дабы ты, яко искусный ваятель, обработав его, произвела из него некий образ... Мне кажется, я уже слышу тебя, с обычной твоей пылкостью, прервав чтение, говорящую: “Но, княгиня, я никогда не была ваятелем”. — “Тише, тише, — говорю я. — Ты еще будешь испытываема”»^[917].

Вероятно, Кэтрин не вдохновилась идеей писать о воспитании и свой «дар ясности и сокращенности» обратила на «Записки». Полагаем, что «необделанный камень» — то есть подготовительные материалы для воспоминаний имелись, хотя Марта и отрицала это, говоря, будто княгиня пишет сразу, набело.

Среди таких подготовительных материалов можно назвать письма Екатерины II подруге, ее собственную переписку с родными и другими корреспондентами, пометы на полях книг Рюльера и Кастера, характеристики собственного характера в послании Кэтрин Гамильтон,

наконец, письмо Кейзерлингу, с описанием переворота 1762 года.

Особую роль играли рассказы княгини, которыми пестрят письма сестер из России. Работа, судя по всему, происходила так: гости слушали, записывали, потом давали Дашковой прочесть, что получилось, и та оставляла свои пометы и дополнения. Тот факт, что мемуары записывались со слуха, на наш взгляд, не дает оснований считать их сфальсифицированными. Стилистически они скорее схожи с письмами Дашковой брату Александру, чем с посланиями Марты домой. Уже в XX веке множество воспоминаний было записано со слов участников событий, продиктовано журналистам и авторизовано по расшифровкам. Эти тексты занимают свое место в мемуарной литературе. Пометы Дашковой на полях (иногда весьма пространные), сделанные ею собственноручно, говорят о том, что княгиня читала написанный Мартой текст, дополняла его, но не правила. Следовательно, была с ним согласна.

О том, что Екатерина Романовна пишет воспоминания, знал ее брат Александр, к которому княгиня обращалась за справками. Знал и Федор Ростопчин, посещавший нашу героиню в июле 1804-го и в июне 1805 года. «Граф Ростопчин — человек весьма приятный», он «произвел чрезвычайно хорошее впечатление», — замечала Марта. Кроме того, он — «вылитый Павел I... Мы засиделись допоздна, разговор вращался вокруг различных событий русской истории»^[918].

Собственное мнение Ростопчина, напротив, неприязненное. «Имел я нередко случай видаться, говорить и спорить с княгинею Дашковою, — сообщал он П.Д. Цицианову. — Что ж из сего вышло? Она от меня без памяти, пишет, и я должен отвечать, читать у ней все важные переписки, а она кстати и некстати кричит, что она в своей жизни нашла лишь трех человек, кои делают честь людям: Фридриха Великого, Дидерота и меня»^[919].

Именно Ростопчин донес в Комитет министров о том, что покидавшая страну Марта вывозит с собой весьма опасную рукопись. В журнале комитета сказано, что мемуары Дашковой «содержат изъяснения против разных лиц, как посторонних, так и близких ее, и, наконец, против правительства»^[920]. По сей причине, прежде чем допустить путешественницу на корабль, ее вещи подвергли досмотру для «отыскания и секвестирования» полученных от княгини бумаг. Тогда, по словам Уилмот, ей пришлось сжечь оригинал воспоминаний и позднее восстановить его по памяти.

Эта история, рассказанная Мартой сразу по прибытии в Англию, 1

января 1809 года, брату княгини Семену, не вызвала доверия у бывшего посла. Не кажется она правдоподобной и сегодня. Скорее всего, протографа не было, а французский оригинал, написанный рукой компаньонки и обнаруженный после смерти княгини Дашковой в ее доме, — единственный авторизованный экземпляр.

Скандал в благородном семействе

Благодаря Марте княгиня обрела голос в веках. Из-за нее же — окончательно потеряла детей.

В конце 1798 года Павлу Михайловичу пришлось уволиться из армии. Были доносы, в которых трудно разобраться^[921]. Понятно одно: Павел ушел от скандала. В конце 1800 года его избрали предводителем московского дворянства, но и здесь князя преследовали неудачи, поскольку приходилось согласовывать действия с военным губернатором Москвы Иваном Салтыковым — старинным недругом Дашковой. По ее письмам брату видно, что она вникала в тонкости службы сына и малейшую шероховатость в отношениях воспринимала как личную обиду. «Как мог Салтыков... позволить себе сказать князю, который сам был губернатором, что он не знает законов? — возмущалась Екатерина Романовна в 1802 году. — Мой сын не должен ждать, пока неприятности... увеличатся из-за его чрезвычайного бескорыстия. Лучше ему подать в отставку. Это глупо служить, терять время и тратиться, если знать, что ему, может быть, даже не будут признательны»^[922]. Павлу Михайловичу шел уже сороковой год.

К вопросу о бескорыстии. В сентябре описали «за казенное изыскание», то есть за растрату, и выставили на торги тамбовские села Дашкова — Архангельское и Карай Салтыков ценой 23 630 рублей 50 копеек, с годовым доходом четыре тысячи рублей. Выкупать «секвестрованные имения сына» опять пришлось Екатерине Романовне. Тогда же в историю с новым долгом влипла дочь, на этот раз с нее требовали десять тысяч.

Опутанный финансовыми обязательствами, сильно зависимый от матери, Павел Михайлович казался очень податливым. Отправляясь в Москву в 1800 году, он окончательно разъехался с женой, которая поселилась в одном из его имений. Сам князь завел в Первопрестольной любовницу неблагородного происхождения, что, конечно, не могло нравиться матери.

Отдохновение души Екатерина Романовна находила только в общении с Мартой. «Я самый безобидный представитель человеческого рода, не обладаю талантом к интриге и не имею желания влиять... Быть свободной — вот все мои притязания»^[923], — писала ирландка. Сколько раз подобные пассажи повторяла сама Дашкова!

Встретив похожую душу, Екатерина Романовна была потрясена. Уже 2

января 1804 года мисс Уилмот писала отцу: «Она объявила, что собирается бросить Вам и матушке вызов и доказать, что я не Ваша, а ее дочь. Ей рисуется шуточный судебный процесс, на котором будут восстановлены ее родительские права, узурпированные Вами во время посещения ею Ирландии»^{924}. Шутки шутками, а княгиня начала всерьез задумываться о возможности оставить у себя «милого ангела».

Лучшим способом удержать компаньонку был брак внутри семьи. С непутевым сыном благодетельницы. Позднее Марта писала: «Любовь ко мне Дашковой подала повод думать, что она действительно желает видеть во мне свою дочь и решилась усыновить меня с помощью развода своего сына»^{925}.

О чем племянник Дашковой Дмитрий Бутурлин не замедлил сообщить дяде Семену Романовичу в Лондон: «Я еще не видел ее сына. Говорят, что между ними разногласия, что она хочет женить его на своей англичанке»^{926}.

Разногласия появились не сразу. На первых порах Павел Михайлович учтиво встретил Марту, сказав, что княгиня полюбит ее как «дочь», а в нем самом она всегда найдет «брата». 22 декабря, посидев рядом с ним за столом, гостья констатировала: «Князь Дашков ко мне весьма благосклонен. В России он один из наиболее уважаемых людей... у него безупречная репутация, и беседовать с ним интересно. Полученное воспитание и принципы, внушенные ему с детства, заложили основы его характера, не испорченного дурными примерами»^{927}.

Пока гостья смотрела на Дашкова глазами его матери. После вторичного избрания Павла Михайловича предводителем московского дворянства Марта в лучших романтических традициях живописала достоинства сына покровительницы: «Князь намеревался уйти в отставку, но все со слезами на глазах стали упрашивать его вновь принять должность... Князь действительно благороднейшее существо, сверх того он обладает деликатностью, что свойственно лишь значительным личностям. Никогда не скажет он того, что может кого-либо задеть или обидеть. Общеизвестна его храбрость, но я видела, как трогательная музыка взволновала его до слез»^{928}.

Словом, жених — лучше некуда. Но беда в том, что Павел Михайлович вовсе не горел желанием разводиться. Он мирно переписывался с супругой и открыто жил с любовницей, от которой имел уже троих детей. После его смерти, описывая судьбу вдовы, Кэтрин сообщала: «Князя постоянно уговаривали порвать отношения с женой, обратившись с прошением о

разводе, но он наотрез отказывался от этого»^[929]. Сослагательное наклонение — «угovarивали» — как в письмах о коронованных особах, когда прямо нельзя назвать источник бедствий.

Около года Павел Михайлович почти не встречался с матерью. Их отношения стали донельзя натянутыми. Когда-то Дашкова не хотела принять дочь таможенника, человека с выслуженным, а не родовым дворянством. Теперь сватала сыну дочь портового чиновника. Но британское происхождение извиняло недостаток благородной крови.

Даже когда Павел заболел и слег, мать не сразу поверила слуху, считая, будто так ее пытаются помирить с сыном. «Некая фатальность поддерживала в княгине уверенность, что он болен несерьезно». 6 января 1807 года 44-летний князь скончался от горячки, которую Марта объяснила «неудовлетворенными желаниями». Она уже и сама смотрела на Дашкова трезвее. Сдержаннее, без иллюзий. «То, как готовились сообщить княгине страшную новость, не поддается описанию... Принялись за характер покойного: начали с того, что *приписали* ему всяческие добродетели, а кончили тем, что *признали* за ним все пороки». Итак, добродетели приписанные. А пороки настоящие. Дашкова выслушала весть о кончине сына «с необъяснимым хладнокровием... без истерик и обмороков»^[930].

«Демон мщения»

Похороны князя Дашкова обнажили семейные проблемы. Хуже того — выставили их напоказ. Из корреспонденции сестер Уилмот видно, как княгиня, старея, теряла вес среди московского благородного общества. Когда Марта приехала, ее поразило подобиострастие, которым окружена Екатерина Романовна. То же отмечала в 1805 году и Кэтрин: «Никто из мужчин, даже в чинах, не смеет сидеть в ее присутствии, а она не всегда предлагает сесть; однажды я видела, как полдюжины князей простояли в течение всего визита»^[931].

Нос какого-то момента даже родные стали держаться от княгини на почтительном расстоянии, избегать встреч. Дмитрий Бутурлин писал дяде Семену в Англию: «Мне наговорили очень много о моей тетушке Дашковой. Если только половина из сказанного правда, этого было бы достаточно, чтобы я мог оправдать себя за уважительное отстранение, которое я соблюдаю в отношении ее»^[932].

О каких слухах речь? Если приведенные Сафоновым письма княгини к Марии Марлоу Уилмот подлинны, то они — лишь подтверждение поговорки про дым без огня. «Не будете ли Вы так добры сказать мне, как Вы проявляете Вашу привязанность? Как Вы делаете ее счастливой, чтобы я могла Вам подражать или более того превзойти Вас, ибо, будучи верным кавалером, я никогда никому не уступала в своей привязанности... Вы мне сообщите способы и предметы, а я сообщу Вам те, кои сама обычно употребляю... Не удивляйтесь, я немного не в своем уме, потому что в возрасте 18 лет была посвящена в кавалеры»^[933].

1 декабря 1805 года княгиня подарила Марте «очень изящную агатовую коробочку» своей матери. Такие предметы передавались по наследству. Шкатулка должна была перейти к Анастасии. Но Дашкова поступила иначе^[934].

За полгода до смерти князя Дашкова, когда уже стало понятно, что он не женится на англичанке, та писала домой о праве женщин в России распоряжаться своим имуществом: «Если у нее нет детей, то после смерти все ее состояние возвращается родным, если только по завещанию она не передаст его мужу, тебе, или мне, или Джону, или Молли, что возможно в равной степени»^[935]. Это «тебе или мне» очень красноречиво. Джону, Молли, Марте. Кажется, способ был найден.

Подарок агатовой коробочки стал рубежом, после которого ссора только разрасталась. Анастасия не хотела смотреть, как семейное имущество перетекает в бездонный саквояж гостыи. Вся родня оказалась оповещена о неблагоприятном поведении старой княгини. Марту именовали «чудовищем».

На похоронах Павла Михайловича разразился давно чаемый скандал. Сама Дашкова из-за болезни не присутствовала. Анастасия, распоряжавшаяся всем, не позволила Марте и Кэтрин приблизиться к телу для последнего прощания. «Громким и пронзительным голосом» Щербинина закричала: «Не позволяйте этим английским чудовищам приближаться к нему!» У нее началась истерика. Она требовала, чтобы полицейский вывел сестер Уилмот из церкви. Одна из знакомых Марты даже сказала ей о сторонниках Щербининой: «Они готовы видеть *Вашу* вину в этом происшествии».

«Она нанесла мне такое оскорбление, за которое в любой другой стране ее подвергли бы остракизму. Но у этих бессердечных людей *раболепные* наклонности и лживая натура... Не найдется на свете языка, который мог бы описать тех, кто дышит этой *удручающей* атмосферой. Она парализует ум, сердце, душу. Если вам удастся найти хотя бы одного человека, который, проводя здесь лет двадцать, сумел сохранить остатки добродетели, считайте, что произошло чудо»^[936].

Чем ближе к отъезду, тем резче становятся отзывы мисс Уилмот о русских. Письма 1807–1808 годов написаны человеком, близким к нервному срыву. «Чувство смятения делает несчастным всякий день моего пребывания в этой стране. Честь побуждает меня остаться, чувство самосохранения — уехать».

«Честь» стоила пять тысяч фунтов стерлингов, положенных Дашковой в Опекунский совет. После чего Марта осталась, пренебрегая «самосохранением». «Что касается денег, то я смогу выслать 5 тыс. фунтов, как только обменный курс возрастет до нужной суммы, — писала она в феврале 1807 года. — Что бы ни случилось, я не умру раньше, чем... завещаю разделить мое состояние... поровну между моими братьями и сестрами»^[937].

Что касается Анастасии, то она легко попалась. Когда-то фавориты Екатерины II, хорошо зная характер Дашковой, старались вывести ее из терпения, чтобы та наговорила государыне гадостей и вызвала гнев. Неужели сходная тактика была использована против скандальной и вспыльчивой Щербининой?

«Если у нее нет детей...» Павел умер. Оскорбившая мать Анастасия не могла рассчитывать на наследство. Княгиня была в гневе. Грозилась запереть дочь в исправительный дом. Но по новому указу Александра I родители лишались такой власти. «Ты по развратному своему поведению никакого доверия не заслуживаешь, — писала дочери Дашкова. — ...Я тебе прощала семь раз, что только ангел милосердия едва простить мог»^{1938}. 21 января княгиня составила новое завещание, лишавшее Щербинину наследства. Оставался один шаг. Но его Екатерина Романовна не сделала.

Почему? Вчитаемся в письма Марты. 24 июля 1806 года она ликовала по поводу послания императрице-матери: «Письмо написано... Не могу передать, какие чувства я испытала». А менее чем через две недели ее ожидал холодный душ: «Дашкова в молчании выслушивает ту клевету на меня, которую госпожа Щербинина распространяет среди всех, кто посещает дом ее брата»^{1939}. Мисс Уилмот не знала, как к этому отнестись.

Между тем, слушая кумушек, Екатерина Романовна понимала, что общественное мнение складывается не в пользу ее компаньонки. Комментируя новое завещание, Марта замечала: «Некоторые считают, что княгиня не может лишить наследства свою дочь». А посему: «Все свои земельные владения княгиня оставляет себе в пожизненную ренту, а большую часть своего состояния передает сыну графа Семена Воронцова, бывшего послом в Лондоне»^{1940}.

Марте пришлось удовольствоваться уже полученным. Причем покровительница не доверила выплату суммы из Опекунского совета родным, а сделала гарантом исполнения своей воли вдовствующую императрицу. Такой шаг показывал, что Екатерина Романовна не верила, что душеприказчики отдадут компаньонке причитающееся. Семья напоминала корабль в бурю.

Мать и дочь готовились судиться по поводу наследства покойного Павла. По закону его вдова получала $\frac{1}{7}$ недвижимого и $\frac{1}{4}$ движимого имущества. Остальное должно было перейти родным. Для убитого горем человека Дашкова очень быстро начала действовать. Она объявила об опеке над владениями сына, приказала доставить к себе его супругу, несчастную Анну Степановну, которую так долго не желала видеть, и оспорила от ее имени права дочери.

Щербинина тоже не оказалась безоружной. Она взяла к себе побочных детей Павла, заявила, что желает их усыновить и назначить своими наследниками. В таких условиях шанс получить имущество брата и даже добиться для его отпрысков родового имени возрастал.

«Я торжественно повторяю, что сын мой не хотел... усыновить побочных детей, прижитых при жизни... жены его, — писала ей Екатерина Романовна, — а хотел их сделать благонравными мещанами с посредственным состоянием... Ты обещаешь им дать свое имя... ты хочешь их воспитывать, а ты их развращаешь... при первом пароксизме злости ты их выкинешь из окна»^{941}.

Очень похоже на Анастасию Михайловну. Но Щербинина не выбросила детей Павла «из окна» и, даже проиграв матери слушание в Сенате, оставила у себя на воспитание, дала свою фамилию и наследство. Установленная ею над гробом Павла Михайловича плита, по верному суждению М.П. Пряшниковой, — один большой упрек Екатерине Романовне: «Удрученная горестью сестра... воздвигла сей памятник брату, другу и тому, которого любив, как нежнейшая мать, гордилась быть ему покорна, как дочь»^{942}. В этой эпитафии дети Дашковой замкнуты друг на друга — матери между ними места нет.

Долгие провода

Как же удалось спровадить Марту? Она уехала сама. Как верно отметил Сафонов, после смерти Михаила Дашкова ирландская гостья спешно засобиравшись в дорогу. Мемуары уже были готовы. В письмах домой изредка проскальзывает информация о том, что княгиня работает над историей своей жизни. Но только дневник сообщает о переводе на английский язык, который Марта делала для сестры, сначала переписывая, а затем сверяя текст с французским оригиналом. Кэтрин в 1806 году было бы куда легче вывезти этот английский — невнятный таможенникам — текст из России.

Все предшествующие действия княгини говорят о желании издать «Записки» в Англии. Но вывезти текст в 1808 году стало необычайно трудно. Россия вела непрерывные войны с Наполеоном, присоединяясь к коалициям и создавая их сама. Англия оказывалась то союзником, то вынужденным врагом. Перед самым отъездом Кэтрин записала: «Вчера было объявлено о мире (Тильзитском. — О. Е.) между императором и Бонапартом... Ночью по всему городу светилась иллюминация... Убогость ее говорит о том, что радость не слишком велика... Россия представляется мне в образе румянощекого мальчика, который, прогуливая школу, не думает о последующей взбучке... Наполеон уже приготовил розги. Все поносят англичан за то, что они были слишком медлительны, невежи (а их здесь 99 из 100), ругают Англию... в целом все медведи злятся на нас»^[943].

Кэтрин уезжала вовремя. А Марта оставалась в разгар антианглийских настроений. Гуляя, мисс Уилмот боялась, что к ней пристанут на улице: «Мне очень не хотелось, чтобы меня признали англичанкой, так что я нахлобучила свою соломенную шляпу на самое лицо... Нелепо и неправдоподобно звучит, но меня заставляют отвечать за действия короля Георга и решения двух его парламентов»^[944]. Не позавидуешь.

19 ноября она продолжала тему: «Вчерашняя почта принесла весть о разрыве дружеских отношений между Россией и Англией... Одному Богу известно, каковы будут последствия. Страшно, я чувствую себя загнанной в лабиринт». Отныне не только переписка с домом представляла известную трудность. Нависла угроза, что англичан, как недавно и французов, указом вышлют из страны. При этом могли пострадать накопления мисс Уилмот.

Оставался один выход: уехать, пока не поздно. Но Дашкова и слышать не хотела о разлуке. 19 февраля Марта сообщала: «Вчера у княгини

разыгралась ужасная сцена по поводу моего отъезда. Она была почти в истерике... Я обещала княгине остаться... Мое положение ужасно». Однако через восемь дней Марта уже сидела в дорожных санях. «Она случайно нашла пару перчаток, на которых начертано мое имя, и со слезами на глазах просила позволения оставить их себе»^[945].

В народе говорят: долгие проводы — лишние слезы. Прибыв в Петербург, мисс Уилмот узнала, что уже опаздывает на намеченный корабль. (Позднее он затонул, как не увидеть руку Провидения?) Пришлось возвращаться. Радости в доме Екатерины Романовны не было границ. «Всем в доме княгиня сделала какой-нибудь подарок в честь моего возвращения... Она даже освободила из долгового тюремного заключения пятерых своих должников». Совсем по-царски. А любопытно, что Дашкова могла посадить человека «в яму».

С весны до сентября Марта оставалась при покровительнице. Возвращаться домой мисс Уилмот предстояло кружным путем через Швецию. Семье летели письма самого жалобного свойства: «Все восхищаются моей жертвой, ради счастья княгини... Она много раз говорила, что живет только мною». Или: «О небо, что за день был вчера! Княгиня до такой степени опечалена и ведет себя настолько отлично от того, на что я надеялась, что я не в силах выносить ее страданий, как жаль, что я еще не уехала!»

Но вот произошло очень важное событие. 23 сентября, среди обычных, малозначащих дел, помечено: «Кажется, вчера рассеялись чары, висевшие над “Записками” княгини, она передала список...»^[946] Вместо имени в письме прочерк. Возможно, англичанке трудно было воспроизвести длинную русскую фамилию душеприказчика княгини поэта Ю.А. Нелединского-Мелецкого. Но из письма второго душеприказчика П.Л. Санти племяннику княгини Михаилу Воронцову известно, что Нелединский взял тот список, который был найден уже после смерти Екатерины Романовны среди ее бумаг^[947].

Скорее всего, Марта боялась, что в условиях войны ее письма будут перлюстрированы, и посчитала за лучшее не называть имени человека, которому передали рукопись. Зачем тогда вообще было упоминать о «Записках»? Затем, что родственники интересовались их судьбой и подчас давали досужие советы. 27 декабря 1807 года мисс Уилмот написала: «В письме Элизы много говорится о “Записках”. Она советует мне собрать побольше материалов *etc, etc*. Пусть она полчаса поговорит с Китти и тогда поймет невозможность выполнить ее желания. Мне эта мысль (особенно

вначале) приходила тысячу раз... К сожалению, с каждым новым днем это становится все более невозможным. В свое время мы с Китти выяснили у княгини более подробные детали происшедшего. Одним словом, Китти — энциклопедия, где ты можешь найти ответы на любые вопросы. Конечно, “Записки” читаются в глубокой тайне».

Что могли значить эти строки? Прежде всего наличие самих «Записок». Во-вторых, невозможность вывезти текст.

Через девять месяцев Марта успокоила родных насчет варианта мемуаров, остававшегося в России: рассеялись чары, княгиня передала текст. Но кому? Позволим себе предположить, что дело не обошлось без Ростопчина. Ему усиленно покровительствовала великая княгиня Екатерина Павловна, собиравшая исторические рукописи, особенно документы недавних царствований. Их поставщиком и отчасти фабрикатом являлся Федор Васильевич. В 1810 году Дашкова намеревалась посетить царевну в Твери. Поэтому оригинал остался у Екатерины Романовны как залог возвращения компаньонки. Или как самая дорогая реликвия, написанная рукой Марты.

«С той минуты, как решение мое об отъезде было принято, нам с княгиней стало тяжело встречаться друг с другом, — писала мисс Уилмот 1 октября 1808 года. — ...Я решила уехать ночью и притом как можно раньше. Княгиня, очевидно, догадалась о моем решении и дала себя обмануть. Нежно, по-матерински, обняв меня, она, к общему удивлению, ушла после обеда к себе отдыхать, а я воспользовалась этой возможностью и отправилась в путь»^{948}.

Возок уносил от несчастной старухи единственное близкое существо, заменившее ей дочь. Круг жизни нашей героини замкнулся.

ЭПИЛОГ

Есть удивительная книга...

А.И. Герцен

Давно замечено, что все люди, занимающие вторые места, имеют неоспоримые права на первые.

Английская пословица

Оставшийся год Дашкова прожила угасая. Болезни не покидали ее, и 4 января 1810 года княгиня скончалась в своем московском доме. Действительно, Марта оказалась «самым прочным канатом», связывавшим нашу героиню с жизнью.

В конце книги принято подводить итог земного пути героя. Но парадоксальность Дашковой состоит как раз в том, что для нее итог невозможен. Во всяком случае, до тех пор, пока «Записки» продолжают доминировать над собственно историческим знанием.

Пытаясь опубликовать воспоминания, Марта писала издателю С.Д. Гленберви о княгине: «Она была так далека от мысли считать свои “Записки” средством самооправдания, что, если бы кто-нибудь заподозрил ее в этом, она с презрением бросила бы перо, в гордом сознании своего унижения»^{949}.

Однако в письме самой Дашковой миссис Гамильтон 1804 года, которое, без сомнения, послужило одним из первичных источников для «Записок»^{950}, диалог с оппонентами присутствовал открыто. «Какую страшную работу, мой милый друг, Вы задали мне! Вы непременно желаете, чтоб я представила Вам различные портреты, снятые с меня, и присоединила бы к ним один своей собственной кисти»^{951}. Из всех высказываний, на которые отвечала наша героиня, первыми стояли слова императрицы, которая, «как говорят», изобразила подругу «честолюбивой дурой» и «капризной женщиной». Возражение заняло не менее двух страниц. Значит, Екатерине Романовне все-таки важно было оправдаться.

«Записки» осуществили эту задачу. История возвращения мисс Уилмот в Великобританию и публикации мемуаров Дашковой — настоящий детектив. Марту преследовали злые чиновники и не менее злые

родственники благотельницы. В Петербурге ее «целых пять дней продержали под арестом», вымогая бумаги.

Современному читателю не всегда понятны мотивы враждебности, направленной на мисс Уилмот. Их объясняют непривычкой к свободе слова и боязнью испортить карьеру служащим в России членам семьи.

Чтобы разобраться в ситуации, приведем один пример. В 1812 году в Париже вышли двухтомные мемуары герцогини Байрейтской, сестры Фридриха Великого. Написанные в негативном ключе по отношению к брату и всей прусской королевской семье, они демонстрировали грязь резиденций, половую распущенность, кровосмешения, раболепство, беззакония. Среди этого ада личность героини — светлое пятно, которое только оттеняет прочие мерзости. В настоящий момент исследователи склоняются к выводу, что воспоминания — фальшивка. Они были созданы, дабы унизить Пруссию — растоптанного врага Наполеона. Недаром Бонапарт назвал выход мемуаров «второй Йеной»^[952].

Текст Дашковой был переполнен неприятными откровениями о членах русской императорской семьи. Кажется, что в первую очередь должны пострадать Петр III и Павел I. Но на самом деле, невзирая на славословия в адрес Екатерины II, главного удара удостоилась она. Неблагодарная, равнодушная, погруженная в сластолюбие, отвергавшая истинных патриотов, захватившая власть без права, причастная к убийству мужа. Как позднее написала о мемуарах Марта С.Р. Воронцову: «Везде видна княгиня, увлекающаяся до энтузиазма иногда (может быть, слепого) добродетелями своей государыни, но никогда не мирволящая ее порокам»^[953].

Между тем русский патриотизм в войнах с Наполеоном во многом основывался на победах времен Екатерины II. Гвардейский поэт С.Н. Марин написал в 1804 году «Марш Преображенского полка»:

Пойдем, братцы, за границу,
Бить Отечества врагов!
Вспомним матушку-царицу,
Вспомним, век ее каков!

Мемуары нашей героини помогали вспомнить не только славу, но и пороки. Стала бы их публикация для России вторым Аустерлицем? Вряд ли. Но Александр I старался избежать такого развития событий. Одной угрозы в давнем разговоре Дашковой с Потемкиным было достаточно, чтобы возбудить подозрения. В апреле 1804 года император покрыв из

казны долги княгини — пресловутые 44 тысячи рублей. Он действовал, как бабка, налагая на уста княгини печать.

Когда, уже после Наполеоновских войн, Марта задумала издать английский вариант, якобы восстановленный ею по памяти, в дело вступили родные Дашковой. Сама мисс Уилмот, вернувшись на родину, составила себе из подарков княгини приданое и в 1812 году вышла замуж за выпускника Оксфорда священника Уильяма Брэдфорда, сначала получившего приход в Суссексе, а затем служившего при британском посольстве в Вене.

В феврале 1813 года Марта направила жившему в Англии бывшему послу С.Р. Воронцову копию «Записок», «с нетерпением» ожидая его «замечаний». Семен Романович был шокирован. «Я читал и перечитывал... удивляясь все более и более... Думая писать замечания на все, что в этом томе есть неточного, что в нем рассказывается не только ложного, но и невероятного, на явные анахронизмы, которые бросаются в глаза всем и каждому... я отметил цифрами те места, на которые из уважения к истине я должен был указать и которые обязан был опровергнуть, чтобы не иметь на совести упрека за то, что преступным молчанием, так сказать, дал свое одобрение изданию, которое может только сильнейшим образом повредить памяти моей сестры»^[954].

Сколько бы миссис Брэдфорд ни обещала, что деньги от публикации пойдут в помощь русским раненым, Семен Романович возражал, что опротестует книгу, «которая повредит той, кого вы думаете восславить»^[955]. Позиция Воронцова-отца легко объяснима беспокойством за карьеру сына — Михаила Семеновича. В тот момент генерал-майора, героя войны 1812 года и Заграничного похода русской армии, будущего командира оккупационного корпуса во Франции. Дома цензуре вменялось в обязанность следить, чтобы «в публикуемые воспоминания не вкрадывалось ничего, могущего ослабить чувства преданности... высочайшей власти». Многие рукописные копии мемуаров были изъяты у их владельцев, поскольку подрывали «верность и добровольное повиновение»^[956].

Только после смерти Воронцова-старшего Марте удалось в 1840 году осуществить английское издание. Через 17 лет «Записки» были напечатаны по-немецки в Гамбурге. С этой публикацией работал Герцен. В 1858 году он написал и опубликовал в «Полярной звезде» большой очерк «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», а через год в Лондоне издал и сами мемуары. Тогда же они появились в Париже.

Отечественный читатель знакомился с отрывками мемуаров, опубликованными в 1842 году в журнале «Москвитянин», в 1845 году — в «Современнике» и в 1873 году — в «Русской старине». Рукопись, некогда оставшаяся у Дашковой, была издана в 1881 году в XXI книге «Архива князя Воронцова». Но задолго до этих официальных публикаций текст княгини ходил в списках, количество которых теперь трудно подсчитать. Своя копия имелась у Нелединского-Мелецкого, который предоставил ее для копирования П.А. Вяземскому. С этим списком были знакомы Н. М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.С. Пушкин. Другой восходит к кругу А.Ф. Малиновского, женившегося на племяннице Дашковой А.П. Исленьевой. Читали текст М.П. Погодин, С.Н. Глинка, Д.Н. Бантыш-Каменский^[957]. Словом, заинтересованные лица находили источник и даже помещали его пересказ в печатные статьи, разумеется, без ссылки. На фоне общего невежества в отношении прошедшего века он доминировал. К нему обращались, и им проясняли белые пятна недавней истории.

Семен Романович ошибался, полагая, что неточности текста «бросаются в глаза всем и каждому», — время работало против него. В живых оставалось все меньше людей, непосредственно знакомых с Екатерининской эпохой. И появлялось все больше читателей, способных верить легко, без вопросов.

Однако процесс накопления информации неостановим. В настоящий момент ученые знают об эпохе нашей героини намного больше, чем в середине XIX века. Диктуя мемуары, Дашкова не могла и представить, что когда-нибудь будут опубликованы не только ее письма, но и корреспонденция самой императрицы, актовый материал, уголовные дела. Введение в научный оборот массы иных материалов поставило под вопрос многие утверждения Дашковой.

Современный специалист при чтении «Записок» испытывает оторопь, сходную с той, что охватила Семена Воронцова: «пропасть анахронизмов», «факты не только ложные, но и совершенно невероятные», да к тому же «жестоко оклеветанные лица». Но если тот же специалист уже начал знакомство с эпохой Екатерины II с воспоминаний ее подруги, ему в глаз попадает осколок андерсеновского зеркала, разбитого троллями. Он видит происходившее через дашковские строчки.

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие биографы Дашковой используют «Записки» как проверочный источник, просеивая сквозь него факты. Между тем мемуары и весь остальной корпус материалов о жизни Дашковой существуют как бы в разных пластах реальности, не пересекающихся друг с другом. «Записки», при условии доверия к словам

автора, предоставляют уют и психологический комфорт.

Однако уже в самом тексте заложено зерно разрушения. Это образ главной героини. Достаточно с карандашом в руках пройтись по страницам и пометить, сколько раз Дашкова повторила пассажи о личном бескорыстии, честности, твердости, отвращении от интриг... Разве человек, действительно обладающий подобными добродетелями, станет о них писать?

Из этой путаницы появилось тоскливое желание поклонников подарить Дашковой иную судьбу. «Одному из самых богато одаренных умов, когда-либо существовавших, выпал жребий пребывать в бездействии»^{958}, — вздыхала Марта. «Полагаю, она была бы на своем месте во главе государства»^{959}, — соглашалась Кэтрин. «Она была бы славным министром!»^{960} — вторил им Герцен.

Дашкова и была славным министром. Если, конечно, речь не о кресле премьера. Можно остаться в лабиринте ее воспоминаний и растравлять душу жизнью, прожитой в воображении. А можно выйти.

Дело того стоит.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ РОМАНОВНЫ ДАШКОВОЙ

1743, 17 марта — родилась Екатерина Романовна Воронцова.

1747–1759 — Екатерина Воронцова вместе с братьями и сестрами воспитывается в доме своего дяди вице-канцлера (затем канцлера) М.Р. Воронцова.

1758 — Екатерина Воронцова заболела корью, была выслана родными из Петербурга и начала много читать.

Июль — Екатерина Воронцова встретила своего будущего мужа князя М.И. Дашкова.

1759, январь — девица Воронцова в доме своего дяди познакомилась с великой княгиней Екатериной Алексеевной, будущей Екатериной II.
Февраль — брак Е.Р. Воронцовой и М.И. Дашкова.

1761, 28 июня — возвращение супругов Дашковых из Москвы в Петербург.

Лето — разговор Дашковой и наследника Петра Федоровича о смертной казни.

20 декабря — разговор Дашковой с великой княгиней Екатериной Алексеевной о будущем перевороте.

25 декабря — кончина императрицы Елизаветы Петровны, крестной матери Дашковой.

30 декабря — разговор императора Петра III с Дашковой о будущей судьбе ее сестры Елизаветы Воронцовой.

1762, 18 февраля — Манифест Петра III о вольности дворянства, настоящим автором которого считали отца Дашковой, графа Р.И. Воронцова.

Апрель — отъезд М.И. Дашкова послом в Константинополь.

27 июня — арест П.Б. Пассека, входившего во «фракцию» Дашковой.

28 июня — переворот, возведший Екатерину II на престол.

28–30 июня — поход гвардии на Петергоф, Дашкова узнает о фаворе Г.Г. Орлова.

4 июля — Дашкова узнает о гибели Петра III и гласно называет Алексея Орлова убийцей.

Конец лета — осень — переписка Дашковой с братом А.Р.

Воронцовым, послом в Лондоне, который упрекал ее за равнодушие к родным.

9 августа — пожалование Дашковой 24 тысяч рублей. В тексте указа ее фамилия стояла в списке первой группы заговорщиков, хотя, судя по размерам пожалования, Дашкова все же находилась во второй.

Июль — начало сентября — по словам Дашковой, она с мужем занимала покои во дворце. Вряд ли это так.

1 сентября — двор отправляется на коронацию Екатерины II в Москву. Как писала позднее Дашкова, она всю дорогу ехала вместе с императрицей. Вероятно, иногда ее действительно приглашали в карету государыни.

9 сентября — Дашкова узнает о кончине своего сына Михаила.

13 сентября — Дашкова участвует в торжественном въезде императрицы в Москву.

22 сентября — коронация Екатерины II в Успенском соборе Московского Кремля, при которой Дашкова, скорее всего, не присутствовала.

1763, январь — июнь — выпуск журнала «Невинное упражнение».

Май — Дашкова принимает участие в заговоре Федора Хитрово, который ставил своей целью убийство братьев Орловых. Письмо Дашковой Екатерине II, в котором княгиня отрицала, что знала о заговоре.

1764, 5 июля — убийство Иоанна Антоновича, заговор В.Я. Мировича. Дашкову обвиняют в соучастии.

17 августа — смерть М.И. Дашкова.

1765, март — Дашкова уезжает из Петербурга в Москву. *1768* — поездка Дашковой с детьми в Киев.

1769, 28 июня — Дашкова получает у Екатерины II разрешение отправиться в первое заграничное путешествие.

1770, конец сентября — Дашкова впервые оказывается в Англии.

1771 — княгиня Дашкова посетила Францию и отправилась в обратный путь через Берлин.

Декабрь — Дашкова прибыла в Петербург и получила от Екатерины II десять тысяч рублей.

1772, лето — на казенные средства нанят и меблирован дом для княгини в Петербурге, она заняла отцу 23 тысячи рублей (по другим данным — 17 тысяч).

3 сентября — императрица пожаловала Дашковой 60 тысяч рублей на покупку земли.

1773, весна — начало новой опалы Дашковой: ее имя многократно упоминалось среди участников заговоров в пользу цесаревича Павла

Петровича.

1775 — Дашкова устраивает свадьбу дочери Анастасии Михайловны с бригадиром А.Е. Щербининым.

1775–1782 — второе путешествие Дашковой в Европу, предпринятое для образования сына Павла Михайловича.

1779, март — Павел Дашков окончил Эдинбургский университет и получил степень магистра искусств.

1782, весна — Дашкова с детьми возвращается в Россию.

1783, 24 января — Екатерина II подписала указ о назначении Дашковой директором Академии наук.

Июль — начало строительства нового здания Академии наук на стрелке Васильевского острова.

30 сентября — Екатерина II подписала указ о назначении Дашковой президентом Российской академии, которая занималась изданием «Словаря русского языка». За 11 лет княгиня и ее сотрудники опубликовали шесть томов.

1783–1784 — Дашкова являлась редактором «Собеседника любителей русского слова».

1784, май — Дашкову покидает дочь Анастасия, пожелавшая жить вместе с мужем.

1788, январь — Павел Дашков женился на А.С. Алферовой, дочери откупщика. Ссора Дашковой с сыном.

1789 — Дашкова прочитала «Житие Федора Ушакова» А.Н. Радищева и нашла в нем «мысли, опасные по нашему времени».

1790 — публикация «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, которому покровительствовал брат Дашковой, президент Коммерц-коллегии А.Р. Воронцов.

1793 — публикация с разрешения президента Академии наук Дашковой трагедии Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

1794, 5 августа — Дашкова подала прошение об отставке и получила отпуск с сохранением жалованья.

1796, 26 декабря — 1797, февраль — княгиня по приказу Павла I находилась в ссылке в селе Коротово под Череповцом.

1797, апрель — Дашкова получила от Павла I разрешение вернуться из Троицкого в Москву.

1803 — приезд в Россию Марты Вильмот.

1804, 10 февраля — по словам Марты, Дашкова начала работу над своими «Записками».

1807, 6 января — смерть Павла Михайловича Дашкова.

1808, 1 октября — отъезд Марты Вильмот из России.
1810, 4 января — смерть Екатерины Романовны Дашковой.
1840 — английское издание «Записок» Дашковой.
1842 — отрывки из мемуаров вышли в журнале «Москвитянин».
1881 — первое полное издание «Записок» в «Архиве князя
Воронцова».

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Алексеев В. Н. Е. Р. Дашкова в произведениях А.С. Пушкина // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010.

Алексеев В.Н. Награды княгини Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001.

Афанасьев А.Н. Литературные труды кн. Е.Р. Дашковой // Отечественные записки. 1860. Т. 129. № 3. Отд. 1.

Бессарабова Н.В. Е.Р. Дашкова при дворе русских императриц // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004.

Болотина Н.Ю. Женщины рода Воронцовых в повседневной жизни императорского двора XVIII в. // Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006.

Болотина Н.Ю. Разные судьбы сестер Воронцовых: Екатерина Дашкова и Анна Строганова // Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Бутурлин М.Д. Княгиня Е.Р. Дашкова // Русская старина. 1877. № 18.

Васильков Н. Воспитание Е.Р. Дашковой и ее взгляд на воспитание // Вестник воспитания. 1894. № 1.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Е.Р. Дашковой. М., 2002.

Веселая Г.А. Послание княгини Е.Р. Дашковой своим крестьянам в Новгородскую губернию в деревню Коротово // Е.Р. Дашкова и ее время. М., 1999.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова: жизнь во власти и в опале. М., 2010.

Воронцов-Дашков А.И. Московская библиотека княгини Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Герцен А.И. Княгиня Е.Р. Дашкова // *Герцен А.И.* Собрание сочинений. М., 1957. Т. 12.

Долгова С.Р. Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Малиновских. М., 2002.

Долгова С.Р. Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Щербининых // Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007.

Заичкин И. А., Почкаев И.Н. Екатерининские орлы. М., 1996.

Зыкова Е. Н. Англофильство Е.Р. Дашковой в контексте русской

культуры XVIII века // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001.

Иванов О.А. Княгиня Дашкова и граф Орлов: причины конфликта // Московский журнал. 1998. № 8.

Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова // Сочинения Д.И. Иловайского. М., 1884. Ч. I.

Караванов П.Ф. Статс-дамы и фрейлины русского двора в XVIII столетии // Русская старина. 1870. №11.

Корнилович-Зубашева О.Е. Княгиня Е.Р. Дашкова за чтением Кастера // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пп., 1922.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Кросс Э.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004.

Лозинская Л.Я. Во главе двух академий. М., 1978.

Лопатин В.С. Когда княгиня Е.Р. Дашкова узнала об аресте капитана П.Б. Пассека // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002.

Мордовцев Д.Л. Русские женщины Нового времени. СПб., 1874. Т. II.

Маррес М.Л. Дашкова и вопрос о национальном самосознании русского дворянства // Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006.

Немкова И.А. Нравственно-воспитательная функция «Словаря Академии Российской» // Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005.

Нивьер А.Е. Р. Дашкова и французские философы Просвещения // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Огарков В.В. Е.Р. Дашкова: ее жизнь и общественная деятельность // Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский. Канкрин. Челябинск, 1995.

Пчелов Е.В. Генеалогические связи Е.Р. Дашковой по мужу // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Пряшников М.П. Е.Р. Дашкова и музыка. М., 2001.

Пряшников М. П. Дочь Е.Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина: штрихи к портрету // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010.

Ренне Е.Н. Портрет Е.Р. Дашковой работы О. Хамфри // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004.

Саввина А.Н. Кто такие Ранцовы? (Опыт первого исследования) // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1999. Вып. X.

Сафонов М. М. Екатерина Малая и ее «Записки» // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Сафонов М.М. «Записки» Е.Р. Дашковой и их авторы // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010.

Сафонов М. М. Княгиня Сафо? Или античные страсти на берегах Невы // Родина. 1997. № 1.

Семевский М.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Русская старина. 1874. № 3.

Смагина Г.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова: штрихи к портрету // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001.

Смагина Г.И. Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006.

Сомов В.А. Книга о Екатерине II из библиотеки Е.Р. Дашковой // Книжные сокровища. К 275-летию Библиотеки АН СССР. Л., 1990.

Сомов В.А. «Президенттрех академий». Е.Р. Дашкова во французской «Россике» конца XVIII века // Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000.

Столбова Е.И. Портреты княгини Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.

Строев А.Ф. Авантюристы Просвещения. М., 1998.

Суворин А.А. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова: Исследования А.А. Суворина. СПб., 1888.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни Е.Р. Дашковой. М., 2009.

Тычинина Л.В. Великая россиянка. М., 2002.

Улюра А.А. Формирование прижизненного писательского имиджа Е.Р. Дашковой как проблема тендерного статуса// Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005.

Файнштейн М.Ш. «И славу Франции в России превзойти». Российская академия (1783–1841) и развитие культуры и гуманитарных наук. М.; СПб., 2002.

Фирсова Е.Н. Дети и воспитанники Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и XVIII в. От Российской империи к современной цивилизации. М., 2010.

Фирсова Е.Н. Первый московский дом Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и представители века Просвещения. М., 2008.

Шугуров М.Ф. Княгиня Дашкова и мисс Вильмот // Русский архив. 1880.

ИЛЮСТРАЦИИ



Княгиня Дашкова



Марфа Ивановна Воронцова, урожденная Сурмина, мать Дашковой. Середина XVIII в.



Роман Илларионович Воронцов, отец Дашковой. Г. Сердюков. 1770-е гг



Усадьба Андреевское Р.И. Воронцова



Михаил Илларионович Воронцов, дядя Дашковой. XVIII в.



Анна Карловна Воронцова, тетка Дашковой. Л. Токе. 1762 г.



Дворец М.И. Воронцова в Санкт-Петербурге. Гравюра. Вторая четверть XIX в.



Михаил Иванович Дашков, муж Дашковой. Неизвестный художник. 1760-е гг.



Екатерина Романовна Дашкова. Неизвестный художник. 1762 г.



Усадьба Троицкое М.И. Дашкова: въездные ворота и храм Живоначальной Троицы



Великий князь Петр Федорович. Неизвестный художник. Середина XVIII в.



Елизавета Романовна Воронцова, сестра Дашковой, фаворитка Петра III. А.П. Антропов. 1762



Усадьба Санс-Энну Е.Р. Воронцовой



Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. 1770 г.



Граф Григорий Григорьевич Орлов. Середина 1760-х гг.



Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Копия с оригинала Г. Х. Гроота. Середина XVIII в.



Граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Копия с оригинала П. Дж. Батони. 1766 г.



Граф Никита Иванович Панин. 1770-е гг.



Великий князь Павел Петрович в детстве. А.П. Лосенко. 1763 г.



Мундир обер-офицера лейб-гвардии Семеновского полка, в котором Екатерина II возглавила поход гвардии на Петергоф 28 июня 1762 года



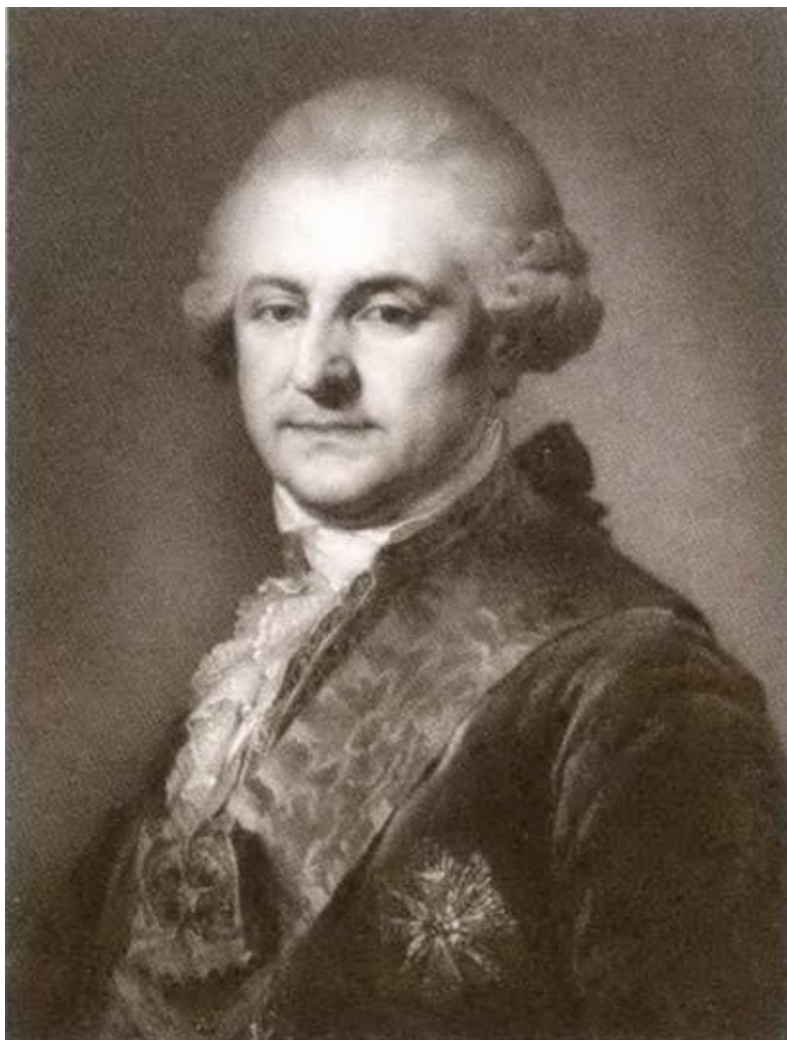
Присяга Измайловского полка Екатерине II. Неизвестный художник. Конец XVIII-первая треть XIX в.



Екатерина II после провозглашения императрицей. А. Цатта. 1797 г.



Граф Герман Карл фон Кайзерлинг



Станислав Август Понятовский. И.-Б. Лампи-старший. 1780-е гг.



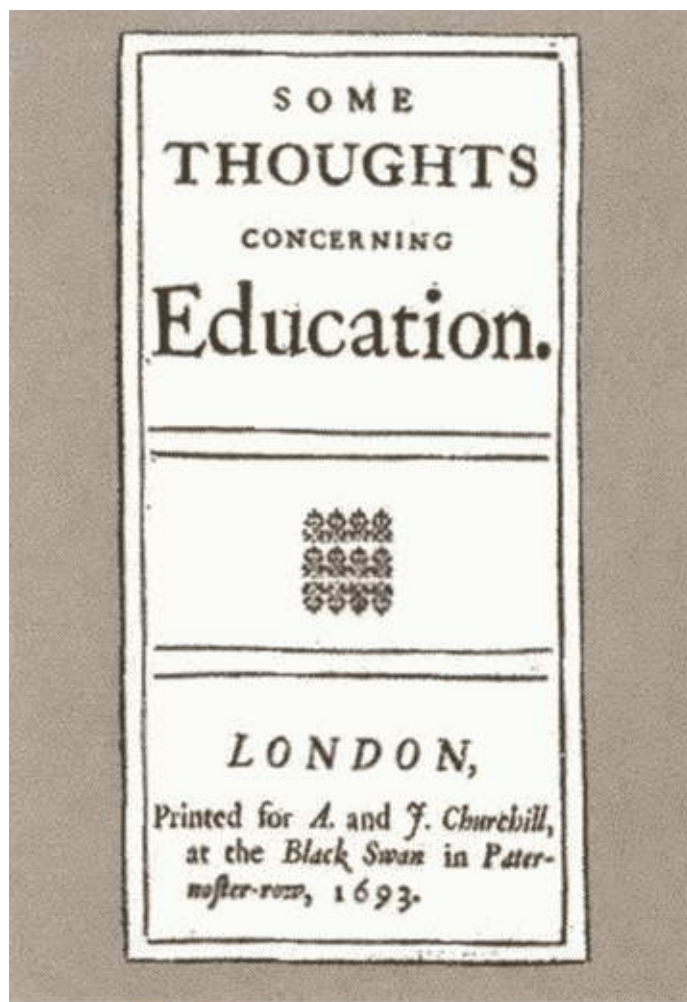
Избрание Станислава Понятовского королем Польши. Б. Белотто. Фрагмент. 1760–1770-е гг.



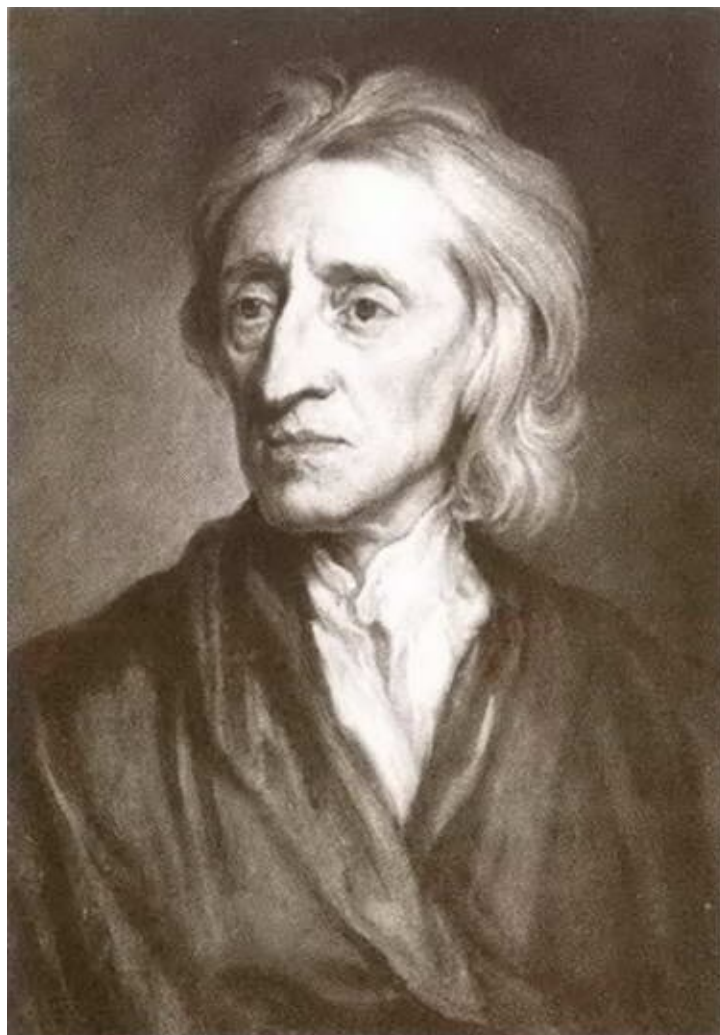
Иоанн VI Антонович



«Поручик Мирович у трупа Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года в Шлиссельбургской крепости». И. Творожников. 1884 г.



Титульный лист первого издания сочинения Дж. Локка «Некоторые мысли о воспитании».
1693 г.



Джон Локк. Г. Кнеллер



Е.Р. Дашкова с сыном Павлом и дочерью Анастасией в Англии. Г.И. Скородумов. 1777 г.



Дени Дидро. Л.-М. ван Лоо. 1767 г.



*Наказание кнутом. Иллюстрация к книге «Путешествие в Сибирь» аббата Шаппа д'Отроша.
Ж. Лепренс. Середина XVIII в.*



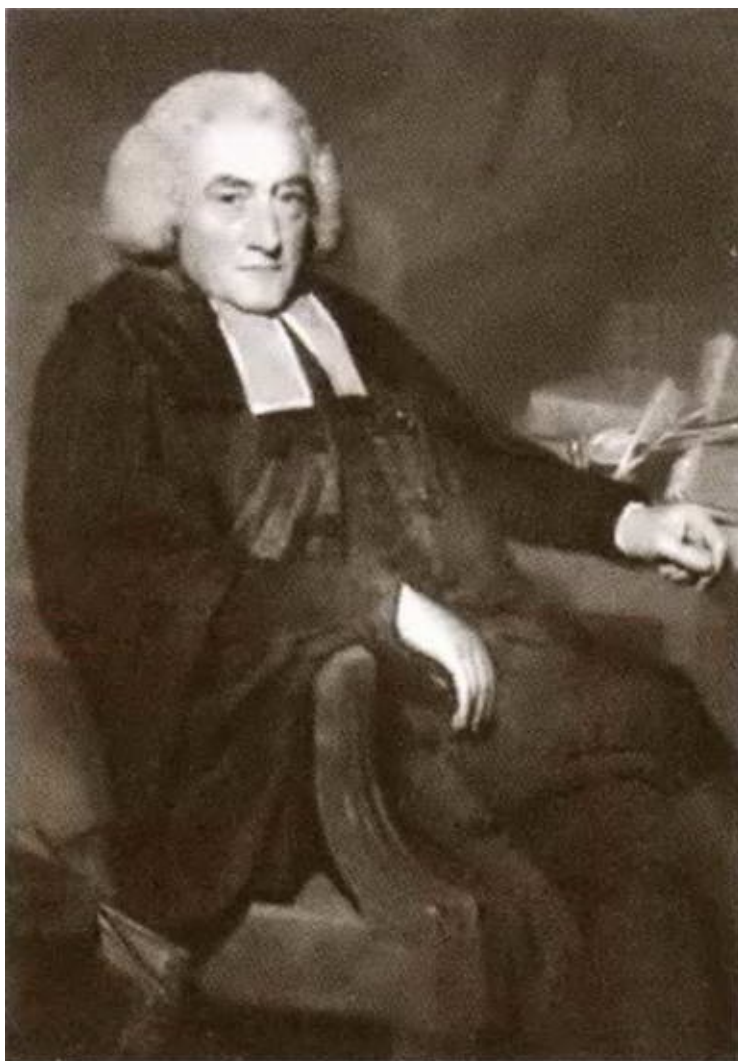
Граф Джордж Макартни 1770-е гг.



Е.Р. Дашкова. Миниатюра О. Хамфри. 1770 г.



Эдинбургский университет



Уильям Робертсон. Г. Реберн. 1792 г.



Горацио Уолпол. Дж. Дж. Экардт. 1755 г.



Бунт лорда Гордона. Д.С. Лукас



Серенада в Редутских залах. М. ван Мейтенс. 1765 г.



Е.Р. Дашкова, директор Академии наук. Неизвестный художник. 1790-е гг.



Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический



Князь Павел Михайлович Дашков, сын Е.Р. Дашковой



Усадьба Кирьяново



Граф Семен Романович Воронцов, младший брат Дашковой



Граф Александр Романович Воронцов, старший брат Дашковой



Вид Английской набережной с Васильевского острова в конце XVIII столетия. С гравюры Патерсона. 1796 г.



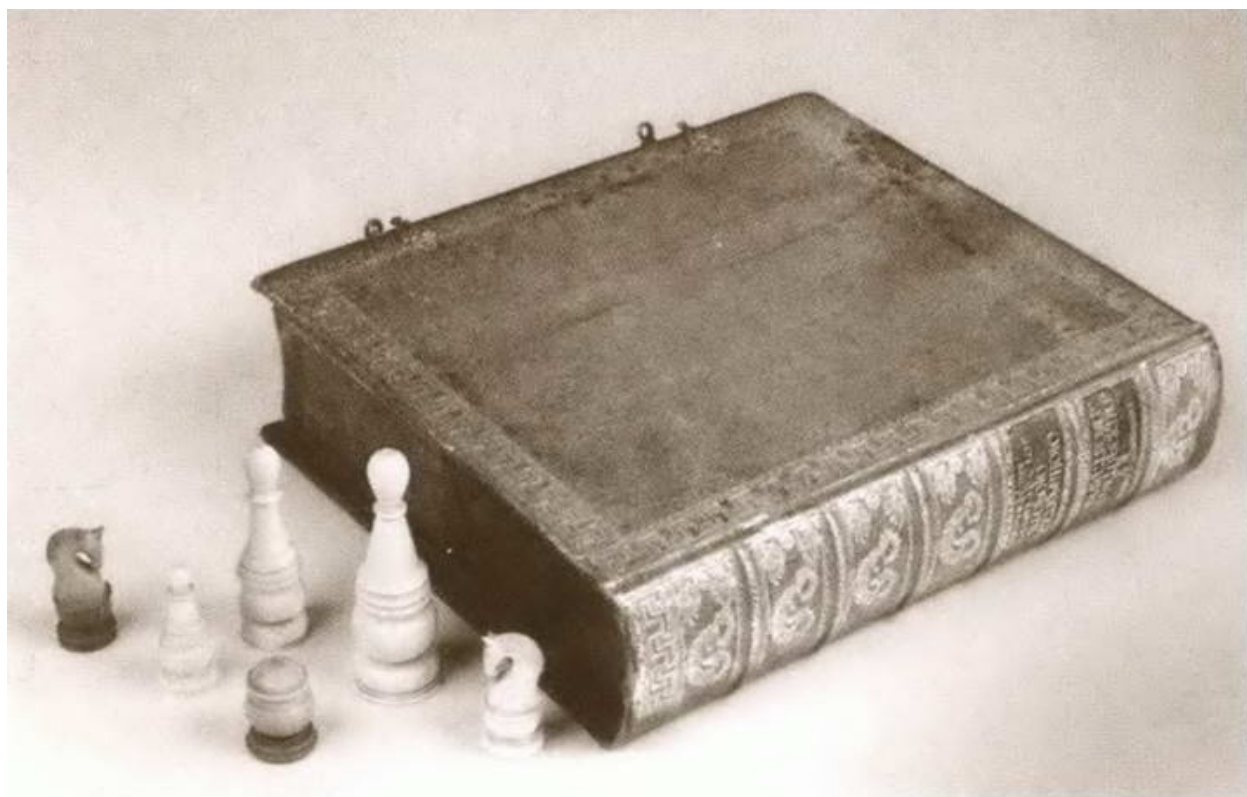
Разговор Дидро и Екатерины II. Г. Берндтсон. 1893 г.



Екатерина II. Ф.И. Шубин. Начало 1770-х гг.



Флигель-адъютант А.Д. Ланской. Д.Г. Левицкий. 1780 г.



Шахматы в футляре, принадлежавшие Екатерине II. Около 1766 г.



Сергей Герасимович Домашнее



Е.Р. Дашкова. П. Дрождин. Конец 1770-х гг.



Императорская академия наук в Петербурге. Гравюра неизвестного художника. Конец XVIII в.



Андрей Иванович Лекслер. Силуэт работы Ф. Антинга. 1784 г.



Иван Иванович Лепехин



Геттингенский университет

С Л О В А Р Ъ

АКАДЕМІИ РОССІЙСКОЙ

Ча с т ь I.

отъ А. до Г.

ВЪ САНКТІИТКРЬБУРГѢ.

при Императорской Академіи Наукъ
1789 годѣ.

Титульный лист «Словаря Академии Российской». 1789 г.



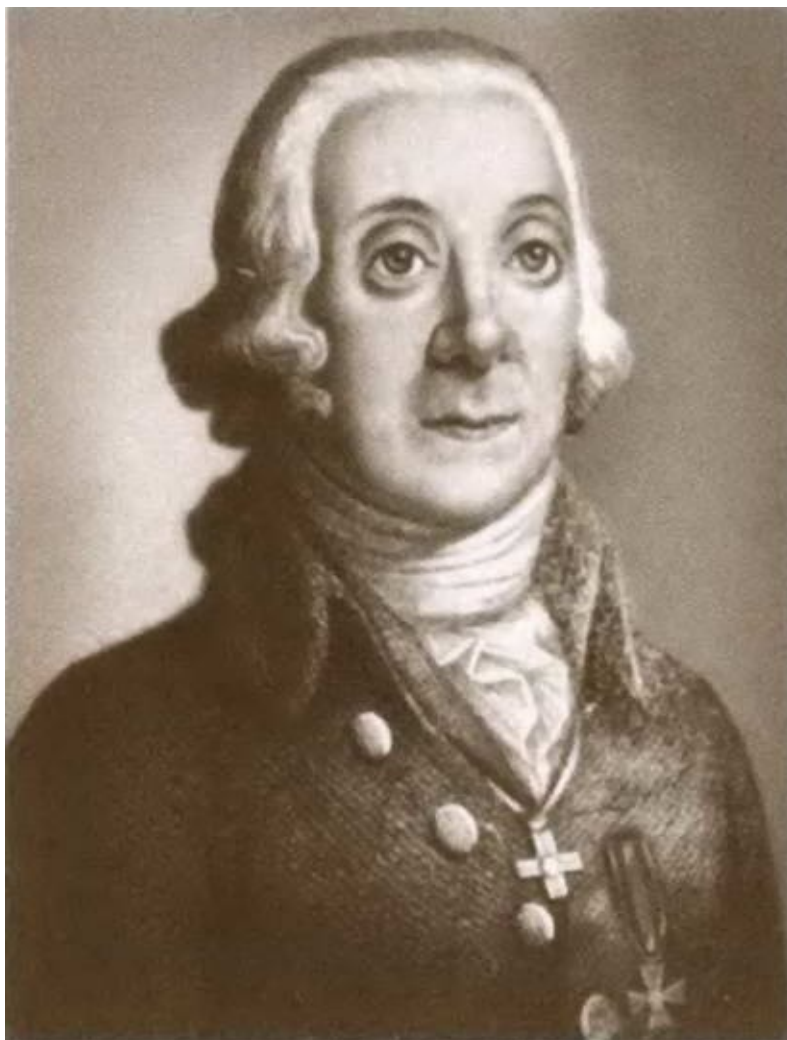
Е.Р. Дашкова. Неизвестный художник. 1780-е гг.



Денис Иванович Фонвизин. А.Ш. Карафф. 1784–1785 гг.



Гаврила Романович Державин. В.Л. Боровиковский. 1811 г.



Петер Симон Паллас

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
С Л О В А Р И

ВСѢХЪ ЯЗЫКОВЪ И НАРѢЧІЙ,
собранные
ЛЕСНИЦЕЮ ВСЕВМСОЧАЙШЕЙ ОСОБЫ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ,
содержащее въ себѣ
ЕВРОПЕЙСКІЕ И АЗІАТСКІЕ ЯЗЫКИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВЪ САНКТЯЕТЕРЬБУРГѢ,
Печатна въ Типографіи у Шнора 1787 года.

Титульный лист «Сравнительного словаря всех языков и наречий». 1787 г.



Екатерина II. К.Л. Христинек. 1780 г.



Обер-италмейстер Лев Александрович Нарышкин

СОБЕСѢДНИКЪ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
РОССІЙСКАГО СЛОВА,

Содержащій разныя сочиненія въ стихахъ и въ прозѣ нѣкоторыхъ Россійскихъ писателей.

ЧАСТЬ I.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
печатаенъ Императорской Академіи Наукъ
1783 года.

НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНІЯ
РОССІЙСКОЙ
ГРАММАТИКИ,

въ

Пользу учащагося въ Гимназѣ при
Императорской Академіи Наукъ
юношества

Составленныя.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

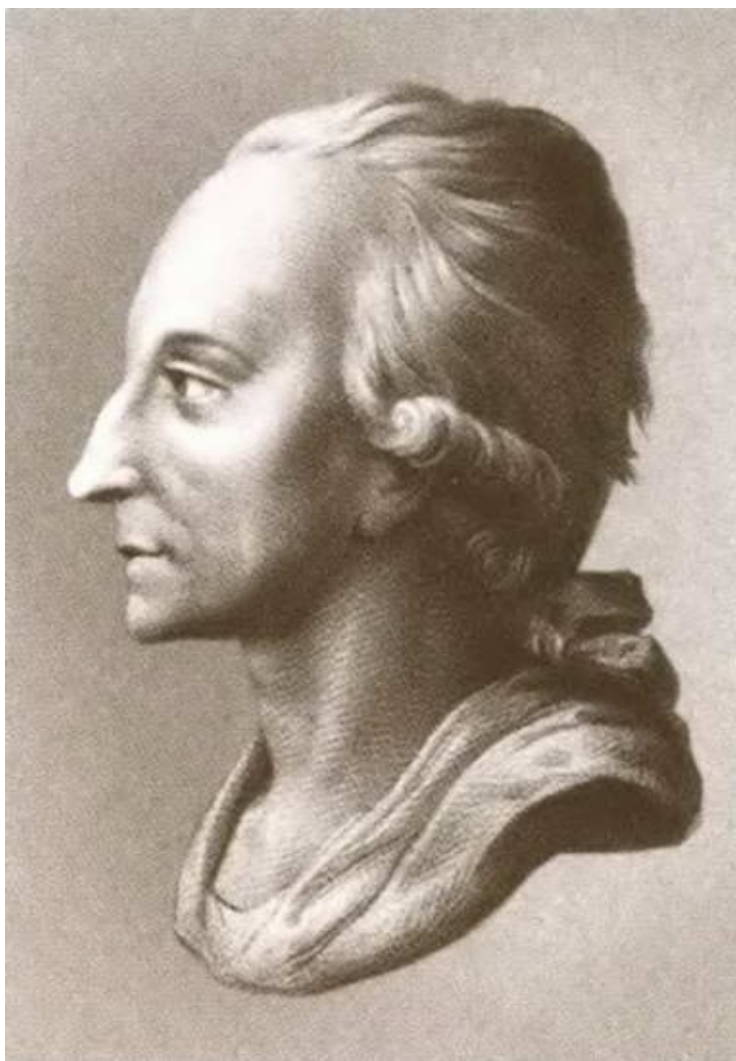
при Императорской Академіи Наукъ

1788 года.

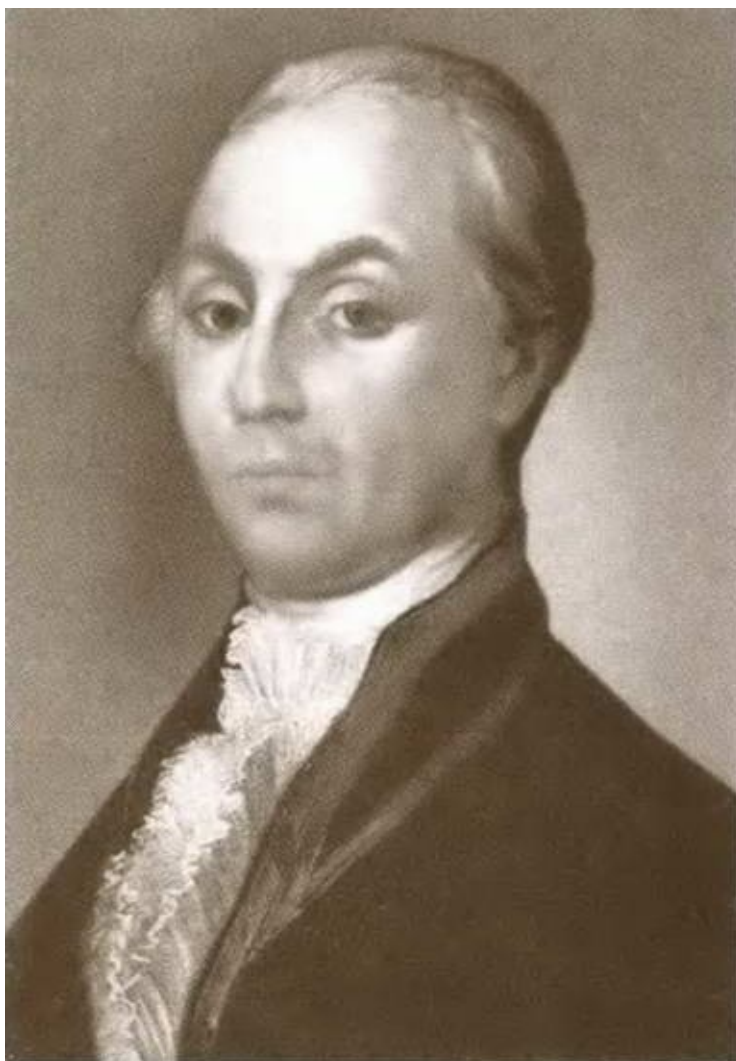
Титульные листы изданий Императорской академии наук



Здание Российской академии. Гравюра П. Герберта. 1834 г.



Яков Борисович Княжнин



Александр Николаевич Радищев



Почетная медаль имени Е.Р. Дашковой



Здание Московской консерватории. Перестроено из усадьбы Е.Р. Дашковой



Императрица Мария Федоровна. В.Л. Боровиковский. 1796 г.



Император Павел I. В.Л. Боровиковский. 1800 г.



Коронация Павла I и Марии Федоровны. М.Ф. Квадаль. 1799 г.



«Княгиня Екатерина Романовна Дашкова в ссылке». Гравюра по оригиналу С. Тончи





Сестры Марта и Кэтрин Уилмот

Милъ Снъ Глаголю

Писмо Ваше Превосходительства, въ-
радающе въ вѣстникъ, гдѣ мнѣ въ российскомъ
издѣніи редакціи, отъ акад. мнѣ извѣ-
сохранитъ въ свои Записки мои Портреты
Умешителю ереде. и крѣпко гдѣ мнѣ кѣ,
за что и Приказу Поповъ. и вѣдѣ оного
гдѣ мнѣ — въ Селѣ. и кѣ въ. мнѣ о томъ,
гдѣ мнѣ русск. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.
въ Портретахъ. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.
и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.

Мнѣ мнѣ Ваше Превосходительства, въ-
мнѣ гдѣ. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.
и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.
и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.

Ваше Превосходительства,

Поповъ. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.

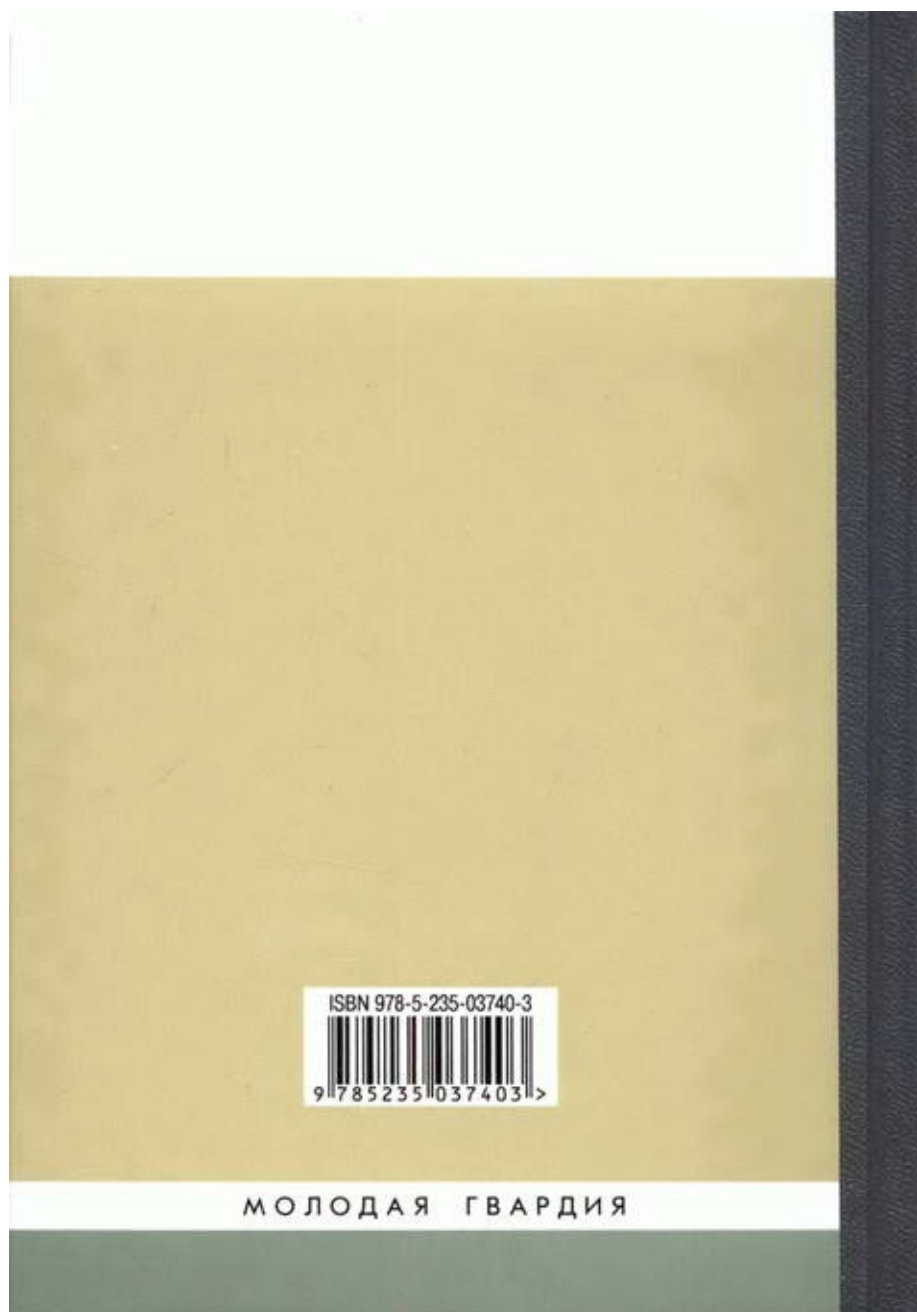
21 августа

К. Дашкова

Приказу Поповъ. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.
и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко. и крѣпко.



*Е. Р. Дашкова. Фрагмент памятника Екатерине Великой в Санкт-Петербурге. М.О. Микешин.
1873 г.*



notes

Примечания

Вспомним забавный эпизод из «Отцов и детей» И.А. Тургенева, где служанка «эмансипе» Кукшиной ходила в чепце, а не в платке, что указывало на прогрессивные вкусы хозяйки. За век до этого любовница-англичанка символизировала европейские предпочтения вельможи-покровителя.

Фрейлинский шифр — золотой с бриллиантами вензель императрицы на банте. Фрейлины носили его на левой стороне груди.

Уточним, что Долгоруковых сослали в 1731 году, когда Марфе Ивановне было всего 13 лет. Новый брак мать сумела устроить ей только в 1736 году.

В среде исследователей существует и другое мнение, согласно которому отец Марфы Сурминой — Иван Михайлович имел поместья под Костромой, служил конюшим Патриаршего приказа, носил чин стольника, владел деревнями и торговал в разных городах.

«Записки» Н.Б. Долгорукой были созданы в 1767 году. К началу XIX века, когда шла работа над мемуарами самой Дашковой, этот источник ходил в списках. Поступок Натальи Борисовны, последовавшей за мужем в ссылку в Березов, вызывал восхищение читающей публики. Недаром позднее Н.А. Некрасов в поэме «Русские женщины» поставит ее на одну доску с женами декабристов, сделав символом жертвенной супружеской любви. Возможно, Дашкова опустила историю брака родителей, чтобы избежать невыгодного для матери сравнения.

Согласно камер-фурьерскому журналу за 1758 год, эти свадьбы произошли 15 и 18 февраля. А вот в расходной ведомости, поднесенной Елизавете Петровне год спустя, указано: кузины венчались в один день 12 февраля, на что императрица выделила четыре тысячи рублей. Возможно, канцлер, находившийся тогда в стесненном финансовом положении, сумел одним махом сыграть обе свадьбы.

Говоря о роли Москвы в жизни Е.Р. Дашковой, нельзя обойти молчанием книгу Г.А. Веселой и Е.Н. Фирсовой «Москва в судьбе княгини Дашковой» (М., 2002), снабженную трогательными иллюстрациями последней. Текст проникнут искренней любовью к героине повествования и изобилует множеством интересных деталей, касающихся не только биографии княгини, но и особенностей московского быта того времени. К сожалению, некоторые события, описанные в книге, приурочены не к тому времени, когда происходили. Авторы стремятся следовать «Запискам», дополняя их другими источниками. Там, где последние вступают в противоречие с мемуарами, видна тенденция к сглаживанию материала.

Впервые фраза о лимоне, так приглянувшаяся литераторам, появилась в книге французского памфлетиста К. Рюльера «История, или Анекдоты о революции 1762 г.», а затем была повторена его соотечественником Ж.А. Кастера в издании «Жизнь Екатерины II». На обе работы Дашкова составила комментарии, которые в разной форме вошли в ее «Записки». В частности, она вставила слова о лимоне в диалог с наследником, выражая согласие с ними и намекая на собственную судьбу.

Подробный анализ камер-фурьерских журналов, показывающих появления Е.Р. Дашковой при дворе, проведен в работах Л.В. Тычиной и Н.В. Бессарабовой (Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006; «... Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009). Последнюю из этих книг можно назвать биохроникой княгини, в ней собран богатый материал о повседневных событиях, письмах и встречах Екатерины Романовны. На основе «Записок» авторы склонны предполагать участие своей героини в тех эпизодах, о которых умалчивает камер-фурьерский журнал, что объясняется неполнотой источника. На наш взгляд, доверять все-таки следует журналу, создававшемуся сразу вслед за событием, а не мемуарам, написанным через много лет.

Отто Магнус Штакельберг (Стакельберг) — русский дипломат, позднее посол в Польше, через него Екатерина могла связываться с разными иностранными министрами при русском дворе. Видимо, Дашкова посчитала этот контакт небезопасным, о чем и предупредила подругу.

Magot (фр.) — уродец, прозвище А.С. Строганова, зятя Дашковой и друга Екатерины II.

Екатерина II ошиблась. Пассек был в это время капитаном Преображенского полка.

Любопытно, что хорошо разбиравшаяся в людях Екатерина II никогда не писала об искренности подруги, хотя охотно признавала за той ум и храбрость. Чтобы перестать путать прямоту княгини с чистосердечием, обратим внимание на один факт: 2 января 1804 года она публично примирилась с Алексеем Орловым, давшим в ее честь бал, а 10 февраля уже работала над «Записками», в которых обвинила этого человека в убийстве Петра III. Прошрое никогда не становилось для княгини прошедшим, и старые обиды не могли быть ни прощены, ни забыты.

Исследователи (не без влияния «Записок» Дашковой) часто путают два торжественных обеда в честь Фридриха II, устроенные Петром III. 14 февраля молодой государь отметил заключение мира с Пруссией, а 9 июня — подписание союзного договора. Именно на последнем император и назвал супругу «дурой».

Существовала неписаная традиция, по которой жены donaшивали за умершими мужьями их вещи. Именно в форму покойного супруга оделась блаженная Ксения Петербургская, начав подвиг юродства.

После смерти княгини, по ее завещанию, знаки ордена были переданы в казну, с тем чтобы на вырученные деньги в Екатерининском институте всегда содержалась пансионерка.

Позднее М.И. Пушкин был осужден за печатание фальшивых ассигнаций.

Ошибочно считать, что Н.И. Панин с самого начала выступал за союз с Пруссией. В 1787 году в письме Г.А. Потемкину по поводу союза с Австрией императрица рассуждала: «Система с венским двором — есть Ваша работа. Сам Панин, когда он не был еще ослеплен прусским ласкательством, на иные связи смотрел как на крайний случай». Таким образом, очень недолгое время в 1762 году Никита Иванович склонялся в пользу Австрии.

Перед нами еще один случай старинной традиции, по которой разные члены фамилии поддерживали соперничающие группировки во власти. Брюс была подругой Екатерины, а Румянцеву благоволил Петр III. Прасковья знала, что императрица недолюбливает ее мать и опасается брата, но в нужный момент, несмотря на внешнее легкомыслие, сумела всех «вымирить».

Имена, которыми поэт награждал возлюбленную, могут служить указанием на Екатерину Романовну. Кларисса — чистая (Дашкова подчеркивала свои семейные добродетели). Климена — милостивая, милосердная (княгиня выступала в роли покровителя, «милостивца»). Темира созвучно вольтеровской «Томирис», как философ называл русскую героиню.

История свидания канцлера и Разумовского была записана в 1843 году министром народного просвещения графом С.С. Уваровым, со слов своего тестя Алексея Кирилловича Разумовского, племянника фаворита Елизаветы.

Крайне информативная биография Дашковой принадлежит перу Л.В. Тычининой, главе Московского государственного института им. Е.Р. Дашковой и бессменному руководителю Дашковского общества (Великая россиянка. М., 2002). В этой книге содержится наиболее полный историографический анализ работ, посвященных жизни и государственной деятельности княгини. Интересен анализ мировоззрения Дашковой, который вплотную подводит читателя к вопросу о круге писателей и философов, повлиявших на формирование взглядов княгини. Наиболее сильной частью труда является анализ финансово-экономической деятельности Дашковой. Вместе с тем стремление видеть политические коллизии глазами героини заставляет автора давать оценки событиям, с которыми согласились бы «Записки», но не согласовываются другие источники.

В 1765 году участок, простиравшийся от берега Мойки до Большой Конюшенной улицы, купил у Одара Филипп Демут, открывший здесь «Демутов трактир», где уже в пушкинскую эпоху часто бывали петербургские литераторы.

Князю Михаилу Ивановичу принадлежал дом, построенный еще его отцом И.П. Дашковым на 12-й линии Васильевского острова, недалеко от здания Морского корпуса. Там супруги тоже не жили. Эти подробности следует учитывать, когда речь заходит о переездах Екатерины Романовны из столицы в столицу и обнаруживается, что княгине негде жить. У современного читателя возникает ощущение, будто наша героиня не располагала собственностью и в буквальном смысле слова не знала, где преклонить голову. На деле же слова Дашковой значат, что в Первопрестольной или у невских берегов она не имела дома, соответствующего ее статусу и финансовым возможностям.

Александр Борисович Куракин — не брат, а кузен Дашковой по мужу, еще один племянник Н.И. Панина. Живя у него, княгиня не покидала круга новой родни и членов группировки министра.

По закону 1731 года вдова наследовала мужу в недвижимом имуществе седьмую часть, а в движимом — четвертую.

Считалось, что интересы частновладельческих крестьян представляют помещики, а священнослужители должны оставаться вне политики.

Депеши Ширлея несут заметный отпечаток общения с Дашковой. Например, его описание нерешительности Панина перед переворотом 1762 года почти дословно совпадает с «Записками» княгини. «Знающие графа Панина уверены, что сам по себе он не способен на рискованные дела, — писал дипломат 31 июля 1768 года. — Другьям его столь хорошо сие известно, что, когда княгиня Дашкова впервые открыла ему замысел низложить императора, она почла уместным уверить его о полной к сему готовности и присовокупила, что буде из трусости он выдаст ее, то выкажет себя недостойным доверия императрицы».

Следует особо упомянуть книгу А.И. Воронцова-Дашкова, вышедшую в серии «ЖЗЛ» (Екатерина Дашкова. М., 2010). Автор давно и плодотворно занимается историей своей знаменитой родственницы. Его работа полна любопытных биографических фактов. Тем не менее она рассчитана в первую очередь на западного читателя (автор живет в США), склонного упрощать отечественную реальность, например, ставить знак равенства между «либерализмом» и «демократией». Кроме того, биография княгини не слишком плотно прилегает к контексту времени, во многих местах заметна неосведомленность исследователя о событиях екатерининской эпохи. Это приводит к досадным недоразумениям, например, к предположению, что во время войны со Швецией, в 1789 году, русский флот «взбунтовался и предался наследнику» Павлу I, в то время как речь в английских газетах шла о британском флоте времен установления регентства принца Георга (будущего Георга IV) над сумасшедшим королем Георгом III.

Глотками воздуха можно назвать статьи английского историка Э. Кросса (Британские отзывы о личности и карьере Е.Р. Дашковой // Екатерина Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 23–40; Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 22–25). Приводя множество различных суждений о неоднозначной личности княгини, автор не сглаживает их, а, напротив, показывает живого человека глазами других живых, неидеальных людей.

В письме к миссис Гамильтон княгиня признавала за собой «гений» в музыке. Она действительно была одаренной музыкальной личностью, прекрасно пела и делала вполне профессиональные высказывания о музыкальных спектаклях и придворных концертах. Отношению Е.Р. Дашковой к музыке посвящена книга М.П. Пряшниковой (Е.Р. Дашкова и музыка. М., 2001), автор которой много лет в статьях собирал материал, характеризующий музыкальные интересы княгини. Пряшниковой проанализирован музыкальный альбом Дашковой, рассмотрены ее знакомства с композиторами и исполнителями, любовь к русской песне, а также охарактеризованы сходные увлечения сестер Уилмот. Приведены некоторые, ранее неизвестные, письма ирландок. Книга позволяет сделать вывод о том, что Дашкова сочетала европейские и национальные музыкальные вкусы.

Фундаментальный труд о Дашковой — директоре Академии наук принадлежит петербургской исследовательнице Г.И. Смагиной (Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006). На сегодняшний день Смагина является лучшим знатоком документального наследия княгини. Ею осуществлены подбор материалов и их комментирование в объемном сборнике (Е.Р. Дашкова. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001), дающем возможность читателю познакомиться с богатым корпусом источников.

Богатый материал о семейной драме Дашковой собрала Е.Н. Фирсова (Дети и воспитанники Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 151–204). Она приходит к выводу о положительном результате воспитательных усилий княгини. Что, по ее убеждению, не вступает в противоречие с дальнейшей судьбой Павла и Анастасии.

В 2001–2006 годах Московский государственный институт им. Е.Р. Дашковой предпринял грандиозную работу по переизданию «Словаря Академии Российской 1789–1794. В 6 т.». Этот труд стал не просто мемориальным, а дал отправную точку для развития филологических изысканий в области русского языка второй половины XVIII века.

Ссылка на то, что события свадьбы фиксировались в особом журнале, неубедительна, так как Свадебный журнал лишь расширял информацию, вкратце изложенную камер-фурьером.

Приведенные ниже фрагменты писем перевел и впервые опубликовал петербургский ученый М. М. Сафонов. На наш взгляд, недоверие к этим документам могло бы быть развеяно, если бы исследователь указал место их хранения и поместил оригинал на смеси языков — английского и французского.

Выдающаяся по уровню источниковедческого анализа работа об авторстве мемуаров Дашковой принадлежит петербургскому исследователю М. М. Сафонову («Записки» Е.Р. Дашковой и их авторы // Е.Р. Дашкова: великое наследие и современность. М., 2009. С. 83–151; «Записки» Е.Р. Дашковой и их авторы. Окончание // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 57–106). Степень редакторского участия Марты в составлении «Записок» должна быть признана настолько заметной, что местами личности авторов сливаются. Однако ключевой вывод работы о том, что Марта полностью подменила собой Дашкову и фактически создала воспоминания за нее, кажется нам неверным. В письмах А.Р. Воронцову героиня предстает такой же, как и в мемуарах. А ведь этих источников не было у Марты в руках, когда она помогала княгине работать над «Записками».

Ссылки

Письма Кэтрин Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 301.

Герцен А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 258.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1990. С. 268.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937–1949. Т. XII. С. 337.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 5–6.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 3–4.

Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины России в эпоху Петра I. М., 2002. С. 294.

История родов русского дворянства. СПб., 1886. Кн. 2. С. 19.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937–1949. Т. 8. С. 42.

Там же. С. 167.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 162.

Бессарабова Н.В. Е.Р. Дашкова при дворе русских императриц// Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 53–54.

Там же. С. 60–61.

Там же.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 6.

Там же. С. 4.

Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 53.

Захарова О.Ю. Граф А.Р. Воронцов и граф Н.П. Шереметев // Воронцовы — два века в русской истории. Владимир, 1992. С. 60.

Тычинина Л. В., Бессарабова И.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 12.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 372.

Записки, оставшиеся по смерти княгини Натальи Борисовны Долгорукой. СПб., 1912.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Т. 25. С. 103–105.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 5–6.

Болотина Н.Ю. Женщины рода Воронцовых в повседневной жизни императорского двора XVIII в. // Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006. С. 146.

Там же. С. 150–153.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. С. 12.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 54.

Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 98–100.

Строев А.Ф. Авантюристы просвещения. М., 1998. С. 108–110.

Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. XVI. С. 68.

Воронцов-Дашков А.И. Московская библиотека княгини Е.Р. Дашковой
// Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.
С. 136–139.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 4, 6.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 29.

Воронцов А.Р. Записки //Русский архив. 1883. С. 231–232.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 10.

Там же. С. 6.

Рюльер К.К. История и анекдоты революции в России в 1762 г. // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 61.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 27.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 6.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 10.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 31–32.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 9.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987.С. 278.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67–68.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 39.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 657.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 7–8.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 14.

Там же. С. 11.

Черкасов П.П. Указ. соч. С. 208.

Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 247.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 24.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е, Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России.* М., 1987. С. 283.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXI. С. 380.

Суворин А.А. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова: Исследования
А.А. Суворина. СПб., 1888. С. 20–21.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 33.

Дашкова Е.Р. Продолжение отрывка записной книжки // Новые ежемесячные сочинения. 1791. Ч. 66. С. 5.

Дашкова Е.Р. Истины, которые знать и понимать надобно, дабы, следуя оным, избежать несчастий // Новые ежемесячные сочинения. 1795. Ч. 114. С. 3.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 135.

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России // Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 320, 332, 336.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 29.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 75.

Дашкова Е.Р. Нечто из записной моей книжки // О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 222–223.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 9, 14.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 11.

Дашкова Е, Р. Тоисиоков //Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание».
СПб., 2001. С. 187.

Дневник статского советника Мизере // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 54, 55.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 48.

Дашкова Е.Р. Тоисиоков // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание».
СПб., 2001. С. 187.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. III. С. 475.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 7.

Там же.

Сафонов М. М. Екатерина Малая и ее «Записки» // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 19.

Екатерина II. Сочинения. М, 1990. С. 458.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 193.

Мыльников А.С. Петр III. М., 2002. С. 83.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. Ч. I. С. 172.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 269.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 15–16.

Там же. С. 16–17.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 299–313.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 281.

Позье И. Записки придворного бриллианщика // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 324.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 463.

Воронцов С.Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1. Вып. 1. С. 35.

Екатерина II. Записки // Слово. 1989. № 2. С. 83.

Дополнение к Запискам Дашковой. Рассказ издательницы их // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 405.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 301.

Подробнее о том, как этот принцип преломлялся в зеркале культуры XVIII века, см. мою статью «Ау, сокол мой» (Наука и религия. 1994. № 3).

Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во Франции XII в. // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. М., 1990. С. 91–94.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 7.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 16–17.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 302–303.

Там же. С. 303.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67–68.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 303–304.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 68–69.

Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 422.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 311–312.

Курукин И.В. Анна Леопольдовна // Вопросы истории. 1997. №6. С. 34.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 69.

Екатерина II. Записки о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 345.

аичкин И. А., Почкаев И.Н. Екатеринбургские орлы. М., 1996. С. 141.

Там же.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 19.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 73–74.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 307.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 25–27.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. Ч. I. С. 1–5.

Екатерина II. О смерти императрицы Елизаветы Петровны //
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 463.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 302, 304.

Там же. С. 305

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 272.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 29.

Мыльников А.С. Указ. соч. С. 145.

Тычина Л. В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 20.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 21.

Там же. С.26–27.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 470.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003.
С. 211.

Шумахер А. Указ. соч. С. 274.

Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 347.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII в. СПб., 2005. С. 206–207.

Бройтман Л.И. Указ. соч. С. 185.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 32.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 24.

Штелин Я. Указ. соч. С. 44–45.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 27.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. Ч. I. С. 172.

Записки княгини Е. Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 27.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. Л., 1985. С. 30.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 36–37.

Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 260–262.

Сомов В.А. Книга о Екатерине II из библиотеки Е.Р. Дашковой // Книжные сокровища. К 275-летию Библиотеки АН СССР. Л., 1990. С. 149.

Письма Марты Вильмот//*Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 229.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 53.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 73.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 27–28.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 304.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 68.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 67–68.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 108–110.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 376.

Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995. С. 257.

Плугин В.А. Алехан, или Человек со шрамом. М., 1996. С. 54.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 259.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 47.

Безобразов П.В. О сношениях России с Францией. М., 1892. С. 264.

Там же. С. 265.

Безобразов П.В. Указ. соч. С. 265.

Кобеко Д.Ф. Екатерина II и Даламбер// Исторический вестник, 1884. № 4. С. 107–126.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 72.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 30–31.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 72.

Строев А.Ф. Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 315.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Т. 25. С. 85.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 306–307.

Бильбасов В.А. История Екатерины II. СПб., 1890. Т. II. С. 8.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 31, 41.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 236.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 167.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 306.

Там же. С. 302.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 32.

Воронцов-Дашков А.И. Московская библиотека княгини Е.Р. Дашковой
// Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996.
С. 137–138.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 28.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 48.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 189.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 311.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 167.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 40.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 25.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 35.

Бекингемшир Д.Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 122–123.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 35.

Ассебург А.Ф. Записки о воцарении Екатерины II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 294.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 83.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 36.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 162.

Екатерина II. Письма княгине Е.Р. Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

Там же. С. 31.

Мордовцев Д.Л. Русские женщины Нового времени. СПб., 1874. Т. U.C.
129.

Письма императрицы Екатерины II // Записки княгини Е.Р. Дашковой.
Лондон, 1859. С. 306.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 43.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М., 2003.
С. 209.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. Ч. I. С. 145.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 35.

Письма Петра III к Фридриху II // Екатерина. Путь к власти. М, 2003.
С. 212.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 28.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 28.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 35.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 373.

Дашкова Е.Р. Указ соч. С. 39–40.

Там же. С. 29.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. 1. С. 158.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 276–277.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 75.

Бекингемшир Д.Г. Первый год правления Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 123.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 73.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 26.

Отдельные заметки Екатерины II о событиях 1762 г. // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 231, 293.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 29, 39.

Финкенштейн К.В. Ф., фон. Общий отчет о русском дворе // Лиштенан Ф.Д. Россия входит в Европу. М., 2000. С. 295–296.

Болотов А.Т. Записки. СПб., 1871. Т. II. С. 179.

Дашкова Е, Р. Указ. соч. С. 39.

Там же. С. 80.

Ростопчинские письма. 1793–1814 // Русский архив. 1887. №2. С. 175.

Екатерина II. Письма княгине Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

Исторические песни. Баллады. М., 1986. С. 417.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 45.

Екатерина II. Анекдоты об этом событии // Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 336.

Русский архив. 1878. Т. 2. С. 288.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 29.

Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 55.

Ростопчинские письма. 1793–1814 // Русский архив. 1887. №2. С. 175.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой. С. 376.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 40.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 53.

Дашкова Е.Р. Письмо к графу Г. Кейзерлингу о восшествии на престол Екатерины Великой // Русский архив. 1887. Кн. 3. № 10. С. 191.

Лопатин В.С. Когда княгиня Е.Р. Дашкова узнала об аресте капитана П.Б. Пассека // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002. С. 40.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова: жизнь во власти и в опале.
М., 2010. С. 62.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 42.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 77.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 56.

Ассебург А.Ф. Записка о воцарении Екатерины II // *Екатерина. Путь к власти.* МЛ, 2003. С. 295.

Екатерина П. Из записок о перевороте 1762 года // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 337.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 163.

Воронцов С.Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1.№ 1.С. 34–38.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 43.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 101.

Бутурлин М.Д. Княгиня Е.Р. Дашкова // Русская старина. 1877. № 18. С. 575.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.

Шумахер А. История низложения и гибели Петра III // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 281.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 83.

Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 42.

Там же.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 45.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 59.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 86.

Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 336.

Герцен А.И. Княгиня Е.Р. Дашкова // *Герцен А.И.* Собрание сочинений. М., 1957. Т. 12. С. 394.

Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 344–345.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 48.

Там же.

Дашкова Е.Р. Письмо к графу Г. Кейзерлингу о восшествии на престол Екатерины Великой // Русский архив. 1887. Кн. 3. №10. С. 191.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 47.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 374.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 48.

Там же.

Там же.

Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 342.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 97–98.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 51.

Там же. С. 52.

Караванов П.Ф. Статс-дамы и фрейлины русского двора в XVIII столетии // Русская старина. 1870. № 11. С. 494.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 96–97.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 653.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Т. V. Ч. 1. С. 164.

Там же. С. 191,193, 220.

Там же. Т. VII. С.655.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. М, 1991. С. 111.

Алексеев В.Н. Награды княгини Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 44.

Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. М., 1838. Ч. II. С. 184.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 68.

Алексеев В.Н. Награды княгини Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 44.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 30–31.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Кн. XIII. Т. 25. С. 176.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 53.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 98.

Пчелов Е.В. Генеалогические связи Е.Р. Дашковой по мужу// Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 199.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 652.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 167.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 33–34.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Т. V. Ч. 1. С. 105–106.

«Там же. С. 160–162.

Там же. С. 164.

Там же. С. 159–160.

Там же. М., 1880. Т. XVI. С. 77.

Огарков В.В. Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский. Канкрин.
Челябинск, 1995. С. 30.

Дашкова Е.Р. Нечто из записной моей книжки // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 222–223.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 53–54.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 71.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 373.

Дашкова Е.Р. Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 259.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 170.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 55.

Письма графа А.Г. Орлова Екатерине II // Екатерина. Путь к власти.
М., 2003. С. 271.

Иванов О.А. Загадки писем Алексея Орлова из Ропши // Московский журнал. 1995. № 9, 11, 12; 1996. № 1, 2, 3.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 100.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 81–82.

Там же. С. 55–56.

Массон Ш. Секретные записки о России. М., 1996. С. 142.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 27.

Гельбиг Г. Русские избранники. Берлин, 1900. С. 326.

Камер-фурьерский церемониальный журнал за 1796 год. СПб., 1896. С. 843–844, 855–856.

Письма императора Павла Петровича к московским
главнокомандующим. 1796–1801 // Русский архив. 1876. №1.С7.

Там же.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 657.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 55–56.

Письма графа А.Г. Орлова к Екатерине II // Екатерина. Путь к власти.
М., 2003. С. 271.

Головина В.Н. Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 113–114.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 74.

Там же. С. 76–77.

Дидро Д. Указ. соч. С. 373.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 242.

Там же. С. 247.

Исторический вестник. 1884. № 10. С. 11–12.

Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II о восшествии на престол Екатерины Великой // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 258–259.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 37–38.

Исторический вестник. 1884. № 10. С. 11–12.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 23–24.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 99.

Тургенев А.И. Российский двор в XVI11 веке. СПб., 2005. С. 238.

Там же. С. 47.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. I. С. 147.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 24.

Дидро Д. Указ. соч. С. 380.

Шунгуров М.Ф. Мисс Вильмот и княгиня Дашкова (Подлинные записки княгини Дашковой) // Русский архив. 1880. Кн. 3. С. 188.

Дашкова Е.Р. Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 260–262.

Массон III. Указ. соч. С. 142.

Пчелов Е.В. Е.Р. Дашкова и создание буквы Ё // Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. С. 23.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 10 т. М., 1964. Т. 8. С. 88.

Алексеев В. Н. Е. Р. Дашкова в произведениях А.С. Пушкина // Е.Р. Дашкова и XVIII век. От Российской империи к современной цивилизации. М., 2010. С. 111.

Письма императрицы Екатерины II княгине Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 313.

*Екатерина II. Из «Былей и небылиц» // Екатерина II. Памятник моему
самолюбию. М., 2003. С. 147.*

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 170–178.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 652.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 117–118.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. I–XVI. М.; Л., 1937–1939.
Т. XII. С. 337.

Архив князя Воронцова. Т. 31. М., 1885. С. 260, 272.

Казанова Дж. История моей жизни. М., 1990. С. 559.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова: жизнь во власти и в опале.
М., 2010. С. 60.

Русский двор сто лет тому назад. СПб., 1907. С. 158.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 662.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 362.

Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С. 228.

Дидро Д. Указ. соч. С. 379.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 35.

Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 1866. Т. 3. С. 621.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 72.

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1967. С. 109.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Кн. XIII. Т. 25. С. 138.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 69.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 80.

Понятовский С.А. Указ. соч. С. 167.

Екатерина II. Отдельные записки о событиях 1762 года// Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 288.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 67–68.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 108–110.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 51–53.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 132.

Корберон М.Д. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 114.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 120.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Кн. XIII. Т. 25. С. 128–129.

Там же. С. 176.

Сб. РИО. СПб., 1876. Т. 18. С. 461.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 656.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 26.

Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 22. С. 65.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 379.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 82.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 60.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 26.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 313.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 60.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 83.

Степанова С.С. Коронация. 1762–1763 гг. // Екатерина Великая и Москва. М., 1997. С. 35.

Описание коронации императрицы Екатерины II в Кремле. 1762 // РГАДА.Ф. 2. Д. 95. Л. 12–116.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе Дашковой. М., 2002. С. 55.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 60–61.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 122.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 28.

Рюльер К.К. Указ. соч. С. 67.

Кросс Э.Г. Указ. соч. С. 25, 26.

Сб. РИО. СПб., 1878. Т. 22. С. 65.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 78.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. № 3. С. 442.

Корберон М.Д. Записки // Екатерина. Путь к власти. М.,2003. С. 118.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 84.

Сахаров А.Н. Конституционные проекты и цивилизационные судьбы России // Конституционные проекты в России XVIII — начала XX в. М., 2000. С. 44.

Сб. РИО. СПб., 1912. Т. 140. С. 160.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 661.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 62.

Храповицкий А.В. Записки. СПб., 1874. С. 481.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 653, 654, 660.

Дидро Д. Указ. соч. С. 374.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 85.

Архив князя Воронцова. М., 1885. Т. 31. С. 260.

Дидро Д. Указ. соч. С. 375.

Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. I. С. 200.

Заичкин И. А., Почкаев И.Н. Екатерининские орлы. М., 1996. С. 144.

Корберон М.Д. Указ. соч. С. 113–114.

Камер-фурьерский церемониальный журнал. 1763 год. СПб., 1855. С. 86.

Дидро Д. Указ. соч. С. 375.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 63.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 291.

Тычинша Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 107–108.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 63.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 293.

Иванов О.А. Указ. соч. № 6. С. 49.

Корнилович-Зубашева О.Е. Княгиня Е.Р. Дашкова за чтением Кастера // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пп, 1922. С. 360.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 293.

Иванов О.А. Указ. соч. № 8. С. 54.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 87.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 239.

Дидро Д. Указ. соч. С. 375.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 65.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 89.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 294.

Архив князя Воронцова. М., 1885. Т. 31. С. 220.

Черкасов П.П. Указ. соч. С. 280.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 187.

Иванов О.А. Указ. соч. № 8. С. 55.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 64.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 65.

Маррес М.Л. Дашкова и вопрос о национальном самосознании русского дворянства // *Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины.* М., 2006. С. 56.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе Дашковой. М., 2002. С. 87.

Кислягина Л.Г. Канцелярия статс-секретарей при Екатерине II // Государственные учреждения России в XVI–XVIII вв. М., 1991. С. 189.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 24.

Иванов О.А. Княгиня Дашкова и граф Орлов: причины конфликта // Московский журнал. 1998. № 8. С. 57.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 154.

Строев А.Ф. Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 314.

Бройтман Л.И. Петербургские адреса Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 186.

Бильбасов В.А. История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. II. С. 635.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 68.

Бекингемшир Д.Г. Записки // Русская старина. 1902. Т. 109. №3. С. 656.

Архив князя Воронцова. М., 1885. Т. XXXI. С. 272.

Там же. С. 301.

Бройтман Л.И. Указ. соч. С. 187.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе Дашковой. М., 2002. С. 117.

Миранде Ф., де. Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 37–38.

Экштут С.А. «Мзда не лихва». Безгрешные доходы как феномен русской истории // Родина. 2006. № 8. С. 42–47.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 65–66.

Соловьев С.М. Сочинения. М., 1994. Кн. XIII. Т. 25. С. 342.

Понятовский С.А. Мемуары. М., 1995. С. 195–197.

Там же.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 7. С. 373.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 45.

Соловьев С.М. Указ. соч. С. 341.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 69.

Бильбасов В.А. История Екатерины Второй. СПб., 1891. Т. 2. С. 290.

Бессарабова Н.В. Путешествия Екатерины II по России. М., 2005. С. 44.

Казакова Дж. История моей жизни. М., 1990. С. 548.

Сб. РИО. СПб., 1871. Т. 8. С. 364.

Бильбасов В.А. Указ. соч. С. 347.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 73.

Бантыш-Каменский Д.М. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Т. I. С. 226.

Русский архив. СПб., 1863. Т. 1. С. 479.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 92.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 67.

Анисимов Е.В. Иван IV Антонович. М., 2008. С. 306–307.

Черкасов П.П. Указ. соч. С. 281.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 68.

Плугин В.А. Алехан, или Человек со шрамом. М, 1996. С. 160.

Бильбасов В.А. История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. II. С. 635.

Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 188.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 69.

Мадариага И., де. Указ. соч. С. 74–75.

Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 45.

Дашкова Е.Р. Указ. соч. С. 68.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 100.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 255.

Русская старина. 1879. Т. 25. С. 505–506.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 98.

Дашкова Е.Р. Тоисиоков // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 188.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 69.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 657.

Екатерина II. Записка И.П. Елагину//Сб. РИО. 1885. Т. 42. С. 308.

Бекингемшир Д.Г. Указ. соч. С. 657.

Архив князя Воронцова. СПб., 1880. Т. 16. С. 78.

Дашкова Е.Р. Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 260–261.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 71.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 376.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 95.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 100.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 97.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. М., 2009. С. 49.

Огарков В.В. Е.Р. Дашкова: ее жизнь и общественная деятельность// Дашкова, Суворов, Воронцовы, Сперанский. Челябинск, 1995. С. 43.

Болотов А.Т. Воспоминания // Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 451.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Т. XXI. С. 420.

Веселая Г.А. Послание княгини Е.Р. Дашковой своим крестьянам в Новгородскую губернию в деревню Коротово // Е.Р. Дашкова и ее время. М., 1999. С. 113–124.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 49.

Фирсова Е.Н. Первый московский дом Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и представители века Просвещения. М., 2008. С. 63.

Фонвизин Д.И. Всеобщая придворная грамматика // *Фонвизин Д.И.*
Пьесы. М., 2001. С. 140.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 256.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 49.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 115.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 54.

Письма Марты Вильмот// *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 243.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 184.

Бутурлин М.Д. Очерк жизни графа Д.П. Бутурлина // Русский архив.
1867. № 5. С. 376.

Дидро Д. Указ. соч. С. 377.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 199.

Там же. С.202,200.

Огарков В.В. Е.Р. Дашкова. Ее жизнь и общественная деятельность // Петр Великий, Меншиков, Воронцовы, Дашкова, Сперанский. СПб., 1998. С. 363.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе Дашковой. М., 2002. С. 117,119.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 71–72.

Фирсова Е.Н. Первый московский дом Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и представители века Просвещения. М., 2008. С. 57, 63.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 99.

Там же. С. 87.

Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 64.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 132.

Архив князя Воронцова. М., 1885. Т. XXI. С. 403.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 114.

Архив князя Воронцова. М., 1888. Т. XXXIV. С. 132.

Там же. М., 1885. Т. XXXI. С. 403.

Там же. М., 1880. Т. XVI. С. 80.

Там же. Т. XII. С. 324.

Там же. М., 1888. Т. XXXIV. С. 135.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1990. С. 268.

Дашкова Е.Р. К господам издателям «Ежемесячных сочинений»: Вопросы // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 215.

Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание»// Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001.С. 125.

Там же

ПСЗ.Т. XVII. С. 1056.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 28.

Дашкова Е.Р. Письмо К. Вильмот. 15 ноября 1805 г. // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 220.

Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова // Сочинения Д.И. Иловайского. М., 1884. Ч. I. С. 319.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 72.

Здоровье матери и ребенка. Энциклопедия. Киев, 1993. С. 517–518.

Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 109.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 394.

Немкова И.А. Нравственно-воспитательная функция «Словаря Академии Российской» // Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 77–80.

Зыкова Е.П. Англофильство Е.Р. Дашковой в контексте русской культуры XVIII века // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 102.

Храповицкий А.В. Указ. соч. С. 187,269.

Кросс Э.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // *Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории.* М., 2004. С. 20.

Архив князя Воронцова. М., 1880. Т. XXIV. С. 131, 133.

Кросс Э.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // *Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории.* М., 2004. С. 22–25.

Пушкарёва Н.Л. О методах анализа «мужских» и «женских» текстов (феминистская лингвистика и социальная история пола) от теории «слово как действие» к теории «гендерлекта» // Теория и методология тендерных исследований. М., 2006. Ч. II. С. 155–162.

Фуко М. Наказывать и наказывать. М., 1983. С. 511.

Немкова И.А. Указ. соч. С. 93.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 74.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 378.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 125.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 322.

Там же. С. 336.

Дидро Д. Указ. соч. С. 378.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 293.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. I. С. 195–202.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 73.

Архив князя Воронцова. М., 1882. Кн. XXVI. С. 359.

Екатерина II. Записки. М., 1989. С. 663.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 74.

Пряшникова М.П. Дочь Е.Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина: штрихи к портрету // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 218.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 291–293.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 214.

Сомов В.А. «Президент трех академий». Е.Р. Дашкова во французской «Россике» конца XVIII века // Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000. С. 43.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 6.

Там же. С. 73.

Там же. С. 126–128.

Дашкова Е.Р. Письмо к издателям «Друга просвещения» // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения. Письма. Документы. М., 2001. С. 358.

Улюра А.А. Формирование прижизненного писательского имиджа Е.Р. Дашковой как проблема тендерного статуса // Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 70.

Сомов В.А. Указ. соч. С. 40.

Записки профессора-академика Тьебо: 1765–1785 // Русская старина. 1878. Т. 23. № 11. С. 478.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М, 2002. С. 538.

Дидро Д. Письмо Е.Р. Дашковой 24 декабря 1773 г. // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 365, 368.

Джеждула К.Е. Россия и Великая французская революция. Киев, 1972.
С. 126.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 81.

Улюра А.А. Указ. соч. С. 70.

Пушкарёва Н.Л. Указ. соч. С. 153.

Лозинская Л.Я. Во главе двух академий. М., 1978. С. 47.

Дидро Д. Характеристика княгини Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 375.

Нивьер А.Е. Р. Дашкова и французские философы Просвещения // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 44.

Кросс Э.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // *Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории.* М., 2004. С. 21.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 27.

Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 260.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 28.

Сегюр Л., де. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. СПб., 1865. С. 259.

Рейне Е.Н. Портрет Е.Р. Дашковой работы О. Хамфри // Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 100–101.

Дашкова Е.Р. Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 95.

Дашкова Е.Р. Общество должно делать благополучие своих членов // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С 93–94..

Зыкова Е.П. Указ. соч. С. 93.

Даль Г. Ю., фон. Беседы императрицы Екатерины II с Далем. 1771–1777 // Русская старина. 1876. Т. 17. № 9. С. 14.

Нивьер А.Е. Р. Дашкова и французские философы Просвещения // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 44.

Дидро Д. Письмо Е.Р. Дашковой 3 апреля 1771 г. // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859.С. 363–364.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 84.

Лозинская Л.Я. Во главе двух академий. М., 1978. С. 50.

Зыкова Е.П. Англофильство Е.Р. Дашковой в контексте русской культуры XVIII века // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 97.

Дашкова Е.Р. Записки тетушки // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001.С. 166.

Сб. РИО. СПб., 1873. Т. 12. С. 431.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «Она рождена была для больших дел». Летопись жизни Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 70.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 129.

Архив князя Воронцова. Т. XII. С. 366.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 72–73.

Екатерина II. Проект письма об условиях увольнения от двора гр. Г.Г. Орлова // Сб. РИО. 1874. Т. 3. С. 270–273.

Валишевский К. Вокруг трона. М., 1989. С. 359–361.

Сорокин Ю.А. Павел I // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 49.

Дашковой. Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 93.

Фонвизин М.А. Записки // Русская старина. СПб., 1884. Т. 42. С. 62.

Плотников А.Б. Политические проекты Н.И. Панина // Вопросы истории. 2000. № 7. С. 72.

Эйдельман Н.Я. Грань веков // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 317.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 113.

Сб. РИО.Т. 19. С. 420.

Тургенев А.И. Российский двор в XVIII веке. СПб., 2005. С. 261–262.

Мадариага И., де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 415.

Сафонов М. М. Глаз философа и глаз суверена. Дидро в Петербурге // Родина. 2003. № 8. С. 37.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 131.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе Дашковой. М., 2002. С. 146.

Мадариага И., де. Указ. соч. С. 417.

Конституционные проекты в России. XVIII — начало XIX в. М., 2000.
С. 275–289.

Сорокин Ю.А. Указ. соч. С. 50.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 94.

Письма Дидро к княгине Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 364.

Кузьмина С. Забытая рукопись Дидро // Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 932.

Бильбасов В.А. Дидро в Петербурге. СПб., 1884. С. 85.

Мадариага И., де. Указ. соч. С. 542–543.

Сегюр Л. Пять лет при дворе Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 220.

Мадариага И., де. Указ. соч. С. 541.

Там же. С. 107.

Сафонов М. М. Указ. соч. С. 37–38.

Сб. РИО. СПб., 1885. Т. 12. С. 355–356.

Письма Дидро к княгине Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 370.

Панин Н.И. Проект о фундаментальных государственных законах// Конституционные проекты в России. XVIII — начало XX в.М., 2000. С. 276–277.

Дашкова Е.Р. Общество должно делать благополучие своих членов // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 93–95.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 80–81.

Панин П.И. Указ. соч. С. 281–282.

Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. XII. С. 169.

Панин Н.И. Указ. соч. С. 288.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 94.

Архив князя Воронцова. Т. VII. С. 294.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 78.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 135.

Сочинения императрицы Екатерины II. Произведения литературные.
СПб., 1893.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 96.

Фирсова Е.Н. Дети и воспитанники Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и XVIII в. От Российской империи к современной цивилизации. М., 2010. С. 192.

Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 287.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 31.

Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 154.

Долгова С.Р. Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Щербининых. Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. С. 73.

Дашкова Е.Р. Тоисиоков //Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 183.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Указ. соч. С. 273.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 93.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXI. С. 434–436.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 189.

Долгова С.Р. Указ. соч. М., 2007. С. 75.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 96, 98.

Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 316.

Дашкова Е.Р. Письмо Уильяму Робертсону. 30 августа 1776 г. // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 231–232.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 29.

Там же. С. 30.

Дашкова Е.Р. Письмо Уильяму Робертсону. 9 октября 1776 г. // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 237.

Огарков В.В. Е.Р. Дашкова: ее жизнь и общественная деятельность// Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский. Канкрин. Челябинск, 1995. С. 47.

Васильков Н. Воспитание Е.Р. Дашковой и ее взгляд на воспитание // Вестник воспитания. 1894. № 1. С. 60.

Кросс Э.Г. У Темзских берегов: россияне в Британии в XVIII веке.
СПб., 1996. С. 152.

Смагина Г.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова: штрихи к портрету // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 25–27.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 98.

Там же. С. 99.

Там же. С. 100.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 28, 30.

Дашкова Е.Р. Письмо Уильяму Робертсону. 9 октября 1776 г. // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 236.

Дашкова Е.Р. Путешествующие // *Дашкова Е. Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 147.

Кросс Э.Г. У Темзских берегов: россияне в Британии в XVIII веке.
СПб., 1996. С. 155, 157.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 27.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 100.

Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание» //Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 126.

Кросс Э.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // *Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории.* М., 2004. С. 27–28.

Дашкова Е.Р. Письмо сыну с рекомендациями во время путешествия // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 241.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 144.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 102.

Айзенштат М. Георг III // Мировая история. Энциклопедия. Новое время. XIX в. М., 2003. С. 67.

Кросс Э.Г. У Темзских берегов: россияне в Британии в XVIII веке.
СПб., 1996. С. 264.

Саввина А.Н. Кто такие Ранцовы? (Опыт первого исследования) // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1999. Вып. X. С. 18–19.

Лопатин В.С. Письма, без которых история становится мифом // Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. М., 1997. С. 711.

Дашкова Е.Р. Письмо сыну с рекомендациями во время путешествия // О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 245.

Hibbert, Christopher. King Mob: The Story of Lord George Gordon and the Riots of 1780. London, 1990. P. 84–140.

Гаррис, лорд Малшбюри. Записки о России в царствование Екатерины
II // Русский архив. 1874. Кн. II. С. 398.

Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. СПб., 1894. Т. V. С. 28.

Лонгинов М. Н. Любимцы Екатерины II // Русский архив. 1911. Кн. II. С. 319.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 31–32.

Чудинов В.А. Размышления англичан о Французской революции: Э. Берк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М., 1996. С. 10.

Кросс А.Г. Павел Дашков: новые и малоизвестные британские страницы биографии // *Е.Р. Дашкова. Портрет в контексте истории.* М., 2004. С. 29.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 34.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 105–112.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину с просьбой назначить сына адъютантом // О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 246.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 108.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину о военной карьере сына // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 247.

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999. С. 49.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 113–123.

Там же. С. 119.

Екатерина II. Письмо княгине Дашковой. 22 декабря 1781 г. // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Лондон, 1859. С. 313.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 124.

Письма княгини Е.Р. Дашковой к князю А.Б. Куракину // Русский архив. 1912. № 7. С. 463.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 32–33.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 127.

Строев А.Ф. Те, кто поправляет форту. Авантюристы Просвещения.
М., 1998. С. 216.

Конституционные проекты в России. XVIII — начало XIX в. М., 2000.
С. 287.

Кочеткова Н.Д. Фонвизин в Петербурге. Л., 1984. С. 175.

Фирсова Е.Н. Дача Е.Р. Дашковой «Кирианово» // Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006. С. 68.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 185.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 137.

Конституционные проекты в России. XVIII — начало XIX в. М., 2000.
С. 278–286.

Тычинина Л.В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 44.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 132.

Там же. С. 142.

Там же. С. 134.

АВПР. Ф. 5. № 591. Ч. I. Л. 99–113 об.

«История дипломатии. М., 1941. С. 290–291.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 34.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 139.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину о сыне и племяннике Д.П. Бутурлине // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 249.

Там же. С. 140.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 105.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 137.

Архив князя Воронцова. М., 1880. Т. XVI. С. 143.

Там же. Т. XVII. С. 45.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину о сыне и племяннике Д.П. Бутурлине // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 249.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 159.

General Observations Regarding the Present State of the Russian Empire.
London, 1787. P. 34.

Энгельгардт Л.Н. Записки // Русские мемуары. Избранные страницы.
XVIII век. М., 1988. С. 234.

Фадеева Т.М. Князь П.М. Дашков и герцог Караман, или О некоторых аспектах присоединения Крыма к России // Е.Р. Дашкова и Екатерининская эпоха. М., 2011. С. 75.

Дашкова Е.Р. Записка Г.А. Потемкину об отпуске для сына // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 250.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 47–54.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 34.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину о сыне и племяннике Д.П. Бутурлине // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 249.

Брикнер А.Г. История Екатерины Второй. М., 1991. С. 404.

Письмо П.И. Панина наследнику престола Павлу с приложением проекта Манифеста о его вступлении на престол // Конституционные проекты в России. XVIII — начало XX в. М., 2000. С. 298–304.

722

РГАДА.Ф. 5. № 85. Ч. I. Л. 525.

Фадеева Т.М. Указ. соч. С. 77–78.

Сочинения императрицы Екатерины II. Т. 12. 2-й полутом. С. 656.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М, 2009. С. 139.

Казанова Дж. Указ. соч. М., 1990. С. 559.

Смагина Г.И. Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006. С. 12.

Ученая корреспонденция Академии наук XVIII в. Л., 1987. С. 181.

Массон Ш. Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I. М., 1996. С. 142–143.

Предположение сделано сотрудником Русского музея в Петербурге искусствоведом Е.И. Столбовой (*Галиченко А.А. Иконография А.Р. Воронцова//Алупкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник. Художественное собрание музея. Исследования и материалы. Симферополь, 2005. Вып. 1. С. 13).*

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 214.

Эрих-Хэфели В. К вопросу о становлении концепции женственности в буржуазном обществе XVIII века: психологическая значимость героини Ж.Ж. Руссо Софии // Теория и методика тендерных исследований. М., 2006. Ч. I. С. 224–229.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 143.

Смагина Г.И. Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006. С. 51.

Там же. С. 52.

Дашкова Е.Р. Письмо Екатерине II при назначении ее директором Академии наук // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 272.

Дашкова Е.Р. Письмо к мистрис Гамильтон // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 259.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 152.

Дашкова Е.Р. Письмо А.А. Безбородко об отчетах по экономической сумме Академии наук // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 278.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 63–64.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 137.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 173–174.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1862. С. 187.

Тычина Л.В. Указ. соч. С. 173.

Там же. С. 168.

Кросс А.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 34.

Смагина Г.И. Е.Р. Дашкова: штрихи к портрету // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 67.

Там же.

Архив князя Воронцова. Кн. XVII. С. 519.

Алексеев Г.Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России. М., 2002. С. 109.

Ромм Ж.К. истории русской образованности Нового времени // Русский архив. 1887. Кн. 1. С. 14.

Домашнее С.Г. Записка о поступках ее сиятельства княгини Катерины Романовны Дашковой, Академии наук директора, против предместника ее дирекции Академии наук, действительного камергера Домашнева, Ее Императорскому Величеству представленная // *Смагина Г.И.* Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006. С. 343–344.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 179.

Алексеев В.Н. Адъюнкт В.Ф. Зуев и история его исключения из Академии наук // Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. С. 49–50.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. С. 185.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 156.

Письмо графа А.Р. Воронцова Е.А. Щербинину // *Долгова С.Р.* Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Щербиных. Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. С. 77.

Письмо Е.А. Щербинина графу П.И. Панину // *Долгова С.Р.* Княгиня Е.Р. Дашкова и семья Щербининых. Е.Р. Дашкова в науке и культуре. М., 2007. С. 76.

Письмо графа А.Р. Воронцова Е.А. Щербинину... С. 78.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 198.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXI. С. 457, 459, 461.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 157.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXI. С. 437.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 158.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 394.

Там же. С. 155.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 155.

Дашкова Е.Р. Речь при открытии императорской Российской академии
//*Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 290–291.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 121.

Чичагов П.В. Записки. М., 2002. С. 52.

Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 292.

Вяземский П.А. Московское семейство старого быта // Русские мемуары 1800–1825 гг. М., 1989. С. 539–540.

Файнштейн М. III. Е. Р. Дашкова и «Словарь Академии Российской» // Е.Р. Дашкова. Личность и эпоха. М., 2003. С. 59.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 155.

Файнштейн М.Ш. Указ. соч. С. 60.

Державина Е. И. Предшественник «Словаря Академии Российской» и его автор // Е.Р. Дашкова и ее современники. М., 2002.

Смагина Г.И. Е.Р. Дашкова: штрихи к портрету // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. М., 2001. С. 66.

Русский архив. 1878.Т. 3. С. 115.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 156.

Русский архив. 1878.Т. 3. С. 120.

Фаловски А. Славянские материалы в многоязычных европейских лексиконах XVIII века // Е.Р. Дашкова и XVIII век. От Российской империи к современной цивилизации. М., 2010. С. 21.

Чернышева М.И. К вопросу о лексикографическом диалоге двух
Екатерин: два словаря — два итога // Е.Р. Дашкова и XVIII век. От
Российской империи к современной цивилизации. М., 2010. С. 20.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. Княгиня Дашкова и императорский двор. М., 2006. С. 87.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 169.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 150–158.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1862. С. 6–18.

Зыкова Е.П. Англофильство Е.Р. Дашковой в контексте русской культуры XVIII века // Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 103–104.

Афанасьев А.Н. Литературные труды кн. Е.Р. Дашковой // Отечественные записки. 1860. Т. 129. № 3. Отд. 1. С. 210.

Вигель Ф.Ф. Записки. Кн. I. М., 2003. С. 53.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 165–166.

Там же. С. 167.

Там же. С. 156.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 177.

Там же. С. 189–190.

Гарновский М.А. Записки // Русская старина. 1876. Т. XV. № 1.С. 26.

796

РГАДА. Ф 5.4. II. Л. 84 об.

Гарновский М.А. Указ. соч. № 2. С. 491.

Фирсова Е.Н. Дача Е.Р. Дашковой «Кирианово» // Е.Р. Дашкова и Золотой век Екатерины. М., 2006. С. 71.

Храповицкий А.В. Памятные записки. М., 1862. С. 127.

Долгова С.Р. «Легендарная» ссора Е.Р. Дашковой с А.А. Нарышкиным
// Е.Р. Дашкова и российское общество XVIII столетия. М., 2001. С. 53.

801

Там же. С. 124.

Храповицкий А.В. Указ. соч. С. 51.

*Екатерина II. Из «Былей и небылиц» // Екатерина II. Памятник моему
самолюбию. М., 2003. С. 146–147.*

Алексеев В.Н. Княгиня А.Р. Дашкова и Г.Р. Державин: история взаимоотношений // Е.Р. Дашкова и А.С. Пушкин в истории России. М., 2000. С. 15.

Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 87.

Западов А.В. Гавриил Романович Державин (биография). М.; Л., 1965.
С. 49.

Екатерина II. Письмо к господам Собеседникам от защитника Клировых мыслей // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 380.

Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 129.

Дашкова Е.Р. Письмо Г.А. Потемкину. 17 сентября 1783 г. // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 248.

Храповицкий А.В. Указ. соч. С. 27.

Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 1883. Т. IX. С. 235.

Русское чтение, изд. С. Глинкой. 1845. Ч. 2. С. 36–37.

Справочный том к запискам Е.Р. Дашковой, Екатерины II, И.В. Лопухина. М., 1992. С. 125.

Кочеткова Н.Д. Дашкова и «Собеседник любителей русского слова» // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 143.

Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 15.

Дашкова Е.Р. О истинном благополучии // Дашкова Е.Р. О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 129.

817

Там же.

Дашкова Е.Р. Искреннее сожаление об участии господ издателей Собеседника // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 132–134.

Дашкова Е.Р. К господину сочинителю «Былей и небылиц» от одного из издателей Собеседника // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 135–136.

Екатерина П. Краткоудлинный ответ тому из господ издателей Собеседника, который удостоил сочинителя Былей и Небылиц письмом // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 390.

Державин Г.Р. Сочинения. СПб., 1883. Т. IX. С. 236.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 223.

Русская старина. 1876. № 6. С.224–231.

Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 151.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 161.

Там же. С. 163–165.

Смагина Г.И. Е.Р. Дашкова и Американское философское общество в Филадельфии для содействия развитию полезных наук//Е.Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 1905. С. 27–30.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 165.

Там же. С. 171–172.

Там же. С. 173.

Семенников В.П. Литературно-общественный круг Радищева // Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 214.

Тучков С.А. Записки. СПб., 1906. С. 36.

Семенников В.П. Указ. соч. С. 242.

Шторм Г.П. Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву». М., 1965. С. 81.

Удовик В.А. Символ веры А.Р. Воронцова // Воронцовы — два века в истории России. Владимир, 1992. С. 12.

Там же. С. 11.

837

РГАЛИ. Ф. 1261. Оп. 3. № 43. Л. 432.

Архив князя Воронцова. М., 1876. Т. IX. С. 181.

Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие
безумно и мудро. М., 1986. С. 240.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Т. V. С. 193–196.

Фадеева Т.М. Е. Р. Дашкова — директор Академии наук: штрихи к портрету (из переписки с братом А.Р. Воронцовым) // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 55.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 96.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 173–174.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». М., 2009. С. 206.

Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование.
СПб., 1897. Т. 1. С. 104.

Шильдер Я.К. Император Павел Первый. СПб., 1901. С. 25.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 96.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 35.

Русский архив. 1878. Кн. III. С. 195.

Пряшникова М.Л. Дочь Е.Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 209.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 213.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 337.

Дашкова Е.Р. Письмо Екатерине II о финансовых делах дочери // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 255–256.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С.190.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 358, 335.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 176.

Семевский М.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Русская старина. 1874. № 3. С. 417.

Дашкова Е.Р. Прощение Екатерине II об увольнении с должности директора Академии наук // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 325.

Дашкова Е.Р. Рапорт Екатерине II об экономическом состоянии Академии наук // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 327.

Дашкова Е.Р. Письмо Д.П. Трощинскому // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 326.

Смагина Г.И. Сподвижница Великой Екатерины. СПб., 2006. С. 139.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 178.

Там же. С. 175.

Архив князя Воронцова. М, 1877. Кн. XII. С. 152.

Воронцов-Дашков А.И. Екатерина Дашкова. М., 2010. С. 265.

Из протокола заседания Конференции Академии наук // *Дашкова Е.Р.*
О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001.
С. 329–330.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 181.

Там же. С. 37.

Там же. С. 183.

Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2001. С. 270.

Кросс Э.Г. Британские отзывы о Е.Р. Дашковой // Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 35–36.

Сафонов У. М. «Записки» Е.Р. Дашковой и их авторы // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 85.

Справочный том к запискам Е.Р. Дашковой, Екатерины II, И.В. Лопухина. М., 1992. С. 196.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 184.

Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. СПб., 2001. С. 267–269.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 234.

Там же. С. 233.

Там же. С. 434.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 192.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 256.

Там же. С. 194–195.

Дашкова Е.Р. Письмо Павлу I с просьбой о разрешении жить в Калужской губернии // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 356.

Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. С. 260.

Екатерина II. Письма княгине Е.Р. Дашковой // Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 310.

885

ГАРФ.Ф. 728. Оп. 1. Ч. 1. № 524. Л. 1–5.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 195.

Иена Д. Екатерина Павловна: великая княжна, королева Вюртемберга.
М., 2006. С. 44.

Стрижак Н., Соколов А., Раскин Д. Анна Павловна: русская принцесса на голландском троне. СПб., 2003. С. 58–59.

Олейников Д.И. Николай I. М., 2012. С. 7.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 185–186.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 220.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. С. 239.

Там же. С. 250–251.

Вигель Ф.Ф. Записки. М., 2003. Кн. I. С. 53, 54.

895

Там же. С264.

Архив князя Воронцова. М., 1872. Кн. V. С. 265.

Там же. М., 1880. Кн. XXI. С. 445.

Тычинина Л. В., Бессарабова Н.В. «...Она была рождена для больших дел». Летопись жизни княгини Е.Р. Дашковой. М., 2009. С. 230.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 181.

Веселая Г. А., Фирсова Е.Н. Указ. соч. С. 249.

Дашкова Е.Р. Поздравительное письмо Александру I // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 356–357.

Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 206.

Цит. по: Сафонов М. М. Княгиня Сафо? Или античные страсти на берегах Невы // Родина. 1997. № 1. С. 82–83.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 244.

Там же. С254.

Там же. С. 294.

Там же. С. 335.

Дашкова Е.Р. Письмо вдовствующей императрице Марии Федоровне // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 359.

Письма Кэтрин Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 294.

Дашкова Е.Р. К господам издателям «Новых ежемесячных сочинений»
// *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 213.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 350.

Письма Кэтрин Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 230.

Цит. по: *Пряшникова М.П.* Дочь Е.Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина: штрихи к портрету // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 211.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 246.

Там же. С.269.

Сафонов М.М. «Записки» Е.Р. Дашковой и их авторы // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 66–74.

Дашкова Е.Р. Письмо к К. Вильмот с размышлениями о вопросах воспитания // *Дашкова Е.Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы. СПб., 2001. С. 219.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 276.

Девятнадцатый век. М., 1872. Кн. II. С. 37.

Тычина Л.В. Великая россиянка. М., 2002. С. 128.

Фирсова Е.Н. Дети и воспитанники Е.Р. Дашковой // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 173.

Архив князя Воронцова. М., 1877. Кн. XII. С. 350.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 357.

Там же. С. 240.

Там же. С. 330.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXII. С. 411.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 238.

Там же. С. 242.

Письма Кэтрин Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 321.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 341.

Там же. С. 293.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXII. С. 411.

Сафонов М. М. Княгиня Сафо? Или античные страсти на берегах Невы
// Родина. 1997. № 1. С. 82–83.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 283.

Там же. С. 337.

Там же. С. 344.

Там же. С. 347.

Дашкова Е.Р. Письмо к дочери // *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 257–258.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 337.

Там же. С. 345.

Дашкова Е.Р. Письмо к дочери // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 257.

Цит. по: *Пряшникова М, П. Дочь Е.Р. Дашковой Анастасия Михайловна Щербинина: штрихи к портрету // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 215.*

Там же. С. 325.

Там же. С.359.

Там же. С. 374–375.

Там же. С.414.

Шугуров М.Ф. Княгиня Дашкова и мисс Вильмот // Русский архив.
1880. Т. III. С. 196.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 417.

Дополнение к запискам Дашковой. Рассказ издательницы // Записки княгини Е.Р. Дашковой. Лондон, 1859. С. 406.

Сафонов М. М. «Записки» Дашковой и их авторы // Е.Р. Дашкова и XVIII век. М., 2010. С. 86.

Письмо к мистрис Гамильтон... С. 258–261.

Потоцкая А. Мемуары. М., 2005. С. 11.

Архив князя Воронцова. М., 1881. Кн. XXI. С. 375.

Шугуров М.Ф. Мисс Вильмот и княгиня Дашкова (Подлинные записки княгини Дашковой) // Русский архив. 1880. Кн. III. С. 187.

Там же. С. 192.

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. М., 1991. С. 123–126.

Там же. С. 125–126.

Письма Марты Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 271.

Письма Кэтрин Вильмот // *Дашкова Е.Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 301.

Герцен А.И. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова // Дашкова Е.Р. Записки. 1743–1810. Л., 1985. С. 235.